

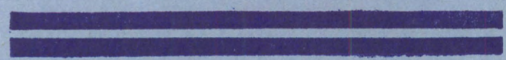
НОВАЯ МИРА

10

НОВАЯ
МИРА

1981

10



1981



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1981 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ЗАЩИТИМ МИР!	2
НАВЕКИ ВМЕСТЕ (к 250-летию добровольного присоединения Казахстана к России): Джубан Мулдагалиев, Абдильда Тажыбаев, Мариам Хакимжаиова, Сырбай Мауленов, Хамид Ергалиев, Халижан Бекхожин, Кабдыкарим Идрисов, Есет Аукебаев, Фариза Унгарсынова, Марфуга Айтхожина, Рахметолда Нурпеисов, Иранбек Оразбаев. Перевели Вл. Савельев, Борис Пчелинцев, О. Савельева, О. Дмитриев, Я. Смеляков, Т. Кузовлева, Нина Габриэлян	10
ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ — Рассказы	20
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ — Три стихотворения	98
<i>160 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского</i>	
ИГОРЬ ВОЛГИН — Последний год Достоевского	100
СЛОВО О ВЕЛИКОМ ХУДОЖНИКЕ: Алесь Адамович. Достоевский после Достоевского; Даниил Гранин. В доме на Кузнечном	184
А. НИНОВ — Достоевский и театр	196
КОНСТАНТИН КЕДРОВ — «Восстановление погибшего человека». К вопросу о положительном идеале у Достоевского	210
ДОСТОЕВСКИЙ ГЛАЗАМИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЗАПАДА	218
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО — Причастен ко всему	234
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
А. ГОРОВОВА — В клянике	264
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

ЗАЩИТИМ МИР!

С каждым днем возрастает в мире тревога по поводу наговского намерения развязать термоядерную войну. Решение администрации Рейгана начать производство нейтронной бомбы вызвало новый мощный подъем народного возмущения политикой американских ястребов. Нет нейтронной бомбе! — звучит с плакатов, поднятых над планетой тысячами и тысячами демонстрантов.

Редакция журнала «Новый мир» обратилась к писателям, деятелям науки и искусства с просьбой сказать свое слово о проблеме, волнующей все человечество.

П. ФЕДОСЕЕВ,
академик

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЯДЕРНУЮ ТРАГЕДИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Люди разных стран и континентов с чувством нарастающей тревоги следят за развитием событий последнего времени. Со всей очевидностью свидетельствуют они о том, что американские империалисты вопреки воле народов нагнетают международную напряженность, взвинчивают небывалую по своим масштабам гонку вооружений, создают в разных регионах мира горячие очаги военных конфликтов. Все эти чрезвычайно опасные для человечества акции сторонников агрессивного курса отравляют политический климат в современном мире, возрождают дух «холодной войны», подрывают реальную возможность прочного и стабильного мира на нашей планете. Военные стратеги из Пентагона, ослепленные навязчивой идеей достижения военного превосходства над Советским Союзом, пытаются остановить объективный ход прогрессивного исторического развития и поэтому неудержимо стремятся к наращиванию ядерного потенциала, безрассудно толкают человечество к краю страшной пропасти. Решение правительства Рейгана о производстве нейтронной бомбы подводит как бы последнюю черту в определении курса нынешней американской администрации на безудержную гонку вооружений.

Никогда еще человечество не сталкивалось с такой реальной опасностью, которая способна принести ему неисчислимые страдания и беды, когда оно оказалось лицом к лицу с нарастающей угрозой ядерной катастрофы. Воображению человека даже трудно себе представить колоссальные последствия всемирного ядерного смерча, который может уничтожить большую часть населения земного шара, стереть с лица земли города, выжечь поля и леса, разрушить уникальные памятники архитектуры, обратить в прах все то, что создано трудом человека в течение многих столетий. Только безумцы, потерявшие чувство реальности, могут лишить человечество принадлежащего ему самого неотъемлемого права — права на жизнь, на мирный созидательный труд, постоянное развитие и совершенствование, попытаться ценой смертельной военной авантюры остановить его движение к социальному прогрессу, вершинам культуры, науки, цивилизации.

Безрассудству стратегов ядерной войны противопоставит ясная последовательная миролюбивая политика Советского правительства, основанная на ленинских принципах мирного сосуществования госу-

дарств с разным социально-политическим строем, комплекс мер, направленных на сокращение вооружений, запрещение применения ядерного оружия, политическое урегулирование конфликтов, скорейшее и безотлагательное достижение мира на земле. Выдвинутая XXVI съездом КПСС программа мира 80-х годов встречает широкое понимание международной общественности, находит отклик в сердцах миллионов людей, встревоженных ухудшением политического климата, ростом бюджетов на военные цели, возрастающей угрозой глобального ядерного конфликта. Обращение Верховного Совета СССР «К парламентам и народам мира» воспринято мировой общественностью как еще одно свидетельство миролюбивого внешнеполитического курса Советского государства.

Понимание и широкую поддержку международной общественности вызывают мирные инициативы Советского правительства, противодействующие намерению администрации и руководства НАТО превратить Европу в полигон для ракет средней дальности, что таит в себе огромную опасность для судеб этого континента. Народы европейских стран охвачены тревогой за свое будущее и поэтому протестуют против американских планов размещения ракетно-ядерного оружия, добиваясь того, чтобы Европа, эта древнейшая колыбель цивилизации человечества, стала не театром военных действий, а оплотом мира и безопасности.

В обращении «К ученым мира», принятом в начале мая этого года, видные советские ученые призывают деятелей науки других стран мира к активному участию в борьбе за углубление разрядки международной напряженности, сделать все возможное, чтобы отвести от народов угрозу ядерной катастрофы. Важная миссия ученых в разрывании антивоенной кампании за мир и разоружение определяется не только тем, что они яснее чем кто-либо понимают последствия возможной трагедии, но и тем, что они в силу своей научной компетентности способны вести целеустремленную, постоянную борьбу по разоблачению всякого рода милитаристских концепций и доктрин, призванных оправдать безответственные действия апологетов войны.

Все народы хотят мира, все имеют право на мирную жизнь, и во имя этой великой цели нужно сделать все необходимое, чтобы предотвратить ядерную трагедию человечества.

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ,

Герой Социалистического Труда

НАША ЗАБОТА — НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ

По разрушительности нейтронная бомба на несколько порядков меньше обычной термоядерной. Следовательно, это как будто не то оружие, которое способно решать судьбы войны. Почему же против нее поднимается по всему свету волна ненависти и протеста?

Во-первых, это оружие самое мерзкое и грязное из всех, придуманных для истребления,— от него при разных дозах облучения мучительно умирают часами, сутками, неделями, годами. Без надежды на лечение. Породить и, главное, пустить в производство такое оружие могут только люди с дочеловеческой нравственностью — на уровне динозавров и птеродактилей. Невозможно не обратить внимания на то, с какой настойчивостью, с каким умилением американские радетели нейтронной бомбы подчеркивают, что она уничтожает людей, но оставляет в целости и мушкетство. Поскольку (что уже давно не секрет) употребление нейтронного монстра планируется на европейском континенте, становится вполне понятно, о чем имуществе идет речь. А кто им воспользуется, когда европейский дом обезлюдет? И тут ответ напрашивается сам собой. Недавно писатели ФРГ заявили коллективный протест против нейтронной бомбы и вообще ядерной начинки своей земли — они поняли все правильно.

Во-вторых, это бомба-провокатор. Из Вашингтона убаюкивающе жужжат — она маленькая, тактическая. Но, с одной стороны, от этого никому не легче, а с другой — именно эта малость может довести до «критической массы» уже накопленные горы оружия. До глобального взрыва. И тогда циничные расчеты кое-кого погреть руки на пожаре у соседа кончатся тем, что они сами окажутся на пепелище. Пусть Рейган и Уайнбергер не самообманываются, будто они могут управлять машиной войны — у нее нет тормозов. Размышляя об этом, я записал себе в блокнот строки:

Зря изводя здоровье, время, силу,
Соседу дядя Сэм копал могилу.
А бог
Подвел итог:
— Увы, похоже,
В ней и тебе лежать придется тоже!

Но и в США не все свихнулись на мании мирового господства и жадности до чужого добра — там есть разумные люди и шумят демонстрации протеста против гонки вооружений. Еще яростнее и многолюднее этот протест в Западной Европе. И это заставляет задуматься политических лидеров: что делают они — выполняют волю своих народов или, игнорируя ее, просто стараются поудобнее подставить свои паруса ветру из Вашингтона? Без серьезных раздумий о том, к какой сцилле и харибде гонит их корабли? Некоторые из западноевропейских лидеров уже сказали свое «нет» ядерной начинке, другим тоже придется вынуть жвачку изо рта и дать ответ: время не ждет.

Из Вашингтона воркуют: мол, нейтронные бомбы мы складываем у себя, это наше личное дело. А применять где? После такого вопроса ясно: роль Тартюфа на вашингтонской сцене играет неуклюже.

Наша советская позиция известна — взаимный отказ и от производства нейтронной бомбы и вообще от гонки вооружений. А если не будет взаимности? В США тоже должны были бы знать — у нас вдохновенно работают не только лирики. Л. И. Брежнев предупредил — нам угрожать не надо, при необходимости найдем быстрый и достоянный ответ. И если мы, писатели, приняли обращение ко всем коллегам в мире, ко всем честным и разумным людям развернуть борьбу против гонки вооружений, мы заботились не только о себе — о судьбах Европы, о мире, о человеческой цивилизации. Как велит каждому порядочному человеку честь, совесть, разум!

СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ,
Герой Социалистического Труда

ЗА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Упал дом. Жертв мало. Один человек. Ну а если этот один человек ваш сын или ваша дочь? Вы же не скажете «жертв мало». Может быть, это все, что у вас есть.

Один человек не меньше, чем два.

Нельзя людей ни складывать, ни умножать. Люди не вещи, не стулья, не автомобили.

Каждый человек единствен и неповторим. Такого не было, пока он не родился. Такого не будет, когда он умрет.

Всякий из нас знает это, когда думает об отце, матери, дочери, брате. Если они перестали жить. Если их нет больше. И никто не имеет права думать иначе о других людях только потому, что они не родственники, не друзья, не соотечественники.

Народ каждой страны — это не сумма единиц, а сумма единственных. Нельзя любить человечество, если не любишь человека.

В первую мировую войну я был мальчишкой. Приехавший с фронта офицер рассказал мне, что немцы сбрасывают с самолетов на на-

ших солдат толстые гвозди без шляпок и они пронизывают человека насквозь. Он называл это зверством. Но что значат эти гвозди по сравнению с минами, гранатами и многотонными бомбами второй мировой войны? И что значат все эти многотонные бомбы по сравнению с двумя атомными, уничтожившими Хиросиму и Нагасаки? И что значат эти две бомбы по сравнению с сотнями куда более мощных атомных ракет, уже нацеленных на сотни городов?

Нажми первую кнопку — и тут же будут нажаты все ответные! Навсегда исчезнут все эти обреченные города и погибнут все люди, живущие в этих городах. Старые, молодые, дети. Все. Нейтронная бомба. Те, кто собирается ее применить, говорят, что она самая «гуманная». В определенном радиусе взрыва она уничтожает все живое — людей, животных, растения, но оставляет в целости все неживое — дома, заводы, фабрики, музеи. Все материальные ценности.

Как невероятно по своему цинизму само утверждение о преимуществах нейтронных бомб! Что это значит — материальные ценности? Разве есть какая-либо ценность ценнее человеческой жизни?

Разве жизнь маленькой французской девочки можно сравнивать с ценностью Эйфелевой башни? Спросите у матери этой девочки! Спросите — и вы поймете, как циничен, как возмутителен такой вопрос!

Пусть любой житель Соединенных Штатов спросит у любой американской матери, обменяет ли она жизнь своего сына на Эмпайр стейт билдинг, и станут понятными весь цинизм, вся отвратительность нейтронной бомбы. Вся ее бесчеловечность.

Нет ничего драгоценнее человека.

АЛЕКСАНДР КРОН

НЕТ — НЕЙТРОННОЙ БОМБЕ

Наше сознание инерционно. То, что казалось невозможным вчера, не сразу воспринимается как реальность сегодня.

Еще недавно сверхзвуковая скорость для человека в полете казалась мне пределом.

В 1961 году мне позвонили по телефону. Незнакомый голос сказал: «Человек в космосе. Выезжаем записать для радио ваш отклик».

Сознаюсь, в первую минуту я воспринял этот звонок как розыгрыш. Но через полчаса в мою квартиру ворвались трое возбужденных молодых парней, и когда один из них, не поздоровавшись, бросился ко мне в кабинет, я даже заподозрил недоброе.

Портативных магнитофонов тогда еще не было. Из окна моего кабинета спустился вниз длиннейший провод к стоявшему на тротуаре выездному агрегату.

Весть была радостная: советский человек — первым во всем мире! — проник в таинственный космос. Радостные вести усваиваются легче дурных, и, преодолев растерянность, я нашел какие-то слова, чтобы приветствовать начало новой, космической эры.

Черные вести вламываются в сознание труднее.

В годы войны мне казалось, что я знаю о взрывчатых веществах все. Знание мое ощущалось как предел возможного.

Финский залив был напичкан взрывчаткой на всех уровнях. Мины были донные и плавающие, контактные и акустические, антенные и магнитные, сетевые и многоимпульсные. «Суп с фрикадельками», — острили моряки. И ходили по минам. Чтобы прорваться на Балтику, подводники форсировали минные поля.

На осажденный Ленинград были сброшены тысячи бомб. Рушились многоэтажные дома. Тяжелая артиллерия была по местам вероятного скопления людей. По трамвайным остановкам. Счет шел на тонны, на тысячи тонн. О мегатоннах мы тогда еще не слыхивали.

Казалось, это предел. Предел бесчеловечности. Дальше идти некуда. И уже поэтому — не может повториться.

«Это не может повториться», — думали мы во время Нюрнбергского процесса.

Об атомной бомбе, сброшенной по приказу Трумэна на японские города, я узнал, находясь поблизости — на действующем Тихоокеанском флоте. Трагизм события был осознан не сразу. Шла война. Япония была врагом, Америка — союзником. Потребовалось время, чтобы понять: нужды в атомном ударе, повлекшем за собой неисчислимые бедствия для японского народа, не было. Япония уже изнемогала. Бомба была нужна для демонстрации силы. Били по Японии, а думали о нас. Хотели сделать нас сговорчивее. Диктовать свои законы.

Безумная затея. Но это было еще только начало безумия.

После фултонской речи Черчилля началась «холодная война». Она породила гонку вооружений, опасное накопление запасов атомного оружия. Предел? Нет, не предел. Атомная бомба породила еще более разрушительную — водородную.

Если великие державы обладают возможностью уничтожить одна другую и погубить жизнь на Земле, то найдется ли безумец, способный развязать ядерную войну? Разрядка международной напряженности, достигнутая по почину Советской страны, вселяла надежду.

Оказалось, что безумию предела нет. Это стало ясно сразу, как только люди узнали о намерении нынешних правителей Соединенных Штатов начать производство нейтронной бомбы. Нейтронная бомба, утверждают ее создатели и пропагандисты, — «чистая» бомба. И даже «гуманная» — уничтожая людей, она не разрушает материальные ценности.

Нормальный людоед так рассуждать не может. Он должен быть еще и параноиком.

Параноик Гитлер хотел стереть Москву и Ленинград с лица земли. Современные милитаристы прагматичнее: зачем пропадать добру? Мешают только люди, а чужое добро не помешает, его можно проветрить и вновь пустить в дело.

Не нужно быть специалистом, чтоб как заведомую ложь отвергнуть пропагандный тезис, будто нейтронная бомба позволяет вести ограниченные ядерные войны и тем самым предотвращает глобальную катастрофу. Наоборот. Между обычными средствами войны и ядерными средствами всеобщего уничтожения перекинут сегодня опасный мостик. По этому мостику вьется бикфордов шнур, по нему огонь «ограниченной» войны неизбежно распространится дальше. Опыт последней войны говорит: когда схватка идет не на жизнь, а на смерть — всякие ограничения отпадают. Неужели Гитлер не сбросил бы на своих противников, в том числе и на американцев, атомную бомбу, если бы она у него была?

Нейтронная бомба тем и опасна, что она делает все более реальной нависшую над человечеством угрозу ядерной войны.

В Западной Европе справедливо опасаются, что «ограниченная» ядерная война придумана специально для европейского континента. Но пусть и американцы задумаются. Там, где паритет не служит сдерживанию, он создает равную для всех опасность.

Несколько лет назад я был в Америке. Любовался небоскребами Манхэттана, мемориалами и музеями Вашингтона. Но ехал я не к камням, а к людям. Без людей все эти создания человеческого гения мертвы и лишены смысла. Нейтронам ведь все безразлично...

Когда была сброшена первая атомная бомба, передовые люди всего мира и раньше всех те, кому человечество обязано умением расщеплять атом, немедленно поняли опасность. Сегодня эта опасность возросла и должна быть ясна каждому. Положить предел безумию милитаристов может только организованный отпор со стороны всех, кому не безразлична судьба нашей планеты.

АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК,
член Советского комитета защиты мира

НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ

Видный американский книгоиздатель, беседуя с московскими литераторами, сказал: «Мы, американцы, очень заняты сами собой, своей Америкой, и подчас остальной мир нам представляется где-то...» В этих словах были и поза, и кокетство, и попытка уйти от наших прямых вопросов. Но было в этом и признание, увы, очевидного.

Американский обыватель не столь наивен, чтобы полагать, будто нейтронная бомба или крылатая ракета есть плод научной фантастики, некий условный стратегический козырь в игре политиков либо, выражаясь философски, «вещь в себе». Нет, обыватель наверняка знает, что это достаточная реальность, если правительство США запускает нейтронную бомбу в полномасштабное производство, оплаченное из его, обывателя и налогоплательщика, собственного кармана.

Но порой мне сдается, что за океаном еще слишком расхож соблазнительный парадокс мышления: война допустима, если она произойдет далеко от Америки, где-то. Если нейтронная бомба окажется не «вещью для нас», а «вещью для них».

Можно ли психологизировать, когда речь идет о чудовищном нейтронном оружии, о термоядерной войне? Мне кажется, что нужно. Прежде всего потому, что человеческая психология и есть главная сфера внимания писателя. И еще потому, что нам не разобраться в насущных проблемах современного напряженного и тревожного мира без учета факторов массовой психологии.

Да, Соединенные Штаты принимали участие в двух мировых войнах. Я не отношусь к тем, кто склонен приуменьшать жертвы и тяготы, понесенные американским народом в этих войнах. Трагедия Перл-Харбора, лихая, но стоившая немалой крови высадка в Нормандии, бегство в Арденнах под ударами гитлеровских танковых колонн, морские и воздушные неотвратимые атаки японских смертников в Тихом океане — все это было вне сомнений, а для сомневающихся есть свидетельства Хемингуэя, Воннегута, других писателей Америки.

А потом был позор и крах империалистических авантур в Корею, во Вьетнаме. На недавнем Международном кинофестивале в Москве показывали вне конкурса отлично сделанный, честный, умный и горький американский антивоенный фильм «Возвращение домой»: об изувеченных, морально и физически раздавленных, сходящих с ума, кончающих самоубийством парнях, вернувшихся из Вьетнама... А что они там творили сами?

Но давайте проследим снова этот географический перечень: Нормандия, Арденны, Тихий океан, Корея, Вьетнам... Все это — вне Америки, где-то, бог знает где, очень далеко от собственного дома.

Две мировые войны обошли стороной американский континент, не коснулись ни пламенем, ни взрывной волной самих Соединенных Штатов. Не здесь ли следует искать причины, объясняющие наличие той благодатной почвы, на которой вызревают безответственность и безумство сменяющихся деятелей американской политики и стоящих за их спиной практически бессменных заправил военно-промышленного комплекса? Тех, что приказали сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, планировали тотчас после войны атомные бомбардировки советских городов, начинали смертоносным оружием погребя Европы и Азии, — ведь все это, опять-таки в представлении заворуженного пропагандой американского обывателя, где-то, все это «вещи для них», для неамериканцев, на чужую, так сказать, голову...

Если проследить год за годом и день за днем минувшее десятилетие, уже сейчас, мне кажется, весьма поучительное и для современников и для историков, то станет вполне очевидно, что добрый климат разрядки оказался возможным прежде всего благодаря трез-

вому пониманию реальностей, взвешенности потенциалов, сдержанности рассудка и чувств, восприятию мира как целого — одинаково уязвимо и одинаково драгоценного.

А резкое обострение международной обстановки на пороге 80-х годов, опасное сползание к конфликту, опять-таки имело в своем источке сначала приглушенный, невинно выговариваемый умысел, а затем провозглашенный во всеуслышание маниакальный план: разыграть ядерное апокалипсическое действо в некоем «предварительном», «ограниченном», «локальном» варианте. Вне Америки, вдали от нее.

История последних десятилетий убеждает в том, что каждый приступ военной лихорадки у деятелей Пентагона связан с появлением в их арсеналах нового оружия: атомной бомбы, водородной бомбы, нейтронной бомбы... Второй импульс обычно связан с выбором цели, местом его вероятного применения: Япония, Вьетнам, Европа...

Но история тех же десятилетий свидетельствует и о том, что всякий раз, раскрутив очередной виток гонки вооружений, поджигатели войны бывают вынуждены пойти на попятный: не может существовать оружия, которое не парировалось бы подобным. А для избравшего цель нет другой судьбы, как самому стать целью.

И действие уже обернулось противодействием. Во всех странах Европы ширится массовое и открытое возмущение бесстыдным и варварским намерением натовских стратегов сделать этот самый густонаселенный континент в мире складом и боевым полигоном нейтронного оружия, «средних» ядерных ракет. Гребень движения сторонников мира в Европе, судя по всему, лишь набирает разбег и мощь.

Защитники мира, борцы за мир не нуждаются в понуканиях: это те люди, которые всегда бдительны. Но есть у них еще один святой долг: растормозить обывателя, образумить глупца, встряхнуть ленивого. Втолковать ему, что нужно действовать, если он не испытывает соблазна оказаться горелым пушечным мясом либо вихрем молекул, связи которых распались.

ЕВГ. ВИНКУРОВ

ДУМАЯ О СУДЬБАХ МИРА

Последний год, работая над поэмой «На запад», я много думал о нашем веке, о судьбах человечества, о взаимоотношениях Запада и Востока. Неужели, думал я, человечество, сделавшее так много в области техники, не найдет общего языка хотя бы только для того, чтобы не погибнуть в пламени ядерной катастрофы?

Вторая мировая война, участником которой я был, показала, как каким неслыханным человеческим и материальным потерям приводит столкновение народов в нашу достигшую неимоверной военно-технической оснащенности эпоху.

В своей поэме мне хотелось показать финал минувшей войны, финал катастрофический для нацистской Германии, страны, развязавшей войну, забывшей, что всякое действие вызывает противодействие в сто раз более сильное. Никакая военная мощь не может устоять против объединившегося человечества, возмущившегося государственной организованной безнравственностью агрессора. Казалось бы, мир извлечет урок из минувшей всемирной трагедии.

Мы, вернувшиеся с той войны, считающие, что дали наконец-то планете мир, тревожно стали замечать, что на Западе опять слышатся нарастающие гулы, опять замелькали на страницах газет заголовки, вызывающие ощущение надвигающегося мирового пожара.

Я думал, работая над поэмой: всемирной бесчеловечности войны противостоит естественное этическое начало, свойственное природе человека, глубоко укорененное в нем.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН**ОДНА ЦЕПЬ И ОДНА ЦЕЛЬ**

Трудно представить себе оружие более циничное, более бесчеловечное. Это похоже на шантаж и террор, применяемый мафиями. Только размах производства здесь куда больший — государственный.

Даже представители животного мира теперь защищены законом. Для них есть Красная книга. Кем же должен охраняться человек?

Кто бы что ни говорил, но нейтронная бомба — это промышленный выпуск продукции для массового уничтожения людей. Массовое же уничтожение людей может быть задумано кем угодно, только не людьми.

Я был на войне и видел немало страшного. Но самое ужасное — это пепелища сожженных гитлеровцами деревень вместе с жителями — детьми и стариками. Самое непостижимое — бараки и газовые камеры Освенцима и Бухенвальда, поглотившие сотни тысяч жизней.

Нейтронная бомба — это то же самое, только в еще большем масштабе. Одна цепь и одна цель.

Не стоит закрывать глаза на то, что нейтронная угроза стала страшной реальностью. Против кого же это? Против людей. Против нас. Против наших детей и внуков.

В медицине существует термин «фактор риска». Сейчас этот фактор вырос — в масштабах Земли — как никогда.

Носители новой бомбы успокаивают легковверных тем, что после нейтронной войны уцелеет наша планета. Но они умалчивают, что при этом, вспыхнув, погаснет сознание погибающего человечества.

ДЕМЕНТИЙ ШМАРИНОВ,*народный художник СССР***ОТСТОИМ МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ**

Взлетевший в космос Гагарин первым увидел наш голубой шарик во всей его беззащитной прелести. Оберегать, защищать свою планету — вот чем должно быть движимо человечество в каждом своем поступке и решении. А мир сейчас живет будто под дамокловым мечом, будто со взведенным курком, что приставлен к виску планеты.

Да, человечество всегда тревожилось угрозой конца — достаточно вспомнить призрак чумы, косившей целые города. Изобразительное искусство отразило это с громадной силой. Теме апокалипсиса посвящены высочайшие произведения изобразительного искусства. Микеланджело «Страшный суд» — это конец мира. Мир исчезает...

То, что изображало искусство прошлого, мракобесы с нейтронной бомбой в руках хотят превратить в реальность. Мысль о том, что конец мира может произойти от самоубийства человечества, — мысль чудовищная.

Нейтронная бомба — якобы чистая, якобы гуманная? Она уничтожает только людей? Бомба, сохраняющая творения рук человеческих, но уничтожающая ее творца, — это ли не вершина безнравственности и цинизма!

Мы, деятели культуры, поднимаем свой голос против атомной смерти, против нейтронной смерти. Каждый советский художник, садится ли он за письменный стол, становится ли к мольберту или берет в руки музыкальный инструмент, объективно работает в защиту мира, против призрака атомной войны, против угрозы нейтронной бомбы — мы верим в бессмертие человеческой культуры, в бессмертие человеческого разума.

НАВЕКИ ВМЕСТЕ



*К 250-летию добровольного присоединения
Казахстана к России*

ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ

Послушай-ка, сынок

Сынок, не смейся над отцами:
Мол, хоть и смотрят молодцами,
Да животы их — с шар земной...
Все было нами перемолото,
Поскольку не боялись смолоду
Мы тесноты, нужды и голода,
Гордясь негнущейся спиной.
Давно не юные джигиты,
Теперь богаты мы и сыты,
Теперь, как видишь ты, открыто
Пришла к нам даже полнота.
Забыты кое-кем тревоги,
Крутые пройдены дороги.
Но пору испытаний многих
Мы не забудем никогда.
Да как и позабыть такое?
И мой ввалившийся, не скрою,
Живот от голода порою,
Казалось, прилипал к спине.
Враги хватали нас за горло.
И все ж мы устояли гордо,

Чтоб гордо устоять стране.
Да, в животах отцов немало
Камней и бранного металла.
Но совесть наша не знавала
Постыдной ржавчины пока.
А это ли не испытание?
И согревает нам сознание,
Что нет на свете выше звания,
Чем звание фронтовика.
Мы—было время!— как верблюды,
Держались сутками не худо
Без пищи и глотка воды.
Отцам за щедрым дастарханом
Отказываться как-то странно
И от питья и от еды.
Врач, наши позабуди недуги!
Сынок, над нами на досуге
Ты не подшучивай опять!
Мы полноваты? Но недаром
И к тяжести земного шара
Нам с давних пор не привыкать.

* * *

Зачем, скажи, зачем к нему пришла ты,
Как та зубная боль, что не унять?
Тебя из сердца вырвал он когда-то,
Так ты во сне явилась вдруг опять.
...Он был тогда порыв и нетерпенье,
А ты дышала юностью степной.
Казалось, в нем пылало вдохновенье,
А ты дрожала как над крутизной.
Не слышно было смеха или шуток,
Не ощущалось прежнего тепла.
Боролись в нем безумье и рассудок,
А ты травинку медленно рвала.
Он знал, что ты теперь живешь в печали:
Даны права другому на тебя.

А губы твои нежно трепетали,
 Не просто ожидая — торопя...
 Но как понять такое состоянье
 У сбывшейся надежды на краю:
 Он сам хотел продлить свои страданья
 И недоступность сохранить твою.
 Мечта прекрасней будничного часа.
 В арбу не запрягают скакуна.
 Кто лебедя пленить сумеет сразу,
 Тот не постигнет красоту сполна.
 Ты не казалась больше беззаботной:
 Вздох грустен, взгляд немного напряжен.
 Твоей растерянностью мимолетной
 Не захотел воспользоваться он.
 Он лишь потом — с годами — эту тайну
 Решился мне доверить одному.
 А я молчал и думал: не случайно
 Знакомо благородство и ему...

На могиле Мухита

Зимой здесь буран ревет сердито,
 А летом даль песчаной мглой закрыта.
 Зато не раз когда-то Акбакай
 Внимал напевам самого Мухита:
 «Без Айнамкоз мне песня не желанна.
 Я для красоты надену два чапана
 И с временной подругой посижу:
 Она не хуже той, что постоянна!»
 Доныне у ненастий на примете
 Близ Саралжин слова ликуют эти.
 Красавица в объятьях этих слов —
 Как серна, вдруг попавшая в сети.
 Но сколько б нам ни горевать всем вместе,
 Едва ли от Мухита будут вести:
 Тот ныне спит под холмиком земли,
 Кого три джуза славили за песни,
 Кто, как родник, упрямо и отважно
 Близ Акбакая взял разбег однажды,
 Чтоб все казахи нынешней порой
 Искусством щедрым утоляли жажду.
 Мухит во мне и в радости и в горе,
 Я памяти о нем строкою вторю.
 Его могилу бережно хранят
 Потомки тех, кто жил с ним на просторе.
 Я долго перед ней стоял в печали.
 Молчала степь, мираж струился в дали.
 Когда б Мухит за песню плату взял,
 Тут не простой мазар — дворцы б стояли.
 Но слава не оставила поэта,
 Хоть денег он не брал за то, что епето.
 Мухит! Его мы ставим в гордый ряд
 Курмангазы, Биржана, Махамбета¹.

Перевел ВЛ. САВЕЛЬЕВ.

¹ Великие казахские народные композиторы и поэты прошлого.

АБДИЛЬДА ТАЖИБАЕВ

Шестистишия

* * *

Домбру Джамбул мне в руки положил ².
 «Играй, — сказал, — покуда хватит сил».
 Джигитом ты пребудешь навсегда,
 коль сам Джамбул тебя благословил.
 В стихах — вся жизнь. А прочее — суеты.
 Стихи мои не все еще пропеты.

* * *

Без матери я рос, жил сиротой
 и в детстве, помню, знался с нищетой.
 Но, словно мать, родимая земля
 меня питала хлебом и водой.
 Как не сказать спасибо ей за это?
 Ее теплом душа моя согрета.

* * *

Глаза открыл — и вот она, весна!..
 Как удивительно! Опять пришла она!
 Встаю, иду приветствовать скворца,
 которого увидел из окна.
 Я пью весну и от нее хмелею.
 А многие ушли, не встретясь с нею...

* * *

Бывает так, что нынче я творю,
 а завтра музе дверь не отворю.
 Сегодня — в грусти, завтра я — в тоске:
 себя корю, потом опять горю...
 Холодное с горячим чередую —
 ценю я жизнь, люблю ее такую...

* * *

Лесная сень, ты — колыбель моя!
 Ты, Алатау, — крепость бытия!
 Арал, Балхаш — глаза степи и две
 струны домбры — Иртыш и Сырдарья.
 В родном краю навстречу ветру жизни
 шагаю гордо с именем отчизны.

* * *

Покуда Алатау гордый вид
 своим величьем грудь мою теснит,
 покуда мой народ своим сынам
 крыла дарит, лететь велит в зенит —
 я, Абдильда, навек пребуду в силе,
 кичиться силой буду и в могиле.

* * *

Ответь-ка мне: ты знаешь, кто есть кто?
 Мы говорим: тот — нечто, тот — ничто.
 Глупцу себя вовек не изъяснишь,
 будь ты его мудрее раз во сто...
 А кто есть кто — про то народ рассудит:
 небось мудрец в глупцах ходить не будет.

Перевел БОРИС ПЧЕЛИНЦЕВ.

² Абдильда Тажибаев в молодости был секретарем Джамбула.

МАРИАМ ХАКИМЖАНОВА

* * *

Я щадить не думала себя.
Эту жизнь, крутую как вершина,
я над непогодами вершила,
с детства безотчетно люблюя.
Я постигла таинства ее
и в душе хранила сокровенно,
дабы оставалось неизменным
к людям сострадание мое.
Мне дана огромная страна,
я впадаю здесь в любую реку,
разливаюсь с ними — и от веку

жизнь моя звездой освещена.
Эта восходящая звезда
день за днем для нас все ярче
светит,
и растут под нею наши дети,
им беда любая — не беда!
Им пройти сквозь тысячи преград,
сохранить бессмертие народа.
Повторяю: мир, простор, свобода—
и стихи над родиной летят!

Календарь

Едва во двор придет январь
и постучит ко мне,
я толстый новый календарь
повешу на стене.
И, отрывая по листку
в рассветной смене дней,
однажды я впаду в тоску
о юности своей.
Пускай свободная строка
отметит каждый час.

Взлететь бы мне под облака,
взлететь хотя бы раз!
Мой календарь! Пока ты бел.
Но минет срок, и вот
(у всякой жизни есть предел!)
пройдет и этот год.
Оторван календарный лист,
светлеет небосклон...
Да будет день грядущий чист,
да будет вечен он!

Перевела О. САВЕЛЬЕВА.

СЫРБАЙ МАУЛЕНОВ

* * *

Вы, рощи русские, прошли огонь войны,
И мною ваша помощь не забыта:
Вы постоянно были мне нужны —
От бомб и пуль надежная защита.
С березой каждой, с каждой сосной
Я дружбу вел, когда рвались снаряды,—
Ведь листья над моею головой
Над каскою сомкнуться были рады.
Горел, как уголь, я в тисках огня,
Когда война летела по отчизне,
Но ваши корни все ж спасли меня,
Глубокие, как вечный корень жизни!

* * *

Если в горы придя к пастухам,
Ты попьешь ледяного кумыса —
Прикоснешься губами к цветам,
Чей нектар в молоке растворился.

Станут слушать тебя чабаны —
Взгляды их простодушны, приветны,—
А потом при мерцанье луны
Запоют, как рассветные ветры...

Перевел О. ДМИТРИЕВ.

ХАМИД ЕРГАЛИЕВ**Разговор со старцем**

Старец однажды ко мне обратился:
 — Время быстрее летит, что ни год.
 Только вчера с ишаком я простился,
 Нынче, гляди, уже сел в самолет.
 Нынче и ем я гораздо вкуснее
 И надеваю все то, что люблю.
 Бедность? Давно распростился я с нею —
 Сладко я пью и на мягком я сплю.
 Нынче мы все образованней стали —
 Общество наше за этим следит.
 Прежние годы давно миновали,
 Меньше и сплетен, и ссор, и обид...—
 Верно, живем мы не прошлым, а новым.
 Каждый похвастать успехами рад.
 Что ж не коснешься ты, старец, и словом
 Дела, которым ты в жизни богат?
 Дряхлость — она неизбежна, конечно.
 Даже козленок не век в молодых...
 Чем горевать, что года быстротечны,
 Лучше припомнить, как прожил ты их.

* * *

Жизнь улицы подчинена закону:
 Хоть улица просторна и длинна,
 Огнями светофора непреклонно
 Тебе приказы отдает она.
 В нее другие улицы, как в реку,
 Впадают, а она себе течет.
 Здесь ждет зачет нелегкий человека —
 На скромность и на выдержку зачет.
 Лишь свет зеленый мягко загорится,
 Ты знаешь, что свободен переход.
 Путь, пройденный тобой, соединится
 С тем, будущим путем, который ждет.
 Да, это все тебе давно известно,
 Но, подавая, брат, пример другим,
 Подшучивать над этим неуместно —
 И ты к словам прислушайся моим.
 Когда б не я, тебя сгубил твой норов,
 Последнею бы стала эта ночь,
 Все может плохо кончиться,
 Коль скоро ты лихость не сумеешь превозмочь.

Джезказганские мотивы

Вся эта земля была пройдена мною,
 Здесь водный впервые открылся мне путь.
 Когда пролетаю над этой землею —
 Спешу на нее хоть вполглаза взглянуть.
 И ритмом стремительным связаны тесно.
 Мы все — словно члены единой семьи.
 Мне высь, и земля, и вода — как невесты,
 Всегда им распахнуты двери мои.
 И вот я спускаюсь в подземные недра.
 И шаг мой неслышен и вдох неглубок.
 Подошвами чувствую, как незаметно
 Невидимый камень крошится в песок.

Тихи, молчаливы застывшие своды.
 И тысяча метров земли надо мной.
 Стихи — водопад! Может, их на свободу,
 Наверх отослать вместе с медной рудой?
 Нет! Эти стихи для меня — как богатство.
 И если мои потускнеют следы,
 Хочу, чтобы строки мои не погасли,
 Блестели, как медь в монолите руды.
 Эпоха эпохе приходит на смену.
 Не вечны и звезды и каждый из нас.
 Металл, чтобы быть со стихом неизменно,
 Еще переплавится несколько раз.
 Кто гибель обоим пророчит — ничтожны.
 Какой бы суровый черед ни настал,
 И стих и металл победить невозможно.
 Пусть счастливы будут
 И стих и металл!

Перевел ВЛ. САВЕЛЬЕВ.

ХАЛИЖАН БЕКХОЖИН

Голос России

Когда еще был я мальчишкой вихрастым,
 Любви и поэзии вовсе не знал,
 Дыша учащенно и радостно, часто
 Верхом по степи я как ветер скакал.
 Однажды в ту пору, в то давнее время,
 Костер я увидел в родимых краях
 И вдруг услышал, придержав свое стремя,
 Как пел о любви седовласый казах.
 Откуда пришла, появилась откуда
 Ты, русская песня, в безбрежье степей?
 Письмо русской девушки — это ль не чудо! —
 Поет по-казахски степной соловей.
 Глаза старика застигались туманом,
 Мерцали волшебные вспышки огня,
 И женщина с именем русским Татьяна —
 Любовь и стихи — покорила меня.
 С тех пор эта песня не раз мне звучала,
 И слышало радостно ухо мое,
 Как эхом весенняя степь повторяла
 Протяжные, нежные строки ее.
 Слышал я, как пели с волнением глубоким
 В колхозных аулах, в счастливом краю
 Джигиты степей для подруг чернооких
 Посланье Татьяны как песню свою.
 Я знаю, как в пору цветенья ромашки,
 В ту пору, когда зацветает трава,
 Влюбляются вслед за Татьяной казашки
 И шепчут ее золотые слова.
 Абай наш, мы трижды тебе благодарны
 За то, что ты русское слово любил
 И щедрой рукою, как свет лучезарный,
 Поэзию Пушкина нам подарил.
 Наш Пушкин! Еще в те далекие годы,
 Когда нас в оковах держал произвол,
 Ты с песней любви и стихами свободы
 В казахскую степь словно к братьям пришел.
 Народ мой тебя с восхищением слушал:
 Ты мыслью казахскую мысль разбудил,

Ты русское сердце и русскую душу,
 Как двери в свой дом, перед нами раскрыл.
 Нет равного Пушкину в мире поэта
 И песен, которые так бы цвели,
 Как нету на свете прекраснее этой
 Родившей нам Пушкина русской земли.

Перевел Я. СМЕЛЯКОВ.

КАБДЫКАРИМ ИДРИСОВ

Дерево Луконина

За то он дорог мне,
 за то он мной любим,
 мой яблоневый саженец,
 что летом
 в моем саду посажен был поэтом,
 и любо мне ухаживать за ним...
 Жил человек.
 Луконин.
 В нем с лихвой
 запасов было доброты и силы.
 Душа его унынья не сносила —
 он был веселый, щедрый и лихой!
 Все ввысь
 зеленый тянется росток.
 К нему в молчанье подхожу я снова.
 Ушел поэт из жизни
 и ни слова
 промолвить в назиданье мне не смог.
 А жизнь идет,
 восславленная им,
 и в свой последний час
 ее он славил.
 Он был солдат
 и стих нам свой оставил —
 штыку тот стих и друг и побратим.
 Ушел поэт,
 и его голос стих...
 Не стихли лишь стихи —
 звучат как прежде,
 вызванивают светлый зов надежды,
 и только нет хозяина при них...
 Я прикасаюсь к тонкому стволу,
 душевное хочу унять смятенье.
 А листья — как его стихотворенья:
 лучат весну,
 весне поют хвалу!
 В той вешней песне
 жизни вещей клич.
 Я вслушиваюсь в смысл ее глубинный.
 И мнится мне,
 поет поэт былинный —
 свидетель нашей были,
 мой Кузьмич.
 Года пройдут.
 У солнца на виду
 плоды нальются щедрым вешним светом.
 И мы с друзьями вспомним о поэте
 под яблоней Луконина в саду...

Перевел БОРИС ПЧЕЛИНЦЕВ.

ЕСЕТ АУКЕБАЕВ

Люблю

Эта жизнь своим величием
 Всюду трогает сердца...
 Я люблю и песню птичьую
 И призывный крик птенца.
 Я вбираю спозаранок,
 Позабыв ночные сны,
 Голоса степных смуглянок
 И дыхание весны.
 Звуки, звуки отовсюду
 Надвигаются, чисты.
 В них и ожиданье чуда
 И прекрасного черты.

В них и тяга к небосводу
 И ко мне стремление в них.
 Ощущаю, как с природой
 Я сливаюсь в этот миг.
 Прохожу ее науку,
 Той же радостью звеня.
 А без вечных этих звуков
 Я б не смог прожить и дня.
 Я люблю кипенье жизни.
 Пусть над миром мчат года...
 Пусть во мне моя отчизна
 Не умолкнет никогда.

* * *

К нам время то сурово,
 То ласково опять.
 Всегда ли можно словом
 Такое передать?
 Хоть дело тут простое,
 Да сам-то сможешь ты

Ответить теплою
 На оклик теплоты?
 И все ж давай-ка будем
 Мы помнить и о том:
 За все добро их
 Людям пора воздать добром.

Перевел ВЛ. САВЕЛЬЕВ.

ФАРИЗА УНГАРСЫНОВА

* * *

По жизни пройду-пробегу,
 словно пламенем обожгу:
 дряхлому старику
 собою о молодости напомнить смогу,
 высотой обожгу —
 тисчатся туда птенцы молодые взлететь;
 мечтой опалю, которой от роду
 восемнадцать девичьих лет;
 зарею рассветной — героев тех,
 кто пред судьбой не склонил головы;
 неутолимой страстью юной вдовы;
 светом утренних сумерек, когда, опьяненные
 лаской ночью, веки смыкают влюбленные.
 Когда увидят меня, мятежную,
 пусть удивятся, изнеженные,
 в изнеможении зависти шепчут ропотом бранным:
 не знают они
 душу степного бурана!

Шаг свой стремлю
 навстречу большой мечте.
 Покоя чуждой, душе моей —
 зори рассвета в подмогу.
 Мне не годятся в попутчики те,
 кто не в силах шагать со временем в ногу!

Мне ли пристало
 в мещански-спокойной,
 унылой радости жить?
 Пустословие славы я никогда не переносила.

Стих мой прочти —
и душу твою огнем пусть заполошит,
восхоти сотворить такое,
чего время стереть не в силах!

Как хочу я,
чтобы с другими спутать меня не смогли!
Трусливые, бойтесь в глаза мне глянуть:
в них правда живет, она мой кумир!
Какой еще смысл жить на этой земле,
если не тот, чтоб жизнью своею нагряться,
и ярко блеснуть, и —
удивить мир!..

Авторизованный перевод БОРИСА ПЧЕЛИНЦЕВА.

МАРФУГА АЙТХОЖИНА

Привет тебе, земля

Привет тебе, земля, от дочери твоей!
Как много, говорю, есть общего меж нами:
Весь жар моей души — от солнечных лучей,
А мужество — от гор, блистающих снегами.
Мне нежность подарил твой самый первый мак,
От пенья твоего и я запела тоже.
Ты в косы мне вплела ночей крошечный мрак.
Судьбою и лицом я на тебя похожа.

* * *

То ли флейты, то ль струны дрожанье
Долетело вдруг издалика.
Было в этой музыке дыханье
Легкого степного ветерка.
Может, это просто чья-то тайна,
Песня, у которой нету слов,
Может, это прозвучал случайно
Долгожданный соловьиный зов?
Может, дождь пролился по соседству,
Может быть, сбылись мои мечты...
Что бы это ни было, но в сердце
Сохранился отзвук доброты.

Перевела Т. КУЗОВАЕВА.

РАХМЕТОЛДА НУРПЕЙСОВ

* * *

Прозрачный воздух. Молодые травы.
Журчащего ручья витая нить.
Я это, я, прохладный мой джайляу,
Пришел к тебе, чтоб жажду утолить.
И то, что здесь я словно бы впервые,
Мне показалось и на этот раз.
Я слез с коня. Я рву цветы степные,
Как будто детство в них ищу сейчас.

* * *

Жизнь — цветок.
Жизнь — красота.
Жизнь — песня.

Жизнь любили многие — и вот
По путям, которых нет чудесней,
Я сегодня устремлен вперед.

Жизнь — сады.
Жизнь — радость.
Жизнь — звучанье.
Не секрет для сердца моего:
Многие платили смертью ранней
За ее размах и торжество.

Жизнь — любовь.
Жизнь — солнце.
Жизнь — отчизна.
И, познавший всякого сполна,
Жизнь я дополняю только жизнью,
Чтоб дышала юностью она.

Перевел ВЛ. САВЕЛЬЕВ.

ИРАНБЕК ОРАЗБАЕВ

* * *

Это осенний разгром и разлад...
Яростный ветер ворвался в наш сад.
Скрючены ветки кустарников голых.
Корчатся корни, листья летят...
Вот и ушла ты в обиде глухой,
Сердце оставив мое сиротой.
Стынет земля словно черная рана.
В горе ослеп небосвод надо мной.
Это разлука — седой солончак...
Страсть пересохла. Не выжить никак!
К небу в тоске простираешь ты руки.
Взглядом впиваюсь я в землю, во мрак...

* * *

Дни словно птицы летят без тебя.
Слеп небосвода взгляд без тебя.
С тополя крону сорвал, искромсал
Ветер безводных степей — керимсал.
Чуя, что близится смертный конец,
Плачет, отбившись от стаи, птенец.
Этот птенец несмышленный — я.
Тополь сухой, оголенный — я.
Мир без тебя... О, как пуст этот мир,
Словно обглоданный зноем такыр³!
Чуда хочу! Мою боль укроти!
Камень бесплодный в хлеб обрати!
Молят о чуде губы мои:
Облаком стань! Не томи! Напой!
Чуда хочу! Пусть разверзнется высь!
Чуда хочу! Оглянись, отзовись!
Чуда!.. Чтоб тополь листвой шелестел,
Чтобы птенец вслед за стаей летел...
Чуда!.. И, влагой твоей напоен,
Вскрикну, раскроюсь, как будто бутон.

Перевела НИНА ГАБРИЭЛЯН

³ Равнина в степи.

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ

★

РАССКАЗЫ

НЕВОЛЕНКА

Живет на земле человек с отупляющей и болезненно ноющей в душе идеей сделать что-нибудь полезное для людей, но никак у него ничего не получается из этого. Когда, например, при нем или неподалеку от него возникает разговор о чем-либо затруднительном, он прислушивается, возбуждается и спешит на помощь.

— Ну что, мужики? Какие проблемы? — спрашивает так, будто без него дело не сможет продвинуться и никто, кроме него, не в силах найти правильного решения «проблемы». Даже дыхание перехватывает от желания услужить людям.

Ему всегда кажется при этом, что если мужики о чем-нибудь задумываются, в чем-то затрудняются, то это, конечно же, «проблема» с выпивкой. У него в силу привычки выработалось особое чутье на это. Если иной раз он оказывается прав, не ошибаясь в своих предположениях, и умудряется с помощью смекалки и накопленных знаний найти выход из создавшегося положения и помочь людям, то испытывает при этом наслаждение, не сравнимое с тем глотком спиртного, который он получает за свой труд. Он вообще привык думать, что если собрались мужики и если они чем-то всерьез озабочены, то это, разумеется, наиглавнейший вопрос жизни: где достать бутылку? Он имеет на этот счет особое мнение и, кажется, гордится своим знанием людских слабостей, получая, впрочем, некоторую выгоду для себя, если ему удастся помочь действительно страждущим и жаждущим и если, конечно, его не посылают к черту или еще куда-нибудь.

Человек он негордый и никогда не обижается, если его не понижают. Он только усмехается и, оглядывая обидчика, производит губами слюняво-чмокающий звук, говоря с грустью в голосе:

— Значит, эта... не получилась дружба... Что ж... Дело хозяйское. Мне-то все равно — любить или ненавидеть. У меня совесть как стеклышко. Помочь вам хотел. Вот и все. Счастливо оставаться.

И уходит, жалея людей, не оценивших порыва тоскующей души.

Он даже на обидную кличку «обормот», которая приклеилась к нему, не особенно обижается и, откликаясь на нее, жалеет втайне людей, которые так неуважительно могут обращаться к человеку, готовому в любой момент прийти им на помощь. Смотрит на них с привычным любопытством, словно бы непрестанно изучает их повадки, и как бы говорит своими щурящимися, внимательными глазками, в которых вечно светится мутная какая-то и не защищенная злостью зеленца: «Ох, люди, люди! Жалко мне вас», чувствуя себя при этом выше всяких обид, выше людских страстей и самих людей, способных обозвать его обормотом.

Деньги у него никогда не задерживаются, не залеживаются в карманах. Он вообще всегда без денег, зная при этом, что у людей, кото-

рые окружают его, тоже их никогда нет. Но если мужики задумываются всерьез, то кое-какие деньжата все-таки появляются неведомо откуда. Словно бы они, треклятые, образуются из воздуха, из эфира, из ничего, когда дело касается «проблемы». В этом странном явлении как в фокусе отчетливо проглядывается, разумеется, еще одно преимущество коллективной сплоченности людей, когда даже невозможное становится возможным. Люди веселятся, испытывая чувства необыкновенные, как будто на глазах у них произошло чудо, в которое они до сих пор не верили. И зовут на помощь обормота.

Бывают, конечно, минуты в жизни, когда его дружески похлопывают по плечу, доверительно смотрят в глаза, что случается не так уж часто, и говорят прочувствованным хмельным голосом:

— Хороший ты человек, Вася, но дурак. Ты сам-то хоть понимаешь, что ты дурак?

— А чего ж, конечно, понимаю,— охотно соглашается он.— А то бы я начальником был.

Родился Вася в деревне с женственным названием Анюты, растянувшейся вдоль шоссе, неподалеку от реки Неволенки, которая впадает в озеро.

Сосновые боры, или, как их еще называют, боры-верещатники, растущие словно гигантская какая-то трава на песчаной всхолмленной земле, заполнили все обозримые пространства вокруг деревни. И если с какого-нибудь высокого холма оглядеться вокруг, то ничего, кроме сосен, и увидеть нельзя. Сосны не очень большие, растут густо, тесня друг дружку, падают, отжив свой век, стволы их обметывает голубовато-серый лишайник, затягивает вездесущий вереск, по имени которого и называют боры верещатниками, а на их месте вырастают новые сосны, не уступая и пяди земли другим каким-либо породам деревьев. И так было тут испокон веку.

Занятые соснами холмы и лощины, впадины и возвышения, отдаляясь от человеческого взгляда, сливаются в волнистые ленты, из ярко-зеленых становятся туманно-синими, а потом и мглисто-голубыми, бирюзовыми, едва различимыми на грани неба и земли. Море какое-то, а не лес! Лишь иногда в августовский день среди этих волн прожелтеет, словно соломенная крыша, клочок обработанной земли, засеянной овсом, да в сырых низинах, в подоле, по окраинам обширных вырубок блеснут белизной березки, заросшие ржавым папоротником. Змеиные, гиблые места. А так все сосны да сосны — куда ни кинешь взгляд.

В ясные дни расходящиеся во все стороны света зеленые, синие, голубые волны, весь этот сосновый край бывает так нежно, так ласково окутан небесной голубизной, так ярко бывают высвечены, вырисованы млеющие в теплом воздухе сосны, так четко и ясно виднеется каждая зеленая игла на маслянисто-желтых вершинах сосен, освещенных солнцем, такой смолистой настой льется в грудь, что любая песчаная дорога в бескрайнем лесу кажется дорогой в рай.

Впрочем, тут и в самом деле рай. Не иначе как по райской долине протекает река Неволенка, над которой растут могучие, ветвистые, обласканные солнцем и свободой сосны, которые кажутся какой-то другой породы, нежели их бесчисленные сестры, живущие в тесноте и скученности.

В прозрачной воде торопливой Неволенки смутно светлеют на перекатах песчаные гривы, намытые течением реки. Зелеными струями волнуются у берегов космы густых водорослей. На пойменных топких лужках в тихих и глубоких старицах, в речных этих лагунах, заросших глянцевыми листьями кувшинок и лилий, поднимаются по утрам из подводного своего царства и распускаются в ясные дни бело-розовые сказочные цветы, сияя в солнечных лучах среди темно-зеленых листьев и желтых кувшинок, которых тут великое множество.

В подводных зарослях спокойно и неспешно плавают, как в каком-нибудь питомнике, всякие мелкие рыбешки: окуньки и плотвички, язята и яркие красноперки. Дикие утки приводят сюда свои выводки. В лужках гнездятся бекасы. В тишине туманных зорь каких только голосов и звуков не услышишь на берегах Неволенки! Кто-то осторожно и неторопливо прошлепает в топких зарослях осоки на том берегу, замрет, прислушиваясь, и, опять шлепая и шурша осокой, пойдет невидимый по своим делам, а потом остановится и, сочно чавкая, начнет что-то есть. Кто такой? Как его зовут? А бог его знает. Живет тут, никому не мешает, что-то, наверное, по-своему думает о жизни, о чем-то заботится, кого-то боится, кого-то и сам пугает, сытым бывает и голодным, веселым и злым, как и положено всякому живому существу. А какое из себя это скрытное, сумеречное существо, во что одето и как выглядит — этого никто не знает, потому как охотников тут мало, а если и есть у кого-нибудь ружье, то стреляют из него только по уткам.

На вечерних и утренних зорях на реке играет крупная рыба, взрывая плеском туманную тишину. Орут в деревне петухи. Свистят в воздухе утиные крылья. Лают собаки. Шоссе пустынно в эти часы, и редко-редко прошуршит одинокая машина.

Людей тут мало. Только вдоль шоссе и живут они, не углубляясь в лес, делать в котором человеку, в общем-то, нечего. Единственный промысел — сбор живицы — давно заглох. На соснах остались потемневшие следы насечек да валяются кое-где проржавевшие до дыр жестяные колпачки, в которые стекала когда-то душистая живица, белая сосновая смола.

В тишине и покое стоят сосновые леса. Зимой, опушенные инеем, кажутся серыми, летом жарко сияют зеленью и медью, лиловеют стелющимися всюду жилистым вереском.

И так тут было испокон веку. Безлюдно, диковато и однообразно.

Вася после службы в армии в деревню не вернулся, поселился в районном городке. Работал на каком-то механическом заводике, пока не переехал в новый научный городок, построенный на голом, как говорится, месте.

О заводе у него остались довольно странные воспоминания, которые ни с того ни с сего срывались вдруг у него с языка, будто его что-то осеняло и он мысленно отлетал в свое недавнее прошлое не в силах промолчать, утаить все это от людей.

— Раз послали за водкой, — начинает он свои воспоминания. — Дело на заводе, через проходную не пронесешь, только через забор. Одного на руках опустят на землю, тот бежит, возвращается с водкой, его опять на руках принимают. И порядок! Но раз было... всю водку, ни много ни мало — шесть бутылок, принял главный инженер. И веришь ты! Не отдал. Разбил на глазах у всех! Во как казнил!

Сочувствующих мало. Да и те только протянут неопределенное «да-а-а». И забудут об этих неудачах.

А Вася, словно бы освободившись от былой печали, не найдя заинтересованности в людях, продолжает опять свое:

— Раз послали за водкой, а тут кран на завод въезжает. Крановщика попросил, тот и провез. Честный попался. Мы ему налили, все чин чинарем, а он — нет, не могу, не могу, говорит, за рулем. Порядочный человек. А вот раз было... послали за водкой, а тут мазут привезли в цистерне. Тот взял и не отдал — уехал. А было ни много ни мало — семь бутылок. Пообедали хлебушком с маслицем!

Он испытующе смотрит на людей, ища сочувствия или хотя бы переспросов каких-нибудь, заинтересованности. Но люди будто не слышат его, безучастны к его печалям и радостям. Мало ли что бывает в жизни.

В Васиных глазках розовеет робкая смущенность. Оглядывает людей в недоумении и растерянности, бегая по их лицам вопросика-

ми: «Как же так? Столько бутылок пропало, а вам хоть бы что! Ох, люди, люди, жалко мне вас, ей-богу». Он и тут только о людях думает, забывая о себе, заботится о них, стараясь развлечь, любит их и жалеет, как маленьких, обиженных судьбою детей, рассчитывая при этом, или, вернее, надеясь, на ответные чувства, и очень тоскует, если люди не понимают его.

В такие тоскливые минуты жизни он напивается и проклинает все, что окружает его: город, пыльные мостовые, вонючие грузовики и несчастных горожан, которых он ненавидит в эти мрачные дни.

— Эх, люди-люди! Жизнь только по телевизору и видите. Забыли, какая она настоящая! Вот наша деревня! Красиво стоит, на водобеге. Сосны кругом, пески, воздух... Утки дикие летают вечером, рыба в реке плещется. Вот где жизнь! А вы все это... все по телевизору на нее смотрите, а она там, за окошком. Ну вас всех к черту, уеду я от вас. Надоело все! Так надоело, что душа болит.

И даже иногда плачет от бессилия помочь людям.

— Людей люблю,— говорит он сквозь пьяные слезы.— Хороших моих... товарищей...

И плачет еще горше, потому что понимает, что товарищей-то у него и нет. Один он, как кукушка в лесу, в этом городе, который разлегся промеж двух больших дорог, железной и асфальтовой, в семидесяти километрах от родной деревеньки, в которой только и были у него когда-то товарищи, такие же мальчишки, как он сам. Матери ихние, как и его мать, пережили войну и немецкое нашествие. А теперь в деревне и школы нет, в которой Вася Мухарёв когда-то учился, потому что возраста такого нет в деревне, детей нет: одни только старухи да одинокие женщины остались. А дети и внуки их выросли и разбрелись по свету.

Так это горько ему сознавать, что хочется товарищей всех найти, собрать вместе и поплакать от души: у всех небось нашлось бы по рубляку, сбросились бы по-товарищески, повспоминали бы детство, разве один-то вспомнишь все, что было.

Думает так Вася, утирает и утирает льющиеся слезы, потому что никто в целом мире не может вспомнить о том, каким он был маленьким, никто даже подтвердить не сможет, что был и он когда-то маленький, делал свистульки из цветущих веток бредины весной. Выберет, бывало, ровную ветку, опушенную нежными желтыми, как маленькие гусенятки, сережками, срежет, а потом аккуратно сделает с краешку опоясок ножом в сочной коре, надсечет выемку и, постукивая рукояткой, стронет нежную эту кору с белого стволика и осторожно стянет тонкой трубочкой. Вся-то она трепетная, живая, душистая, эта трубочка из коры: ни трещинки на ней, ни задира. Скользящий от сока стволик, с которого снята кора, светится в руках, будто лаком покрыт. Тут как раз и начинается главная работа: снять кору — начало, надо теперь цилиндрок отрезать от оголенного стволика, а с конца этого цилиндрика, с усеченной его части, ровнешенько отделить клинышек, сделать на клинышке плоский срез для прохода воздуха, а потом уж заткнуть с обоих концов мягкую и упругую, нежную трубочку из коры. И готова свистулька! Дуешь в нее что есть силы и рад-радешенец, что слышишь тонкий и пронзительный свист живой этой игрушки, которую сделал сам.

Кажется порой Васе Мухарёву, что он и теперь слышит грустные или радостные, пронзительные или нежно-переливчатые, как песня иволги, весенние посвисты. Один товарищ, бывало, такой делает свисток, что голосочек у него тонкий, а у другого иной получится: не угадаешь никогда, каким голосом запоет срезанная ветка, пропитанная соком влажной, ожившей после морозов земли.

Чудится ему теперь в тоскливые минуты жизни, что он не только пересвисты эти слышит, но и словно бы ощущает губами запах

живой своей свистульки, вяжущую горечь срезанной ветки, набравшей душистого сока.

Вася всхлипывает от навязчивых воспоминаний и кажется ему, что это само детство посвистывает издали: эй, мол, Васька, где ты? куда запропастился? иди сюда!

А какие плотины делал на бегущих весной ручейках! Извазюкается, бывало, в грязи, запрудит какую-нибудь журчащую струйку, радуется, что остановил торопливую воду, а она, мутно и пенно расплывшись, все мрачнее и мрачнее в негодовании, пока не прорвет запруду и не хлынет с веселым плеском в земляной проран, уносясь к реке. Опять надо работать! Опять землю, камни таскать. Глядишь, а мать уже обедать зовет. «Васек! — кричит звонким голосом на всю деревню. — Щаж-жа домой иди!» Аж страшно становится от этого крика, потому что только тогда и опомнится, тогда только и почувствует, что весь промок до нитки, измазался в земле до самого лупа и теперь не миновать материнской порки! Она, как умер отец, очень нервная стала и драчливая, будто Васька был виноват в ее вдовьем горе, будто ненавидела она его за что. Он до сих пор боится свою мать. Никого на свете не боится, а перед ней робеет, как перед каким-то грозным явлением природы.

Теперь она старая и худая. Руки у нее и ноги ноют перед дождем, как будто в кости проникает вода, вызывая нудную и тоскливую боль. Ходит она неуклюже, как на деревяшках, темное ее лицо напряженно-мрачное, а зеленые глаза то ли смотрят, то ли боль несут в своем тяжелом взгляде, отчаяние и бессильную жалобу на судьбу. На голове носит платок, а одевается всегда в черное некогда, а теперь посеревшее, полинявшее платье. Только в праздники повязывает голову белым платком, закладывает его на провалившихся висках своими негнуцимися, оцепеневшими пальцами. Суставы опухшие, поблескивают розовой, словно бы до мяса протертой кожей. Ни жалобы, ни стоны — ничего этого никогда не слышал от нее Вася, к которому она иногда, раз в год, а то и того реже, приезжает в город, заставая его, как всегда, врасплох. В городе у нее еще брат живет с семьей.

— Ты бы хоть письмо написала, ма,—начинает Вася старую песню,—или телеграмму дала. Я бы подготовился, встретил как полагається, а то ты как ревизор какой. Даже неудобно! До получишки еще четыре дня, а у меня опять не хватило. Они ведь знаешь как: куда-сюда, глядишь — и не осталось ничего, займы у товарищей возьмишь, а потом получишку получишь — отдавать надо. Не попрешь против совести! Взял — отдай. Тут уж ты меня жить научила, тут уж я не волен. Я тебе век за это буду спасибо говорить, потому что товарищи меня за это очень уважают и никогда не отказывают, если попросишь. Я это к тому говорю, что надо бы тебе, мама, телеграмму сначала дать, я бы занял рублей десять, а то и пятнадцать, ну! Конфеточек бы купил и все такое... А то ведь радость мне неполная получается. Приехала мать, а мне и угостить ее нечем, хоть плачь. А то бы бутылочку красненького на радостях распили. Чем плохо?! Ох, мама, мама! Жалко мне тебя, что у тебя сын такой бестолковый уродился. Самого любимого своего человека, можно сказать лучшего своего товарища по жизни не может встретить, как полагается у людей. Ты меня ругай, мама, ругай... Я виноват перед тобой. Так виноват, что просто сердце болит! Веришь ты мне или нет? Вижу, что недоверчивая ты какая-то, будто я вру тебе. А я не вру. Я что чувствую, то и говорю. Меня за это и товарищи уважают. За мою честность. Я человек честный, чего заработал, на то и живу. Другие умеют жить. А ты меня всю жизнь другому учила. Я и живу, как ты учила. По чести. А тут наемни гляжу, к примеру, две женщины встретились, такие же, как ты, можно сказать. Одна говорит: «Коля твой, гляжу, зарабатывает хорошо, мотоцикл купил с коляской». А другая

говорит: «Парень толковый, чего ж не заработать». А сама подозрительно поглядывает. А эта-то говорит: «Толковый, толковый. То крышу суриком покрасит, то забор красить найдется. Денежки-то и кладет в карман». Говорит эта-то с намеком каким-то, а другая челюсть отвалила, как корова: «А чего ж не класть, если заработал. Это твой с пустыми карманами ходит, а мой не дурак какой-нибудь. Мой-то голову на плечах имеет и работать любит». А я гляжу и думаю: чего-то сейчас эта ей ответит на это, какую такую мину подложит, потому что, гляжу, она глазенки прищурила и голову откинула. Говорит: «Мой-то не ворует, потому и с пустыми карманами ходит, а твой-то краску откуда берет, а? Поди-ка купи ее в магазине! Он ее с фабрики ворует. Государственной краской-то красит работничек твой. Вот откуда и деньги у него, из государственной казны! А мой такое не допустит. Мой честный. Чего заработал, на то и живет. Еще неизвестно, кто дурак, а кто умный». Разорались друг на друга вот тут прямо, на улице, прямо под окном. А та-то, корова, кричит: «Ты его не попрекай краской! Он за эту краску собственной головой рискует!» Ты слышь, мам! Слышь, чего люди говорят? И кто? Матери! Ты, говорит, не попрекай, потому что, дескать, сам отвечать за это будет, а никому другому дела до этого нет никакого. Мать это говорит! Знает ведь, что сын ворует, а говорит — не попрекай! Во как люди живут, мам, у которых деньги водятся! Насмеешься досыта!

Вася дрябло и как-то слезливо похохатывает, глядя в неулыбчивые глаза строгой матери, которая молча слушает сына и разглядывает его, разглядывает, как будто напряженно и мучительно думает о чем-то и дума эта так далека от всего услышанного, так тяжела, что и высказать ее невозможно.

— Ты вроде как не веришь мне, мам! — с заискивающим удивлением восклицает Вася и даже подпрыгивает на хлипкой своей кочке, которая плаксиво скрипит проснувшимися пружинами.

В комнате общежития он, к счастью, один: товарищи на работе, а ему два дня гулять после суточного дежурства. Мать сидит на стуле, смотрит на сына, на беленые стены, на фотокарточку, приколотую к стене, которая скрутилась берестой, скрыв изображенное на ней лицо какой-то женщины, поглядывает на стол с электрической плиткой на нем, с куском зачерствевшего хлеба, по которому ползают мухи. Васька перед ней сидит в одних трусах, нечесаный, грязный, с немывтыми ногами, плешивый и хитрый. В комнате душно пахнет пьяным его дыханием. Ноздри у матери раздуваются то ли от злости, то ли оттого, что она лишней раз хочет удостовериться, что это именно от него, от Васьки, исходит смрадный дух. Васька все вдруг понимает и, посерьезнев, даже нахмурившись, отмахивается рукой:

— Не-не, мам! Если ты думаешь, то... зря! Я на работе никогда! Это я так, от усталости. Устал, как вол! Не спал сутки. На дежурстве, знаешь, в любой момент может начальник позвонить. Там ответственность — будь здоров! Я же сам себе не враг! А с работы шел, красенького выпил с товарищами. Тут я плохого ничего не вижу. Поработал, а потом отдохни. Все законно. Я, мам, не-е! Что ты! Я давно в рот ее не беру. Вчера как нарочно выпил, а ты и приехала. Ты как чуешь все равно, что я малость того, — опять заискивающе смеется Вася. — Ты прямо как ревизор. Как обэжэс какая! Ты что молчишь-то, мам! Вроде как не рада. Чего случилась, может? — Он опять супит брови и внимательно вглядывается, готовясь выслушать ужасное какое-то известие из материнских уст.

Но мать понимает его хитрость, понимает и видит насквозь. Никакой надежды у нее в душе, одна только печаль. Она сухо глотает липкую слюну, тяжело растворяя морщинистые свои губы, облизывает их языком, устав от дороги, от жары, от тошнотворного воздуха, в котором живет ее сын.

— Водички, мам? — спрашивает Вася, скрипя пружинами. — Сей-

час принесу, если хочешь. Вот ведь как! Даже чаем родную мать угостить не могу... с конфеткой! Совсем разорился перед получкой. Ты, мам, не обижайся, сейчас чего-нибудь придумаем,— говорит он.— Сейчас оденусь, умоюсь, у комендантши займу или еще у кого... Ты не беспокойся, мам. Все будет акей. Ха-ха! Это так говорят теперь... Американцы говорят. Порядок, мол, в танковых войсках. Акей пишнему. У нас тут один живет, вон на той койке спит,— говорит он, с трудом поднимаясь с кровати, чувствуя тупую, смертную боль в голове, которую всеми силами старается скрыть от матери.— Коля Пузанов... Молодой еще парнишка. Учится. Ну вот он и это... акей, говорит, акей! Не пьет. Хороший парень. У нас тут вообще не пьют ребята. Хорошие подобрались. Вон там, в углу, мой лучший товарищ, Журавлев Степка. Аккуратный мужик. Его на заводе.. у-у-у! Он у нас ценный работник. Я таких людей в жизни не видел! Честный, добрый и, главное, жизнь знает, людей. Это, мам, мой лучший товарищ. Вот придет вечером, обязательно выговор мне даст.— Вася опять похохатывает, морщится от боли.— Как выпью... малость... ну так уж... чуть. Вот, например, как сейчас... Вот увидишь! Придет со смены, сразу учует, как все равно... как ты все равно! Скажет: «Вася, пить вредно». И ты знаешь, мам! На него я никогда не обижаюсь! Даже другой раз стыдно! Думаешь, дал бы мне в рыло, и то бы не обиделся. Жаль, что добрый. Я его уважаю, мам, знаешь, как лучшего своего товарища, — с искренним как будто доверием говорит Вася, натягивая штаны и пошатываясь. — Прости меня, мам, и ты. Ты же... понимаешь,— говорит он, теряя силу в голосе,— ты же, можно сказать, самый мой лучший товарищ... Ты меня родила. Дала мне жизнь. Это же знаешь что такое! Это счастье. Я понимаю все. Ты не думай, я понимаю. Все акей! Мам, а ты знаешь что! — вдруг говорит он, словно бы хлопнув себя по лбу, словно бы догадавшись наконец-то и найдя выход из положения.— Чего я пойду куда-то унижаться. Не хочу лишний раз... Зачем? Люди могут не понять. А ты поймешь. У тебя есть пятерочка? Или три рубля? — От собственной наглости и смелости Вася не может стоять, коленки его подкашиваются, и он, как будто падая, садится на кровать, не успев даже застегнуть штаны. — Если есть, дай мне до полочки. А я сейчас умоюсь и сбегаю... куплю конфеточек... Я знаю, ты кисленькие обожаешь... Кисленьких купую. И купую чаю... И еще дешевенького... красненького... Называется «Розовое». Это даже, можно сказать, желудочное вино. Его полезно пить для желудка. Это точно, мам! Даже врачи прописывают, когда живот болит. Даже его греют на плите и детям больным по ложечке дают, если они не едят ничего. Это уж знаешь... Это точно. Степка Журавлев... Ну я тебе о нем говорил... Это мой лучший товарищ... Он как простудится, так сразу бутылку «Розового» — и под одеяло. А утром как огурчик... Мам, ты чего? Чего я такого сказал? Ничего плохого не сказал. Все акей! Ты что ж это думаешь обо мне? Даже обидно. Ох, мама, мама! — говорит он со вздохом. — Жалко мне тебя. Я ведь все готов для тебя сделать, только бы ты счастливая была. Я это к чему все говорю... Вот что «Розовое», так... Мне сейчас стыдно в таком виде, я ж понимаю. А если я стаканчик, маленький, выпью за твое здоровье, тебе же самой будет лучше. Я сразу поправлюсь, и тебе будет приятно на меня смотреть. А так чего же я такой перед своей матерью. Я понимаю — слезы одни. Не обижайся, мам. Прости меня, я больше никогда. Слово даю! Ну... Зря не веришь, мам, зря! Честное слово, зря. Уж чего ты, мам! Хоть поплачь, что ли... Скажи хоть чего-нибудь. Молчишь, как на порохо... на похоронах...

Мать еле выдавливает из себя, из пересохшего от гнева и печали рта:

— Воздержись, Вася. Запомни наказ: воздержись! Живешь как обиженный. Врешь мне все. Я ж тебя насквозь вижу. Слабый стал, больной. Пожил бы в деревне, чем так жить. Сосновый воздух на

легкие влияет. Воскреснешь, пить перестанешь. Волнушка сейчас хорошо доится, молоко хорошее. А то пропадешь! Ничего я тебе больше не скажу, ничего я тебе не дам, хоть ты и просишь меня. Дала бы тебе по морде,—говорит она, мрачнейя лицом и распалаясь,—да вот кости болеть будут. Ох, царица небесная, прости и помилуй! Изоврался весь! Матери в глаза смотрит—и врет, и врет... Молчала бы—все бы врал. Гаденыш! Разве я тебя этому учила? Врать учила тебя? Матери врать... Маленький был—не врал. А теперь вон оплешивел—взялся. Ох, Васька, кнута на тебя нет. Был бы отец жив, он бы тебя отходил... А теперь я к брату пошла,—говорит мать, тяжело поднимаясь.—Не надо мне твоей воды, твоего чая, конфеточек... Ничего не надо. Обожрись ты своим «Розовым». Не хочу я тебя знать такого. Вот когда опомнишься, тогда позовешь, а больше я к тебе не приеду. Сам приедешь домой—буду рада. И даже розового или зеленого какого-нибудь на стол поставлю. И не товарищ я тебе, а мать, дурак ты старый. Оплешивел весь, опух... И чего тебя такого на заводе держат, чего не прогонят, не знаю. Начальники какие-то пошли дурные. Никакой власти проявить не могут... Ты на меня не тарачись, а то ведь я рук-то не пожалею, стерплю боль-то. Ох ты господи боже мой, на кого ж ты стал похож! Воздержись, Васька! Вот мой тебе наказ, а там... живи как знаешь.

Молчит Васька, задумчиво смотрит на мать, покусывает губы и чуть ли не плачет от обиды. Вечно она так—с самого его детства: накричит, навывоаривает. Он только и помнит ее побои. А. какая у нее рука, теплая ли, холодная, кто ее знает: не помнит он этого, потому что никогда не знал ее ласки, никогда не гладила она его по головке... Даже за руку никогда не брала. Дернет, если вдруг разозлится, отшвырнет в сторону, как куклу, крикнет, гаркнет что-нибудь злое и так поглядит зеленым огнем, что у Васьки язык от страху онемееет во рту. Заплакать и то страшно!

Смотрит теперь на нее, как она уходит, и тот же незабываемый детский страх теснит его сердце, по которому все-таки так больно ударила опять старая, что оно колотится в груди как бешеное.

«Чего я ей врал?—думает Вася, оставшись один.—Ничего я не врал! Если только самую малость. А так ведь и не врал совсем. Притворялся только немножко. Не-ет, невозможный она человек! Мать, конечно, но... Ведь так хотелось чего-то хорошего ей сказать, так душа просила порадовать ее, а она все свое талдычит... Отец был бы жив, я, может, другим человеком был, может, он добрый был, откуда я знаю. И мать бы другая была, если бы отец-то жил».

Вася не помнит отца. Пришел тот с войны без ноги. Вася запомнил только стук деревяшки, запомнил, как отец ходил по избе: один шагжок мягкий, а другой—тук, один мягкий, а другой—тук! Больше ничего об отце не помнит. Тот умер от осколка, который доплыл в крови до его сердца, когда Васе было всего два с половиной года. Мать и то говорила: «Где тебе знать, ты после войны на свет родился! Раньше-то было—в лес войдешь, вон туда, куда дорога на волю идет, а там кресты. Войско немецкое зарыто было. Войско находилось здесь, в бору. А его наши разбомбили. Как налетели, как налетели! Ох что было! В подполах сидели, думали, избы-то упадут на нас, так их шатало. Земля шаталась... Церковь в Троице сгорела и все село, а наша деревня цела осталась... Военное время мутное. Где уж тебе, сопливцу, знать!»

Когда Вася Мухарёв трезвеет, когда втягивается опять в городскую свою жизнь, он вообще ничего не помнит о прошлом: ни об отце, ни о матери, ни о свистульках или земляных запрудах. Опять у него одна забота на уме: как бы людям помочь, как бы услужить товарищам.

— Чего, мужики, задумались? Проблема мучает?—спрашивает он, подскакивая петушком к товарищам, и душа его ликует, рвется.

вон, когда люди просят его сбежать за «продуктом». Так он радуется причастности своей к мужскому этому дружеству, так торопится исполнить просьбу, что, кажется, о лучшей доли он и мечтать не может. Особенно остро ощущает он это свое счастье летом, на железнодорожном травянистом откосе на окраине города.

За спиной пыльные кусты акации, за кустами белые в клеточку стены панельных домов, кольцо конечной автобусной станции, людская сутолока, шум и гомон. А тут, словно на краю земли, крутой, замусоренный окурками, бумагой, битым стеклом, ржавыми закупорками от пивных бутылок, заросший измятой пропыленной травой откос с дренажной канавой вдоль железнодорожного полотна. Рельсы блестят на солнце. В порывшем от ржавчины гравии маслянисто-черные шпалы лесенкой убегают вдаль, в бесконечность. Провода над рельсами от мачты к мачте начинают вдруг тихо позванивать, как налетевшая стайка комаров, и вдруг из-за плавного, пружинно натянутого поворота выскальзывает зеленый игрушечный электровозик и тащит за собой вагончики, которые видны еще только сверху, видны бурые их крыши с вентиляционными трубами. Бурая эта змейка с зелено-алой головой неслышно выгибается, вытягивается в струнку и растет на глазах, увеличивается в размерах, обрастает шумом, металлическим звоном.

А Вася сидит с товарищами на бугорке, на солнце, на плешивой травке откоса, глазки его щурятся в блаженной улыбке, будто не поезд, а сам он на зеленом коврикe несетя неведомо куда, разглядывая с пустынной высоты грохочущие мимо, визжащие в реве и скорости запыленные вагоны, вагоны, вагоны... Откуда они? Что за люди смотрят на него из-за мутных окон? Бутылочки на столиках и опять бутылочки: темно-зеленые пивные, белые молочные... В Москву едут! Значит, без остановки. Скорости даже не сбавит бешеный этот эшелон, от тяжелого бега которого зудит земля, отдавая свой зуд в ленивое тело блаженствующего Васи Мухарёва. И чувствует он себя в эти минуты как бы нигде. За спиной шум на площади, а внизу перед глазами шум поезда, а он с товарищами на полосе отчуждения. Нигде! В каком ресторане получишь такое-то удовольствие?! Сальце домашнее на бумажке, обсыпанное крупной солью, пропитанное чесночным духом, бело-розовое на срезе, слоистое, ломти ноздреватого серого хлеба, молодые белые луковичи с зеленым пером. «Ах! Вот она, жизнь-то!» — думает Вася, поглядывая на ускользающий по рельсам послушный задний вагон, и слышит звонкий гул освобожденных рельсов. Какие-то цветочки колышутся от ветра, оседает поднятый мусор и пыль. Воробьи опять слетаются с кустов акаций на откос, чирикают, хлопчут, снуют в траве.

Зимой, конечно, хуже. Зиму Вася не любит. Зимой он, будь его воля, из дома не вылезал бы, как из берлоги: спал бы да спал. Холодно кругом, грязно и скользко. В холода его шатает, как пьяного, и ходит он словно бы в каком-то полусне. На нем легкое серенькое пальтишко, выцветшая клокастая кроличья шапка с пропотевшей, залоснившейся, грязной подкладкой. Кожа на лице серая, точно золой присыпана, под глазами розовые мешочки, в глазах слезы от холодного ветра. Сутулится, подняв короткий воротничок пальто. Ноги скользят на обледенелом тротуаре, и он часто падает, не держит равновесия, морщится от боли в локте или в коленке. Пальтишко совсем не греет, хотя и не старое еще. Купил его год назад за семьдесят рублей и очень удивил этим поступком своих товарищей, которые стали расхваливать Васину обнову, смущая счастливого обладателя нового заграничного пальто. Он стал даже ругать свое пальтишко.

— Ничего хорошего и нет! Воротника, можно сказать, нету, карманы мелкие. Что за карманы такие делают! Видал? — говорит Вася, суя руки в боковые и во внутренние карманы. — Разве это карманы? Ничего не положишь, не говоря уж о бутылке. Бутылку положишь,

а она и вывалится оттуда. Купил, потому что не очень дорого и по размеру подходит. А так — ничего хорошего. Надо будет карманы поглубже сделать, подрезать там чего-нибудь и пришить мешочки. Бабу какую-нибудь надо попросить. Парусинки достать и пришить.

Но так и не углубил свои карманы. Ходит в морозы, грея в карманах озябшие багрово-синие руки. Перчаток никаких у него не было никогда и нету. Все денег не хватает на перчатки, и он к ним относится со странным чувством, словно бы это излишество ненужное или что-то вроде роскоши. Дует на руки, дышит чуть тепленьким парочком, трет друг о дружку и снова прячет в карманы, в которых пальцы как будто оттаивают с болью. Живет всю зиму в нетерпеливом ожидании весны и тепла, радуясь наступлению марта, потом и апреля... Иногда вспоминает сосновый бор вокруг деревни, седой и мрачный под седым небом, и горячую печь в избе. В избе тепло, а в сенях вода замерзает в ведрах. На печи чуть слышно пахнет угарчиком: где-то там, в какую-то щелочку, просачивается дым; пахнет сухой глиной и теплой пылью пополам с клопами. Мать в печи шурует ухватками, готовит еду себе с сыном и скотине, покрикивает на кошку, ругает ее все время, ворчит на нее, если она даже просто спит, спрятавшись в теплом запечье от бранчливой старухи. На улице мутно и серо. Кругом заиндевельный бор. В школу идти не хочется, хоть бы она сгорела совсем! Другое дело в марте, когда солнышко растопит весь иней на соснах и они, умытые, яркие, красуются в холодном голубом небе, светятся над золотыми снегами.

Вспомнит Вася это время, крепкий наст, по которому можно было бегать не проваливаясь, ходить между ярких и пахучих сосен, обогретых солнцем, слушать, как синички тинькают в тишине леса, как рябчики свистят, как клесты шелудят шишки, — и душа его опять заболает от тоски по дому, по теплу горячей печки, по живому огню.

«Пропади оно все пропадом! — чуть ли не вышептывает он свои крамольные мысли о городе, об общежитии, о своих товарищах. — Холодище в комнате, батареи чуть теплые. Согреться негде! А до полочки ждать и ждать... Беда! Где бы это раздобыть до полочки?.. Жадные, как черти. Все бы только о своем животе заботиться, о себе... Ох, люди, люди! Лучше бы я не знал вас никогда. Никакого у вас чувства нету. Одно бесчувствие. Подохнешь тут от холода, а вам и ладно: подох и подох. Эх-ха-ха! Хоть бы одеяло нормальное выдали! Портянку какую-то кинули, не греет ни хрена. Пальтом ноги приходится греть. Разве это жизнь! И Степка храпит как зарезанный. Ну что это за человек такой! Спать не дает, зараза. Вон что выделывает! Какие тона пускает. Давай-давай!» — с проклятиями думает Вася о своем «лучшем товарище», озябнув под тонким одеялом до дрожи.

Днем выспался, а теперь сна ни в одном глазу. Смотрит в серую темень потолка, и такое чувство постылое в душе, что хочется ему уехать отсюда незнамо куда, к каким-нибудь ласковым, хорошим людям, чтоб они все время улыбались и все время здоровались с ним: «Здрате, Василий Николаевич. Как вы поживаете? Ничего у вас не болит? Как душа? Как тело? Все в порядке? Ну слава богу. Вы уж нас не подведите, Василий Николаевич, а мы для вас все готовы сделать, лишь бы вы сыты были, обуты и одеты. Мы без вас, Василий Николаевич, пропадем. Вы уж не болейте. И не расстраивайтесь. Чего надо, скажите, мы вам всегда поможем». Гуляют эти люди по садику, по чистеньким песчаным дорожкам, кругом цветут розы, обрызганные водой, а дорожки хрустят под ногами: щап-щап-щап.

И надо же было такому случиться, что туманные мечтания, бредовые картинки райской жизни однажды обернулись для Васи Мухарёва явью. Не все, конечно, совпало в новой его жизни с мечтаниями, но кое-что все-таки было похоже.

Он и в самом деле вскоре уволился с завода и уехал из городка

еще дальше от своей деревни, хотя это «дальше» и составляло всего тридцать пять километров по железной дороге. Именно там, на тридцать пятом километре от районного центра, быстро вырос и окреп совершенно новый, союзного значения научный городок, в который съехались ученые со всей страны. В основном, конечно, люди молодые, уверенные в себе и смотрящие на жизнь совсем иначе, чем остальные люди земли, как если бы только им одним какое-то особое право было выдано кем-то, а всем остальным нет. А право это, как понимал его Вася Мухарёв, заключалось в том, что они, эти новые люди, словно бы не хотели да и не умели жить так, как жило все остальное население. Им обязательно нужны были собственные автомобили, собственные байдарки, лодки, яхты и чуть ли не собственный аэродромчик с собственным самолетом или вертолетом. Люди эти ничего не боялись, будто у них совсем не было страха. Иной раз Васе казалось, что они даже страдают оттого, что у них нет страха. А чтобы нажить его, все время летают на самолетах, презирая железные дороги, все время носятся на своих автомобилях, ходят в ветер по волнам на яхтах и на каких-то досках с парусом, спускаются на лыжах с крутых гор, заросших деревьями, строят себе какие-то парусные плоты и улетают в отпуск на таежные глухие реки, чтобы там гнать и гнать вниз по течению на этих плотах сквозь каменные пороги, ночевать у костров, фотографировать медведей, делать кинофильмы о своих путешествиях, а потом показывать в клубе товарищам и при этом посмеиваться над самими собою и даже, можно сказать, издеваться над своими неудачами, над опасностями, над тем, например, как на порогах их плот перевернулся и они чуть было не погибли в бурной реке. Насмешливым голосом они рассказывали через микрофон на весь зал про то, о чем думает какой-нибудь их товарищ, прыгая голым на экране и выжимая мокрую одежду, или, к примеру, показывали какого-нибудь своего товарища, заклеенного белым пластырем, разбившегося об камни, и при этом смеялись над выражением его лица. А люди, которые сидели в зале, тоже смеялись, как будто жизнь для них для всех была не жизнью, а каким-то веселым цирком.

И главное, женщины тоже ничего не боялись! Тоже гоняли на автомобилях, на лыжах с гор, плавали на байдарках, носили обтрепанные джинсы, так туго натянутые на ноги, что можно было представить себе все что только захочется представить, глядя на какую-нибудь идущую впереди деваху — заманчивую ветреницу с распущенными волосами. Вася Мухарёв и в лесу, далеко от дома, встречал таких же, обутих в лаковые резиновые сапожки. Ходят в глухомани, будто никто им в жизни не страшен — ни волк, ни мужик, будто не лес это вовсе, а какой-нибудь городской бульвар под полуденным солнышком. А леса тут совсем иные, нежели вокруг деревни Анюты. Мрачные, захламленные, подтопленные в низких местах, обомшелые и залишаенные, битком набитые комарьем и клещами. И только изредка в еловом чернолесье проглянет зеленая поляна, освещенная солнцем, на которой трава по пояс, а в траве всевозможные цветы. Зато в лесах этих было много груздей, душистых, белесоватых, с замшелой как будто опушкой, — самый настоящий благородный груздь, гриб высшей категории! Вот за ним и ходили.

Вася Мухарёв сам не солил, а продавал грузди на маленьком базарчике, пристрастившись к этому веселому занятию и став заядлым грибником.

И вообще он зажил весело на новом месте, среди новых домов, новых людей, забыв о своей кличке, любясь на зеленые газоны, асфальтированные тротуары и мостовые. Работал подсобным рабочим в научном институте, похожем на огромный завод, не зная толком, чем занимаются ученые и вообще весь коллектив. А когда бывал в районном городе и встречался со старыми своими товарищами, отве-

чал на их вопросы с таинственной полуулыбочкой, которой раньше никто не замечал на Васином лице.

— Кое-что скрещиваем,— говорит он, щуря глазки.— Слава богу, получается.— Вытаскивает из кармана зелененькую трешницу, держа ее в руке, как козырную карту, и добавляет с усмешечкой:— Все акей! У нас там один мужик! Товарищ мой по работе... Так вот, он так вот достанет, покажет всем и говорит: давайте-ка, мужики, из одного дня два сделаем. Посмеемся-посмеемся да и сделаем. А чего! День, говорит, хорошо, а два лучше. Все акей... Чего скрещиваем-то? А чего надо, то и скрещиваем,— отвечает он, похлестывая трешницей по заскорузлой ладони.— Считай что пшеницу с рожью... Для чего! Чтобы это... чтоб урожай повышать в наших местах. А вообще-то мое дело маленькое. Скрещиваем чего-то — и хорошо, и слава богу. Главное — получается. Ученые знают, чего скрещивать. Им за это большие деньги платят. Разве они расскажут? Главное, чтоб витаминов было больше. Вот и бьются над этой проблемой,— говорит он со вздохом.— Не хватает их человеку. Помогаем.

Доволен собой и кажется вполне счастливым и до застенчивости гордым своей новой ролью, не привыкнув за всю свою жизнь к такому вниманию со стороны товарищей. Чувствует себя так, будто ему крупно повезло в жизни, жалеет, щадит своих товарищей, стараясь быть поскромнее, не хватать чересчур и не дразнить их своей удачей. Посмеивается над учеными, над их забавами, над детскостью их увлечений, нарочно похабничает, рассказывая о женщинах, об их «товаре», выставленном напоказ, намекает на некие тайные связи с ними. И в эти минуты глазки его кажутся слюнявенькими.

«Розовое» тепло бурчит в животе, греет голову фантазиями. Внизу, под откосом, проносятся в вое и лязге поезда дальнего следования. Вася Мухарёв угощает своих товарищей, понимая себя чуть ли не благодетелем, и не замечает насмешливых переглядок, хитрого поддакивания, подзадоривания.

Разогретого ведут его под руки на станцию, уговаривают переночевать в общежитии, не ехать домой, а с утренним поездом вернуться в городок. Вася ласков до слезливого умиления.

— Не-е-е,— говорит он.— Вы обо мне не сомневайтесь. Все акей! У меня нет на свете товарищей лучше вас. От души говорю! Не верите? Зря. Я их всех ненавижу, а вас всех люблю, потому что... Степ! Приезжай ко мне в гости! Скажи, приедешь или нет, а то я не могу просто без тебя. Ты мой лучший товарищ. Я тебя так уважаю, что даже жалко... Жалко мне тебя! Такой хороший ты человек... Степ, если чего, ты меня позови. Слышь? Приезжай. Я тебе всегда помогу. Все вообще-то приезжайте! Откровенно говорю! От всей души. В субботу и приезжайте. Спросишь, где общежитие, тебе каждый скажет. Где Васька Мухарёв живет? Там-то и там-то. Правильно!

Утром хмуро таскает с напарником какие-то ящики серого цвета, с тоскою думая о вчерашней щедрости, которая выбила его из привычной колеи. Поругивает своих товарищей, которые не остановили его и неправильно поняли: он вроде бы скинуться предлагал, а получилось, что один на всех и потратился. Нехорошо, конечно, с их стороны. Могли бы понять. Ни много ни мало, а двенадцать рубликов пустил на ветер!

Дождик висит в дымчатом небе, но на землю не падает, не набрав силы. Солнце высвечивает закрайки высоких облаков, оплавливая их серебристой каймой, и тоже, как дождь, словно бы не падает лучами на землю, а где-то там, у себя на небе, оставляет все свое сияние. Парко и душно на земле: ни ветерка, ни воздушного течения. Все замерло. Даже осиновые листья не дрожат, не кажут пепельную свою изнанку.

А ящики — тяжелые! И как нарочно люди ни о чем не задумываются, работают себе и работают.

Однажды Васино ухо уловило какие-то слова начальства, которое вышло из центральной проходной со стеклянной вывеской на стене «Дирекция», и, остановившись на широкой лестнице, продолжало разговор:

— Надо искать! Там заплесневеем от сырости... Озеро, конечно, хорошее, зеркало до горизонта. А берега? Как подъехать? Дорогу мостить. А откуда деньги взять? Нам этих денег никто не даст. Неужели других мест нет? Пусть подальше, но чтобы сухо было. Вот, говорят, в той стороне сосновые боры. Я там не бывал, но люди рассказывают... И еще одно обстоятельство надо учитывать. Туда ведь с детьми будут ездить. Верно? А сколько там всякого гнуса? Не-ет, над этим вариантом надо как следует поколдовать. Конечно, озеро заманчиво. Рыбалка, яхты... В общем, мое мнение будет такое, ничего оригинального не скажу, но, как говорится, семь раз отмерь... Турбазу строить будем не на год, не на два... А капиталы надо вкладывать с умом. Надо поездить, поискать. Там, кажется, речка есть.

— Речка-то есть,—с сомнением в голосе сказала другое начальство.— Далековато. Сто километров как минимум. Нужен автобус, шофер. Не один шофер. А может, и не один автобус. Да и речка-то маленькая.

— Ну и что? Автобусы, шоферы. Нашли затруднения! Это нам в десять раз дешевле обойдется, чем строить дорогу. Там же дренажные работы нужны! Не знаю, не знаю... Все это, по-моему, нереально. Не в болоте же строиться!

Они еще о чем-то говорили, спорили, что-то доказывая друг другу, а Вася, как будто его осенило, все сразу понял и задумался. Спросил потом как бы между прочим, о чем это начальство говорило, и узнал от людей, что ищут они место для турбазы, но такое место, чтоб было сухо, чтоб лес был и вода, желательно озеро, чтоб можно было ходить под парусами.

— Такое есть. Лучше не найти,—тихо сказал Вася и даже похолодел от мгновенного испуга, что начальство не захочет выслушать его, если он предложит свои услуги. Представил себе выражения их лиц, когда они скажут ему с раздражением: «Идите, идите работать. Без вас обойдемся».

И начались его страшные мучения. Он даже ночью вдруг проснулся в холодном поту от непонятного страха, не в силах уснуть до утра, дожидаться утреннего света. Ему было тесно в кровати, тесно в темноте, которая как будто налипала на тело жирной и теплой грязью, ему было трудно дышать, словно тяжелая болезнь навалилась на него. А на работу шел на ватных ногах, испытывая неведомый до сих пор страх перед начальством, к которому ему обязательно нужно было зайти, записаться и рассказать о Неволенке, которая впадает в большое озеро, о сосновых борах и о песчаных дорогах, проезжих в любую погоду. Он чувствовал себя так все эти дни, будто обнаружил случайно сокровище, лежавшее на дороге, через которое люди перешагивали или обходили его, не догадываясь о его истинной ценности. А он один подобрал и не знал теперь, что с ним делать: сдать ли государству, как это полагается по закону, или присвоить. Поймут ли его, прислушаются ли, захотят ли посмотреть, да и поверят ли? Вот что больше всего мучило его. И как подойти к начальству? Не скажешь же, как товарищам своим: какие, мол, проблемы мучают, мужики?

Надо было думать и думать, как заманить людей на берега Неволенки. А думать Вася Мухарёв не привык, и оттого, видимо, мозг его, застигнутый врасплох, испуганно ежился в черепушке, болел страхом и отчаянием.

С тех пор как Вася зацепился ухом за разговор начальства, он даже о самом себе забыл. Думал только о людях и о реке Неволенке. Жалел людей, которым и невдомек как будто было, что рядом с ними,

не в тайге какой-нибудь, не в Сибири или в Кавказских горах, а в двух часах езды на автомобиле течет чистая река, полная рыбы, и впадает в глубокое и тоже чистое озеро. Впервые в своей жизни он чувствовал себя хозяином огромного богатства, которое так велико, что его не сосчитать ни на каких счетных машинах и владеть которым одному ему не под силу: надо отдавать людям.

Впрочем, о себе о старом, о прежнем, он думать-то забыл, но о себе о новом, о будущем, думал не переставая, а вернее, впервые и задумался всерьез, строя в воображении турбазу на берегу Неволенки и как бы пристраивая самого себя к этой турбазе в каком-то таком качестве, о котором и сам еще не мог догадаться: чего-нибудь такое полезное делать там и как-нибудь жить. «Ох, люди, люди, жалко мне вас! — вздыхал он среди ночи. — Всё-то вы сами, всё сами! А я такое вам место укажу, что вы только ахнете, и все. Только ахнете! И больше ничего!»

Идея эта так измучила его, что товарищи даже интересоваться стали, не заболел ли Мухарёв. Но он только отмахивался от них как от несмышленьшей, которые мешали ему думать. Но никак он не мог придумать, как бы это так все сделать, чтоб сразу заинтересовать начальство. Придешь к ним, а они скажут: «Кто тебя просил?» А не прийти нельзя. Надо идти. Придешь, а они посмеются и скажут: «Чего это ты выдумал, мужичок? Никаких турбаз не предполагается в этой пятилетке. Дело будущего. Иди-ка лучше работать». Как тогда жить? Вот в чем загвоздка. Мозг уже так прочно настроился на эту турбазу, что Вася ее и во сне и наяву видел, она преследовала его сосновым духом и чистотой, песочными дорожками и цветущими розами на клумбах. И себя он там видел — хлопотливого и озабоченного хозяина, которого все уважают и здороваются по имени-отчеству: «Здрате, Василий Николаевич. Мне бы чего-нибудь такое надо получить, чтобы там где-то провести время с удовольствием и с пользой для моего здоровья... Чего-нибудь такое, чтобы все было акей. Посоветуйте, Василий Николаевич, а то душа просит незнамо чего». А он бы слушал внимательно и кивал бы все, кивал, понимая, потому что люди-то все хоть и ученые, а смысла в жизни не понимают. Им надо подсказать этот смысл, они и утешатся.

«Ох-хо-хо! Люди! Не знаете вы своего счастья. Один азарт на душе».

Все сходилось к тому, что вылечиться от своих мучений Вася Мухарёв мог бы только у начальства. Другого выхода не было. Надо идти. А как идти и к кому? Придешь, а на тебя посмотрят как на дурачка и скажут: «А мы-то тут при чем? Мы этим делом не занимаемся. И знать ничего не знаем». Вот ведь какая задача. Кто же эти товарищи, которые на лесенке разговаривали? Может, кто из месткома, а может, из дирекции? А может, и так просто трепались? Может, и не начальство это было, а так, заинтересованные из общественности? Разыскать бы этого, который несогласен был, который о сосновых борах говорил. К нему бы и пойти. Точно!

Но сколько Вася Мухарёв ни расспрашивал своих товарищей, как ни допытывался, кто это был, что это за человек с козлиной бородкой и с портфелем, никто ничего утешительного сказать ему не мог. Мало ли здесь бородатых да с портфелями!

Тянулись теплые дни, выпадали дожди, светило солнце, а Вася ходил по земле так, будто была лютая зима. Лицо его стало землистого цвета, глаза запали в бессонной розовато-зеленой тоске и муке, слюдянисто блестели слезой, точно ее выбивал холодный ветер. Его пошатывало на поворотах, как пьяного, и ничто на свете не радовало. Чувствовал он себя так плохо, что только и думал, как бы добраться до постели. Особенно плохо бывало утром, когда шел на работу в страхе перед начальством, с которым решал встретиться во

что бы то ни стало, и к концу рабочего дня, когда решение это опять откладывалось.

Тяжело ему было идти домой, в общежитие. Сознание, что дни уходят, а начальство, споря между собой, может быть, уже и раздумало искать новое место, доводило его до странного умопомрачения, когда он даже на оклик какого-нибудь товарища не оборачивался, словно не понимал, что это его окликают.

— Васёк, ты чего? Оглох?

А он тупо смотрел и мрачно переспрашивал:

— Чего?

— Как чего? Я у тебя спрашиваю, а ты как глухой.

Он выдавливал из себя виноватую улыбочку и молча отходил в сторонку, чтоб к нему не приставали и не мешали думать.

Словно великую тайну носил он в своей душе мечту о турбазе на Неволенке, переселившись мысленно в ее рубленые из сосны терема, на ее ухоженные дорожки, пляжи, лодочную станцию. «Если бы они, конечно, согласились,— думал и думал он как заводной,— то уж, конечно, подыскали бы мне какую-нибудь работенку. Все было бы акей! Вот хоть бы взята лодочную станцию. Чего там особенного надо? А ничего. Лодку проконопатить, просмолить, покрасить. Это я могу. Или, например...» И он опять мучительно и бесплодно задумывался, упиравшись в ватную какую-то неопределенность своей мечты, как бы замыкался на самом себе, на своей тревоге не в силах выйти из этой тупой задумчивости.

Наступал новый день и кончался. Они пролетали друг за дружкой, как вспышки света среди темноты.

Вася даже однажды в аптеку заглянул, долго изучал лекарства, разложенные под стеклянной витриной, особенно внимательно вглядываясь в сердечные. Но не решился попросить от сердца и купил от головной боли, съев сразу две таблетки, от которых его затошнило, и только.

Да он и сам догадывался, что лекарствами тут не излечишься: нужно идти к начальству. А как идти? Придешь, а они скажут: «Где же вы раньше-то были? Мы на озере строимся. Речка нам ни к чему. Маленькая она и нам неинтересная. У нас другие задачи. Мы ставим другие цели перед собой. Наши желания не совпадают. Идите работать, товарищ Мухарёв». Вася от одной лишь мысли о таком ответе покрывался холодным потом и терял силы, будто его кто подсекал под колени неслышным и нечувствительным ударом. «Эх, люди, люди! Ведь вот оно, под боком у вас, место-то это... Я ведь вас приведу в такую красоту, что вы и ахнуть даже не сумеете. В ножки мне кланяться будете. А мне зачем это? Мне этого не надо. Я не для себя стараюсь. Для вас, несмышленных».

Если бы не случай, Вася вряд ли собрался бы на прием к начальству и трудно сказать, до чего бы он довел себя навязчивой этой идеей с турбазой на Неволенке. А случай подвернулся.

Как-то раз шел Вася Мухарёв мимо главной проходной, поглядывая исподлобья на широкую бетонную лестницу перед стеклянными дверями. Была она в этот предвечерний час пустынна и, как всегда для Васи, неприступна, будто долговременная огневая точка, смотревшая на него невидимыми дулами крупнокалиберных пулеметов. Озноб холодил кожу между лопатками — таким маленьким и беззащитным казался сам себе Вася перед этой лестницей. Подняться по гладким ее ступеням, в щелях между которыми зеленела травка, было для него равносильно подвигу. Но сил на это не хватало. Можно, конечно, тяпнуть стакан «Розового» для храбрости, думал Вася, но тут же отметал прочь этот вариант, потому что начальство с пьяным вообще не будет разговаривать. Шел Вася вялыми шажочками мимо лестницы и казнил себя последними словами. Как вдруг...

Ох уж это спасительное вдруг! Сказочное, необыкновенное, чу-

десное, долгожданное и выстраданное душою. Вдруг случались великие открытия: в друг встречались люди и любили друг друга до гроба; в друг начинались войны, уносившие сотни, тысячи, миллионы жизней; в друг рождались юные жители планеты; ломались судьбы... Чего только не случалось в жизни в друг!

Так и Васю Мухарёва спасло это всеильное в друг от гибели. Размашисто отворилась стеклянная дверь и на площадку вышел человек с козлиной бородкой. Посмотрел туда-сюда, взглянул на часы и стал прохаживаться по площадке, видимо, в ожидании машины.

У Васи все пересохло во рту, похолодели руки, и он, понимая, что другого такого случая уже не будет, не чуя ног поднялся на площадку и еле выговорил:

— Здрате, я извиняюсь, конечно... Это... я слышал, будто что... тут такой разговор был, будто нужно место для отдыха...

— Что-что? — переспросил начальник. — Я ничего не понимаю.

— Товарищи говорят, а я подумал, — начал опять Вася в страшной муке, — что лучшего места для турбазы вам не найти, которое я вам могу указать. Если желаете, конечно.

— Место? Турбаза? — подняв плечи, удивился начальник, хмуря брови, но вдруг воскликнул освобожденно: — А-а! Вон вы о чем! Понятно. А где же это место?

— Есть река Неволенка, на сто шестом километре отсюда, — хрипло сказал Вася. — Она глубокая и чистая, течет в песках, водобег у нее быстрый, а впадает она в громадное озеро, которое мы зовем Варваринским почему-то... Не знаю почему. Озеро глубокое и рыбы там тьма. А кругом лес сосновый... Сосновый бор. Дороги все песчаные, и даже думать нечего, хоть в апреле, как снег сойдет, хоть в октябре, когда дожди, — всегда проехать можно на любой машине. Брусничники есть, а грибы все маслята... Если пожелаете, я вам это место укажу с удовольствием, потому что родился там и все там хорошо знаю. Если желаете, конечно.

Вася сам себя не узнавал, так хорошо у него все получилось, складно и внятно, будто он наизусть вы зубрил, как в школе.

— Так-так... Интересно. Как ваше имя-отчество?

— Василий.

— А отчество?

Со смущенной усмешкой Вася испуганно промямлил:

— Николаич. — И добавил, пока не остыл: — Там воздух, знаете... просто очень прекрасный. Такой, знаете... На легкие влияет. Там все можно сделать... Такая красота будет, что просто счастье для людей. Я даже знаю, где базу...

В это время подъехала черная «Волга», сияющая полированным кузовом и хромом.

— Это очень интересно, Василий Николаевич, — заторопился начальник. — Завтра суббота, да? Вы свободны завтра? Хорошо. Так. Вы где живете? Ах, в общежитии. Ладно. В восемь утра выходите на улицу и ждите меня, я подъеду, и мы с вами махнем на вашу Неволенку. Сможете, Василий Николаевич? Ну и хорошо. Не подведете, надеюсь. Ладно. До завтра! — сказал начальник и с веселой, но какой-то неживой улыбкой протянул Васе руку, которую тот принял чуть ли не как хлеб-соль, с почтительным и низким поклоном. — Спешу! — развел руками начальник. — Туда не опаздывают, — сказал он с неживой своей улыбкой и поднял палец.

Он молодо сбежал по лестнице, распахнул дверцу и не успел ее захлопнуть, как машина уже тронулась с места и, зашипев выхлопными газами, ринулась вдоль по пустынной улице, по светлой бетонке и скрылась за поворотом.

Вася Мухарёв долго еще сидел на скамеечке под молодыми березками, приходя в себя и успокаиваясь. «Да кто же это такой? —

думал он, скалясь, как дурачок, в улыбке. — Директор не директор, а какой-то большой начальник. Хороший, видать, человек. Сразу все усек. Энергичный. Главное: «Сможете, Василий Николаевич?» Хе-хе! Как это не смогу? Конечно, смогу, чудак человек! Спать, конечно, не придется Василию Николаевичу. Не проспать бы! Ай да Васька! Шустряк! Надо побриться как следует. Брюки погладить. Рубашку постирать надо. Ой, дел-то сколько! А я тут расселся, как пенсионер».

И он чуть ли не бегом припустился домой.

Все это в прошлом теперь. Вася Мухарёв любит теперь рассказывать о том, как они с Эмилем Владимировичем приехали на его «Волге» на берег Неволенки.

Август, тихо и тепло. В небе редкие белые облака, а на земле цветет вереск. Сосновая смола плавится на стволах. Запах такой, что просто не верится, что это тут всегда так, а словно бы это специально для приезда начальника сделано.

Эмиль Владимирович, как вышел из машины, развел руками, глядя на бегущую воду, и застонал от счастья. А с ближайшей сосны как нарочно спустилась вдруг черная большая бархатная бабочка с белой каймой на крыльях и села на руку Эмилю Владимировичу, который никак этого не ожидал и замер в восхищении, глядя на это чудо. А тут как раз большая рыба ударила в воде, всколыхнув реку и тишину своим мощным всплеском, которого даже бабочка испугалась и улетела. Их тогда много летало над соснами. Стрекозы тоже летали, коричневые, как керамические, с большими глазами и прозрачными крыльями. Посмотришь в небо — там бабочка, там стрекоза, а там опять бабочка... А совсем высоко кружат коршуны.

— Ну Василий Николаевич! — крикнул Эмиль Владимирович. — Ну дорогой мой! Мы тебе памятник тут из бронзы поставим как первооткрывателю! Турбазу твоим именем назовем! Васенька, ты меня прости, но ты хитрец! Столько времени молчал о таком чуде! А? И правильно делал! Правильно. Об этом молчать надо и никому не рассказывать. Не жалко? Только честно! Не жалко, что раскрыл свою тайну? А? Не жалеешь теперь?

— А чего жалеть-то?! Я же для своих же товарищей стараюсь. Чего ж тут жалеть!

Эмиль Владимирович задумался, вгляделся в него и тихо сказал, повторяя слова Васи Мухарёва, говоря их как бы самому себе и глядя как бы в самого себя:

— Чего ж тут жалеть... — И усмехнулся, покачав головой.

Все это в прошлом теперь. Теперь и Васю Мухарёва не узнать, как не узнать и речку Неволенку.

Нет, она, конечно, все так же быстро течет среди сосновых лесов, окаймленная по берегам кустами ольхи и бредины, как же прозрачна и вкусна ее вода, потому что в верховьях реки нет ни промысленных предприятий, ни возделанных полей, с которых по весне стекали бы в реку химические удобрения. И, наверное, где-то в других местах, по которым протекает Неволенка, все осталось по-прежнему: так же плещется на зорях крупная рыба, свистят утиные крылья, и чавкают в зарослях никому не ведомые звери (скорее всего обыкновенные нутрии), и так же, как раньше, в тихих старицах и заводинках цветут и красуются в ясные, солнечные дни бело-розовые лилии, отражаясь в отполированной тьме глубокой воды.

Но сборные летние домики, окрашенные в синий цвет, уже блестят черными стеклами окон. Автомшины всевозможных марок и оттенков разбросаны тут и там среди деревьев. Не проходит и часу, чтобы какая-нибудь из них, ворча и напрягая силы, не выехала бы из зеленой тени и, покачиваясь, пружиня на неровностях

вытоптанной, выезженной земли, не укатила бы по песчаной дороге в сторону шоссе. А другая, с тяжелым багажом на крыше, уже ищет себе пристанища среди тенистых сосен, тычется горячим носом в лиловый вереск.

Все время теперь в воздухе стоит какое-то нетерпеливое, то громкое, то приглушенное, то еле слышимое гудение автомобильных и лодочных моторов. И странное дело! Река, на берегах которой живет теперь много людей, наполняющих окрестности своими голосами и шумом всевозможных моторов, река, по воде которой скользят байдарки и яхточки с мотором или просто лодки с подвесными моторами, то и дело причаливая к дощатому пирсу или отходя от него, — река эта, переполненная новой жизнью и движением, кажется, как это ни странно, опустевшей и безжизненной. Не колышутся водоросли на течении, не плещется рыба, и лишь когда пронесется, задрав нос, моторная лодка, подняв волны, подточенные берега с накренившимися над водою соснами издают хлопающие звуки.

Казалось бы, все должно быть наоборот: шумная и веселая жизнь пришла в некогда глухие и тихие места. И какая, спрашивается, польза реке, если она зарастает водорослями? Один только вред. Теперь она чиста и прозрачна до дна, светится на глубинах донным ребристым песочком: купаться в такой реке — сплошное удовольствие. Все тут для человека: и воздух, и вода, и земля.

Нет только самой малости: вольной и нетронутой жизни. Оттого, наверное, и кажется, что висит в сосновом воздухе какое-то томительное, нудное нетерпение, которое не дает покоя человеку, и он опять и опять заводит мотор, едет по мягким песчаным дорогам все дальше и дальше в лес, любуясь с какой-нибудь вершины горы лесными долями, до которых ему не добраться на автомобиле. Или на малых оборотах ведет лодку по реке, впадающей в озеро, и там, на озерном просторе, гонит лодку по темной и упругой волне, которая бьет будто камнями в дно легкой посудинки, пронизывая ее дрожью, а ездока злобным азартом.

Кажется порой, что человек все время пытается одолеть свое нетерпение, забыться в движении, в шуме встречного ветра и шуме ревущего мотора, будто ему все время чего-то не хватает в райском этом уголке земли. Он и сам не знает — чего.

Может быть, той естественной жизни, которую он вытеснил самим собою, заменив движение волнующихся на течении водорослей движением лодки по воде, шум играющей на зорях рыбы шумом автомобильных и лодочных моторов, свист утиных крыльев собственным голосом и смехом?

Тело отдыхает и нежится на песчаном пляже или в прохладной воде, а душа томится в проклятом нетерпении. словно бы пришел человек в театр, предвкушая слезы и душевные муки, замер в нетерпении, глядя на медленно разводимый занавес, уставился на искусно сделанную декорацию, освещенную цветными прожекторами... А актеры так и не вышли на сцену — действие не началось.

Что-то похожее происходит теперь и на берегах Неволенки: зрителей много, а лицедеев нет.

Стоит кому-нибудь поймать щуку на озере, все сбегаются смотреть, какая она. Ахают, охают, восторгаются, глядя на перламутровое ее тело, на зубастую пасть, на злые остекленелые глаза, и разбегаются в возбуждении, долго помня эту мертвую щуку и рассказывая об удачливом рыбаке как о легендарной какой-то личности.

Вася Мухарёв посмеивается над любопытными, щурит глазки, отмахивается от рассказов, как от комаров.

— Это разве улов? Тут знаешь что раньше было! Тут этой рыбы — гибель было! Эти вот... с ружьями, под водой которые плавают с ружьями... Бывало, идет после своей охоты, еле-еле тащит рыбу.

Язей вот таких! Щук! Окуней! Килограммов двадцать тащит рыбы! Перёловили, перебили всю рыбу, а теперь-то, конечно, удивительно: щуку поймали. Эх, люди, люди!

Вспоминает, как испугался первый раз, когда увидел на утренней заре какого-то странного человека, не то обтянутого черной кожей, не то голого, который шел по берегу Неволенки, таща по росистой траве рыбу на длинном кукане.

— Это есть кино-то такое, про этого, который с жабрами-то,— весело говорит Вася.— Я и подумал, что это он! Ласты свои и очки несет. Улыбается мне, а я, веришь ты, чуть ли не это самое... с перепугу. Потом-то я понял, конечно. Их потом много тут стало приезжать. Это такой костюм, конечно, на них. А я сначала подумал, что в коже какой-то... Баба местная увидела бы так вот, как я, один на один, умерла бы, свалилась бы — и конец. Как будто не люди.

Ранней весной, пока еще не начался туристский сезон, когда пустынно и безлюдно вокруг, автобус привозит работников базы: электрика, кастеляншу и Васю Мухарёва, который тут как бы исполняет роль всех их, вместе взятых,— он и домики подправляет, он и на пирсе топором стучит, он и лодки красит, конопатя сначала щели и обмазывая их черной горячей смолой. Всем он тут вроде бы заведует, все его знают и даже побаиваются или, во всяком случае, стараются не портить хороших отношений с ним.

Автобус, разгрузившись, разворачивается и уезжает назад. А они остаются втроем готовить базу к приему туристов. Дел всяких по горло! Там, глядишь стекло кто-то выбил, там крылечко подгнило и покосилось. Сторож — старик из деревни — греется в валенках на весеннем солнце, радуется людям. В сторожке у него тепло и душно пахнет вареной едой.

Электрик, молодой еще парень, лезет в кошках на высокий, поседевший от дождей и солнца столб, который когда-то рос тут зеленой и пушистой сосной, устанавливает там, на верхотуре, мощный динамик, тянет провода, суетится, торопится, словно сгорает в нетерпении без музыки, что-то подключает, что-то перематывает, разматывает, сматывает, копается с магнитофоном в своей комнатке, именуемой радиоузлом, а когда солнышко начинает желтеть в чистом небе, раздается вдруг в вышине утробный грохот, рвущий весеннюю тишину, заглушающий пение птиц и лягушачье урчание в старицах.словно бы какой-то страшный великан, проснувшись, прокашливается, хрипит, взрывается приступом басовитого рева.

Что-то не ладится у электрика. Опять лезет на столб, копается в глотке великана, точно прочищая ее от всякой гадости. И снова бежит в свой радиоузел, чтобы на этот раз огласить округу ритмичной музыкой, под звуки которой становится трудно говорить и слышать друг друга.

Вася Мухарёв кричит, электрик кричит, кастелянша, сготовив обед, кричит... Все кричат! Возбужденные и счастливые, весело усаживаются на холодные стулья за холодный стол, на котором что-то вкусно дымится в большой кастрюле.

— Все акей! — кричит Вася, оглядывая веселых своих товарищей: электрика, старика сторожа и Настю, которая как бы женой ему теперь приходится, как бы своя, хоть они и не расписаны в загсе.— Люблю вас всех! — кричит он, предвкушая тепло еды и ожог спиртного, скалясь в искренней и безмятежной радости.— Наедут эти, тогда плохо. А теперь тут хорошо! Свободно! Делай чего хочешь, живи! Сам себе начальник! Это я люблю!

Гремит песня за песней. Слов не разобрать, будто бы все они зарубежные, не наши. Да и какая разница, что там за слова. Главное — полная свобода! Пусть орут. С ними веселей. Как в ресторане. Главное, что друг друга хорошо понимают и довольны друг другом.

Обжигаясь, жуют рассыпчатую картошку, заправленную жареным с луком свиным салом, грызут, обсасывают куски неразделанной скумбрии холодного копчения, сваливая в пустую тарелку золотистую кожу и кости.

Вася Мухарёв криком рассказывает свою историю с этой турбазой молодому электрику, не помня, рассказывал ли парню.

— Они там хотели, — кричит он, махая рукой, — на болоте, на озере-то этом!.. Понял? Там, за городом... А я этому... Эмилю-то говорю... чего вы там в болоте хорошего нашли... Я вам, говорю, такое место покажу, что вы только ахнете. Он за мной машину присылает, черную «Волгу», я сажусь, говорю шоферу: «Поехали!» И с ветерком! Привез Эмиля. Что ты! Он даже не поверил. Говорит, мы тебе памятник из бронзы поставим, твоим именем турбазу назовем. Понял? Вот как все было. Они без меня мокли бы сейчас в болоте. Понял теперь, почему они базу-то эту Мухарёвкой зовут? В честь моей фамилии. Вот так! Ну, будь здоров!

Вася не врет. Базу и в самом деле сначала в шутку стали называть Мухарёвкой, потому что кому-то слово «Неволенка» не понравилось, показавшись уж очень несовременным. А потом люди забыли про шутку и стали меж собою звать эту базу не иначе как Мухарёвка. Официально она называлась «Золотая вешка», а Мухарёвка — как бы подпольная ее кличка, для посвященных.

— Эмиль хороший был мужик! — кричит Вася, оглушенный громящей музыкой. — Энергичный! Законный мужик. А эти... — Вася брезгливо морщится, машет рукой. — Эти все... — И, не находя слов, неслышно скрипит зубами, наливаясь брезгливым каким-то мраком и отчуждением.

А в деревне в эти минуты старая мать знает уже, что приехал сын. В мучительном бессилии клянет его вместе с проклятой музыкой, разносящейся над лесом. Весной у нее так болят ноги, что она только по деревне и может ходить, опираясь на палку, и то с долгими остановками, с передышками. Ее не любят в деревне и попрекают Васькой.

Васька редко бывает у нее, боится, как прежде, и избегает встреч. А если она среди лета приходит на базу, прячется, как маленький, и убегает в лес.

Это не всегда ему удается. Он глупо ухмыляется, глядя на разгневанную мать, врет ей в глаза, заискивая перед ней:

— Все некогда, мам. Намедни, думаю, дай-ка к матери схожу, небось соскучилась по сыну. А тут как раз начальство понаехало. Вроде инспекции. Затаскали меня совсем, мам. То им подай, это сделай, то нехорошо, то плохо... Измучился так, что пришлось даже от усталости принять. Что ты, мам! Если бы я хотел, то каждый день был бы пьяным... Знаешь как! Приезжают эти... Ну и это: «Василь Николаич, Василь Николаич...» Как будто я алкоголик! Вот и подумай сама, что бы я делал, как бы я жил, если бы со всеми выпивал? Тут их тыщи бывает за сезон. Да я бы помер давно. Так что не обижайся. И чтобы все акей. Эх, мама, мама, разве я не понимаю тебя! Ты небось думаешь обо мне, что я тут какой-то пьянчуга у тебя стал. А ты вон пойди сейчас и поспрашивай у людей, кто такой Мухарёв Василий Николаевич. Тебе все объяснят. Меня, мам, теперь Васей-то только самые мои хорошие и близкие товарищи зовут, а все другие Василием Николаевичем. Базу и ту Мухарёвкой прозвали. А ты все обижаешься. Ну чего ты на меня так глядишь, как будто я в чем виноват? Не виноват я ни в чем! Это же все на дороге лежало, — говорит он, разводя руками. — Это все государственное. А чего тебе не нравится, мам? Люди хорошие, культурные. Никакого безобразия, ничего такого... Все акей. Другие бы радовались на вашем месте, а вы

все как дикие какие. Жизнь кругом! Ну пойдем, я тебя провожу малость, а то у меня дел по горло...

Мать сердито смотрит на сына. Совсем постарел, обрюзг ее Васька, морда стала толстая и красная от вина. Теперь и не поймешь, то ли он пьяный, то ли трезвый. То ли шатается, то ли походка такая стала.

Идут по лесной тропинке, еле заметной в цветущем вереске. Нынче густой туман. Пушистые сосенки кажутся серыми. Тяжелый и хмурый, как невыспавшийся человек, туман затмевает солнце. Большой куст над тропинкой похож на стог сена. Всюду под ногами истлевшие сучья или корни упавших и сгнивших сосен, серые, как гадюки. Страшновато!

— Ты чего в такой день-то пришла, мам? Молчишь, молчишь. Даже обидно,— говорит Васька со вздохом.

— А вот потому! — вдруг начинает с привычной злостью в голосе старая мать.— В хороший-то день убежал бы от меня. А тут поймала за хвост, поглядела, может, в последний раз, какой ты красавец стал. Поймала, как мокрую курицу. Ох, Васька! Нет на тебя палки. Говорила тебе, наказывала: воздержись,— а ты все такой. Ишь воевода какой стал! «Василий Николаевич». Тьфу и растереть! Перед людьми стыдно за тебя. Срам ему на старости лет. А тебе хоть бы что. Поганец ты эдакий.

Говорит, говорит, а глаза сухие. Хоть бы слезинку пролила, Васе легче бы стало: пожалел бы мать, а то и сам бы заплакал вместе с ней. А эта идет, как медведица на задних ногах, и ворчит.

— Люди говорят, ты женился, а я ничего не знаю. Правду, что ль, говорят?

— Врут, — откликается Вася. — Неужели бы я от тебя утаил? Как ты думаешь?

— Ты-то? Ты все можешь.

Когда выходят из леса к полю, мать останавливается и машет на него палкой.

— Иди назад. В деревню не ходи... А то увидят тебя, так поколотят.

И не прощаясь уходит в туман.

А Вася Мухарёв бежит назад по тропочке и рад-радешенек, что избавился от матери.

На турбазе тишина и скука. Серо, как зимой, и зябко. Над Неволенкой, которая черной струей скользит и скользит под туманом, копошатся клочья пара, будто вода подогрета.

РУЧНАЯ РАБОТА

Едешь, едешь, смотришь в окно вагона, а там в глубоком снегу, под белесым небом, по лощинам и по бугоркам бегут и бегут высокие и низенькие островерхие колючие елки. Черноватенькие на белом, одноликие северные наши елочки. Несть им числа! От самой Москвы лес и лес... Поспишь часок, посмотришь в окошко, а там опять все те же елки. Даже строчки приходят на ум: «Он еще спал немножко и опять взглянул в окошко...» Елки!

И так незаметно въезжаешь в Финляндию — те же елки, но уже не наши.

В лесу теперь все чаще глыбятся прикрытые снегом гранитные валуны, то на копешку похожие, то на огромный стог.

Финны добродушно поругивают доисторический ледник, рассказывают о нем с улыбкой: дескать, прошел тот бульдозером по стране Суоми, сгреб всю землю, отвалив ее к югу, а Финляндии оставил только голый камень.

Финны народ молчаливый и суровый — об этом я слышал чуть ли не с детства. Насчет суровости не знаю, Север накладывает, ко-

нечно, свой отпечаток на характер людей, а что касается молчаливости финнов, их классической немногословности, то в этом я сам лично убедился чуть ли не в первый же день.

Вышел из гостиницы, уютной и тихой «Урсулы», чуть раньше назначенного часа встречи с переводчицей. Стою смотрю по сторонам. Подходит пожилая женщина и, по всей вероятности поздоровавшись со мной, начинает что-то рассказывать. Говорит очень выразительно, оживленно, с итальянской, я бы сказал, мимикой и жестикуляцией, делясь со мною какими-то впечатлениями, передавая, судя по интонациям, какой-то разговор с кем-то. Слышатся и вопросы в ее рассказе и ответы на эти вопросы: с кем-то она, видимо, о чем-то спорила, что-то кому-то доказывала, а с ней кто-то не соглашался.

Слушаю ее, киваю ей с таким видом, будто бы все мне понятно, хотя, увы, ни слова не знаю по-фински. Говорит и говорит, а я слушаю и молчу, как истинный финн. Ей же вдруг пришло в голову что-то спросить и у меня. Отмолчаться не удалось. Говорю ей с ласковой улыбкой:

— Не понимаю. Простите, но я не говорю по-фински.

Виновато развожу руками, понимая, что теперь она не понимает меня. Но замечаю в то же время, что она не верит мне, что я ее не понимаю. Ей, видимо, очень нужно знать мое мнение о том, что она мне только что рассказала. И, обезоруживая меня, снова спрашивает о чем-то. Я в ответ с трудом ей лепечу что-то по-немецки и по-русски, что-то про язык суоми, что, дескать, к сожалению, не говорю на суоми, решив, что теперь-то ей станет все понятно. Она задумывается на мгновение, смотрит на меня с застывшей на губах недосказанной фразой. Кивает мне неуверенно, догадываясь наконец, что я и в самом деле не понимаю ее.

— Я из Москвы приехал. Москва,— говорю я, похлопывая себя по груди. — Русский.

Смотрю на нее с надеждой, что теперь-то она наверняка поймет меня. Она с сожалением кивает, улыбается смущенно и разочарованно: видимо, уж очень ей нужно было с кем-нибудь поговорить, излить кому-нибудь душу — нашелся один, да и тот ничего не понимает. Задумалась, погрузилась. Глаза ее, с резким подрезом верхних век, лгут серенькой доброй грустью.

— Йа, йа,— произносит она в этой минутной задумчивости.— Йа.

— Да, к сожалению,— говорю я, пожимая плечами.

А она вдруг усмехается весело, машет рукой: а, мол, была ни была! И начинает прерванный свой рассказ. Говорит с еще большим азартом, жестикулирует, кого-то изображает, какого-то напыщенно-го человека, подражает его голосу, отвечает ему с задором, со скуластенькой усмешечкой, уверенная в своей правоте, обращается ко мне, как бы комментируя диалог, что-то поясняет и опять говорит, говорит, говорит... Я молча слушаю и киваю в знак согласия.

Начало января. Рассветает поздно. Тем более что небо наглухо закрыто серыми облаками, нависшими над мрачноватыми, как гранитные скалы, домами. Из облаков сыплется что-то серенькое и неопределенно холодное: то ли вялый какой-то дождичек, то ли мокрый балтийский снежок. Люди давно уже на работе. Открыты магазины, зазывая прохожих празднично сияющими витринами. В сизых утренних сумерках желтеют окна. Вспыхивают светофоры красным огнем, останавливая потоки машин. Алые угли стоп-сигналов, словно раздуваемые ветром, окрашивают в розовый цвет горячие, конденсирующиеся в холодном воздухе выхлопные газы. Люди, переходящие улицу, торопятся черными тусклыми тенями перед этой сверкающей хромом и разноцветными эмальями огнедышащей лавиной укрощенного металла, урчащего в нетерпеливом ожидании. Светящиеся вагоны трамваев, проезд на которых, кстати, очень дорог в Хель-

синки, распахнули дверцы, впуская в свое нутро заждавшихся пассажиров.

Светофоры горят уже желтым светом. Зеленым! Словно вздох облегчения слышится на улице, по которой разгоняются, набирая скорость, автомобили и трамваи.

Моя незнакомка, кажется, заканчивает свой рассказ, с благодарностью кивает мне на прощанье, что-то приговаривая с улыбкой, и торопливо идет по зимнему пестрому тротуару, теряясь среди прохожих.

Хорошо поговорили! Улыбка никак не сходит и с моего лица, никак я не могу ее спрятать.

Первое мое «самостоятельное знакомство»! Это все равно что знакомство с новым городом, в который приехал впервые в жизни, в котором все тебе в новинку, все развлекает тебя, праздного, в общем-то, человека, не знающего языка местных жителей, с укладом жизни которых знаком лишь по литературе. Чувство при этом испытываешь необыкновенное!

Каждый город шумит по-своему, пахнет, движется, возносится своими постройками в небо... Даже ночная тишина, по-моему, в каждом городе своя, особенная, к которой тоже надо привыкнуть. Дело тут, наверное, в том, что в Хельсинки, например, по улицам движутся автомобили иных марок, нежели в Москве. А раз так, то, значит, и шум моторов, рокот выхлопных газов, шумок трансмиссий, запах сожженного бензина тоже совсем иные. Это в былые времена, когда еще не было автомобилей, все лошади мира одинаково цокали копытами по булыжным мостовым, одинаково пахли потом, одинаково ржали. Теперь же путешественник, попавший в чужой город, как бы окунается в своеобразный воздушный раствор, состоящий из незнакомых шумов и запахов, к которым он, конечно же, быстро привыкает, но все-таки... Это как я, впервые приехав в летнюю Прагу, никак не мог понять, чем же так заманчиво вкусно пахнут улицы древнего города, пока не съел жареную шпикачку, приправленную душистой горчицей.

Впрочем, если говорить серьезно, то и сама древность имеет свой таинственный и притягательный аромат, какой источает старая книга или икона.

Сейчас частенько можно слышать выражение «ручная работа». Это означает, что вещь сделана добротнo, качественно, пронизана теплом человеческих рук, изготовлявших ее, что она уникальна в своем роде, неповторима, исполнена художественного вкуса. И ценится она, разумеется, гораздо выше той вещи, которая целиком изготовлена на машине или с помощью нескольких машин, хотя... Хотя последняя может служить человеку ничуть не хуже, а может быть, даже и лучше первой. И красотой она может блистать и отделкой, являясь для человека просто необходимой вещью, ничем не заменимой, исполняя какие-то такие функции, которые крайне нужны современному человеку... Таких вещей хоть пруд пруди! Они сами лезут в глаза, предлагая свои услуги. И все-таки!

Ручная работа... Ах, как истосковался современный человек в мире прекрасных и очень удобных, многоэтажных домов, где все, казалось бы, служит ему верой и правдой, все сделано с учетом чуть ли не всех его желаний. Зачем подниматься по лестнице! Есть лифт. Зачем отворять дверцы лифта! Сделаем их автоматическими. Пожалуйста, нажмите кнопку, теперь эту, потом ту... А там вообще не надо ничего нажимать — двери сами распахнутся при вашем приближении. И все-таки...

Когда поднимаешься по старинной винтовой лестнице, по известняковым, стершимся от времени ступеням, опираясь рукой на отшлифованный дубовый поручень, лежащий на чугунной литой орнаментированной решетке, смотришь на стены, отделанные под розовый

мрамор искуснейшим мастером, каких сейчас днем с огнем не найдешь, то невольно думаешь, хоть и колотится сердце, опять же о ручной работе, о нетленной ее красоте, ежедневно, ежечасно воспитывающей в человеке вкус и, что очень важно, уважение к кропотливому, талантливому, я бы сказал — сердечному труду человека.

Старая архитектура, старые постройки — это тоже ручная работа. Даже если здание не отличается особым стилем, не являясь архитектурным памятником какой-либо эпохи, а просто хорошо и прочно, красиво построено. Ручная работа! В прямом и переносном смысле.

Мне лично это хорошо понятно, потому что было время, когда я работал лепщиком-модельщиком, то есть делал лепные украшения, лепнину. Хорошо ли, плохо ли делал — другой вопрос. Конечно, не всегда получалось так, как хотелось: что-то ускользало вдруг из-под пальцев, какое-то необъяснимое и загадочное чувство формы вдруг изменяло тебе, и никакие усилия не помогали тогда. Ты заканчивал работу, сдавал архитектору, автору проекта, какой-нибудь фриз, вылепленный в глине, архитектор со вздохом принимал, не находя видимых причин быть недовольным работой, но... Глиняная модель превращалась в гипсовую, с гипсовой, в свою очередь, снималась кусковая форма, и по фасаду новенького здания устанавливался цементный фриз, который тебе не удался, которым ты очень недоволен, как может быть человек недоволен самим собой, словно бы в этом фризе не удался ты сам, не получилось твое движение, пластика твоей души, словно бы ты, работая над этим фризом, зря прожил те дни, в которых ты, мастер, не отразился в своем изделии, не сообщил ему тепла своей крови и пульсации живого сердца.

Как установить грань, где кончается ремесло и начинается искусство? Или, может быть, нет этой грани? А может быть, вопрос надо ставить иначе: где кончается необузданное воображение, стихийное творчество и начинается великое, облагораживающее дикий камень ремесло? Впрочем, вряд ли кто-нибудь из смертных задумывался об этой последовательности, остановившись перед храмом Василия Блаженного на Красной площади или перед собором Парижской Богоматери...

Великое множество можно было бы привести примеров, когда восхищенные красотой люди забывали не только о грани между ремеслом и искусством, но и о самих себе. О чем тут говорить! Это только праздный человек, который вроде меня приехал в незнакомый город на несколько дней с неопределенными, в общем-то, целями и задачами, может позволить себе подобные размышления. Да и то лишь вспомнив свое далекое, как детство, прошлое. Кисловатое благоговение серой глины, пресный запах влажного, теплого, еще греющего гипса, под белой коркой которого скрылась ветвь волнующегося лавра, перекрещенная с ветвью дуба, или струящийся, обволакивающий плоскость знаменитый акантовый лист, без которого не обходится ни один орнамент, если орнаментом нужно выразить сочность и живость окаменевшего движения, подчеркивающего монументальность стены или, наоборот, ее легкость и воздушность... Все это только что жирно лоснилось, изваянное в серо-зеленой глине, а теперь вот ушло под гипс, который, схватившись, передаст в зеркальном изображении все мельчайшие подробности глиняного изваяния, будь то отпечаток пальца с тончайшим узором кожи или штрих пальмового стека, гладкого и теплого, как отшлифованная кость.

Формовка! Начало долгого и кропотливого превращения непрочного глиняного орнамента в гипсовую модель, похожее, может быть, на превращение мохнатенькой гусеницы в нелепую куколку, из которой в один прекрасный момент вылетает на свет божий роскошная бабочка, исполненная грации и удивительного изящества. Все так же

хрупко, нежно, непрочно и... Все так же прочно и уверенно, как уверена в себе истинная красота, как прочна и неистребима сама жизнь.

Далекая и в самом деле полузабытая, как детство, жизнь: учеба в художественно-промышленном училище, работа в лепной мастерской... Неужели это было? Тесные, заляпанные высохшим раствором леса оштукатуренных фасадов, нависшие карнизы. И ты где-то на этих лесах устанавливаешь на фасаде какую-нибудь лепную вставку или крепишь под балконом пустотелый тяжелый кронштейн! Стеки, скарпели, клюкарзы, царпки... Странно звучащие и, увы, тоже полузабытые названия инструментов, которыми я когда-то работал в глине и гипсе. Всевозможные долотца маленькие и большие, лопаточки, предназначенные для обработки гипсовых отливок, множество всевозможных приспособлений, помогающих в работе.

Ну и, разумеется, друзья, с которыми пролетела молодость...

Нет, не только годы раскидали нас и не индустрия, которая вторглась в строительство, отбросив как хлам и старье всевозможные орнаменты, розетки, гирлянды, капители и прочие архитектурные излишества, как стали называть лепнину. Сказалась, видимо, художническая натура: каждый ушел добывать себе хлеб и славу в одиночестве. Слышал я, один из моих друзей что-то делает теперь на керамической фабрике, другой стал администратором, занимаюсь организацией художественных выставок, третий ушел в реставраторы, четвертый... О четвертом я мог бы сказать — пропал для меня без вести.

Мастер он был отменный, жадный до работы и очень трудолюбивый человек. Где он теперь — не знаю. Он работал лучше всех нас, вместе взятых, был очень талантлив и, как истинный мастер, трудолюбив.

Лепные работы в те годы нужны были всюду. Даже в Сибири. Помнится, он на меня, ездившего в Сибирь, смотрел с ленивой какой-то усмешечкой. «За длинным рублем гонялся? — спрашивал он так, будто бы я был идиотом, не умеющим жить, и, не дожидаясь ответа, презрительно добавлял: — Всех баб не перецелуешь и денег всех тоже не заработаешь».

Признаться, я иногда завидовал ему: все у него было прочно в жизни, основательно и надежно, всегда у него были деньги, всегда он хорошо одевался и, как говорится, умел жить.

Я же метался тогда в каких-то неопределенных мечтаниях, спорил с архитекторами, с начальником мастерской, мог ударить со злостью по не оконченной в глине работе, смять все к черту и начать заново, будто это не гирлянда какая-нибудь была, а портрет любимого человека, который мне никак не удавался, будто не было у меня сроков сдачи работы и нужды в деньгах, будто я был свободным художником, а не ремесленником, работающим по нарядам.

Надо сказать, в те годы мне приходилось делать все: лепить, переводить в гипс глиняную модель, формовать, а иногда даже устанавливать отливки на место. И теперь, когда я проезжаю мимо некоторых зданий в Москве, сердце нет-нет да и екает, когда на фасаде старого уже дома увидишь вдруг свое собственное изделие — слеповатое от многих покрасок и, может быть, даже аляповатое, неуместное с точки зрения элементарного вкуса, как, например, стилизованные снопы, установленные на крыше жилого дома, похожие с земли на какие-то нелепые тумбы. Но что ж тут поделаешь! Это уж на совести архитектора такие ляпы, а дело лепщика простое: хорошо лепить.

Но хватит! Воспоминаниям этим нет конца и края. Обойдемся как-нибудь без них, тем более что в то утро, в тот рассветный час зимнего дня, когда я так мило «поговорил» с незнакомкой на улице, я был так далек от этих воспоминаний, что было бы бесчестно приписывать себе эдакую ностальгию по себе самом, по тому юноше,

который когда-то легко взбирался по настилам лесов на восьмой этаж, под тяжелый карниз, легко, как кошка, ходил по краю толстой стены, легко прыгал через какие-нибудь проемы недостроенных окон, не боясь высоты и даже не задумываясь никогда о том, что такое вообще бояться и не бояться.

В то хельсинкское утро я жил странной сиюминутностью, которая всегда охватывает человека при первом знакомстве, будь то знакомство с городом или с человеком. В городе живут люди, которые построили его, ухаживают за ним, любят его, любят друг друга в этом городе, рожают в его стенах новых жителей, знакомятся в его домах, встречаются на его площадях и улицах, уезжают из этого города, скучают вдали от него и с радостью возвращаются в его каменные чертоги или деревянные домики, парятся в саунах, спят, работают, отдыхают, ругаются и мирятся, смеются и плачут, зарабатывают и тратят деньги... Конечно же, город отразил в себе характер людей, живущих в нем, как отразился и он в глазах и душах его исконных жителей. Конечно же, это единый, очень сложный и живой организм, понять который и рассказать о котором можно, лишь долго живя в нем, разглядывая его исподволь и как бы между прочим, не задавая целью познать его особенности, не мучая себя обязательными наблюдениями, записками, вопросами и прочее и прочее. Но даже и при этом обстоятельстве еще неизвестно, получится ли интересный рассказ о городе. И все-таки...

Все-таки у путешественника, заглянувшего в город всего на каких-нибудь десять—двенадцать дней, есть одно преимущество. У него не успевает за этот короткий период времени выработаться привычка к городу. Он смотрит на него новыми глазами любопытного человека и порой замечает то, что местный житель привык не замечать, слышит то, чего не слышит исконный житель. Поэтому мне, например, всегда было интересно читать путевые заметки о Москве, увиденной глазами иностранца, который приезжал или приехал в мою столицу, конечно же, с добрыми чувствами.

Сам я коренной москвич, все мои деды и прадеды похоронены на московских кладбищах и, признаюсь, самому мне кажется иногда, что я имею право порой обозлиться на свой огромный, шумный, многолюдный город, бежать из него без оглядки куда-нибудь в лес, или на реку, в тишину и покой. Иногда мне кажется, что я заслужил право на эту, так сказать, ссору с ним, без которой вряд ли обходится хоть одна истинная и страстная любовь вообще.

Но когда мой город не любят, не утруждая себя попыткой понять его, предвзято оценивая все то доброе и сердечное, что таит в себе мой древний и славный город, тогда во мне просыпается вдруг такая ревность, такое острое чувство оскорбленного достоинства, что я долго не могу успокоиться и прийти в себя от этой неслыханной дерзости заезжего скептика, будто бы он оскорбил не город мой, а мою старую мать, которая неспособна сама отомстить за это оскорбление, призывая меня на помощь.

Вот такой странной любовью люблю я свой город, в котором родился и вырос, из которого уезжал и в который возвращался...

Я думаю, эти чувства понятны всем. Понятны жителям Хельсинки и Парижа, Праги и Будапешта, как понятны они жителям маленьких сел и деревень, поселков и городков. Каждый житель имеет право плохо отозваться о своем собственном городе или деревне, любя свой город или свою деревню, но никто из уважающих себя людей не может, не имеет права на пренебрежительное отношение к другому городу или к другой деревне, потому что это равносильно пренебрежению к другому народу, построившему тот или иной город, чтобы вечно жить в нем. А уж это совсем никуда не годится! Нельзя же, будучи в здравом рассудке, не любить тот или иной народ! Это не-лепость. Если не полная деградация, ведущая бог знает куда.

Естественно, в Хельсинки я приехал с чистой и нежной любовью.

Пожалуй, мало найдется народов на свете, у которых так остро, как у русского человека, развито чувство соседства. У нас даже поговорка старая есть: выбирай не дом, а соседа. Есть и ласкательное словечко «соседушка». «Здравствуй, соседушка», — чуть ли не каждый день говорит мне, например, при встрече мой хороший приятель, живущий в одном доме со мной. Другие жалуются: соседи попались плохие. Стало быть, и жизнь не в радость.

Для доброго соседа русский человек готов в лепешку расшиться, лишь бы угодить, лишь бы доказать на деле свою любовь к нему. Сосед в жизни моего соотечественника занимает очень важное место. К соседу идут за советом или за помощью, занимают у соседа или дают в долг соседу деньги, оставляют друг у друга детей, когда сами уходят в гости или в театр, угощают домашним вареньем или солеными груздями и даже за стульями бегут к соседям, если собралось вдруг много гостей, которых не на что усадить.

Из глубины веков тянется эта добрая надежда на хорошего соседа у русского человека, став его извечной привычкой, душевной какой-то потребностью жить в ладу со своим соседом, которого порой он чуть ли не за родного человека готов считать. А то и родней родного становится иной сосед, который выручил когда-нибудь в недобрый час жизни советом или делом. Нельзя, по-моему, до конца понять русского, если не учесть врожденное его чувство особенной любви к соседу, его веру в соседа, к которому он всегда готов, даже жертвуя собой, прийти на выручку и не дать в обиду. Чувство это с молоком матери входит в нас всесильным властелином.

Ах, Хельсинки, Хельсинки! Чем же ты пленил меня? Влажный и холодный ветер с Балтики не остудил мою душу, сизые поздние рассветы, низкие облака, из которых чуть ли не каждый день сыпался мелкий снежок пополам с дождем, всякий раз пробуждая во мне радость, будоража мои жизненные силы... Почему же я чувствовал себя так, будто все эти дни, проведенные в Хельсинки, были щедро подарены мне судьбой и не засчитывались, не выстраивались в череду быстротечных дней моей жизни, а как бы даны были сверх положенного мне богом и судьбою срока?

Ответ может быть один: удивительное, нежное, трепетное какое-то гостеприимство хозяев города, его жителей и тех добрых людей, которые окружили меня заботой и которые стали моими друзьями.

Я не ошибусь, если скажу, что финну тоже присуще острое чувство добрососедства, о котором я уже говорил.

Во всяком случае, в горячем гостеприимстве финнов я убедился на собственном, очень приятном, опыте.

Так уж случилось, что день моего рождения выпал на то время, когда я жил в теплой и очень чистой, нешумной гостинице «Урсула», где я каждое утро завтракал в буфете почти в домашней обстановке. Это такая редкость в современных отелях, что я считаю нужным упомянуть об этой, казалось бы, мелочи, потому что обстановка тихого домашнего уюта, с какой начинается день, во многом влияет на твое дальнейшее настроение.

Наступило однажды и то утро, когда я родился, то есть сорок девятое для меня январское утро, предвещавшее на сей раз хороший зимний день с неярким солнышком и легким морозцем.

Позавтракал, вернулся в номер, и вскоре, как всегда точно в назначенное время, раздался стук в дверь: то пришла за мной моя переводчица, которую звали... Ну, допустим, Катрин Вайненен. Она укутывала свою милую головку русской павловской черной шалью с пламенеющими розами, сама была похожа на русскую, и с ее позволения я звал ее Катенькой.

Я отворил дверь и удивленно ажнул.

У порога стояли мои славные и добрые друзья, вспомнившие о моем дне рождения: Кристина Порккала, Катрин Вайненен, Йоуни Апялахти. Была тут и таинственно-молчаливая Пулма, никогда не расстававшаяся с фотоаппаратом. Я бы даже так сказал о ней: сначала я видел яркую, ослепительную вспышку блица и уж только потом улыбку Пулмы, которая как сказочная волшебница появлялась вдруг из этой молниевой вспышки.

Но на этот раз они стояли в коридоре у порога моего номера, улыбались, протягивая мне живые гвоздики, и что-то радостное пели, глядя на меня.

Потом я узнал, что в песенке, которой в Финляндии принято поздравлять с днем рождения, были, между прочим и такие слова, запавшие мне в душу и до сих пор пробуждающие всякий раз нежное и какое-то улыбчивое чувство благодарности: «О юноша! — пели хорошие эти люди. — О юноша! (Это мне-то!) Ты, как прекрасный цветок, распустился на зеленой лужайке...»

Примерно такие слова пели они, придя ко мне ранним утром, чтобы поздравить с днем рождения.

Это было так неожиданно и так трогательно, что я их всех расцеловал, а сам почувствовал себя пускай и не таким уж юным и не очень уж похожим на прекрасный цветок, но зато помолодевшим лет на пятнадцать и счастливым.

Потом был солнечный, голубовато-дымчатый день, было свободное время, прогулка в предместьях Хельсинки...

Катенька спросила у меня, когда мы возвращались в Хельсинки, летя по автостраде в черном «мерседесе»:

— Где мы сегодня будем обедать? Где ты хочешь? Давай поедим в русский ресторан. Это хороший ресторан. Там русская кухня, тебе будет, наверное, приятно. Да? — спрашивала она с искристой своей улыбкой на раздумившемся лице, произнося это вопросительное «да» не на выдохе, как говорят все люди, а на каком-то очень легком и певучем вдохе. Она вообще отличалась этой особенностью — произносить некоторые слова на вдохе, говоря быстро и как бы все время впопыхах, с какой-то постоянной озабоченностью. Ей как будто не хватало дыхания и она торопилась успеть все сказать, как бы захлебываясь от восторженного удивления и радости. — Да! — говорила она, вдыхая в себя это милое «да», придающее ей столько таинственности и обаяния, что я не мог без улыбки и восхищения слушать ее.

— Да! — отвечал я ей, пытаюсь подражать, хотя у меня ничего не получалось из этого. — Да! Поедем в русский ресторан.

Приезжаем. Ресторан называется «Шашлык».

— Катенька, почему «Шашлык»?

— А-а! — шутливо и весело отмахивается она. — Финны думают, что это русское блюдо.

Садимся за столы. В окнах цветные витражи. Знакомая какая-то музыка звучит откуда-то, словно сами стены чуть слышно звучат под сурдинку. Прислушиваюсь к словам и к мелодии и узнаю песню... Сейчас не помню точно, но, кажется: «Ведь с нами Ворошилов — первый красный офицер, сумеем кровь пролить за СССР...»

Опять Катенька смеется, откидывая на плечи черную шаль.

— Финны не понимают... Они думают, это ваша русская народная песня.

А на стене вдруг вижу портрет Владимира Ильича Ленина, память о котором свято чтут в Финляндии.

Это был самый удивительный день моего рождения!

Вечером я звонил в Москву, разговаривал с женой, признаваясь ей в нежной любви к Катрин Вайненен и Кристине Порккале, которые тоже разговаривали с моей Леной, поздравляя и ее с новорож-

денным. А Лена по телефону из Москвы говорила Катрин и Кристи-не, что она их тоже, как и я, очень и очень любит.

Мой беззаботный и легкомысленный день рождения пролетел как вдох и выдох, а наутро я проснулся с легкой душой и новой уверенностью, что, может быть, на сей раз мне повезет и я с помощью Катрин найду того, кого уже искал довольно долго, — моего коллегу по прежней профессии.

Я, конечно же, не рассчитывал познакомиться с лепщиком, который делал бы лепные модели для новой архитектуры. Такого быть не могло. Новые кварталы Хельсинки хоть и отличаются безукоризненным качеством построек, но похожи на все новые кварталы, которые я каждый день вижу в Москве, видел в Париже или Праге, в Будапеште или Берлине... Лепные работы не для них.

Но все-таки должен же где-то в Хельсинки работать реставратор лепных работ!

Все мои новые друзья, когда я обращался к ним с просьбой познакомиться меня с реставратором, тоже были уверены, что такой существует в их городе, но найти его мы никак не могли.

Кстати, надо сказать, что Катрин Вайненен не простая переводчица, помогавшая мне знакомиться с Хельсинки и его жителями, нет! Ее талантливому перу принадлежат многие прекрасные переводы из русской и советской поэзии. Мне рассказывали о ней, что когда она была в Советском Союзе и читала по-фински свои переводы стихов разных русских поэтов, то люди, слышавшие эти стихи, но не знавшие финского языка, сразу же по мелодике стиха, по ритму узнавали авторов — так точны и музыкально-отчетливы были переводы Катрин Вайненен.

Меня вообще окружали очень достойные и уважаемые люди. Кристина Порккала — до конца преданная делам дружбы Финляндии и СССР, Пулма — ее сотрудница и помощница, Йоуни Апялахти — директор департамента культуры, добрейший и благороднейший человек, у которого прелестные образованные дети и очаровательная супруга, занимающаяся живописью и умеющая готовить такие вкусные блюда, что я до сих пор облизываю, как говорится, пальчики, вспоминая гостеприимный их дом.

Мне очень повезло. У меня просто не хватит места, чтобы перечислить всех, кто оставил в моем сердце добрый и нежный след искреннего уважения и дружбы.

Да, так вот о мастере—реставраторе лепных работ, которого мы никак не могли отыскать в Хельсинки.

Я и сам был бы очень удивлен, если бы меня сразу же повели в мастерскую, где он, воображаемый мною мастер, работает. Я был уверен, что плачевное состояние этой прекрасной профессии — дело всемирное. И не ошибся.

Не ошибся и в том, что жители страны Суоми, как и мы у себя на родине, как, впрочем, и все думающие люди планеты, ломают копья, доказывая необходимость сохранения старой архитектуры, разумного и гармоничного сочетания старого и нового, ругают современных архитекторов, которые на месте снесенных старинных особняков возводят безликие и унылые дома.

Надо, правда, отметить существенную разницу в этом больном вопросе. Так, например, если в Хельсинки сносится старый особняк, а на его месте вырастает небоскреб, который выгоден хозяину, то этому никто не в силах помешать. В Москве же сейчас, например, вынесено Моссоветом решение во что бы то ни стало сохранить в центре города все особняки и старинные здания. Решение это соблюдается и, надо полагать, будет строго соблюдаться и впредь. Это, конечно, очень серьезное различие между нашими городами. Хотя и в Москве потеряно уже так много уникальных строений

древности, что плакать хочется, когда подумаешь об этом. Споры и разговоры об этом еще очень много, масса разных точек зрения. Я даже слышал однажды в московском доме в кругу образованных людей такое выражение, которое меня странно как-то покорило. Не помню, о чем конкретно шел тогда шумный спор, но помню, что кто-то поставил в пылу полемики такой вопрос: «О какой красоте мы сейчас говорим? О функциональной или об абстрактной?» — как будто понятие красоты можно разделить на эти составные части.

В заумных этих и пустопорожных спорах мы прозевали, упустили из виду одну чрезвычайно важную и необходимейшую профессию, отмахнувшись от нее как от устаревшей и безвозвратно ушедшей в прошлое. Старые мастера, которые могли бы обучить своему ремеслу, уже умерли, те же, кому повезло приобрести в свое время навыки этого мастерства и знание его тончайшей технологии, ушли, как правило, в другие области прикладного искусства. А сколько в одной только Москве можно насчитать ценнейших архитектурных памятников, украшенных обветшавшей уже лепкой, требующих, пока еще не поздно, немедленного вмешательства опытных мастеров-реставраторов, которые смогли бы возродить, увы, тленную эту красоту! Сколько таких зданий в других древних столицах и городах мира!

Заходим с Катрин в Художественно-промышленный институт в Хельсинки. Процветает керамика! Есть изумительные мастера и талантливые ученики. За керамику можно быть спокойным. Спрашиваю у преподавателей, у мастеров про архитектурную лепку, про своих коллег...

— Нет, такого факультета у нас нет. Был когда-то, — вспоминает пожилая художница. — Я помню, что раньше у нас это было, а теперь нет. И вообще трудно. Нет мастерских. Никак не могут построить, работаем и учим студентов в разных зданиях.

И никто не может назвать ни одного живущего в Хельсинки мастера исчезнувшей профессии. Грустно, конечно.

Вдруг узнаем, что в Студенческом доме работает какой-то мастер... Не верится, но едем туда, а по дороге Катрин рассказывает печальную историю этого очень красивого некогда здания, которое горело и которое студенты реставрировали собственными силами, на голом энтузиазме, хотя некоторые фрески сгорели и восстановить их не удалось. Мастеров-альфрейщиков теперь тоже не готовят современные училища, и думаю, что тайна фрески тоже теперь известна считанным людям на планете.

Надо и здесь торопиться. В Художественно-промышленном институте, кстати, сказали, что в будущем лепные мастерские тоже будут на факультете, как и керамические. Дай-то бог.

Студенческий дом и в самом деле красивое и нарядное здание. Работа, которую сделали студенты, достойна всяческого уважения, не говоря уж об энтузиазме молодых людей.

Наконец-то мы видим мастера! Рыжеватый блондин в спецовке тонирует под искусственный мрамор стены лестничного пролета. Делает это с большим искусством, растирая масляные краски на плитах стены с той игривой непринужденностью, какая свойственна истинным профессионалам. Не работает, а наслаждается жизнью! Розовато-бежевые прожилки искусственного мрамора трудно отличить от естественных прихотливых цветовых извилин натурального камня.

Разговорились. Мастер этот родом из Австрии, учился своему мастерству в Италии, живет сейчас в Хельсинки, говорит по-фински. Хорошо и добродушно улыбается в пушистые свои бакенбарды, спускающиеся от висков чуть ли не до уголков сочных розовых губ. О лепщиках тоже ничего не знает.

Говорю ему, что есть другой метод тонирования мрамора, когда

в заведенный, как говорят на своем профессиональном языке лепщики, гипс добавляются краски и слегка размешиваются в нем. Из этого разноцветного гипса отливают на стеклянной поверхности плиты, которые несут в себе зеркальный блеск полированного мрамора с цветными прожилками, получающимися из не промешанных в гипсе красок, из их случайных и словно бы природных завихрений, оставшихся в схватившейся и отвердевшей отливке. Согласно и вежливо кивает. Слышал о таком способе, но сам им не владеет. Тоже вежливо киваю ему на прощанье, желаю успеха.

— Да, да! — вздыхает Катрин. — Да! Но ничего. Мы сегодня поужинаем в «Космосе», это у нас такое есть артистическое кафе, где собираются художники, артисты, поэты... У меня там много знакомых. Нам обязательно помогут. Мы найдем твоего мастера. Да! Не расстраивайся.

Катрин Вайненен тут свой человек. Перед ней распахивается закрытая дверь. В гардеробном закутке навалом лежат пальто и шапки, не уместившиеся на вешалках. Мы добавляем к ним свои и входим в туманно-желтый зал, битком набитый людьми, в котором нет ни одного свободного местечка.

Но не для Катрин Вайненен. Кто-то потеснился, кто-то откуда-то принес стул... Катрин то и дело здоровается, отвечает на приветствия, светится радостью и веселой озабоченностью.

— Тебе нравится? — спрашивает у меня. — Тут очень хорошо, — добавляет с уверенностью, что мне просто не может не понравиться тут.

— Да, конечно, — отвечаю я, оглядываясь и привыкая к нестройному гомону голосов и взрывам хохота, к многолюдью, к лицам знакомых Катрин, приютивших нас за своим столиком, мимо которого проходит вдруг ослепительно большая и очень стройная, похожая на ожившую Венеру Милосскую красавица. Высокие скулы ее размялись от тепла и веселья.

— О! — говорит Катрин. — Тебе очень повезло! Если мы не найдем, то это тоже... это прекрасный наш мастер... Она знает керамику. Это известная наша художница. — И окликает красавицу, представляя ей меня.

Царственно протянутая рука, очаровательная улыбка, блеск верхних зубов... А я своей рукой успеваю почувствовать источенную гладкую кожу на подушечках длинных пальцев, какая бывает у людей, работающих в глине. Кожа как бы стирается и шлифуется с годами, приобретает особую чувствительность и шелковистость. Красавица что-то говорит Катрин.

— Ах, какая неудача! — переводит она мне. — Ты понимаешь, тебе опять не повезло! Она завтра уезжает в Ленинград.

Красавица томно возводит к небу глаза и на ломаном русском произносит:

— Ленинград. — Смотрит на меня, потом опять долу. — Люповы! Ленинград...

— Я вижу по вашей руке, — говорю я, а Катрин тут же переводит, — что вы хороший мастер. У вас руки мастера. Это очень приятно... Если и керамика ваша так же красива, как и вы сами, то это... вообще редкость. Такое редкое сочетание. Красота рождает красоту...

Катрин с каким-то особенным удовольствием переводит ей мой неуклюжий комплимент, а красавица смотрит на меня волоокими глазами, пламенея чуть припухшими жаркими скулами, и говорит опять:

— Люпо-овы!

На сей раз я, признаться, не понял, к кому это относится — ко мне или к Ленинграду. Но она тут же развеивает мои сомнения.

— Ленинград! — говорит она и, пожав мне на прощанье руку, уходит — высокая, белокурая и неправдоподобно красивая.

— Катенька,— смущенно говорю я, усаживаясь опять за столик,— я же ничего не понимаю в керамике!

— Да, да! — говорит Катрин на вдохе.— Но ничего. Мы найдем тебе твоего мастера, не расстраивайся. Мне уже обещали узнать...

На следующий день Катрин опять спрашивает меня, понравился ли мне «Космос», и рассказывает, как опечалены, как грустят всегдашними этого кафе.

Хозяйка «Космоса» продает свое заведение, потому что городские власти потребовали, чтобы в кафе была сделана вентиляция. Это слишком дорого обойдется хозяйке. У нее нет столько денег. Вот она и решила продать.

— Представляешь себе! Это наше любимое кафе. Мы всегда здесь встречаемся. И сюда не пускают просто с улицы. Тут не бывает посторонних... Ты сам видел, какая тут непринужденная и веселая обстановка... А если она продаст кафе, то все это рассыплется... Будет обычное кафе или ресторан. Я не знаю. Мы очень все расстроены.

Расстроена в этот день и Катенька, хотя и старается не показывать виду. Мы прогуливаемся пешочком по улицам Хельсинки, и я, идя с ней рядом, забываю вдруг о том, что она финка. Идет рядом со мной раздумывающаяся на холодном ветру, очень милая русская женщина, укутав голову черной шалью с альби розами. Глаза уставились в одну точку и кажутся какими-то поверхностно-веселыми, хотя в глубинах чувствуется печаль.

Грущу и я. Всего-то мне остается пробыть в Хельсинки два денечка — сегодня и завтра, а послезавтра пора домой.

Мастер мой так и не нашелся пока, хоть Катрин с каким-то завидным оптимизмом уверяет меня, что мы обязательно разыщем его. За эти несколько дней я так привык к этой женщине, как можно, наверное, привыкнуть только к человеку, без которого просто невозможно жить в иноязычном городе, нельзя общаться с людьми, понимать их и быть понятым. Она мой верный поводырь, она мой язык, она мои глаза, уши — она частичка меня самого. И мне кажется вдруг, что она устала со мной. Я ласково спрашиваю ее об этом.

— Нет, что ты! Я не устала... Мне очень интересно! Я даже благодарна тебе, потому что без тебя мне вряд ли удалось бы познакомиться с Вяйне Линной. Это было мне очень приятно! Это все равно что познакомиться с вашим Шолоховым.

Да, это действительно была приятная встреча, приятное знакомство. Скромный, похожий на рабочего, талантливый писатель Финляндии, с которым я провел несколько минут и с которым мы обменялись мыслями о спектакле по его роману, произвел на меня огромное впечатление. Я сначала никак не предполагал, что жму руку известному писателю, ища глазами Вяйне Линну среди собравшихся в антракте гостей, пока не понял, что передо мной не кто иной, как он сам.

— Нет, нет! — говорит Катрин, веселея у меня на глазах.— Я просто задумалась. Случайно.

Но я вижу, что какое-то облачко закрыло ее от меня — где-то она далеко от общих наших забот.

— Сейчас мы прошли мимо дома... вон тот,— показывает она на обычный жилой дом, каких много в Хельсинки,— где я жила со своим мужем. Он поэт и влюбился в молодую актрису... Это ничего! Не обращай внимания. Он иногда до сих пор звонит мне по ночам и говорит пьяным голосом: «Когда мы с тобой встретимся?» А я ему отвечаю: «Потом, потом»... Но этого «потом» не будет, я знаю. Я не понимаю только одного! — восклицает Катенька удивленно.— Я когда прохожу мимо своего дома, то обязательно, конечно, смотрю на окна... И можешь себе представить! Они с ней живут уже два года, но до сих пор не сменили занавески на окнах! Как это можно?! Висят

на окнах мои старые занавески, а за ними живет мой бывший муж с новой своей женой. Это ужасно неприятно. Я понимаю, что это глупо, но меня это просто удивляет! Значит, они ничего не сменили... Он живет с ней так же, как жил со мной, а в комнатах та же мебель... И ты знаешь, когда он звонит пьяный по ночам, я вижу кресло, в котором он сидит, вижу наш телефон, вижу всю обстановку. И вот что странно! Все это хорошо вижу, а его самого не вижу. Это удивительно. Он талантливый, но бестолковый человек... Ты знаешь, чем он сейчас занимается? Он в дрейфе... У нас так говорят, когда человек потерял управление и его несет по житейским волнам и ветру. Знаешь, он летает теперь на воздушном шаре, пьет водку и сочиняет там, в корзине, стихи...

Я не понял Катеньку, решив, что это тоже какое-то иносказание: воздушный шар, корзина.

— Нет, нет! Настоящий воздушный шар. Это сейчас модно у нас.

И мы засмеялись. Я весело, а Катрин Вайненен... Впрочем, кажется, тоже весело.

Теперь, оглядываясь назад и вспоминая Катрин Вайненен, я начинаю думать, что в ней, в ее облике и внутреннем ее мире, собралось волею судеб множество характерных черт жителя, или, вернее, жительницы, столицы Финляндии. Она, по-моему, типичная представительница той женской части культурной интеллигенции, которой так богата, например, нынешняя финская литература.

В Финляндии очень много женщин, пишущих прозу, не говоря уж о поэзии. Хотя надо сказать, что некоторые из них умудряются делать и то и это плюс еще успевают справляться со всеми домашними делами, которые возложены на женщину. Эти удивительные создания с отчаянной храбростью расправляются со всеми делами, оставаясь женственными и милыми существами, как будто написать роман для них так же легко и просто, как связать мужу свитер, а может быть, даже и того проще. Меня это всегда удивляло и удивляет, и я, надо сказать, относился и отношусь к этой легкости и универсальности с некоторым недоверием и ревностью. Мне кажется порой, что они слишком рьяно взялись за дело, эти милые и обаятельные сочинительницы, тесня мужчин и требуя себе все новые и новые жизненные, так сказать, пространства в области литературы. Я думаю, что пришла пора проявить мужчинам свой характер, а то как бы не превратилась литература, а проза в частности, в чисто женское дело.

Я было попытался дать бой, отстаивая права мужчин на прозу, но был сражен женщинами-беллетристами.

В Катрин Вайненен тоже, конечно, живет этот бесенок соперничества с мужской половиной рода человеческого, она во многом преуспела, и дай бог ей сил преуспевать и дальше. Но в отличие от некоторых ее подруг-писательниц в ней уживается вместе с этим бесенком трезвое и мудрое женское начало: она умеет, а точнее сказать, несет в себе такой запас мягкого и чистосердечного юмора по отношению к своим литературным занятиям, так мило отмахивается от расспросов, от моего любопытства, отделяется скороговорочкой, отвечая на мои вопросы о ее собственном труде, что с ней не страшно думать и мечтать о будущем наших литератур. Когда разговариваешь с ней о прозе, то она как бы сама подводит тебя к вере, что будущее, конечно же, за писателями-мужчинами, хотя бог ее знает, что она думает при этом о нашем брате-литераторе. Но и за то уж ей спасибо. Я совсем было приуныл, когда меня окружили женщины-писательницы. Мне даже показалось вдруг, что я всю жизнь занимался чуть ли не женским делом, пища свои рассказы и повести. Спасибо Катрин Вайненен, которая вывела меня из этого грустного состояния.

Шутить мне оставалось все меньше и меньше времени. Мне пора уже было собираться в дорогу домой, как вдруг...

Впрочем, я вспомнил еще об одной особенности, которая мне бросилась в глаза и которая, наверное, имеет отношение к моему шутовскому рассказу о женщинах, пишущих прозу.

Как-то раз мы сидели, занятые разговором, за столиком в кафе, за которым собрались знакомые Катрин, и один из присутствующих, мельком взглянув на часы, поднялся, что-то сказал Катрин, откланялся и ушел. А Катрин мне объяснила:

— Он очень извиняется, но ему пора домой. У них ребенок. До этого часа с ним сидела жена, а теперь будет сидеть он, а жена пойдет вечером в кафе, у нее там какая-то встреча. Она будет отдыхать, а он будет сидеть с ребенком. Поэтому он ушел. Он и так уж опаздывает.

Своеобразные эти дежурства возле ребенка, конечно, освобождают женщину. Но я как-то сразу перенес все это на нашу почву и подумал, что я бы свою жену ни в какое кафе вечером ни за что бы не отпустил! Нет! Какое кафе? Зачем?

Потом я не раз наблюдал такие вот неожиданные уходы людей на дежурства и всякий раз провожал недоуменным взглядом женщину или мужчину, которые шли сменять друг друга.

Вот такая странная и мне не очень понятная ситуация складывается, а вернее, уже сложилась в жизни современной финской семьи, в которой есть дети. Хорошо это или не очень — не берусь судить.

Но одна очень славная женщина, прекрасно говорящая по-русски, которую я успел полюбить как хорошего друга, тоже поднялась однажды, взглянув на часы.

— Мне пора, — сказала она. — Уже восемь часов. Сейчас будет звонить мой муж... Мы с ним давно разошлись, но он продолжает мне каждый день звонить в восемь часов вечера. Я всегда бываю в это время дома. — Она мило улыбнулась и добавила: — Он мне рассказывает по телефону о всех своих делах, о работе, о каких-нибудь неприятностях или радостях. А я слушаю. Вот и все.

— Зачем же вы тогда разошлись?

— Наверно, надоели друг другу, — сказала она неуверенно. — Мы всегда любили друг друга, но потом... Может быть, не захотели видеть, как начинаем стареть. Я для него осталась молодой, а он для меня тоже. Вот и все. Я жду его звонка и с удовольствием все слушаю, что он мне говорит, а он даже ругается, если меня нет дома в это время. Он уснуть не может, пока не дозвонится до меня. У нас у каждого работа, мы занятые люди. Может быть, так нам интереснее стало жить... Может быть.

Этот романтический уход друг от друга, уход, который, может быть, превратился в еще большее сближение их душ и сердец, меня совершенно растрогал. Я пытался проникнуть в тайну этой странной, бесплотной любви стареющих супругов, которые общаются теперь только по телефону, и мне хотелось верить в благородство и чистоту этого необычайного разрыва.

Но коварный вопросик все время мучил меня: а что было бы, если бы человечество не изобрело телефон? Как что? Письма! Были бы удивительные, трогательные письма прощания с молодостью, с любимым, который оставался бы в памяти молодым, и с любимой, которая вечно была бы юной и прекрасной.

Вот такие откровения посещали меня вдруг, переворачивая все мои прежние представления о любви, супружестве, старости...

Спасибо моим друзьям за эту откровенность! Я высоко ценю это качество в людях и, рассказывая теперь об этом, утешаю себя надеждой, что ничем не оскорбил доверчивости, ибо я с восхищением

пишу и думаю о непознаваемости души человека, о его бесконечно глубокой и чистой печали и тайной радости земного бытия.

...Как вдруг Катрин Вайненен, запыхавшаяся и счастливая, объявила мне, что мастер лепных работ наконец-то найден, известен его адрес, договорено с ним о встрече и что завтра мы едем в гости к нему.

Это был последний день моего пребывания в Хельсинки.

Погода ненастная, небо обложено серыми тучами, ветер с Балтики несет сырость, а потому даже ничтожный морозец кажется промозглым и очень неприятным, липким каким-то и колючим.

Встреча назначена на конец этого пронизывающего холодом и сыростью дня.

Рыболовные лесочки финского и многих стран мира производства, блесны, похожие на елочные украшения, которые радуют глаз человека, но вряд ли соблазнят подводного хищника, так ярка и неправдоподобна их расцветка, словно они имитируют не серебристый блеск живой рыбки, а радужное оперение райских птичек. Окунь или щука ограничатся, пожалуй что, крайним удивлением пополам с испугом, увидев такую блесну в полутемном своем царстве. Но знаменитые финские шнековые ледобуры, или, как их называют у нас, коловороты, рядами стоящие в магазине Шрёдера, приводят меня в восхищение своей легкостью и всем известной остротой и надежностью ножей, которые впиваются в метровый лед и режут его, будто это не лед, а стеарин. Мечта рыбака, любителя подледной ловли!

Лесочки тоже, конечно, хороши.

Всего этого добра в моей московской квартире так много, что если я каждый день буду ездить на рыбалку, если рыба будет каждый день рвать леску и заглывать крючки, то и тогда, наверное, мне хватит рыболовных снастей на всю мою жизнь.

Но это у меня. А отец? А брат? А друзья, занимающиеся рыбалкой? Всем надо привезти подарки. Ох уж эти лесочки, мормышки, крючочки, поплавки!

Чемодан уже почти упакован. Дело близится к концу.

— Да! Да! — говорит неутомимая Катрин. — Все-таки это очень хорошо, что мы нашли, кого так долго искали.

Мы едем с ней к мастеру.

Старый дом, тяжелая на подъеме лестница, высокие этажи. Лифта нет.

И вот я сижу за столом и разглядываю фотографии, которые мне предлагает смущенный и очень симпатичный молодой еще мастер. Я понимаю его смущение, невольно ставя себя на его место, а потому и сам смущаюсь, присматриваясь к очень хорошим снимкам.

Вдумчивый взгляд мастера, который как бы еще не понимает, чего я хочу от него, что мне нужно. Жена его готовит кофе, ребенок что-то лопочет мне, показывая свои игрушки.

На фотографиях хорошо видна та огромная и кропотливая работа, которую проделал он, молодой еще человек, мастер с грустно опущенными усами и вдумчивым смущенным взглядом. Вот снимок того, что было: бесформенная глыба полуразрушенного алебаstra, в котором смутно угадываются черты коринфской капители. А рядом возрожденная к жизни, изящнейшая капитель с напряженнейшими линиями листьев, абака с иониками. Вот балясины, похожие на забинтованные болванки, а рядом они же, но уже излеченные от дряхлой старости и разрушения. Орнаменты, гирлянды, кронштейны... Молодые мастера за работой... Один расчищает забитую старой покраской пилообразную капитель, другой работает над расчисткой кронштейна. Розовые фасады домов, украшенные белой лепниной.

Как я понимаю из объяснений Катрин, этот молодой человек яв-

ляется руководителем бригады мастеров, лица которых то и дело мелькают на фотографиях. Все они очень молоды, как мсод и сам хозяин мастерской.

Да, конечно, фотографии — это очень интересно. Но где же мастерская? Нельзя ли посмотреть мастерскую?

— Да! — говорит Катрин. — Мы сейчас поедем туда.

Пьем кофе, я разговариваю с малышом по-русски, он со мной по-фински, но мы с ним очень хорошо, кажется, понимаем друг друга: я нарочито восхищаюсь его игрушками, он не устает приносить мне новые...

Хозяин дарит мне на память пачку фотографий, мы прощаемся с доброй хозяйкой, с малышом... Выходим на улицу.

Старый легковой автомобиль, переоборудованный под грузовичок, ворчит и постукивает клапанами двигателя. Наш новенький черный «мерседес», словно бы сдерживая негодование, бесшумно несется за этим странным гибридом тусклого цвета, и чудится даже, будто молчаливый наш шофер с трудом укрощает все его многочисленные звериные силы.

Ах юность, юность! Как все-таки силен и неистребим твой аромат, как легко ты уносишь меня в свои чертоги, стоит мне лишь учуять в воздухе пресный запах гипсовой пыли или полусырого алебаstra. Всего-то один шаг из холодных сумерек через порог ярко освещенной мучнисто-белой мастерской! И я уже юн! Мне всего семнадцать лет. Во мне оживают картины прежней моей жизни, а точнее сказать — картины прежней моей работы, потому что ничто, наверное, не оставляет такого следа в душе человека, как любимая его работа, с которой пришлось расстаться.

Я так давно не бывал в лепных мастерских, что просто одуреваю от воздуха, которым дышу и который настоян на запахах гипса и скульптурной глины.

Может быть, это воздух так омолодил меня?

Это — как запах лыж в жаркий летний день для заядлого лыжника или запах порохового дыма для страстного охотника, как запах теплого парного молока для уроженца деревни, живущего в шумном городе... Это ни с чем не сравнимый пьянящий запах, молящий душу!

И чувствую я себя реставрированной какой-то капителью, с которой опытной рукой снят вековой нарост грязи и краски.

А это? Что-то новое для меня, хотя я вижу, узнаю клеевую форму. Но она не из клея. А из чего же? Какой-то новый, незнакомый мне химический материал, выдерживающий бесконечное число отливок... Известно, что гипс, застывая, или, как говорят лепщики, схватываясь, выделяет тепло, похожее на тепло засыпающего ребенка. От этого тепла клеевые формы довольно быстро оплавливаются и выходят из строя. Теперь вот химики изобрели новый материал. Очень интересно!

На стенах тут и там громоздятся гипсовые отливки точно так же, как когда-то и в нашей мастерской, ушедшей в небытие.

Зима. Работы нет. Зимой всегда замедлялись темпы лепных работ. О реставрационных и говорить нечего.

— А что же делаете зимой?

Добрый хозяин, словно бы учуяв во мне наконец-то коллегу, ведет меня в другой цех, и я попадаю вдруг, как мне почему-то кажется, в автомобильную мастерскую.

На домкратах поднят в воздух громоздкий кузов легкового автомобиля устаревшей модели. Сталисто-серого цвета краска, дыры от снятых фар, ручек, бамперов. Кузов кажется огромной бальзамированной акулой, запертой в тесном сараюшке.

Встречаюсь с очень внимательным взглядом молодого человека в спецовке, который вышел навстречу мне из-за кузова. Очень знакомое лицо! Откуда я его знаю? Ах да! Фотографии! Это один из мастеров-реставраторов.

— Покупаем старые, дешевые автомобили и реставрируем их,— переводит мне Катенька.— Потом катаемся на них, продаем.

Хозяин говорит, показывая на обтекаемые формы кузова:

— Это тоже красиво... Это приятно восстанавливать. Нам это нравится.

И на лице его тлеет мягкая, застенчивая улыбка.

Я вижу на кузове, крыльях и стойках следы полуды, зачищенной и отшлифованной, как зачищали наждачной шкуркой и весь серый кузов, тусклый и еще не тронутый лаком, но уже почти подготовленный к окраске.

Для меня это так неожиданно, что я никак не могу перейти от детского своего восторга к пониманию того, что вижу. Стараюсь понять себя и только себя! Потому что то, что говорит мне мастер, хорошо понятно. Да, это тоже красиво, это тоже завораживает человека, как завораживает стремительная и лаконичная форма современного самолета. Я вспоминаю нашего знаменитого авиаконструктора Туполева, который сказал, что только красивые самолеты летают. Мне это понятно.

Но век прошлый и век настоящий, в котором мы все живем, столкнулись в моем сознании и высекли вдруг ослепительную искру. Я столько дней искал встречи с мастером, я так мечтал увидеть в Хельсинки своего коллегу по прошлой моей профессии сидящим за верстаком и расчищающим какую-нибудь лепную розетку! Мне так хотелось увидеть живой, заведенный в посудине гипс, ощутить рукой пахучее и влажное тепло свежей отливки!

Но вместо всего этого увидел фотографии и запыленные модели старых работ, развешанные на стенах.

А мастера лепных работ реставрировали автомобиль.

— Это их хобби,— говорит мне Катрин.— Да! Это очень интересно.

Я соглашаюсь с ней... Это, конечно, интересно, это таит в себе неизъяснимо грустную, пронзительную поэзию, и если бы я был финном, владеющим пером, я, наверное, попытался бы проникнуть в суть этого явления и что-нибудь написать о симпатичных мне молодых художниках, вынужденных в зимние месяцы искать себе хобби.

Хельсинки, эта белокурая дочь Балтики, как зовут его финны, белый этот город над мрачным простором моря, во многом, конечно, обязан неувядающим своим архитектурным обликом молодым ребятам. Сколько стареющих зданий восстановлено ими! Приведены в порядок, возвращены из тлена изящные лепные украшения, красующиеся на фасадах многих домов города.

Я, конечно, понимаю их, понимаю их руки, которые, как руки истинных художников, не могут находиться в застое, не могут и просто не в силах обходиться без жгучего ощущения красивой формы. Руки эти, как чуткие губы ребенка, отнятого от груди матери, ищут теплые сосцы, дарующие жизнь, и не находят их, довольствуясь резиновой пустышкой.

Пускай ремонт автомобиля — хобби! Допустим это. Я вполне понимаю ребят, которые находят удовольствие в работе, заменяющей им радость творчества, потому что увидеть возрожденный собственными руками автомобиль, на котором ты можешь прокатиться за город, увидеть его сверкающим хромом и лаком на фоне зеленого леса—это тоже, конечно, наслаждение, похожее, наверное, на то наслаждение, какое испытывает художник, созерцающий свой завершенный труд.

И все-таки!

— А что летом? Много работы? — спрашиваю я.

— Летом тоже стало трудно с заказами... — слышу ответ. — Заказов очень мало.

Наконец-то я увидел молчаливого и задумчивого финна! Правда, в лице его нет и намека на какую бы то ни было суровость. Наоборот! Мягкий и нежный взгляд человека, как бы замороженного вечной красотой, с которой он имеет дело и от которой не в силах уйти.

Жмем руки друг другу, смотрим в глаза и, кажется, хорошо понимаем друг друга без слов.

Все-таки я нашел того человека, которого искал! И когда на следующий день я уезжал домой, когда в суете и в светлой грусти я расставался со своими новыми друзьями, пришедшими проводить меня на вокзал, когда за стеклом вагонного окна опять побежали елки, утонувшие в снегу, я нет-нет да и вспоминал задумчивый взгляд мастера, отдавшего много лет жизни, чтобы не увядала красота старинного Хельсинки — города, который, как мне кажется теперь, я сумел увидеть не только восторженными, но и задумчивыми глазами моего коллеги по прежней профессии.

ЗАГОРОДНАЯ ПОЕЗДКА

— Не бывает этого ничего! Не было никогда, и все это вы придумали. Не знаю только зачем. Какое это вам удовольствие доставляет? А удовольствие вы какое-то получаете от своих выдумок... Иначе зачем?! Мне даже иногда кажется, что вы какое-то мстительное получаете удовольствие... Да, да, обманете человека, а сами думаете про него, которого обманули: вот, мол, дурак какой... Я-то вас знаю! Вы жуткий человек! Но со мной у вас ничего не получится. И даже не надейтесь... Знаю я вас, знаю, — возбужденно говорила молоденькая женщина, на лице у которой словно бы спазмировала бледная какая-то улыбка, неуправляемая и похожая скорее на плаксивую гримасу, чем на улыбку. — Перестаньте сейчас же лгать, иначе я не знаю, что будет. Я сейчас заплачу. Вы еще не знаете, какая я бываю, когда плачу. Какая я некрасивая...

— Да с чего ж это вы взяли, что я обманываю вас? Зачем мне это? Все, что я вам рассказывал, — чистая правда. Все это так же верно, как то, что мы сидим на этой скамейке и что слева от нас белый куст сирени, а справа синий. Или как он там называется? Лиловый, наверное... Да и потом, чего я такого особенного говорил вам? Какие-то мелкие случаи из жизни. Посмотрите на меня повнимательнее: неужели я похож на обманщика? Зиночка Николаевна, ну пожалуйста, обратите на меня свое внимание. Я не такой уж плохой, как вы думаете. Я даже сам себе иногда нравлюсь, а это, поверьте мне, кое-что значит. Я, например, очень нравлюсь себе в теперешней роли вашего слуги и ухажера. Вы капризничаете, я улыбаюсь. Вы готовы мне выцарапать глаза, но их невинность останавливает вас... Мне нравится эта игра под кустами сирени... А вы знаете, я никогда еще в жизни не сидел под сиренью такой величины и такой контрастной расцветки. Я успел уже настолько привыкнуть к ее запаху, что даже перестал его ощущать. Мне уже кажется, что так и должно быть на свете — все должно пахнуть сиренью.

— Боже мой! Вы еще к тому же пошляк. С кем я связалась! О какой это игре вы говорите?

— Как о какой? О нашей! Вы капризная дамочка, я пошлый ухажер, а над нами два куста музейной сирени. Сидим на белой скамейке и тихонечко мучаем друг друга. Ах-ах-ах! Это вы так говорите. А я говорю: ох-ох-ох! Игра называется охи-ахи... По-японски. Или можно назвать наоборот: ахи-охи... Как-то раз, Зиночка Николаевна,

я был в одном очень приятном, старинном русском городе, в областном центре, как теперь о таких говорят, и так же вот, с компанией случайных приятелей, направился — знаете куда? Никогда не догадаетесь! В краеведческий музей...

Он сидел рядом с этой молоденькой женщиной, с которой познакомился только лишь сегодня, и, положив руку на высокую спинку садовой скамейки, изрезанной какими-то письменами, как бы обнимал за плечи свою соседку. Она ему нравилась, и поэтому дурачества распирала его грудь, просились наружу, ему хотелось говорить, говорить без умолку, наговаривая на себя напраслину. Ему было так легко и хорошо с этой Зинаидой Николаевной, которую он звал Зиночкой с добавлением отчества, что ему даже казалось, что он и в самом деле одурел и поглупел за этот день.

На экскурсионном автобусе они подъехали сегодня в полдень к музею-усадьбе XIX века, усталые с дороги, высыпали на бетонированную, словно бы вытравленную среди старых лип площадочку, на которой стояли автобусы и автомобили, и он первым делом побежал к лоточку, с которого продавалось мороженое, и преподнес букет из эскимо смущенной Зиночке.

— Спасибо, я не хочу.

— Мороженого не хотите?! — притворно ужаснулся он. — В такую жару? Кем вы работаете?

— Не все ли равно?

— Нет, я сразу пойму, почему вы не хотите мороженого. Кем же все-таки?

— Ой, какой вы чудак! Ну, оператором...

— На счетно-вычислительной машине?

— Нет.

— А на какой же? Ракетчица? — спросил он таинственным полупшепотом. — Военная тайна?

— На швейной...

— Значит, портнихой?

— Нет, оператором.

— Все ясно! Поэтому и не едите мороженого. Вас зовут Зиночка, я слышал. А как отчество?.. Ах, Николаевна! Значит, у нас с вами нет ничего общего. Я — Игорь Сергеевич. В детстве — Гарька. Выходит дело, что у нас разные отцы. Это хорошо, но опасно! Зиночка Николаевна! Ну пощадите! Мороженое тает. Что же мне делать? Я же все-таки старался, черт побери!

Молочное мороженое было жестким и очень холодным. Оно оплавливалось сверху, а изнутри, скованное мерзлотой, было похоже на какой-то слоеный кристаллический минерал.

Но темные липы, набравшие бледно-зеленые крохотные бутончики цветов, но кусты цветущей сирени, но прохладная, политая водою дорожка в глубину барского сада, но яркая на солнце, поблескивающая ослепительной зеленью трава, но ручеек под деревянным мостиком, но белые отполированные скамейки, белые изваяния на каменных постаментах — вся эта романтическая обстановка расслабляла и почему-то очень смешила Зиночку Николаевну: она ела мороженое, то и дело принимаясь смеяться. Ее губы стали от холода бруснично-пунцовыми, а черненькие и очень блестящие глаза под черненькими бровками все время прятались под ресницами и вдруг появлялись на свет, но тут же снова ныряли в смехе под ресницы, прятались, будто знали и боялись силы своего воздействия на чудаковатого человека, который шел с ней рядом и очень веселил ее. Она словно бы инстинктом своим понимала, что ей нельзя долго смотреть на него, потому что тогда он мог бы подумать о себе бог знает что. Он и так уж слишком развязен...

— Пойдемте ко всем, — говорила Зиночка. — Неудобно.

— Почему?! Я вам могу об этой усадьбе рассказать ничуть не хуже экскурсовода.

— Ах-ах-ах... Так я и поверила!

— Да! Сейчас куплю проспектик и вслух прочту его вам. Ничего нового эта девочка в джинсах нам не расскажет, Зиночка Николаевна,— говорил он, повергая ее в смех.

Это была какая-то особенная радость, которая так редко посещает человека, что ему даже чудится порой, будто бы жизнь его только-только начинается, а все, что было прежде, не более как утомительная подготовка к этой бессмысленной и загадочной радости, которая и есть настоящая жизнь во всей ее первозданной красоте и неприхотливости. Человек забывается в чудесной радости и как бы перестает видеть себя со стороны: ни тени сомнения не испытывает он в эти минуты, ничто не тревожит его, если даже и есть на то причины,— он как бы живет вне времени, забывая о своих годах, если он немолод, и обретая таинственную мудрость, если он юн. Происходит что-то необыкновенное с ним. Он все понимает, предвидит и предчувствует. Он произносит простые слова, которые тысячи и тысячи раз уже произносил в своей прежней жизни, но эти избитые слова приобретают вдруг какую-то такую окраску и значимость, которая делает их совершенно новыми словами, словно бы впервые найденными в оживившейся памяти.

И как же смешон и нелеп бывает этот радующийся человек, если люди, окружающие его, живут своей спокойной и обычной жизнью! Он кажется им пошлым и ничтожным болтуном, вызывая чуть ли не брезгливое чувство, будто не человек, а какое-то хихикающее желеподобное существо среднего рода дуреет у них на глазах.

— Нет, нет, Зиночка Николаевна, давайте лучше уйдем в лес от всех этих дремучих людей,— говорил Игорь Сергеевич, пребывая именно в том восторженном состоянии, в той радости, которую, к счастью, разделял с ним один-единственный человечек на свете: озябшая от мороженого Зиночка.— Я потом вам все расскажу про эту усадьбу и про тот век, в котором... который... которая... Что я хотел сказать? А?! Обо всех тех людях, которые приезжали сюда, жили-были здесь... Я ведь и поехал-то на эту экскурсию знаете почему? Никогда не догадаетесь! Из-за вас!

— Ну что это такое вы все говорите! Вы не могли из-за меня поехать, потому что вы не знали меня и не знали, что я поеду... Вот опять вы обманываете меня!

— Нисколько! Я знал или просто догадывался, что обязательно встречу с вами, с такой, как вы... Я не вру. У меня такое ощущение все время, будто я вспомнил о вас и собрался в эту экскурсию. Точно! Зачем мне иначе было бы ехать?!

Кончилось все это восторженно-радостное парение над землей тем, что их автобус, их мощный и быстроходный «Икарус», не дождавшись заблудших пассажиров, которым он ревом ревел во все свои пронзительно-звучные сигналы, оглушая музейную тишину, уехал.

«Двоих нет! — говорили люди, пересчитывая друг друга перед отъездом.— Да, да, двоих нет. Ну что же это такое! Сколько же можно ждать! Семеро одного не ждут! Нет, надо подождать, может быть, у них денег нет на обратный путь! А кого нет-то? То есть как кого? Ага... Нет одной женщины... Да. И одного мужчины...» «И денег!» — добавил кто-то со смехом.

Шофер махнул рукой и вразяжку, как какую-нибудь ругань, произнес: «Ясно».

Включенный стартер тяжело и туго провернул коленчатый вал: один оборот, второй (подсел аккумулятор)... третий, четвертый... Вспышка! Дизель выбросил из трубы букет сизо-серого вонючего

дыма, взревел, втягиваясь в работу, и «Икарус», развернувшись на площадке перед входом в музей, стал плавно двигаться к выезду. Злой шофер в каком-то азарте крутил большое колесо руля, искоса поглядывая в зеркала заднего вида. Люди сидели смиренно, словно бы ошастливленные своим открытием: нет мужчины и женщины! — и некоторые из них улыбались. «Любовь требует жертв», — сказал кто-то из пассажиров. А кто-то, поддержав, вспомнил вдруг: «Милым и в шалаше рай». Подвыпивший мужичок с пересохшими глазами вяленой ставриды, словно бы очнувшись, сказал: «Рожденный пить не пить не может!» Люди засмеялись над ним. Кто-то стал спрашивать у соседа: «Что он сказал? Что это он сказал? Я не расслышал».

«Икарус» набирал скорость, а через полчаса он уже мчался по шоссе, обгоняя легковые автомобили.

Когда они, оглушенные и измученные паническим бегом, запыхавшиеся, выбежали на бетонированную площадку, там уже не было не только «Икаруса», но и других автобусов, других автомобилей. Раздавленный бумажный пакет из-под молока — все, что осталось от недавнего нашествия. Потом они увидели коричневую бутылку из-под пива, аккуратно прислоненную к рубчатому стволу липы и поблескивающую там, в молодых побегах старой липы.

Мозг не хотел мириться с тем, что произошло: глаза все еще чего-то искали, шарили между деревьями, точно «Икарус» мог подшутить и спрятаться в липовой аллее или за кустами сирени.

Зиночка часто-часто дышала и испуганно таращилась на своего «слугу и ухажера». Нельзя было понять по выражению ее лица, что она сейчас сделает: расплатится или рассмеется... Каждый ее выдох оканчивался песенным каким-то звуком, голосовым срывчиком, который похож был то ли на сдерживаемый смех, то ли на рвущиеся рыдания.

Но она не расплакалась, а удивленно и неуверенно засмеялась, остужая ладонями горящие румянцем щеки.

— Конечно, — сказала она, заглатывая колючую слюну, — я так и знала... Вот так все... я это все и предчувствовала. Теперь вот думайте. Я теперь не знаю совершенно, что делать. Но как же они могли уехать? А если с нами какая-нибудь беда приключилась? А? Разве это можно? Я бы, например, если бы кто-нибудь... А? Ну думайте, думайте! — говорила она и как-то загнанно всхаживала при этом, что-то в ней звонко звучало все время.

Говорок у нее был нежный и чистый, словно она купала ребенка и, обливая его теплой водой, потирая ему спинку и ручки, намыливая головку, приговаривала при этом ласковые слова торопливо и восторженно, с той счастливой веселостью в голосе, с тем звучным придыханием, которое только и свойственно, наверное, молодым матерям: им и радостно купать своего младенца и страшно за него.

Игорь Сергеевич, отдышавшись кое-как от бега и не переставая любоваться ею, сказал, поглядывая в сторону белой скамейки под кустами сирени:

— Пойдемте-ка сядем, Зинуля Николаевна. Вон туда. И все там обдумаем. Они, конечно, поступили плохо. Вы, кажется, говорили, что у вас там сумочка с едой была? Хоть бы еду оставили. Верно?

Они пошли под сирень на скамейку. Сели и стали хохотать.

— Ой, господи, я не могу больше! — жаловалась Зиночка, чувствуя, как в животе что-то опять начинало колыхаться приступом нового хохота, обессиливая и приводя ее в какое-то иступление. — Передайте, пожалуйста, я больше, честное слово, не могу! — умоляла она Игоря Сергеевича, который крепился что было мочи, стонал или пособачьи влаивал не в силах побороть смех. — Мне совсем не смешно! Зачем вы меня смешите все время?! — говорила она уже с раздражением. — Ну идите хоть погуляйте где-нибудь! — чуть ли не кричала

она, охваченная хохотом, от которого у нее уже болела грудь.— Я не могу рядом с вами!

Кое-как они справились с этой напастью.

— А про сумочку вы опять все выдумали. Какая такая сумочка? — спросила Зиночка изменившимся, огрубевшим от хохота, дрожащим голосом.— Зачем? Ну вот зачем — скажите!

— Мне показалось, что вы хозяйственная и запаслись едой. Есть-то ведь хочется.

— О господи! — воскликнула она и возвела глаза к небу, выкатив наружу голубые белки.— Откуда вы на мою голову? За что? Вы хоть знаете, как отсюда уехать?

— Зиночка Николаевна! Все хорошо! Смотрите, какая сирень! Тишина. Птички поют. Разве вам так уж плохо, что надо опять спешить? Посидим часок под этой сиренью, я вам кое-что расскажу, а потом и двинемся в путь. Как-то ведь добираются люди до Москвы отсюда!

— Вы мне столько всего уже понарассказали, что я вам не верю. Вы все это придумываете и всех обманываете. Я, как дурочка, тоже доверилась вам, а теперь... вот... Не бывает этого ничего, что вы мне рассказываете! Зачем вы все это придумываете, интересно мне знать? У вас, между прочим, какой-то такой голос... Вы так картавите, — стала она передразнивать его,— как пугало вы из Припалтики. Кто вы такой вообще-то?

— Я хорошо зарабатываю. Да, четыреста в месяц. А то и четыре с половиной получается. И знаете, где я работаю? Ни за что не догадаетесь! Работаю на молоковозе. Молоко вожу. Но иногда и вино. Еду в Ужгород за вином. Написано: «Молоко», а там вино. Фляги две или три отольешь себе. Как удастся. А то и четыре! Воруя помаленьку. Жена меня бросила, потому что вору. Сказала: не могу с таким типом и часа находиться вместе. Считается, что бросила меня она, но это я сам взял зубную щетку, электробритву и ушел... А вот насчет Прибалтики, я — нет, не оттуда. У меня просто такой аристократический выговор. Вот смотрите, видите, какой у меня маленький подбородок. Очень неприятный. Но это только на первый взгляд. Представьте себе, что я в напудренном парике, с белыми буклями на розовых щеках, а на лице тонкая и хитрая улыбка царедворца. А? Портрет моей прабабушки, который висит в музее! Она была фрейлиной Екатерины.

Игорь Сергеевич еще что-то говорил и говорил, пребывая в каком-то странном бредовом состоянии, придумывая и игру в ахи-охи, и свое пошлое волокитство, и воровство, а теперь и прабабушку-фрейлину,— говорил, стараясь удержаться на том легкомысленном тоне, который только что так удавался ему и который поддерживала Зиночка, но что-то как будто лопнуло вдруг в его душе и он услышал себя и увидел со стороны. Услышал липкие слова, сказанные с отвратительной улыбкой и с какими-то мерзкими ужимками: «Как-то раз, Зиночка Николаевна (фу ты, господи) я был в одном очень приятном старинном русском городе («Приятном!» — ужаснулся он), в областном центре, как геперь о таких говорят, и так же вот, с компанией случайных приятелей («Каких приятелей?! Что я говорю!»), направил-ся знаете куда? Никогда не догадаетесь. («Ну что это такое, массовик-затейник!») В краеведческий музей».

Услышав все это, он с неожиданной скрипучестью в одряхлевшем вдруг голосе глухо сказал:

— Простите меня, пожалуйста, за болтовню. Я вам, наверное, так надоед, что просто караул кричи.— И снял руку со спинки скамейки.— У меня была девушка в юности,— тихо проговорил он, глядя под ноги.— Это было позавчера, как вы понимаете. Нет, Зиночка, на этот раз я не выдумываю. Ее звали Геля... Полное имя я так и не

узнал. Наверное, Аглая или Ангелина. Вот она-то в самом деле любила вора. Я даже не знаю, кого больше: меня или его. Я тогда в техникуме учился, худой был и все время голодный. Мать ее поварихой работала и, наверное, приворовывала, потому что жили они в то время, как говорится, не по карману. Придешь к ней, они с матерью на первом этаже жили в деревянном доме, а Геля поцелует, как мужа, который с работы пришел, и на кухню — жарить яичницу на сале. Большущая сковорода! Накормит, а уж потом целоваться со мной: часа два подряд до изнеможения. Очень любила! «Ладно,— говорит,— хватит. Скоро мама с работы придет». Вот такая была неинтересная любовь.

— А при чем тут вор-то? — спросила Зиночка с настороженностью в голосе. — Опять какой-то вор!

— Она мне говорила каждый раз про него! Все время меня с ним сравнивала и говорила: «Не знаю, кто из вас лучше...» Вора любила! Обыкновенного вора, который два года отсидел, а ей это льстило: она вроде бы как спасительницей себя чувствовала. Ревновал я ужасно! Геля эта была очень красива! Прямо хоть сам воруй, чтоб не разлюбила. Вот такая любовь.

— Ну нет уж,— сказала Зиночка, взглядывая из-под ресниц и прячась от встречного взгляда. — Это она вам насочиняла про вора, чтобы вас привязать к себе, а вы и поддались. Зачем ей вор-то этот?! Вы хоть разочек-то видели его? Вора этого?

— Нет, не видел.

— Ну вот именно! И что это вас все время на какие-то неправды тянет? То сами выдумывали, то теперь Гелю какую-то вспомнили, которая выдумывала... Мне и вправду все это надоело! Ну честное слово. Ну как вам это объяснить?! Сидим тут, а дальше-то что делать? Надо ведь домой ехать. А как? Вы все про каких-то своих... Гель, все про каких-то прабабушек, про воров... Ну правда, Игорь Сергеевич. Я уж совсем запуталась с вами.

Два куста сирени, которые недавно украсились цветами, были так велики, так высоко и широко вздымались они к небу свежие, напругенно-нежные соцветия, что их и кустами-то можно было назвать с оговоркой — это были какие-то пышно цветущие деревья на зеленой поляне бывшей барской усадьбы. Игорь Сергеевич никогда раньше и не видывал таких сиреней.

В своем радостном забытии он словно бы вообще ничего толком не видел, не успев даже как следует разглядеть приунывшую теперь, потерянную Зиночку. А у нее, оказывается, короткая стрижка под мальчика, тугие прядки волос неопределенно-оливкового цвета, как перья большой и сильной птицы, разбросаны по лбу, прикрывают виски и уши, упруго лежат на темени, на затылке, выпрыгивая все время на белый воротничок шелковой блузки, когда Зиночка вертит головой, и даже слышно, как шуршат кончики стриженных волос, прикасаясь к шелку. Голова у Зиночки кажется круглой, а шейка тоненькой. Стрижка так коротка, что чудится, будто Зиночка недавно тяжело болела и волосы не успели еще отрасти после больницы. Что-то радостное видится в этой головке, но радость хрупкая, ускользающая, как и коричневые и тоже круглые, настороженные, внимательные взгляды. На правой руке, на коротеньком, с детскими перевязочками пальце, — обручальное кольцо из дутого золота, на левой — тонкий перстенок с ярко-сиреневым аметистом в золотых лапках, видимо не дешевый, но грубоватый. И вообще кисть руки мягкая, а толстенькие у основания пальцы утончаются с каждой фалангой, заканчиваясь длинными ногтями вишневого цвета. Вся она складненькая, полненькая, или, точнее сказать, какая-то вся средненькая, с модной сумочкой через плечо и очень похожа на многих своих высокогрудых сверстниц с хорошо развитыми, как говорил один знакомый хирург, молочными железами, еле сдерживаемыми

тонкой блузкой. Игорь Сергеевич подумал даже, что с такой, наверное, очень легко и просто жить. Во всяком случае, без рефлексий, без душевных мук и всяческих страданий.

Он отодвинулся от нее и, любуясь ею, стал опять улыбаться. А Зиночка заметила и, волнуясь, спросила:

— Ну что такое? Что вы так улыбаетесь? Я вам серьезно говорю. Если вы сейчас же не подыметесь, я пойду одна.

— А интересно узнать, — спросил Игорь Сергеевич, — куда? Если не секрет.

— На станцию. К поезду какому-нибудь! Ну что же делать-то? Не сидеть же тут вечно.

— А тут до ближайшей станции знаете сколько километров? Никогда не догадаетесь. («Опять, черт побери!») Тридцать с гаком.

Глаза у Зиночки наконец-то прекратили бесконечные свои нырки и взлеты, она приоткрыла их и с мгновенным испугом во взгляде сказала:

— Нет, я вам не верю... Вы опять... Игорь Сергеевич, вы опять? Да? Сознайтесь. Я уже просто боюсь вас. Шутите и шутите. А мне не до шуток. Мне обязательно сегодня дома надо быть. Странный какой-то, честное слово!

Пожилая женщина в выцветшем сером халате, видимо работница музея, проходя мимо, увидела под сиренью нездешнюю парочку и, остановившись, подозрительно стала глядеть в их сторону.

Зиночка проворно поднялась и, шурша по дорожке, побежала к ней. Побежала в том замедленном темпе, в каком теперь часто снимают на киноленту бегущих лошадей. Она чувствовала спиной взгляд Игоря Сергеевича, знала, что он смотрит ей вслед, и старалась бежать легко, но именно поэтому бежала тяжело и неуклюже, стесненная узкой юбкой.

Игорь Сергеевич тоже поднялся и когда приблизился к двум женщинам, то одна из них уже показывала рукой в сторону елового леса, темнеющего за зеленым картофельным полем. Там, за лесом, была большая река, по которой ходили теплоходы, и называлась она Волгой.

Зиночка наконец-то всерьез рассердилась на него, обвинив во всех грехах, и, не желая даже идти с ним рядом, вырвалась вперед и ушла довольно далеко, мелькая торопливо шагающими ножками. Игорь Сергеевич поспешал за ней, но догнать не решился: Зиночка Николаевна была очень сердита.

Сухая тропка через картофельное поле светлела ниточкой до самого леса и была неудобна для нормального шага, потому что повторяла рельеф картофельных гряд, поперек которых ее протоптали: идти было трудно, как по шпалам. Темно-зеленые шершавые картофельные листья уже набирали силу, и поле казалось тяжелым, словно было уже обременено будущим урожаем. В однообразном его просторе Зиночка выглядела потерянной беглянкой или подраненной птицей, убегающей от охотника. Игорь Сергеевич разочек окликнул ее, но сила его голоса в тихом пространстве была так ничтожно мала, что ему почудилось, будто жалкий звук его крика упал к ногам и заглох в картофельной ботве.

Небо было еще больше поля, и в его голубой глубине звенели хрустальные переделы едва различимых песен невидимых жаворонков, звуки которых невидимым дождем ниспадали к земле, но не глохли, как голос человека, а жили и струнно пели в зачарованном мире. Солнце освещало опушку елового леса, и старые темные ели казались красновато-коричневыми. А когда Игорь Сергеевич вышел на лесную дорогу и углубился в еловый сумрак, он увидел лиловые стволы, облитые сахарно-белой смолой, и почувствовал прохладный ее запах.

Он наконец-то догнал Зиночку, которая поджидала его насупив-

шись, и только тут уловил еще один запах: то был резкий и отвратительно неуместный аромат духов, которым была пропитана молоденькая эта особа.

— Волков испугались? — спросил он, когда они пошли рядом.

— Да, — ответила Зиночка. — Между прочим, мне все равно, что вы там думаете обо мне. Я обождала вас, потому что не волков боюсь, а не знаю дороги. А я больше всего на свете боюсь заблудиться в лесу. Если я заблужусь, мне кажется, я умру от страха. И вообще какой-то страшный лес. Здесь так тихо, что давайте лучше о чем-нибудь говорить. Вот вы все время говорили, говорили, все выдумывали, когда не надо было, а теперь молчите. Вы бы лучше сейчас чего-нибудь рассказали. А то я где-то читала: чтобы не встретиться в лесу с хищниками, нужно все время говорить или напевать и стучать палкой по деревьям... Тогда хищники заранее испугаются и убегут. А когда тихо идешь, можно прямо носом к носу столкнуться с медведем или волком. И тогда хищник может напасть на человека, потому что он тоже испугается и бросится на вас или на меня с испугу. Он подумает, что я нападу на него сейчас, и бросится первым. Он же не знает, какие у меня намерения. Может, я его убить хочу. А как вы думаете, тут есть какие-нибудь хищники? Мне, например, кажется, что их тут тыщи, что они за каждой елкой прячутся. Я даже боюсь смотреть по сторонам. Это у меня с детства осталось. Меня папа однажды напугал, когда мы в деревне жили, и я с тех пор боюсь леса. А вообще-то еще потому, может быть, что моя бабушка с Украины. И вот я, например, поле люблю, особенно когда ромашек полно, васильков и вообще всяких цветов, а в лесу мне страшно. Как вы думаете, Игорь Сергеевич?

Игорь Сергеевич улыбался, слушая ее, и смотрел себе под ноги. Лесная дорога была еще сыровата с весны, еще часто попадались в ее колеях тяжелые лужи, укрытые зеленой плесенью, еще скользили ноги на розовой глине, на осклизлом еловом корне, мускулисто вцепившемся в дорогу.

— А мы правильно идем? Игорь Сергеевич! Что же вы молчите? Вы сегодня все делаете мне назло. Назло утащили куда-то в лес, назло подстроили все так, чтоб мы опоздали, назло выдумывали, а теперь молчите назло. У вас что, фантазия всякая исчезла? Такой разговорчивый был, так заговорил меня, что я и про автобус забыла, а теперь что же? Вот я так и знала, что вы жуткий человек! Вам доверяться совершенно нельзя. Почему-то эта дорога все вниз и вниз идет? Вам не кажется? Мы как будто как вошли в лес, так все время вниз идем, в какой-то овраг... Может быть, мы не по той дороге пошли? У меня уже все туфли в грязи. Ну вот как вы думаете, как я должна к вам теперь относиться? Вы хоть сами-то понимаете, какой вы жуткий человек? Игорь Сергеевич, а почему здесь папоротники растут? Я слышала, что в папоротниках змеи живут. Это правда? Вообще какой-то ужасный лес! Солнца даже не видно.

Солнца и в самом деле не было видно за холодными и могучими елями, которые лишь иногда впускали в мрачные свои владения его дымчатые, золотисто-шелковые лучи, в таинственном свете которых тонко и хрупко попискивали маленькие синички, подчеркивая своими стеклянными голосочками торжественную тишину старого ельника. Сырой и прохладный воздух, насыщенный испарениями земли, был так душист, что даже сиреневое благовоение, которое недавно казалось, занимало собою весь мир, выветрилось из памяти. Зиночка была права: этот лес действительно внушал уважение к себе, вызывая душевный трепет сторожкой своей тишиной и зеленым мраком, царившим среди лиловых ущелий залишаенных, облитых засахарившейся смолой массивных стволов.

— Игорь Сергеевич! Мы правильно идем? Ну как вам не стыдно

мучить меня! Почему вы молчите? Давайте о чем-нибудь разговаривать.

— Со мной это случается,— отозвался он наконец.— Редко, но случается. Говоришь, говоришь незнамо что, а потом как все равно очнешься... И молчок. У меня, Зиночка, характер такой дурной. Вот вы говорите, что я во всем виноват. Конечно, я не отрицаю, но я ведь не нарочно это сделал, не назло, как вы говорите. Просто так получилось. Увлекся. Понимаете? Вы уж простите меня, пожалуйста, если можете. Когда я в таком лесу иду по дороге, я чувствую себя подавленным и мне не хочется ни о чем говорить. А вы сами так хорошо говорите, так у вас это все получается искренне, что я просто слушаю вас и не верю, что мне так повезло в жизни: идти в таком лесу с такой милой женщиной и слушать ее, понимать, как она боится леса и всяких хищных зверей... Какие хищные звери!— воскликнул он вдруг с хохоточком в голосе.— Самый хищный зверь на свете— это я. А вы меня совсем не боитесь. Вот что удивительно! Вообще-то правильно делаете.

— А почему я вас должна бояться? Странный какой-то!

— Да не странный я! Обыкновенный! Вот в чем весь ужас положения! Обыкновенный. Если бы я был странный, Зиночка, я бы вас на руках сейчас нес. А я обыкновенный! Иду, молчу, слушаю, думаю черт знает о чем. О чем-то думаю все время, а вот спросите— не ответчу, потому что не вспомню ни за какие коврижки. А ведь о чем-то все время думаю, думаю до изнеможения. И так каждый, у любого спросите: о чем он думает? Какую-нибудь глупость скажет, что-нибудь смешное придумает и ответит. А о чем на самом деле думает— не знает. Хотя все время думает, как и я. Вот в чем ужас-то! Я самый страшный хищник, потому что жру свое собственное время, отпущенное мне природой. Жру, жую, чавкаю! Рву на куски душу какими-то случайными мыслишками, которые проходят бесследно и о которых я толком не помню ничего, не могу сказать, зачем они. Вот хотя бы сейчас! Я ведь сейчас шел рядом с вами, слушал вас и все во мне улыбалось. Так мне радостно было и хорошо вас слушать в лесу! А я эту свою радость все время грыз какими-то рассуждениями, а какими— не могу вспомнить, и, можно сказать, загрыз до смерти— осталась от всей этой радости одна только скорлупка. А жизнь-то идет!

— Я ничего не понимаю,— сказала Зиночка с удивлением.— Кого вы грызете?

— Да никого я не грызу,— ответил он.— Я хотел сказать, что если вы боитесь хищников, то я пустых своих рассуждений больше лютого зверя боюсь. Ведь я тоже живой, как и вы, и жить мне тоже очень хочется. А что такое жизнь? Это радость. Жизнь, по идее, должна быть радостью. Значит, я свою жизнь грызу. Я, Зиночка, отучил себя радоваться. Моя-то жизнь— это ведь тоже Жизнь! К ней все другие люди должны относиться с уважением, как, например, и я к вашей жизни отношусь и к жизни всех других людей, животных, растений. А я свою собственную сам грызу! Значит, кто самый страшный хищник? Я, конечно. А других в этом лесу нет. «Освободим трудящиеся массы от пут природы!» Такой вот лозунг. Все время освобождаюсь от естества, боюсь показаться смешным...

Но Зиночка, наверное, не слушала его, потому что она все с той же озабоченностью торопливо сказала, перебивая его:

— Понятно. А куда мы все-таки идем? Почему-то дорога все время вниз и вниз. Вам не кажется?

— К реке идем,— ответил Игорь Сергеевич и нахмурился, недовольный собою и своими запутанными рассуждениями, которых он так боялся всегда.— Скоро лес кончится— и мы увидим Волгу. Разве плохо? А вот слышите?! Слышите?— сказал он вдруг, пугая Зиночку, которая вздрогнула и оцепенела от неожиданного этого «слышите?!».

— Что? — спросила она как вскрикнула.

— Гудок слышали? Только что теплоход гудел.

Он и сам обрадовался, услышав за лесом сиплый бас, потому что, как и Зиночка, тоже не был уверен в дороге, хотя и не показывал виду. Гудок этот, как мычание болотной выпи, донесся словно бы из-под земли, откуда-то оттуда, куда вела дорога, заросшая травой. Но, услышанный в лесу, раздвинул зеленый мрак и как бы ограничил власть сумрачных елей, поманив людей речным раздольем. Лес как бы кончился, когда раздался далекий этот и ветрено-задумчивый, случайный звук, но еще долго дорога не выходила из лесных сумерек и глаз то и дело натывался на заросли черничника, на сухие сушня, на смолистые стволы елей, которым, казалось, не будет конца и которые теперь как бы не лесом уже были, а препятствием перед широким речным простором.

Зиночка иногда спрашивала:

— Мы правильно идем?

А он отвечал:

— Правильно.

— Почему-то все время кажется, — говорила она, — что уже вечер. Так темно!

Она устала от ходьбы и не в силах была о чем-либо разговаривать. Она лишь что-то пыталась напевать потихоньку, гундосо прозвонясь нараспев слова какой-то песни, но это у нее не выходило, потому что дыхание сбивалось, и мелодия захлебывалась. Но Игорь Сергеевич чувствовал, что неизвестная эта песенка все время звучит в ее душе, словно бы Зиночка несет в себе маленький оркестрик вместе с популярной певицей, а иногда, забываясь, пытается даже подпевать ей.

И вдруг слезы. Она плакала с какой-то мстительной откровенностью, как плачет жена, слезами своими укоряя непутевого мужа; плакала, выговаривая сквозь рыдания что-то обидное, стараясь как можно больнее ударить Игоря Сергеевича, и не щадила ни его, ни себя в этой попытке. Лицо ее было словно бы исцарапано до крови, будто это не слезы текли, а кровь. Глаза вспухли и покраснели. Да и вся она казалась окровавленной. Лучи солнца освещали ее оранжевым светом, а она стояла на темном, мутно-фиолетовом фоне плавного движущегося простора воды, похожего на поток чернильной жидкости, бегущий среди нежно-дымчатых, золотистых холмов. Два баке-на — белый и красный — ярко светились в этой волнующейся тьме, освещенные заходящим солнцем.

На высоком берегу, над дебаркадером, совсем близко, но как будто бы очень и очень далеко огненно светились окнами дома большого поселка, в котором пели петухи, мычали коровы, возвращавшиеся домой, лаяли собаки, кричали женщины и дети. Это было совсем близко! Но воздух был так тих и глух, а простор речной долины так величав и бесконечен, что все эти звуки чудились далекими и какими-то очень маленькими, крохотными, игрушечными, как если бы там жили игрушечные люди, коровы, петухи и собаки.

Здесь же, на пустом и холодном дебаркадере, громко и зло плакала кровавыми слезами великанша и ругала понурого и молчаливого человека, который не знал, что ему теперь делать.

Игорь Сергеевич и в самом деле растерялся, когда выяснилось, что теплоход здесь причаливает только по четным дням. Знато бы дело, они, конечно же, добрались как-нибудь до железнодорожной станции и уехали в Москву на поезде. Но теперь было поздно об этом думать. Теперь им оставалось только ждать. Он хорошо понимал, конечно, что одно дело ждать ему, человеку, свободному от семейных обязанностей, и другое — ждать ей, когда в Москве муж.

— Ну какая же я дура, дура! — вскрикивала Зиночка, что есть

силы стуча кулаком по деревянному поручню дощатых сходней, на которых они стояли.—Какая дура! Ой боже! Ну что теперь делать?—кричала она хрипло и зло, по-змеиному выбросив голову в сторону Игоря Сергеевича, и так широко разинула рот, что он вдруг увидел ее язык и ребристое небо, освещенное солнцем. Даже малиновый язычок увидел, словно она вывернула глотку в злом своем отчаянии наизнанку: он там, в глубине этой алой пасти, блестел кровавой каплей.—Ой, как я ненавижу вас! Ой, как я готова убить вас на месте! Ну что вы наделали?! Что теперь будет? Идиот несчастный! У меня ведь дома муж, которого я люблю. Вы это можете понять? Я люблю мужа, и он сойдет с ума, если я не вернусь сегодня! Господи! Какая же я дура! Вы действительно зверь, а не человек!

На оранжевом бугре выросли как из-под земли четверо ребяташек и, замерев, стали смотреть и слушать крики плачущей Зиночки. Но она ничего не видела вокруг себя, никого не хотела знать и ни с чем не считалась. Ей теперь было все равно, слышит ее кто-нибудь или нет, осуждает или жалеет. Для нее это не имело теперь никакого значения, потому что в ее сознании было лишь материализовавшееся, плотное и непрístupное препятствие— время, перед которым она была бессильна. Она теперь слышала, знала и чувствовала только себя и это жестокое на ощупь, тяжелое, неповоротливое время. Все остальное перестало для нее существовать. И какая разница, что о ней подумает человек, который стоит с ней рядом, или те маленькие люди, появившиеся на бугре. Все они тоже препятствие на пути к дому, к мужу, к самой себе. Она словно бы только теперь опомнилась и поняла всю безвыходность положения.

Если бы хоть какие-то чувства испытывала она к этому Игорю Сергеевичу! К лобастенькому человечку со скошенным подбородком... Хотя какие-нибудь! А то ведь ничего не шевельнулось в ее сердце, ни единой мыслишки не пробежало в голове, когда она, подчинившись ему, уходила с ним все дальше и дальше от автобуса! Пришла в какую-то деревню, выпила кринку молока с ноздреватым сырым хлебом, посмеялась над петухом, который косил на нее желтым злым глазом, и совсем забыла об автобусе. Просто она забыла обо всем и ей было почему-то очень радостно от этого. Больше ничего! Она даже и не чувствовала себя с ним— нет! Она все время была одна. Как же она могла так забыть?

Бессмысленность всего того, что с ней приключилось в этот день, неспособность найти объяснение всему этому приводили ее в бешенство, и она чувствовала себя так, будто ее обманул этот притихший и весь какой-то сгорбленный, как чайка на красном бакене, поникший человек, которого она ненавидела и которому ей хотелось сделать так больно, чтоб он закричал и упал от этой боли в воду.

Злости ее не было границ. Чего только не наговорила она Игорю Сергеевичу, уйти от которого боялась; чего только не натерпелась и сам он за то время, пока она была вне себя от бешенства, потеряв всякий контроль над собой!

Но всему приходит конец. У Зиночки иссякли силы, и она затихла. Лицо ее было так обезображено плачем, что она не решилась идти в поселок. Голос ее сел от крика и слез, и она с трудом производила слова.

— Я все равно не пойду в деревню,— еле слышно просипела она.— Я буду ночевать здесь.

Сиплый ее голос срывался на тонкие пискли, похожие на попискивание трущегося ржавого железа. Ее колотила дрожь, сводя плечи судорогой. Она сидела на крашеной синей лавке, прижавшись в углу к синей стене, и вид имела жалкий. Лесная глина высохла на туфлях и на щиколотках, в волосах застряла серая тоненькая сухая веточка, которую Игорь Сергеевич хотел снять, но не мог решиться на это, чувствуя беспрестанно свою страшную вину перед этой женщиной.

Он боялся оставить ее одну, но понимал в то же время, что ночевать здесь, на берегу реки, в холодном открытом зальце дебаркадера, не имея теплых одежд, невозможно или, во всяком случае, очень тяжело. Он отпросился у нее сбежать в поселок и попытаться счастья. Она согласилась ждать его, но сказала опять:

— Я все равно здесь ночевать буду.

Игорь Сергеевич толкнулся в одну дверь — отказали. В другую, третью... Везде недоуменный отказ. Девочка лет пятнадцати пробежала мимо в зеленых сапожках, он окликнул ее и спросил:

— У вас переночевать нельзя? А то мы тут пришли к теплоходу, а он только завтра.

Она с натугой наморщила гладенький лобик и, не понимая его, переспросила:

— Чего?

— Переночевать нельзя ли? Мы тут... с женой, — сказал он, ощутив толчок в груди, — пришли, а теплоход только завтра. Ночи еще холодные. Может быть, кто-нибудь пустит...

Девочка, решив, что ее разыгрывают, усмехнулась и побежала дальше, с озорством бросив на ходу:

— В лесу ночуйте! Мы туристов не пускаем.

Не лучше было и с едой. На дверях магазина висел замок, а искать продавщицу и стучаться к ней в дом, в котором она наверняка, как все сельские продавщицы, держит на всякий случай несколько бутылок спиртного, ему показалось бессмысленным занятием. Да и вряд ли держит она дома хлеб или что-нибудь съедобное, какие-нибудь конфетки хотя бы... Он очень торопился.

В поселке, на холме, еще розовела пыль на дороге, озаренная закатом, а на склоны холма уже легла тень. Игорь Сергеевич бегом спустился по светлой тропке к дебаркадеру, тревожась за Зиночку, думая только о ней, и не почувствовал холода. «В лесу! — подумал он с усмешечкой. — Разве она пойдет в лес! В лесу, конечно, можно было бы наломать лапника. Разжечь костер».

Она ни на секунду не выходила у него из головы. Она стала главной его заботой. Она казалась ему большим ребенком, которого он незаслуженно обидел. И она же приводила рассудок в смущение, когда он представлял себе ночь рядом с ней на пустом дебаркадере. Как ни старался он скрыть от самого себя это острое чувство, оно все время подспудно волновало его и вводило в греховно-радостное состояние, словно бы впереди у него была брачная ночь.

Река теперь отразила закатное небо и была оранжево-пепельной. Холмистые берега, погруженные в ночную тень, стояли бурые, с соломенным отливом, как шкура летнего медведя. Так же тихо все было вокруг, так же скользила слева направо оранжевая ширь реки, неся на своей поверхности зыбкие завихрения, словно бы реку все время пучило, словно какие-то силы все время выносили наверх глубинные слои воды, которые растекались вширь и сносились течением, а на их месте возникали новые наплывы, новые завихрения, не уловимые глазом, как неуловимы играющие в потемках языки живого пламени. И это было тоже движением и жизнью воды в ее общем движении слева направо. Ни начала, ни конца! Смотреть на жизнь воды можно бесконечно долго, чем и была занята Зиночка, когда он вернулся на дебаркадер.

Она облокотилась на поручень причала и, скрестив ноги, задумчиво ушла взглядом в оранжево-тлеющее пространство.

Она, наверное, все-таки надеялась, что Игорь Сергеевич договорится о ночлеге, и думала, может быть, о горячем чае, о добрых хозяевах, о рассыпчатой картошечке, о теплом доме, потому что, когда он рассказал о неудаче, она глубоко вздохнула и никак не отозвалась на его слова.

— Вполне возможно, — говорил он, глядя ей в затылок, — эта ночь не будет холодной. Я, помню, как-то ночевал майской ночью на реке, так даже на рассвете не почувствовал холода. Лежал, помню, на земле, смотрел в небо и слушал соловьев. Конечно, в лесу было бы теплее. В лесу можно наломать лапника, развести костерчик... Вы ночевали когда-нибудь в лесу?

Молчание. Такое глубокое молчание, что ему показалось, будто он слышит, как река трется о каменные берега, мягко омывая их в своем беге. По всему берегу у кромки воды зеленели, одетые водорослями, желтые обломки известняка, обкатанные речной волной и течением.

— Что же вы так легко оделись, Зиночка? — спросил он. — Может быть, накинете на плечи мой пиджак? Вы бы хоть какую-нибудь кофточку теплую взяли... Весенняя погода переменчива. Поехали в одной блузке. Разве можно?

Она резко обернулась, встряхнув головой, сказала:

— Я ж не рассчитывала встретиться с таким... как вы! А если б знала, вообще не поехала! Ну вот, что теперь мне делать? Утопиться? Вы так себя ведете, как будто ничего не случилось! Я не знаю, ждут ли вас дома или не ждут, мне это все равно, а меня ждут и будут очень волноваться и не спать всю ночь. И потом еще неизвестно, что будет! Что я мужу скажу? Ночевала на дебаркадере? С мужчиной? Вы понимаете, что вы наделали?! Стоите тут, как херувимчик какой-то! Врать прикажете? А я не умею! Я ни разу еще не обманывала его и не собираюсь этого делать. А он может еще позвонить в это дурацкое бюро экскурсионное, и ему там скажут, что мужчина и женщина отстали от автобуса. Вообще приеду в Москву, обязательно жалобу напишу!

— А я вам знаете что, — сказал Игорь Сергеевич, — я вам напишу объяснительную записку для мужа. Расскажу все как было. Он поймет. Могу даже встретиться...

— Ой! — рыком вскрикнула она. — Кошмар какой-то! Замолчите сейчас же, а то я вас убью! Давайте мне ваш пиджак, а сами тут как хотите, хоть подышайте. Мне нисколечко вас не жалко. Я замерзла, как собака, а к утру совсем околею от холода, — говорила она, пока Игорь Сергеевич надевал на нее теплый пиджак, помогая просунуть руки. — Ой, господи! — с дрожью в голосе восклицала она. — Как я замерзла! Если б кто знал! Еще и голос совсем потеряла, как пьяница. У меня прсто не хватает слов... вообще... Я не знаю, что бы я с вами сделала, как бы я вас избила! — вдруг вскрикнула она сиплым своим голосочком, опять соскальзывая в слезливое бешенство. — Уйдите от меня сейчас же, чтоб я вас не видела!

— У вас веточка еловая в волосах, — осмелился сказать он. — Давайте я вам помогу.

— Ничего мне от вас не нужно! Уходите от меня! Я боюсь вас. Вы хуже всякого зверя! Хуже всех на свете! Оставьте меня в покое!

— Мне уйти? А куда? А как же вы?

В ответ слезы, всхлипывание, ноющие, писклявые звуки, сотрясение обвисших пиджачных плеч.

Она долго и тихо плакала, уйдя от него в синее зальце, усевшись там на синюю лавку, липкую от въевшейся в краску грязи.

Он стоял, навалившись животом на поручень, и слушал ее. Он знал, что уходить ему нельзя, потому что нельзя оставлять ее одну на дебаркадере. Он не чувствовал холода. Земля, согретая солнцем, не успела еще остыть, и ее теплые испарения обметывали реку прозрачным туманом. Небо было теперь темнее реки. Закат совсем уже погас, а река еще смутно светилась в темноте, словно бы в ней сохранился жар небесного пожара, подернутый белесым пеплом. В мутном небе, упруго свистя крыльями, пронесли невидимые утка и селезень. Утка

беспрерывно крикала, вплетая истощенный свой крик во вселенскую тишину, а селезень, догоняя ее, жарко и страстно оглашал округу чуть слышимым шварканием. По фарватеру проходили во тьме тяжелые, шумно чавкающие суда, и слышен был не только их внешний шум, но и утробный шум двигателей. Проплывали в туманной тьме красные и белые огни, а суда, несущие этот таинственный свет, были неразличимы в ночи. Прошел справа налево, вверх по реке, ярко сверкающий огнями трехпалубный пассажирский теплоход, похожий на белый призрак — так бесшумно было его лебединое скольжение в темном пространстве. Люди еще не спали в этом снежно поблескивающем чуде, летящем над прозрачным туманом: весь корабль, казалось, звенел празднично-задумчивой музыкой.

Игорь Сергеевич долго смотрел на звучащее белое изваяние, и ему захотелось плакать, когда теплоход словно бы сморщился в темноте, пожелтел и потускнел, превратившись в меркло тлеющий в ночи, искрящийся комочек людского тепла и музыки.

Когда утихла береговая волна, поднятая теплоходом, он опять услышал в тишине, как колотит Зиночку озноб, как шумно и судорожно вздыхает она не в силах сдерживать отчаянных страданий, как жалобно постанывает и поскуливает. Но подойти к ней не решался, представляя ее теперь тоже каким-то тлеющим теплым комочком.

Он давно уже не испытывал такого острого чувства одиночества и непонятной вины. Слова ее, сказанные в злости, что он страшнее зверя и что на свете нет хуже его, запали ему в душу.

Он знал, что не нравится женщинам, и смирился с этим, втихомолку завидуя приятелям, которые, не отличаясь особенной красотой, не блистая умом, легко и просто сходились с женщинами, подчиняя их своим прихотям и капризам. Иногда он сравнивал себя с ними и не мог понять причины своей невезучести, похожей на напасть.

Он мог бы давно обозлиться на весь белый свет, заделаться отъявленным ханжой, брызгой или целомудренным нравоучителем, громогласно презирающим любые шалости, любые нарушения семейной верности, казня своих приятелей за все их вольные и невольные грехи.

К счастью, этого не случилось с ним. Он, как и в юности, продолжал влюбляться, любить и не уставал надеяться на чудо, веря, что где-то на земле живет женщина, похожая на него, которая тоже, как и он, не умеет нравиться и которая, как и он, смиренно несет свой крест, тоже надеясь на чудо. Этого чуда он все время ждал. Когда же какая-нибудь женщина обращала на него внимание, он впадал в такую радость, что не в силах был сдерживать себя и свою глуповатую фантазию, пребывая в состоянии полной раскрепощенности, будто бы катастрофически пьянел, не замечая всей той пошлости, которой он старался развеселить, увлечь или разжалобить женское сердце, успевая как бы прожить со своей избранницей, или, точнее сказать, с женщиной, наградившей его вниманием, целую долгую и счастливую жизнь. Словно бы купался в своей радости, утопая в блаженном состоянии.

Он истязал себя безграничной радостью, выплескивая ее из своей души с такой царской щедростью, что через некоторое время душа его пересыхала и пропитывалась горечью. И тогда он впадал в другую крайность: замыкался, краснел за свое поведение и, стараясь хоть как-то оправдаться перед самим собой, начинал хулить людские привычки и самих людей, скованных правилами приличия, сдержанностью и наигранным равнодушием.

Он так запутывался в своих размышлениях о человечестве, что

доводил себя чуть ли не до невроза, теряя сон и голову, не в силах хоть как-то примирить две противоположности: естество и правила хорошего тона.

Может быть, именно эту особенность Игоря Сергеевича женщины сразу же безошибочно улавливали чутким своим умом, зная заранее, что общение с таким человеком до добра не доведет.

Как бы там ни было, а Игорь Сергеевич всякий раз очень страдал, понимая снова и снова, что он совершенно ~~не~~ нравится женщинам. И страдания эти были совсем не пустячными, как полагали некоторые из его друзей. Путь к этим страданиям был слишком долгим, чтоб запросто отмахнуться от них как от чепухи. Он со временем действительно превратился в лютого врага самому себе, и когда он говорил, что он страшный хищник, пожирающий свою собственную жизнь, он был не так уж и далек от истины.

Вот и в эту ночь, на дебаркадере, он бессонно смотрел в темноту и мучал себя такими пытками, допрашивал себя с таким рвением и зверской изощренностью, осуждал себя так жестоко, что было ему совсем не до шуток.

— Эй, вы! Послушайте! — раздался вдруг жалостливый голос Зиночки. — Я не могу больше так!

Голые стены залаща усиливали ее голос, будто она говорила в трубу. Она сидела все в том же углу, забравшись с ногами на лавку и запахнувшись полами пиджака. Игорь Сергеевич, привыкший уже к темноте, увидел светлеющие в потемках лицо и ноги.

— Тут под полом или под лавкой, не знаю, — говорила продрогшая Зиночка, — тут кто-то все время хлюпает. Вот послушайте... Сядьте вот тут, рядом, и слушайте, а то я боюсь одна.

Он покорно сел, коснувшись ее туфель, и прислушался. В гулкой тишине старого дебаркадера не слышно было ни единого звука, и только где-то на реке, которая сизо смутнела в пустом проеме открытого залаща, нарастал издалека шум приближающегося судна: по звуку Игорь Сергеевич угадывал в этом тяжелом шуме большую самоходную баржу.

— Я ничего не слышу, — сказал он полушепотом.

— Это вы пришли, — ответила Зиночка, — и оно перестало. А то все время что-то там шевелилось, как крысы какие-нибудь, хрустело что-то или чавкало, я не знаю... А тут могут жить крысы? Вообще-то чего им тут делать? — добавила она, испугавшись, наверное, одного лишь упоминания о крысах. — Им тут и есть-то нечего. Тут же даже буфета никакого нет.

— Это, наверное, вода хлюпала. Это когда какой-нибудь пароход проходит по реке, то волны раскачивают дебаркадер и хлюпают. Вы заметили, как он плавно качается, когда волны от пароходов или от барж? У меня даже голова немножко кружилась, такое плавное, плавное покачивание. Ну и, конечно, хлюпала вода под днищем. Он вообще, может быть, дырявый и там воды полно, под полом. А тут еще такие волнища вдоль всего берега, — говорил он так, если бы перед ним была перепуганная до смерти девочка. — Еще бы не хлюпать! А может, он об камни дном трется? Вот и хрустит что-то.

— Я знаю, — ответила она, захлебываясь в страшной дрожи. — Я это слышала. Это совсем другое. А тут как будто все время кто-то бегаёт и что-то грызет. Может, это крысы?

Игорь Сергеевич подумал, что это вполне возможно, но с уверенностью ответил:

— Какие тут крысы! Если только водяные, так сюда забраться они не могут.

Зиночка опустила ноги на пол и поднялась. А Игорь Сергеевич услышал, как дрожит у нее нижняя челюсть и как зубы дробно и

звонко постукивают друг о дружку. Она с трудом выговаривала слова из-за этой дрожи.

— Я ужасно... замерзла,— говорила она не в силах произнести букву «р», и у нее получалось «замеззза». — Жуткий... какой-то холод. Надо погреться.

И она стала греться, махая руками и быстро-быстро шагая взад-перед по тесному зальцу.

— Вы знаете, как я на вас зла! — говорила она. — Вы это знаете, конечно. Но спать-то здесь невозможно! Холодно! Ваш дурацкий пиджак совсем... ну совсем не греет! Я наверняка больная совсем из-за вас... домой... Ах-ха... Ой! Придумайте хоть что-нибудь! Почему вы не дрожите? А? Вам не холодно? Я сейчас греться... буду об вас как об печку. Мне все равно, что вы подумаете... А я не могу. У меня даже сердце болит и останавливается, так я замерзла. Вы не подумайте только! Вы вообще для меня никто. Просто замерзла. А стены тут ледяные... Все-таки вы... так... теплей,— говорила она, размахивая длинными рукавами пиджака, как клоун. — Мне сейчас все... все равно. Лишь бы согреться. А вообще я вас ненавижу... Так и знайте.

И когда она уверенно села рядом и, прижавшись, велела обнять, он со страхом обнял ее за трясущиеся плечи и сразу почувствовал себя теплой коровой, вспомнив давний рассказ старой бабушки про то, как ту одолевали крысы весной, когда разливалась река. «Утром войдешь в хлев,— рассказывала бабушка,— корова лежит, а они на ней греются, нахальные. Вот как страшно-то! Уходить не хотят. Тепло им, они и не убегают, пока корова не встанет. Не знаешь, чего и делать».

А Зиночка, как будто услышав этот бабушкин рассказ, стала зябко смеяться.

— У меня голова,— говорила она сквозь тихий и сипловато-хихикающий смех,— совсем промерзла насквозь. Подышите на мою голову, а то я не знаю, что со мной будет... У меня так затылок стиснуло, как будто железом холодным.

И он, пошулуно прижавшись губами к ее упругим, пропахшим то ли лаком, то ли духами жестким волосам, стал старательно и медленно дышать в них теплым воздухом, как делал в детстве, согревая озябшие в варежках руки. Она, втискиваясь плечами в его грудь, ворочала головой, подставляя под губы то затылок, то виски, то темя. А он чувствовал холод, исходивший от ее головы, будто она была из камня. Смех ее опять вдруг соскользнул на слезы, опять она стала всхлипывать, представив себе, наверное, завтрашний день, когда ей придется взглянуть в глаза мужа.

— Ну во-от,— сказал Игорь Сергеевич,— опять вы плачете. Что ж тут поделаешь! Муж-то у вас злой?

— Не знаю,— ответила она.

— Вы что же... недавно женаты?

— Давно уже. Больше года.

— Да, это действительно... Постарайтесь-ка вы уснуть, Зиночка Николаевна, утро вечера, знаете ли... Это точно. А я вас согрею в своих, так сказать, объятиях. Печка из меня, конечно, неважная, но зато и мне тоже теплей. Давайте-ка забирайтесь на лавку с ногами,— говорил он, чувствуя, как у него у самого начал дрожать голос,— а я вас, как ребенка, возьму на руки. Вы и заснете, может быть. А мужу соврете что-нибудь. Такое вранье во благо. Зачем его мучать подозрениями? Бить-то он вас не будет, надеюсь? Он у вас не дерется?

— Откуда я знаю.

— Ну не бросит же он вас! Подуется день-другой... Перетерпите. Все это чепуха, Зиночка! А бросит, значит — дурак. Выйдете второй раз замуж. Это сейчас запросто! Молодая, красивая...

— Да что вы понимаете-то в этом, господи! — возмутилась Зи-

ночка, но все-таки послушалась его, забралась на лавку, прижавшись плечом и головой к его груди. — Я тяжелая. Но ничего, подержите. Сами во всем виноваты, вот и терпите. Вообще-то... Ой, господи! — то ли всхлипнув, то ли как-то жиденько всхотнув, воскликнула она. — Видел бы меня сейчас Шурка! Вот бы и узнали, дерется он или нет. И какой узнали бы — злой или нет. Он меня не бросит, конечно! Я не разрешу ему. А второй раз, как вы говорите, я уже вышла замуж-то. Шурка у меня второй муж.

— Вы, Зиночка Николаевна, локтем мне в ногу так уперлись. Как-нибудь в сторону его немножко. Вот так, нормально, так хорошо. Теперь спите,— сказал Игорь Сергеевич, не желая слышать о Шурке, о первом муже, о втором.— Все нормально. Спите.

Но Зиночка, пригревшись и перестав дрожать, словно бы не услышала его и, впад в какое-то слезливо-грустное настроение, стала рассказывать о Шурке.

Игорь Сергеевич знал за собой эту странную особенность: люди любили рассказывать ему про свою жизнь, как будто им становилось легче, если они именно ему доверяли маленькие и, как правило, очень личные печальные свои тайны.

Не отличалась оригинальностью и эта история, о которой, притаившись у него на груди, рассказала ему Зиночка.

Жила четыре года с мужем, но встретила однажды у проходной молодого человека, который ей понравился, и просто так подумала: «Хорошо бы он работал у нас в цехе, где одни только женщины — ни одного мужчины». На другой день он пришел к ним в цех и стал работать инженером-наладчиком... Послали на картошку, а она опять просто так подумала: «Хорошо бы и он тоже поехал». Приходит утром, а он стоит у проходной в резиновых сапогах и в бордовой нейлоновой курточке.

— Он у меня настоящий блондин,— тихо говорила Зиночка, и в голосе ее слышалась улыбка.— Вообще-то блондинов много, а красивых совсем нет. Это такая редкость! Блондин, да еще красивый! У нас с ним ничего такого там не было, просто прошлись раза два вечером. А разговоров! Он переживал ужасно. Даже здороваться со мной перестал. А я и не мечтала, что когда-нибудь он полюбит меня. На четыре года младше, мальчишка совсем, институт кончил — зачем я ему нужна! Ну и так далее... А теперь вот уже больше года как поженились. Вот вы говорите, портниха... А какая же я портниха, если я только одну операцию делаю на машине? Портниха — это когда все пальто, например, с начала до конца шьет. А я воротник один отделяваю или строчку какую-нибудь... Мне все говорили, когда я за ним бегать стала, что ты, мол, дуручка, делаешь, с ума сошла, он тебя все равно рано или поздно бросит! Четыре года разницы! А я думаю: ну и пусть бросит. Все равно он моим будет.

Игорь Сергеевич чувствовал на холодной своей руке ее теплое дыхание, и было у него такое ощущение, будто кто-то акварельной беличьей кисточкой дотрагивается до его озябшей кожи.

— А первого,— спросил он,— бросили?

— А я его, можно сказать, через полгода после свадьбы бросила,— быстро и вызывающе злобно ответила Зиночка.— Развратник ужасный! Весь в мамочку свою пошел. Поехали как-то с ним на дачу к приятелю его, компания собралась человек восемь. Они мне сразу почему-то не понравились все. Ну а потом выпили, развеселились... Не хочется даже вспоминать. В фанты стали играть... Кому кто достанется... Я думала, это просто игра, а потом оказалось — нет. Он самый настоящий подлец! Я даже не знала, что такие есть на свете. Я думала, что у нас таких просто не может быть. Я ему все сказала утром, а он, конечно, мамочке своей... Ой, господи! — воскликнула она, приподнимаясь на локте.— Я как будто из грязи на чистое место вылезла,

когда Шурку встретила. Он у меня такой хороший, такой добрый! Он в субботу работал, а мне велел съездить и отдохнуть. Хотели вместе ехать, а ему работать пришлось. Теперь даже не знаю, что будет! И все из-за вас! Ну вот, что мне теперь делать? До Шурки я жила как хотела: обманывала, врала, гуляла, потому что с подлецом жила. А с Шуркой, думаю, никогда врать не буду — все ему буду рассказывать как было... А теперь что скажу? Ну до чего ж вы все-таки... Сама я тоже, конечно, хороша! Ну хоть бы ладно, хоть бы вы мне чуточку понравились... А то ведь ну вот ни на столечко! Пошла за вами как дура. Вы, может быть, жизнь мне теперь испортили. Теперь у нас с Шуркой все по-другому будет... Ну вот скажите, зачем вы это сделали? Совесть-то у вас есть? Вы ведь чужое счастье совсем не цените! «Второй раз выйдете замуж!» Наверное, тоже развратник, если это вам так легко сказать.

— Я пошутил, Зиночка!

— Ничего себе шуточки! Я таких шуточек... Ой, господи! До чего ж вы мне надоели! Когда ж это утро наступит? На теплоход сядем, я куда-нибудь в уголочек забьюсь, чтоб вас не видеть и не слышать. А вы ко мне и не вздумайте приближаться! Я кричать буду. Я вас знать не знала и не хочу совсем знать. Мне и так из-за вас придется обманывать Шурку! Первый раз обманывать! Так хотела всегда говорить ему правду! От подлеца своего ушла, думала, никогда врать не буду. А вот из-за вас теперь опять. Вам-то все равно, конечно! Вы привыкли... Вы только и делаете что врете все время. И удовольствие от этого получаете. А мне теперь просто пытка! Ну что мне вот теперь делать? — сипло вскрикнула она в злости. — За что вы меня так обидели? Такое зло причинили! Какой же вы все-таки страшный человек! Как я вас ненавижу! До чего ж вы мне противны! Я уж думала — никогда! Ну никогда не буду обманывать Шурку. Столько врала в своей жизни... Опротивело все!

Опять слезы, опять прерывистое дыхание, всхлипывания, озноб, щмыгание носом. Игорь Сергеевич даже почувствовал, как руку уколола теплая капля.

Он никогда еще в жизни не попадал в такое трудное положение, понимая, что в еще более трудном, отчаянном положении оказалась незнакомая ему женщина, которую теперь держал в руках. Держал как дьявольский какой-то, сверхдрагоценный подарок, до которого нельзя дотронуться и которым никогда не придется ему обладать. И таким ничтожным, таким неприятным существом казался он сам себе, что не смел даже возразить этой несчастной женщине и хоть как-то оправдаться перед ней, полагая за благо хотя бы и то, что она не гонит его прочь, а позволяет быть с ней рядом, держать у себя на груди, ощущать тяжелую и в то же время легкую, воздушную плоть, словно в руках у него согревалась любимая жена, а не обозленная на него, ненавидящая, плачущая от отчаяния незнакомка.

Он любил ее, обмякшую в полудреме, уставшую и пострадавшую женщину, греющуюся на груди и отдавшую ему частичку своего дремотного, болезненного тепла, чтобы и он сохранил силы и не уснул, не уронил бы ее спящую.

Он так нежно и виновато любил ее, что когда она, совсем обесилев, уснула, он опять прикоснулся губами к ее жестким волосам и стал тихонько дышать в них, втягивая в себя теплые запахи головы, духов и лака.

Он думал о ней как о самой искренней и чистой женщине, какую когда-либо встречал в своей жизни. Ни тени обиды или злости! Одно только сладостное восхищение переполняло его душу, словно бы наконец-то в муках и терзаниях обрел он то, о чем не смел никогда даже мечтать.

И он был очень несчастен, зная, что ночь уже на исходе.

По реке в невидимом тумане двигалось с тяжелым сипением и гулом грузное и медленное чудовище, неся высоко в небе навигационные огни.

Игорь Сергеевич смотрел на огни, которые медленно плыли справа налево, минувя дебаркадер, а потом как будто бы замерли на месте и с железным лязгом и гулом стали приближаться к берегу, к земле, увеличиваясь в размерах и разгораясь все ярче и ярче.

Зиночка сползла к нему на колени, уткнувшись головой в живот, и крепко спала, лишь изредка всхлипывая во сне и жалобно постанывая. Что-то ей снилось. Наверное, у нее озябли ноги и, может быть, ей снилась боль.

А железное чудовище тем временем решило выбраться из воды на сушу, так близко оно придвинулось своими огнями к берегу. Что-то брэнчало там, на невидимом судне, что-то позвякивало, громыхало.

Огни наконец остановились, замерли в темноте, и раздался пронзительно-скрипящий металлический звук, который оборвался тяжелым стоном, подозрительно похожим на стон женщины. Этот прерывистый стон потянулся в ночную тишину, уныло оглашая спящую округу безумной мольбой и холодя сердце страхом.

Лязгали механизмы, что-то там глухо ухало, бубнило и опять стонало, выло тоскливо и отчаянно. То ли могучая якорная цепь издавала эти звуки, то ли это работали проржавевшие от вечной сырости стальные механизмы какого-то непонятного устройства.

Игорь Сергеевич напрягал и зрение и слух, сердце его в странном испуге и удивлении колотилось так округло и торопливо, будто это и в самом деле к берегу придвинулось из тьмы незримое чудовище, протягивающее к нему длинные, членистые, стонущие и лязгающие от напряжения стальные щупальца, которые вот-вот появятся из тьмы над дебаркадером, обхватят плавучую пристань и утянут к себе, в свою бухающую, громыхающую, шипящую утробу.

Но все стихло там. Лязгнуло железо. Потом раздался звонкий и гулкий стук. И сколько бы ни прислушивался Игорь Сергеевич, чудовище молчало. Лишь огни его все так же ярко горели в ночном небе, космически чуждые всему земному и таинственные.

Зиночка не проснулась. А когда утихло на реке, она вдруг зашевелилась, подтягивая озябшие ноги и чмокая пересохшими губами, плаксиво и несмело простонала во сне. И этот ее стон был похож на слабенькое эхо утихшего железного стопа.

Руки Игоря Сергеевича онемели от холода и усталости, и он, когда она переворачивалась во сне, улучив момент, высвободил их из-под тяжести ее тела, размял ооченевшие пальцы, торопливо сжимая и разжимая их, и снова сцепил в мертвой борцовской хватке, обняв драгоценную свою ношу и не сводя глаз с мертвенно сияющих во тьме огней.

Он сам себе в эти минуты напоминал маленького сказочного героя, защищающего от злого волшебника свою возлюбленную, за которую готов был погибнуть, не отдав ее на поругание железному чудищу. Он в эти минуты забыл даже о том, что возлюбленная его принадлежит другому и что самым страшным чудовищем для нее является он сам, маленький и промерзший до костей герой, от которого она скоро убежит в страхе.

Он обо всем забыл, пребывая в радостном предвкушении битвы. Забыл и о Шурке, которым бредила Зиночка. Ему снился упоительный и тревожно-радостный, воинственный сон: ему чудились ликующие трубные звуки и тоскливые стоны поверженных врагов. Но в боевой этой потехе он с тревогой вдруг вспомнил о Зиночке.

И проснулся.

Руки его все так же были сцеплены в мертвой хватке. Зиночка

дышала ему в грудь — озябшая, опухшая и очень измятая, с полураскрытыми и скошенными губами.

Он опять увидел ее и разглядел, потому что наступило уже утро.

Слева от дебаркадера метрах в ста от берега грузно горбился на воде ржавый силуэт земснаряда, пришедшего сюда ночью. В поселке перекликались песнями петухи.

Игорь Сергеевич закрыл глаза и попытался досмотреть ускользнувший от него радостный сон и, стараясь вспомнить его детали, зажмурился и притих в ожидании. Но у него ничего из этого не вышло.

«Что ж теперь будет?— подумал он в отчаянии.— Как же теперь жить?»

ЗВЕЗДА АНГЛИЙСКОЙ ШКОЛЫ

В Москву прилетели чайки. Усталые, в молчании кружатся они над грязно-мутной вздувшейся Яузой. Светит солнце. Трамвай блещет, как на переводной картинке. Чайки снежно чисты над бурой водой.

Люди идут пешком через мост, проносятся в автомобилях, и чудится, будто все вокруг шумно и радостно движется: облака, вода, машины, люди. От зимних сугробов остались только черные поблескивающие бугры холодной мокрой копоты. Разбиты ломом и разбросаны на мостовой глыбы черного, как каменный уголь, льда.

Ветерок холодит потный лоб. Молчаливое кружение чаек меж гранитных берегов реки, над мертвой ее водой, на которую ни одна из них не садится, — что это? Может быть, древний ритуал птиц, предки которых прилетали сюда гнездиться еще в то время, когда здесь не было города? Может быть, в каких-то таинственных навигационных их картах навсегда запечатлелась конечная станция долгого пути — чистая и рыбная речка Яуза, впадающая в Москву-реку?

Здесь они отдыхали после перелета, здесь была еда, здесь они выводили, когда-то птенцов — сюда их из века в век влечет до сих пор инстинкт. Привел и на этот раз. Зачем? Они как будто и сами не знают. Но кружатся, кружатся, взмывают ввысь, пикируют, ластятся к воде, чуть ли не касаясь пепельными крыльями грязной стремнины.

Люди смотрят на них и улыбаются, говорят: «Чайки прилетели», — точно птицы, прилетев в их каменное, машинное, грохочущее железом царство, тоже радуются, как и люди, весне.

Константин Леонтьевич Зямлин, живущий в доме над Яузой, смотрит на них из окна со смутной тревогой. Думает о птицах как о мудреных каких-то существах, прилетающих весной из теплых краев на свою печально-убогую прародину в ожидании чуда: нависших над водой кустов, песчаных отмелей на перекатах, камышовых зарослей, первозданной гишины и, главное, безлюдья. Не нравятся ему эти молчаливые, злые, как ему кажется, белые птицы, вековое терпение которых пугает его. Из года в год, от весны до весны — ждут не дождутся... Прилетают, кружатся, приглядываются, страдают, наверно, по-своему, а потом бесследно исчезают, чтобы опять вернуться сюда весной и еще раз убедиться, что их время еще не пришло.

А что для них время?! Столетие! Тысячелетие! Сколько там поколений сменится? Какая для них разница! В сущности, они исполняют заданную природой программу действия: эта река когда-то принадлежала им. И они как будто на что-то надеются, как будто чувствуют, что все еще впереди. Зямлину даже чудится порой, что чайки прилетают сюда, на Яузу, одни и те же, один какой-то их род, гнездившийся здесь сотни лет назад. Птенцы птенцов и новые птенцы — пепельные сверху, в траурно-черных капюшонах, одни и те же, какими были много тысяч лет назад. А птенцы, которых еще нет на свете, но которые, повзрослев, тоже когда-нибудь прилетят сюда, будут как две капли воды похожи на тех, что выются теперь над Яузой.

Именно это однообразие и настраивало Зямлина на печальный лад — однообразие действий, привычек, инстинктов, которыми наделила белых этих птиц природа. Природа всесильна, но и она создала для себя законы, которые не преступает ни в коем случае, правя живым и неживым миром. Страшновато делалось, когда он думал об этой формуле жизни. Выходило так, что природа — это мудрое и все-сильное государство, строго подчиненное своим же собственным законам, нарушить которые оно само не в силах. Лишь человек поставил себя вне этих законов. Будет ли прощение?

Так рассуждал Константин Леонтьевич, глядя из распахнутого настежь окна на кружащихся чаек.

Впервые он задумался об этом несколько лет назад, когда рыбачил в мае под Шатурой на Святом, или, как его называют местные жители, Святом, озере. Там, на топком берегу, в комарином царстве, стоит Дом рыбака, спортивная база, есть лодки. А за домом, в тридцати шагах от озера заболоченный, непролазный кустарник. Рядом город, трубы Шатурской ГРЭС, утробное гудение станции, всхлипы и стоны железа. И тут же в кустарнике живут соловьи, прилетая сюда каждую весну. Соловьев так много, что вечерами трудно отличить песнь одного от песни другого — в тихом вечернем воздухе разносится сплошное их пение, щелканье, свист, трели. Даже интерес пропадает слушать эту разногласицу, которую перестаете в конце концов воспринимать как соловьиное пение, будто это не соловьи, а лягушки поют в болоте. Соловей хорош, когда поет в одиночестве.

Константин Леонтьевич вышел из дома выкурить сигарету и, отмахиваясь от комаров, слушал. Тут же покуривал какой-то рыбак из пенсионеров и тоже слушал.

— Вот удивляюсь,— сказал тот с задушевной ноткой в голосе.— Чего это соловьи гнездятся рядом с городом? Промышленность, шум, дым из труб, а им хоть бы что. Чего они к людям-то тянутся, не пойму. Как воробьи какие...

А Константин Леонтьевич не раздумывая, будто знал это всегда, ответил:

— Это не они к нам, к людям, а мы к ним прижались. Понастроили тут всего, дыма напустили, грохоту. Они тут жили, когда ничего этого не было и в помине. Вот так, по-моему, дело было. Куда ж им деваться! Это их дом.

И даже разозлился на старого рыбака, не понимающего простой истины.

Мысль эта засела в его голове, и он часто стал задумываться, впадая всякий раз в необъяснимую тревогу.

Пошел уже второй год, как за Константином Леонтьевичем Зямлиным стала приезжать по утрам автомашина, ожидая его у подъезда: темно-синего цвета, не очень-то новая, но еще крепкая «Волга». Молчаливый и хмурый человек, сидящий за рулем, кивал ему, отвечая на приветствие, и Константину Леонтьевичу казалось порой, что торопливый стартер радуется встрече с ним больше, чем этот человек.

Имя его — Эдуард Серафимович. Лет — приблизительно сорок пять. Сильный и красивый мужчина, явно презирающий Зямлина и всем своим видом показывающий, что ему нет никакого дела до него, что только по чистой случайности ему приходится крутить баранку и возить от подъезда дома до подъезда института заместителя директора... Будто это какое-то недоразумение, что-то неестественное и несправедливое.

Зямлин толком не мог бы сказать, какой голос у этого человека, словно бы проглотившего язык. Он побаивался его, как побаивается ребенок строгую няньку. Но зато он часто слышал досадливый вздох шофера, стараясь всякий раз понять причину его недовольства, но не

понимал ничего. Видимо, шофер страдал завышенной самооценкой. У него было много свободного времени, которое он использовал с выгодой для себя, калымя на московских улицах. А все, что отвлекало его от этого занятия, он считал несправедливым и накладным для себя делом. Он наверняка был втайне уверен, что Зямлин, волею случая поставленный у руководства институтом, пустой и никому не нужный человек; с трудом подчинялся ему, когда тот с предельной вежливостью просил подбросить его к министерству, или отвезти домой, или подъехать к определенному часу туда-то и туда-то, называя при этом шофера голубчиком. Шофер всякий раз морщился и досадливо вздыхал, неохотно и словно бы нерешительно тянулся рукой к ключу зажигания, а на лице его при этом было такое выражение, будто его толкали на какой-то неблагоприятный поступок... «Ладно, так уж и быть,— как бы говорил он в досаде.— Но в последний раз. Больше не проси». Точно такое же выражение кривило его лицо, когда в толчее московских улиц кто-нибудь неосторожно пробегал перед радиатором его машины или какая-нибудь другая машина подрезала путь, нарушая правила движения, или плелась в левом ряду, не давая обгонять себя. Константин Леонтьевич так привык к сердитому своему шоферу, что и сам себя тоже чувствовал всегда нарушителем каких-то неписаных правил, не догадываясь при этом, в чем его вина.

И если Алла Николаевна, его жена, просила взять ее по пути, он искренне страдал, отказывая ей в этом, говоря, что неприлично использовать служебную машину не по назначению.

— Не обижайся, пожалуйста. Я не хочу, чтоб обо мне говорили всякое. Люди, знаешь... подумают, что это... А-а, да что! Ты уж прости меня, не могу. Не имею права. А потом, этот шофер... Очень странный тип. Он и меня-то, по-моему, с трудом терпит, будто я ему на закорки сажусь... Ну его к черту!

И он улыбался, ожидая, глядя на жену — понимает ли она его.

— Но ведь мне по пути! — удивленно восклицала Алла Николаевна. — Даже не надо куда сворачивать. Разве это преступление?

— Нет, конечно. Но — я не хочу. И если ты этого не понимаешь, мне очень жаль.

И он уходил из дома, оставляя жену в полном недоумении.

Константин Леонтьевич Зямлин незаметно для самого себя поседел и стал похож на человека, который как бы все время подкрашивал раньше свои волосы в ореховый цвет, а потом ему надоело все это и он наконец-то явился людям в истинном своем обличье. Прямые его волосы с гладким зачесом обрели серебристый цвет с чуть приметной золотинкой. Оставаясь такими же густыми и послушно зачесанными, они лишь украсились этой переменной: Зямлин и раньше слыл красавцем среди друзей и знакомых, а теперь, к сорока семи годам, наконец-то понравился и самому себе.

Его австрийские, топорщащиеся над верхней губой усики, которые он сам с добродушной усмешкой называл монархическими, придавали мягкому и оболочивающе-ленивому взгляду блестящих его глаз известную строгость и определенность. Когда он хмурился, то создавалось впечатление, что хмурятся не брови, не глаза его, а сердитые усы. Редко можно встретить человека, которому бы так шли и были бы так необходимы усы, как Зямлину.

Он стал теперь часто слышать от знакомых женщин, открывавших вдруг для себя эту не замеченную раньше перемену в облике обожаемого приятеля, изумленные возгласы:

— Коська! Ты ведь совсем седой! И такой красавец! Когда это ты все успел? Мальчик?!

И руки их тянулись к его драгоценным волосам, дотрагиваться до которых он никому не позволял, отстраняясь от душистых пальцев с

приятнейшей улыбкой, играющей под строгой монархической щетинкой.

Он устал от поклонения, как устают порой красивые женщины от надоедливости внимания мужчин. Но это была приятная усталость.

Все друзья и родственники Константина Леонтьевича считали его человеком вообще во многом преуспевшем в жизни, относясь к этому по-разному, но тем не менее при встрече выказывая ему всяческое внимание и уважение как крупному научному и общественному деятелю, знакомство и родство с которым доставляло им удовольствие.

Ни они, ни сам Константин Леонтьевич, занимавший довольно прочное место в обществе, являясь заместителем директора научно-исследовательского института, о деятельности которого родственники и друзья Константина Леонтьевича имели смутное представление, — никто из них не знал об одном неприятном эпизоде, происшедшем в отдаленном от Москвы городе, где испытывался опытный образец машины, сконструированной учеными института.

А произошло примерно вот что. Машина сначала хорошо работала, но потом забарахлила, и никто никак не мог понять причину отказа. На испытаниях присутствовали инженеры и научные сотрудники института, а также представители министерства, среди которых был и заместитель министра той промышленности, для которой готовилась машина. Срывался план, таяла надежда на сдачу машины, на премии — срывалось буквально все, потому что замминистра был резко отрицательно настроен по отношению к новой машине. Тогда из другого министерства, которому подчинялся институт, прилетел тоже очень крупный работник, а вместе с ним прилетел директор института...

Короче говоря, началось спасение не только машины, но и чести научно-исследовательского учреждения, не говоря уж о тех средствах, которые были отпущены на проектирование новой машины. У кого-то из сотрудников возникла вдруг мысль вызвать из отпуска Константина Леонтьевича, который в это время отдыхал с женой и дочерью на Черном море.

— Это которого? — хмуро спросил представитель родного министерства. — Зяблина, что ль? А на кой черт он нам нужен здесь? Что он понимает тут? Что он может?

— Все-таки как-никак заместитель директора... и обаятельный человек, — возразил ему сотрудник с улыбкой. — А в наш век на обаянии, знаете, можно и в рай въехать и...

— Он никто! — досадливо морщась, оборвал его представитель министерства и, выдержав паузу, добавил: — Здесь нужен человек с головой, а не с обаянием... Обаяние! При чем тут, понимаешь ли? Тут не танцы, а мы не женщины...

Вполне возможно, что представитель министерства сказал это, находясь в крайне раздраженном состоянии духа, а может быть, страшная жара и пыльные суховеи, донимавшие все живое в том краю, где проходили испытания, и резко контрастировавшие с безмятежным черноморским пляжем, на котором в это время нежился Константин Леонтьевич, вызвали это грубое негодование. Но как бы то ни было — оценка, данная Зяблину, влетела в головы сотрудников, и они, потупившись, призадумались, решив в конце концов, что начальству виднее, и не стали с ним спорить. Тем более что положение с машиной было действительно очень серьезным, все были излишне возбуждены, все старались найти причину отказа, чтобы сбить с рук свою злополучную работу, всем было и в самом деле не до Зяблина в те напряженные и трудные дни.

Но и то надо сказать со всей откровенностью: люди в силу непонятной какой-то своей слабости любят, когда при них за глаза или в

глаза высокое начальство нелестно отзывается о начальстве непосредственном. Очень может быть даже, что представитель министерства знал эту людскую слабость и не случайно сказал, что Зямлин — де никто, завоеывая таким недостойным приемом некую, тоже очень странную и непонятную любовь к себе. Он как бы намекнул этим умным и головастым людям, что они для него значат гораздо больше, чем какой-то там Зямлин. Директора института в этот момент не было на площадке, он не слышал этих слов о своем заместителе, которого он всегда уважал и ценил, продолжая и в дальнейшем относиться к Зямлину так же. Чего нельзя было с тех пор сказать о сотрудниках института, которые, запомнив это высказывание крупного начальства, невольно стали относиться к Зямлину с некоторым внутренним, скрытым недоверием, будто бы судьба Константина Леонтьевича была уже предопределена.

Неосторожное и несправедливое, по сути, высказывание вселило сомнение в головы остро и умно думающих сотрудников института, чуть ли не каждый из которых мог бы вполне заменить Константина Леонтьевича на его ответственном посту.

В институте с тех пор сложились нездоровые отношения между руководством и подчиненными: директор не знал, что его заместитель никто, а сотрудники знали это, отыскивая и находя все новые и новые недостатки в характере, в деятельности, в выступлениях и вообще в поведении Константина Леонтьевича Зямлина, который, в свою очередь, тоже не знал и даже не догадывался, что он, такой красивый, умный, уважаемый всеми человек, на самом деле никто.

Его, конечно же, пощадили сотрудники и ничего не сказали об этом неприятном эпизоде. И правильно, между прочим, сделали, потому что через некоторое время Зямлина назначили исполняющим обязанности директора института, а прежнего директора взяли в министерство. Это временное назначение так удивило сотрудников, что они облегченно вздохнули и стали замечать лучшие стороны в характере Зямлина — его доброту, интеллигентность, мягкость и, главное, способность слушать сотрудников и советоваться с ними, прежде чем принимать какое-нибудь решение, — предполагая, что он останется в должности директора. Но директор пришел, как говорится, со стороны, а Зямлин вернулся на свое место заместителя, искренне радуясь этому возвращению: ему и того было достаточно, что он несколько месяцев просидел в директорском кресле.

Друзья и родственники, конечно, узнали об этом, то есть что он был некоторое время директором, и стали говорить о нем как о Коське-директоре.

Сам же Константин Леонтьевич относился к этому с привычным, врожденным равнодушием, ибо никогда не страдал, как его шофер, завышенной самооценкой, зная, что не годится на должность руководителя крупного научного учреждения. «Я механик. Простой механик», — не уставал он повторять своим знакомым, гордясь и даже как будто бравируя этим.

Веселый и с виду легкомысленный человек, любимец женщин, он особенно был любим ими за то, что такой известный всем умница и красавец был рыцарски предан своей жене. Он как бы вселял своим примером надежду и веру в возможность истинной любви, длящейся долгие годы, был воплощенной мечтой каждой женщины...

Некоторые из них даже говорили ему в минуты откровенности:

— Ох, Коська! Если бы не Аллочка, я бы увела тебя. Я бы жизнь свою положила, чтоб ты был моим, цель бы себе поставила такую. Все бы сделала, лишь бы понравиться тебе, лишь бы влюбить в себя!

Он же в минуты таких странных признаний чувствовал себя виноватым перед той, которой нравился. Ему становилось так жалко бедняжку, что он тут же лез к ней с поцелуями, словно бы хотел вымолить прощение за свою любовь к жене, встречая всякий раз реши-

тельный отпор, который обескураживал его и веселил, потому что он не мог ничего понять: то ему в любви признавались, то отпихивали. Нет, он решительно не понимал женщин! Не понимал, что им было нужно от него.

— Какой ты хороший, Коська! — говорили ему.

— Я?! — восклицал он, топорща серые усы. — Во мне черти водятся! Я такой мерзавец, каких поискать еще надо! Я даже больше скажу! Если бы мне, например, дана была вторая жизнь и если бы я знал, например, о том, как я прожил первую, я бы ни за что не согласился прожить ее так же, как теперь живу. Ни за что! Я бы попросил у бога, во-первых, другую физиономию, потому что эта мне так наскучила, что я бриться не могу, у меня настроение портится, когда я себя в зеркале вижу. Это во-первых! А во-вторых, я бы никогда не женился, а вел бы себя как отъявленный распутник. Меня какая-нибудь красotka зарезала бы из ревности или задушила подушкой. Я бы плохо кончил... Но зато бы мне никто не говорил, что я хороший. А в-третьих... Впрочем, об этом я умолчу, потому что это такое желание, которое нельзя произносить вслух. — И он начинал хохотать, откидывая голову, отчего волосы его шелковисто переливались, рассыпаясь по голове.

— Нет, Коська, ты просто прелесть! — говорили ему. — Ты сам не знаешь себя, не знаешь себе цену! Ты истинный гений!

Чего ему только не говорили! А он потом рассказывал обо всех этих глупостях своей очаровательной Аллочке и жаловался на людей, от общения с которыми стал все больше и больше уставать.

Искренне развеселило его лишь неожиданное известие о том, что его дочь, которую он обожал, выходит замуж.

— Катька? Замуж?! — крикнул он, собираясь захохотать, но вместо этого нахмурил усы и спросил: — За кого? За Сережку? Ха!

И стал ждать случая, чтобы помучить будущего зятя.

— Скажите, Сережа, — начинал он с приятнейшей улыбкой, от которой глаза его обретали выражение полусонного какого-то блаженства, а взгляд становился рассеянным, — почему вы отрастили себе эту милую бородку? Посмотрите на меня. Я уже седой старый человек, мне, например, усы нужны. Я не знаю зачем, но чувствую, что они не мешают мне. Согласитесь, я выгляжу в них так, будто родился усатым. А вам-то зачем? У меня грубая кожа, — говорил он, раздувая шею, как токующий тетерев, — грубые черты лица, и, как видите, эта австрийская щетинка над губой — единственное украшение на голых, так сказать, утесах. А у вас? У вас нежнейшая кожа, как у девушки, и цветом такая же нежная. Вы хорошо загораετε на солнце... Вы очень приятный молодой человек. Зачем вам борода? Ведь небось, если взять да сбрить ее, у вас окажется подбородок голубого цвета... с каким-нибудь маленьким розовым прыщиком. — Константин Леонтьевич откидывался в кресле и начинал смеяться, широко раскрывая пятисотрублевый, как он стал теперь говорить, рот, имея в виду белые, искусно сделанные коронки. — Катя, — говорил он своей дочери, затянутой в джинсы, похожие на рейтузы, — разве можно любить человека с голубым подбородком?

Он поспешно поднимался с кресла, зная, что дочь сейчас начнет ругаться с ним, и зная также, что она овладела некоторыми приемами карате, занимаясь чуть ли не целый год этим видом спорта. Он строго топорщил усы и, весело блестя глазами, прикрывался заранее от дочери ладонью, как бы отодвигая ее от себя.

— Да, да, да! Я валяю дурака. Да! И не хочу с вами ссориться. У меня сегодня хорошее настроение, и вы, пожалуйста, не портите мне его. Я имею право на такие шутки, я отец. А ни ты, ни Сережа не посмеете на меня обижаться, потому что иначе знаешь что будет?

Я тебя не отдам! Вы понимаете, — обращался он к Сереже, — что я хочу сказать? В нашей семье уже есть усы, это мои усы, — а скажите на милость, зачем нам борода? О дети, дети! — шумно вздыхал он, очень довольный собой, и пятился к дверям своего кабинета. — Пороть вас некому!

И уходил, провожаемый пристальным и каким-то гипнотизирующим взглядом дочери.

Потом было слышно, как Константин Леонтьевич объяснялся с женой, хохоча и играя голосом:

— А что я такого сказал?! Ну что? Ну в самом деле, подумай, как это смешно — тесть с усами, зять с бородой. Волосатое какое-то семейство. Люди, чего доброго, начнут смеяться над нами. Объясни мне, пожалуйста, разве он не мог бы жениться на Катьке без бороды? Или что же, Катька не полюбила бы его? Ну действительно, зачем нам нужна борода? Бороды носят люди с незначительными лицами, а у Сережки хорошее лицо, умное, толковое. Ему про это никто еще не говорил, наверное. Это должен сделать я. Вот и все. Какая же ты все-таки недогадливая!

В доме у Зямлиных, а точнее сказать, в хорошей трехкомнатной квартире, а еще точнее, в кабинете Константина Леонтьевича стояла старая мебель, но не купленная в комиссионном магазине, как это часто теперь бывает, а оставшаяся тут с дедовских времен. Большой книжный шкаф из цельного дуба, с тремя высокими стеклянными дверцами, зашторенными изнутри выгоревшим синим шелком, казался не таким уж и громоздким под высоченными потолками старинного дома. Шкаф этот был украшен пилястровыми колонками с каннелюрами, а поверху шел сложного профиля карнизик с фронтоном над средней дверцей и с вензелем. Шкаф никогда еще не ремонтировался, но ремонта и не требовал. Все было отлажено, пригнано, отшлифовано и прочно склеено в этом великолепном сооружении на века. Не шкаф, а какой-то сказочный деревянный дворец, в котором собрались сочинения лучших и талантливейших людей прошедших веков. Светлое его нутро так сладостно и таинственно пахло деревом и книгами, так ярки и красочны были золоченые корешки старых книг, внушающие раболепное уважение к мудрости гениев, что Зямлины за последние десять, а то и пятнадцать лет почти не прикасались к драгоценным книгам и редко открывали дверцы шкафа, словно бы боясь нарушить его священный покой. Шкаф этот со временем как бы превратился из дворца, каким был раньше, в храм, в который Зямлины не заглядывали, оставаясь при этом, так сказать, верующими людьми. Дубовый письменный стол с тяжелыми тумбами и крытый зеленым и тоже выгоревшим сукном был обширен, как футбольное поле. Иногда жена Константина Леонтьевича, задумчиво глядя на этот стол, говорила со вздохом:

— Нет, все-таки что ни говори, а если бы у нас были деньги... хорошие деньги, — добавляла она, — я бы все это убрала со стола, купила бы где-нибудь, помнишь, мы видели... малахитовую пепельницу... Сколько она стоила? Кажется, две тысячи. Бросила бы на стол лист чистой бумаги и придавила бы ее малахитовой черепашкой... Помнишь черепашку эту малахитовую? Какой-нибудь дурак купил и разрезал ее на всякие там перстни, серьги... И разбогател, да? Жалко!

Константин Леонтьевич с укоризной смотрел на нее, добродушно топорща монархические усы, а жена, понимая его без слов, говорила:

— Ну, конечно, Костя, конечно... Но все-таки...

Малахита на столе не было. На нем стояли две старинные чернильницы из литого стекла с бронзовыми крышечками, которые давным-давно были сухими, сияя ясными гранями и оставаясь на столе как памятники кропотливой некогда и трудной работы с пером, чернилами, бумагой, кляксами и пресс-папье. Пресс-папье из зеленой

яшмы тоже покоилось на столе, как и яшмовые пеналы для перьев, как бронзовые часы, показывающие ажурными своими стрелками на пожелтевшем циферблате ровно семь часов сорок семь минут. Они тоже служили памятником.

Эта комната вообще была памятником деду, врачу-педиатру, известному в свое время в старой Москве и спасшему немало детских, не окрепших еще жизней. Он лечил от дизентерии, скарлатины, дифтерита и прочих коварных тогда и жестоких болезней, с которыми теперь справляются без особого труда все врачи мира.

Когда-то он снимал эту скромную по тем временам квартиру в частном доме, до сих пор возвышающемся над Яузой и над покатым переулком, по которому дети и подростки катаются весной на велосипедах.

Каталась недавно и Катька. Родители не рады были, что купили ей велосипед, потому что когда зацветали старые тополя, одеваясь в бордовые сережки, когда светило солнце и дети вычерчивали мелом на тротуаре классики, Катька со своими друзьями носилась по переулку на велосипеде. Они с усилием поднимались вверх, на самое высокое место покатога переулка, а потом неслись вниз, задирая ноги чуть ли не на руль.

Однажды Константин Леонтьевич, подъехав к подъезду, увидел, выходя из машины, как дочь его вместе с ребятами, раскрасневшаяся и потная, летит мимо него вся какая-то голубо-алая, возбужденная и счастливая на сверкающем велосипеде, не видя ничего перед собой и не слыша, а в это время снизу поднимается по переулку автомашина... Он, ужаснувшись, крикнул что было мочи:

— Катя!

Но Катька не услышала его, автомашина прижалась к тротуару, пропуская бешеную эту компанию на сияющих колесах, а Константин Леонтьевич, взбешенный и полуживой от страха, решил, что велосипед не для Катьки. Или, во всяком случае, не для Москвы. Но отнять велосипед у дочери не смог. Она увидела отца и, нажимая на педали, удрала от него.

Рос непонятный какой-то человек, который, как иногда казалось Константину Леонтьевичу, со странным, недетским подозрением поглядывал на своих родителей и которому они, родители, словно бы мешали жить по-своему, по той программе, какую задавала ему, этому человечку, жизнь.

И еще раз Константин Леонтьевич был свидетелем Катькиных «штучек», когда однажды они с женой спускались по эскалатору в метро, оставив на кухне записку, в которой сообщалось, что они с мамой ушли в гости, что ей надо съесть то-то и то-то и что придут они примерно тогда-то: обычная записка, которую они всегда оставляли дочери, если без нее уходили из дома. Они стояли на ползущих вниз ступеньках эскалатора, машинально разглядывая лица людей, поднимающихся вверх... Чье-то лицо останавливало внимание, другое проскальзывало в сознании как нечто несущественное — и вдруг... Катька... Она стояла рядом с каким-то парнем, обняв его за поясницу, держа при этом на своем плече лениво наброшенную его руку, и целовала его в шею. Парень покровительственно смотрел на нее, скосив маслянисто-плывущие глаза, и тоже вдруг поцеловал Катьку в затылок, в то самое место, в которое всегда целовал свою дочь сам Константин Леонтьевич, опьяняясь всякий раз счастливым каким-то дурманчиком, исходившим от кожи, от волос, от всей ее головки, которую он так любил... А теперь вдруг этот наглец посмел поцеловать ее, посмел вдохнуть ноздрями ее благовоние.

Константин Леонтьевич вспыхнул от стыда, боясь, что Катька увидит их, но Катька, как и тогда на велосипеде, словно бы ослепла и оглохла, видя и слыша только этого самоуверенного парня, который скользил взглядом по лицу Константина Леонтьевича как по пусто-

му месту, отчего Константин Леонтьевич вздрогнул и моргнул, будто его полоснули чем-то острым.

Алла Николаевна стояла на ступеньку ниже и, как это ни странно, ничего не заметила.

— Ну тебе же померещилось, господи! — говорила она ему, когда они ехали в вагоне. — Катька обнимала парня при людях? И целовала его? Да ты что? Ты что, не знаешь Катьку?

— В том-то и дело!

— Я тоже не слепая, я тоже смотрела, — говорила Алла Николаевна, — и уж, конечно, увидела бы дочь. Это невозможно! Я бы обязательно увидела.

— Она была к нам спиной.

— Ну и что? Что ж я, не узнала бы ее со спины? Какой ты странный сегодня. В толпе, в людском море малейшее ее движение, ее взгляд, контур ее головы, плеч... Чего угодно! Я бы сразу узнала. О чем ты говоришь! Я же мать.

— Выходит дело, что я лишен этого чувства?

— Ну неужели непонятно? Я же мать!

— А я отец. И что из этого? Я видел, а ты не видела.

— Я не могла не увидеть!

— Ха-ха! — сказал с раздражением в голосе Константин Леонтьевич, начиная злиться.

— Вот тебе и ха-ха, — передразнила его Алла Николаевна тоже со злостью.

Они поссорились и, когда пришли в гости к своим друзьям, не скрывали этого, а Константин Леонтьевич, чтобы досадить жене, обо всем увиденном в метро рассказал, выводя Аллу Николаевну из терпения, которая накричала на него при людях.

— Люкс, ребята! Все — люкс! — криком говорил хозяин дома, стараясь помирить их. — Дети растут, как им надо. Это мы росли, как грибы... А они — как надо. Все люкс!

Он принимал гостей в расстегнутой на три пуговицы рубашке с засученными рукавами, из-под которой выпирали мощные, заросшие дремучим черным волосом грудные мышцы; лицо его было рассечено шрамом, полученным еще в детстве. Ему очень нравилось, что Зямлины ссорятся в его доме, доверяя свои тайны ему и общим друзьям, одни из которых приняли сторону Константина Леонтьевича, а другие поддерживали Аллу Николаевну, уверяя Константина Леонтьевича, что Катька не такая и что он, конечно же, ошибся. В конце концов и сам он стал сомневаться: Катька ли это была?

— Ну хорошо, я ошибся, — говорил он, удивленно выпячивая щечку усов. — Но ведь не в этом же дело! Получается, что она может узнать дочь в людском море, а я, такой вот тупица, не могу, потому что, видите ли, всего лишь навсего отец, то есть никто с ее точки зрения. Что за чушь собачья?!

— Коська, ты люкс! Отец, отечество, отчество, отчизна, отчий дом. Люкс! — кричал счастливый хозяин. — Но и ты, Аллочка, тоже молодчинка! Знаешь свою дочь и веришь ей. Ты же, отец, не веришь. Это худо. Надо исправляться! Все люкс, ребята! По местам и за дело. Все правильно! Так и нужно. Пришли, высказали все, что накипело. Разобрались все вместе! Ох, люблю я вас, ребята! Вали в кучу, а там разберемся, что мое, что твое. Будь искренен с друзьями! Болит душа — раскрой, разорви грудь, покажи сердце. Вот оно! Натe смотрите! Оно ваше! Все люкс. Другой жизни нету... Аллочка, я же тебя люблю, ты знаешь об этом. Я люблю тебя восемнадцать лет... Нет! Время, бог ты мой! Уже девятнадцать! Улыбнись, красавица, скажи своему Коське, что он зазнался, и поцелуй его... А я отвернусь, чтоб никто не увидел моих слез... Красавцы вы мои!

В нем текла южная кровь, он бывал велеречив и шумен, когда у него собирались друзья. Его звали Левкой. Впрочем, тут все были Лев-

ки, Коськи, Юрки, Лешки, хотя всем уже под пятьдесят. А женщин звали Аллочками, Тонечками, Сашеньками.

Со стороны молодого какого-нибудь человека, с поверхности другой какой-нибудь планеты это могло бы показаться смешным и нелепым. Но это все равно что на шумной улице, стоя на тротуаре, смотреть на пронсящие мимо автомашины, мотоциклы, троллейбусы и удивляться, как это могут люди за рулем нестись в такой толчее и скученности, сидя в своих кабинах, салонах или верхом на мотоцикле, и не сталкиваться друг с другом, не биться бортами и бамперами. Со стороны это кажется почти невероятным! А ведь, когда сидишь за рулем, картина совсем другая: ты в общем потоке, среди таких же, как и ты, водителей. Автомашины впереди тебя, сзади, сбоку, то чуточку приблизятся к тебе, то отодвинутся, то прижмутся, то отплывут в сторону. Нет никакой суматохи и бешеной езды. Все плавно, а за шумом собственного автомобиля и бесшумно. Ты спокойно сидишь, чуть подправляя рулем автомобиль, разгоняя его плавно, давя носками ботинок на акселератор, или перебрасываешь ногу на педаль тормоза, перестраиваешься из ряда в ряд, если тебе надо свернуть на другую улицу. Ты среди своих, которые тебя понимают.

Так и тут — никто не состарился. Просто где-то рядом выросли глупые дети. Они еще пешеходы, стоящие на тротуаре. А ты посреди шумной улицы, за рулем. Вот и все. Такая вот простая теория относительности.

Домой Зямлины возвращались в мире и согласии, а Константин Леонтьевич обещал Аллочке ни о чем не спрашивать Катю, согласившись, что это было бы непедагогично.

— Ее вообще лучше не трогать в этом году, — говорила Алла Николаевна. — Десятый класс — это такой ответственный период в жизни девочки, что я просто боюсь за нее: как бы не сорвалась. Все-таки звезда! Лучшая ученица!.. Я даже допускаю, что она с кем-то там ехала... Ну и что? Сколько еще будет этих у нее... всяких... Я как-то спокойна за нее в этом плане.

Катюка росла способной и очень сообразительной девочкой. Ей было четыре года, когда она поставила в тупик Аллу Николаевну своим вопросом. Ехали как-то в троллейбусе, сидя у окошка, и Аллочка увидела свою подругу, идущую по тротуару.

— А вот пошла моя хорошая подруга, — сказала она дочери.

— Мама, а разве бывают плохие подруги? — спросила Катюка. — Если она плохая, то какая же она подруга? Разве бывают?

С тех пор Алла Николаевна поняла, что у нее гениальная дочь, и, когда подошло время, отдала ее в английскую школу, в которой та скоро преуспела и стала лучшей ученицей по языку. К десятому классу Катюка свободно говорила по-английски. Алле Николаевне только не нравилось, если она со своими друзьями при ней говорила по-английски и если все они, странные эти мальчики и девочки, начинали смеяться.

— Что вы смеетесь? — весело спрашивала Алла Николаевна. — Расскажите и мне. Мне тоже хочется посмеяться.

— Но ведь ты же, мама, все равно не поймешь, — за всех отвечала Катюка. — Простая игра слов, но это понятно, если знаешь английский. А по-русски ничего смешного.

— Почему же это по-русски вдруг ничего смешного? — удивлялась Алла Николаевна. — Как это может быть? Странно. По-английски смешно, а по-нашему нет... Что же, русские дураки, что ль?

Она обижалась за русский язык, который дочь словно бы разучилась ценить, хотя на самом деле обижалась на Катюку, никогда ничего толком не объяснявшую матери. Что такое, например, игра слов? Анекдот, что ль, какой-нибудь английский? Может, неприличный?

Она учила в школе немецкий, но не знала языка, оставшись глу-

хой к чужой речи. На свою дочь смотрела как на какое-то заморское чудо, невольно преувеличивая значение свободного владения иностранным языком и проча дочери большое будущее. «Вот поступишь в ИН-ЯЗ...» — любила говорить Алла Николаевна, мечтая о том времени, когда можно будет сказать друзьям, что Катька поступила в Институт иностранных языков. «Вот если Катька поступит в ИН-ЯЗ...» — говорила она и мужу, не предполагая и не догадываясь о той опасности, какая подстерегала дочь в будущем в связи с этим общим в семье Зямлиных настроением.

Бывают среди женщин такие счастливые матери, жизнь которых полна неизбежной любви к своим детям. Такой матерью была Алла Николаевна. Она не заглядывала в будущее, была непрактична, как все любящие люди, но не строила и воздушных замков, как некоторые. Она просто жила интересами дочери, волнуясь больше, чем дочь, перед ее экзаменами, и радуясь тоже больше, чем дочь, когда та приносила пятерку по языку или четверку по математике, — жила от осени до весны, от первого ее класса до десятого, рассчитывая и дальше жить в счастливой напряженности от одной сессии до другой. А что там должно было получиться из дочери в далеком будущем, какие привилегии ожидали ее в жизни — об этом она никогда не задумывалась, словно у нее не хватило на это смелости, а может быть, и фантазии.

Все родственники, друзья и знакомые знали, что Аллочка в девичьи годы занималась в балетной школе у какого-то, как она говорила, известного учителя, а именно у Андрея Леонидовича Каменецкого, который, как скромно добавляла Аллочка, прочил ей великое будущее.

— Сейчас смешно говорить и даже как-то неловко делается, но когда я вспоминаю себя юной, я совершенно не верю, что это была я... В пачке, в пуантах, легкая, как перышко... А потом эта ужасная травма... Когда я очнулась в больнице, — рассказывала Алла Николаевна новым своим знакомым, которые ничего еще не знали про нее, — я первым делом спросила у врача... Я не спросила, буду ли я жить. Мне было тогда все равно! Я спросила... — И всякий слушающий ее тут же догадывался, видя, как блестят глаза, как волнуется голос Аллы Николаевны, что она, конечно же, спросила, будет ли она танцевать. — Да! Я спросила, буду ли я танцевать. И я помню, врач спокойно и тихо сказал с улыбкой: «Подожди, милая, все своим чередом». Ему-то важно было, конечно, вернуть меня к жизни. Он не понимал, что мне не нужна была жизнь без танца... Этого никому не понять. Нет... — Она грустно улыбалась, как бы жалея людей, не знавших порхающего танца, а потом какая-то судорога сводила ее губы и она изменившимся голосом говорила: — А я теперь не могу даже видеть балет. Я не хожу в театр, но если даже по телевизору показывают, я тут же переключаю на другую программу. И фигурное катание тоже. Нет, я не могу. Что-то такое произошло со мной? — вопросительно и задумчиво заканчивала она свой рассказ. — Сама не пойму. Я, правда, потом преподавала. У меня пятьдесят учеников. Все танцуют. Конечно, в самодеятельности. Но один татарин... такой симпатичный парнишка, — говорила она с проснувшейся улыбкой. — Я совершенно не рассчитывала на него. На кого, на кого, а уж на него-то! Он ничего не умел. Видно было, что он просто не может, нет таланта. Но такой упрямый! Говорил мне: «Я все равно, Алла Николаевна, буду танцевать лучше всех». Смешно-то смешно, а получилось как говорил. Он один-единственный танцует в профессиональном ансамбле. Вы знаете, как это мне приятно! У-у-у! Это невозможно передать словами.

Когда она рассказывала про это, то порой даже у Константина Леонтьевича, который много раз слышал исповедь жены, возникало сомнение — не выдумывает ли Аллочка про свою прежнюю жизнь,

не сочинила ли ее, поверив в истинность своей фантазии, как это случается иногда с людьми? Его всегда настораживало то, что Аллочка не помнит каких-то таких подробностей, без которых ее рассказ держится только лишь на интонации голоса, на чувстве, а не на фактах. Например, что это за падение было, после которого она потеряла сознание и ей спасали жизнь? Или, например, зачем нужно было ей говорить людям, что она не смотрит балет или фигурное катание, когда он сам бывал свидетелем ее повышенного интереса к тому же фигурному катанию, особенно к одиночному катанию мужчин, и в частности к выступлению ее любимца Игоря Бобриня?

Он не мог понять, что за чертовщина мучает жену, заставляя ее обманывать людей, и зачем ей это нужно. Неужели она думает, что то, чем она теперь занимается, то есть работа художника-модельера, — всего лишь жалкая тень былых ее мечтаний? Словно бы когда-то она кем-то была, а теперь она — никто и остались ей в жизни одни лишь воспоминания о прошлом.

Ему было обидно это слушать, потому что в теперешней ее жизни виноват был немножечко и он сам. Она хоть и не говорила никогда об этом и, может быть, у нее даже в мыслях ничего этого не было, но Константин Леонтьевич воспринимал ее воспоминания как жалобу на жизнь, в которой не осталось для нее ровным счетом ничего интересного.

Это очень обижало его. Каким-то проклятием стала для него эта странная история с балетом, с бездарным учеником, который оказался талантливее всех, танцуя в ансамбле. В каком ансамбле? Где?

— Алла, опять ты за свое! — досадливо говорил он всякий раз. — Давай поговорим о чем-нибудь другом. У каждого есть свои какие-то воспоминания, но ведь нельзя же жить прошлым!

— Ты это так говоришь, — отвечала ему Аллочка с усмешкой, — будто для меня есть что-то более дорогое, чем это... Если тебе неинтересно, не слушай, пожалуйста. А потом, какое же это прошлое? Это то, что всегда со мной. Я этим живу. И вообще, как не стыдно?!

Она так возмущалась, когда он останавливал ее, что ему чудилось, будто он нарушал всякий раз заповедные какие-то границы, переступая за ту черту, где начиналась другая Аллочка, ему непонятная и чуждая.

— Хорошо, я уйду, — говорил он, пожимая плечами. — Конечно, я не хочу это слушать в сотый раз. Зачем? — И уходил, громко клацая дверной защелкой.

Он не любил другую эту женщину, которая иногда просыпалась в Аллочке, и даже побаивался ее. Это было похоже на то, как если бы его жена вдруг ни с того ни с сего пьянела у него на глазах, теряя рассудок, или впадала в сомнамбулизм. У нее делалось какое-то нехорошее, безжизненное лицо, и он не узнавал ее, чувствуя себя так, как чувствует человек, забывший вдруг собственное имя или собственный домашний телефон. Смущение, страх, тревога — все это теснилось тогда в его груди. Он очень тяжело переносил ее воспоминания, похожие на какую-то странную зачарованность, вывести из которой Аллочку он не мог: она становилась неуправляемой на это время.

Иногда встревоженное его воображение приводило к мысли о том, что Аллочка только и живет теперь на свете ради этих упоительных минут лжи и нелепого вымысла, прозябая душою все остальные дни жизни и делая только вид, что живет, любит, улыбается, сердится или заботится о нем и о дочери, находясь на самом деле в постоянном поиске человека, который еще не слышал ее несчастной истории и который выслушает ее до конца и, может быть, даже поверит ей.

Константин Леонтьевич гнал прочь эти догадки, произнося спасительное: «О женщины, женщины, вы яд, разлитый по земле на»

шей!» — вкладывая в этот перифраз известного восклицания классика всю свою боль, все тревоги и сомнения.

Прошло между тем два с лишним года с тех пор, как Катька окончила школу, получив почетное звание звезды английской школы, присвоенное ей матерью, потому что по этому предмету дочь была впереди всех.

Но ничто — ни самоуверенность, ни поддержка родителей — не помогло ей поступить в том же году в Институт иностранных языков: ей не хватило балла. На другой год, занимаясь несколько месяцев с учителем, который натаскивал ее якобы в соответствии с требованиями института, Катька недобрала половины балла, но не отчаялась, а стала готовиться к третьей, и, как ей казалось, решающей, попытке. И вдруг это неожиданное замужество!

Константин Леонтьевич был очень удивлен. Алла же Николаевна увидела в замужестве как бы судьбою дарованную дочери передышку от навязчивой идеи поступить в институт. И не только дочери! Девочке пошел двадцатый год, рассуждала она, и если Катька не поступит с третьей попытки, то ничего страшного не случится, потому что она будет замужем и как бы при деле. Если же она все-таки поступит, то это будет, конечно, совсем хорошо, потому что тогда она станет вольной птичкой. Муж студентки ИН-ЯЗа, по представлениям Аллы Николаевны, должен будет понять свою роль и смириться со своим положением.

— Ей нельзя делать ставку на семью, — говорила она. — В наше время это стало так зыбко и так непрочное. Ты же понимаешь, — говорила она Константину Леонтьевичу, — я сама никогда бы не вышла замуж даже за тебя, если бы не травма, если бы я могла танцевать. Ого-го! — восклицала она, увлекаясь. — У меня была бы тьма поклонников! Ты бы сам не смог со мной жить. А если Катька поступит в ИН-ЯЗ, то, конечно, там такая обстановка, такая вольная студенческая жизнь, такие юноши... Ничего страшного не случится, если они и разойдутся с Сережей. Катьке надо внушить мысль об этом. Пусть выйдет замуж, сменит фамилию — это освежит ее душу. Все-таки это звучит: Екатерина Веденичева или Катенька Веденичева... А там будет видно.

Константин Леонтьевич не узнавал жену.

— Видишь ли, — говорил он ей, удивленно хмурясь, — я не могу понять вот чего... Зачем вообще что-то планировать, искать какую-то выгоду из одной ситуации, из другой?.. Мы никогда этого не делали раньше! Зачем же нам... Ну хорошо! Но ведь Катька не в балерины готовится! У тебя такое превратное представление об ИН-ЯЗе, что я слов не нахожу. Это очень серьезный институт, готовит серьезных специалистов... О чем ты?

— О чем ты сам?! По-твоему, балет — это несерьезно? — вспыхивала Алла Николаевна. — Что ты сказал? Подумай, что ты сказал? Ты походя оскорбляешь во мне самое святое, что у меня есть, и хочешь, чтоб я тебя слушала.

— Что за дьявольщина! Кого я оскорбляю?!

— Ты даже не заметил! Ты сказал: «Но ведь Катька не в балерины готовится»... Сказал? А потом что? Потом: «Институт готовит серьезных специалистов»... Как же тебе не стыдно?!

— Я не хотел противопоставлять... Я просто... подчеркнул, что она не в балерины готовится...

— Нет, ты невыносимый человек!

— Алла!

— Что Алла? Ты не хочешь меня слушать, не хочешь посоветоваться. Тебе наплевать на судьбу дочери, на мое здоровье.

Они ссорились с необычайной легкостью, забывая о причине ссоры и наворачивая ком взаимных обид и обвинений с какой-то иезуит-

ской изобретательностью. Ссорились без крика и брани, без слез, а потом никогда не просили друг у друга прощения, словно ссоры эти были для них необходимы, как необходим аварийный какой-нибудь клапан в паровом котле или в иной сложной системе, где возможно накопление излишнего внутреннего давления, грозящего аварией.

Но наступило время, когда споры эти стали занимать в их жизни все больше и больше места. Ни тот, ни другой не могли понять причины разлада. Ни он, ни она не хотели и даже боялись повторения этих ссор и бывали в дни перемирий так нежны и ласковы друг к другу, так старались ничем не обидеть друг друга, что, казалось, не бывает на свете более любящей пары, чем супруги Зямлины. Но наступал день, когда еще спрpsonья Константин Леонтьевич чувствовал, что сегодня они обязательно поссорятся, а Алла Николаевна, как бы тоже чувствуя это, спешила скорее начать и кончить ссору, думая при этом и считая, что ссору начал муж.

Ссоры стали возникать из ничего, из воздуха, из-за случайно оброненного слова или из-за подозрительного молчания. Но не только, конечно, Алла Николаевна начинала обычно эти упражнения в ругани. Начинал их и Константин Леонтьевич, чувствуя необходимость разрядки. И если раньше эти ссоры были, выражаясь высоким стилем, летними грозами, после которых наступали благоухающие впадой и озоном часы безмятежной радости, то со временем они превратились в затяжные дожди с непролазными дорогами, лужами и очень редким солнышком из-за туч, которое не успевало высушить промокшую и холодную землю. Говоря иными словами — раньше менялась погода, а теперь как будто бы изменился климат в их отношениях друг с другом.

А главное, ни он, ни она не могли понять причины пугающей этой напряженности.

— Стареем мы, что ли? — спрашивал Константин Леонтьевич в минуты, когда очередная ссора утихала. — Я стал брюзгой, а ты пылешь по всякому пустяку. Что происходит? Я тебе надоел?

— Это я тебе надоела, — отвечала Аллочка.

— Неправда.

— Еще бы! Разве я могу говорить правду. Я же вижу, ты все время подозреваешь меня во лжи. Это мне, признаться, надоело.

— Нет, не в этом дело! Я тебя ни в чем не подозреваю, но мы с тобой в последнее время разучились радоваться. Радоваться, что живем, дышим, видим небо, облака, деревья, людей... Так нельзя жить. И от этого нельзя излечиться упреками. Хуже нет болезни, чем наша! Неужели ты не понимаешь? Поступит Катька в институт или не поступит — какое нам-то с тобой до этого дело? Мы дали ей все что могли. Она взрослый человек. Я даже больше скажу: мы вовсе не нужны ей со своими советами. Вспомни себя! Разве тебе нужны были папа с мамой в этом возрасте? Нет, конечно. А чем Катька хуже тебя? А мы с тобой словно машина какая-то, что-то в нас, не знаю, что-то отказало, а мы никак не можем догадаться — что именно. А по-моему, все ясно! Надо избавиться от родительского комплекса! У нас своя жизнь, мы еще не старики, чтоб хоронить себя. Верно? Казалось бы, наступило время радоваться, вырастили дочь — не дурочку и хорошенькую собой... Вон даже карате занимается. Зачем ей это? Но пусть! Это девушке может пригодиться. Видишь! Все хорошо! Что же нас мучает?

Аллочка слушала мужа, а затем вздыхала и говорила обреченным тоном:

— Ох Коська! Какой-же ты все-таки эгоист.

И Константину Леонтьевичу стоило больших усилий, чтобы сдержать себя и не наговорить черт знает чего упрямой жене, не желавшей ничего понимать.

— Неправда, — твердил он, мотая головой. — Я просто хочу ска-

зять, что всем нам будет лучше и легче жить, если мы вернемся в то время... Ты помнишь? Мы жили все время как бы в преддверии счастья. Неужели разучились? Мы с тобой однажды... я не помню, не знаю когда... мы с тобой вдруг решили, что мы самые счастливые люди на земле. А для полного счастья не хватает малости, какой-то чепуховинки — лишь бы дочь поступила в ИН-ЯЗ! Ах-ах-ах! Разве в этом счастье? Есть ли оно вообще? То есть оно есть, конечно, но что для нас счастье? Вот в чем дело. По-моему, мы очень ошибаемся с тобой, думая, что если забудем о себе, то будет лучше дочери! Чепуха! — повторял он с убежденностью. — Если мы сами будем радоваться жизни, радоваться, что дочь наша жива и здорова... А-а-а, да что говорить! Ты опять не слушаешь меня. Это тоже беда! Мы перестали слушать друг друга. Ты заранее знаешь, что скажу тебе я, а я знаю все, что ты скажешь мне. Может быть, нам надо разбежаться?

— Может быть, — согласалась Алла Николаевна.

Но и он и она прекрасно знали, что никогда не разойдутся, потому что и он и она знали, что пропадут друг без друга. Именно потому они так легко говорили о разводе, словно это было одно из бранных слов, которыми они одаривали друг друга с такой щедростью, что со стороны могло бы показаться, будто ругаются два ненавидящих друг друга человека.

Но это случилось с ними и раньше. А то, что происходило с ними теперь, то есть глухое непонимание и постоянное отчаянное желание быть добрыми и ласковыми друг к другу, жалкое какое-то и тщетное подражание счастливой жизни, сводящееся на нет очередной ссорой, губило в них надежду на то, что когда-нибудь положение это изменится к лучшему.

Разрушительная сила поселилась в их доме.

И вдруг — неожиданное замужество дочери.

— Сережа пришел! — игриво воскликнул Константин Леонтьевич, видя легкий плащик на вешалке. — И опять, конечно, небритый? Он заходил к дочери, здоровался и, усаживаясь в кресло, неожиданно и тоже игриво спрашивал:

— А вот скажите, Сережа, вас в детстве лечили от кашля? Вы знаете, что такое капли датского короля?

— По песне, — отвечал молодой человек, ничуть не смущаясь.

— То есть?!

— «Капли датского короля пейте, кавалеры!» А вы? — спрашивал он тут же, с любопытством разглядывая Константина Леонтьевича.

— Я? Я их знаю не по песне... Да... Очень жаль! Значит, вы не знаете капель датского короля. Жаль. Это вкусно. Я иногда начинал нарочно кашлять, чтобы меня напоили каплями. Я думаю, когда детство пахнет анисовыми каплями, то это на всю жизнь, это очень... Ну я не знаю... Этого не объяснишь. А вас, наверное, лечили таблетками. Несчастный! Интересно, почему теперь не делают этих капель? Как это вы говорите? «Капли датского короля пейте, кавалеры!» Это хорошо! Я не слышал. Видимо, хорошая песня. Я теперь редко встречаю людей, которые знают про эти капли...

И Константин Леонтьевич, попыхивая, почмокивая оцетинившейся губой, уходил, будто бы ему больше нечего было сказать Сереже и Катьке.

Что они потом говорили про него, оставшись одни, что думали, он не знал. Но это и не интересовало его.

Приближалась пора экзаменов. Катька, как и раньше, подходила к этим дням замкнутая и нелюдимая. Она забывала о себе, страшно худела, лихорадочно блестя остановившимися и какими-то розовыми от усталости глазами, была раздражительна и почти не притрагивалась к еде.

Русые ее волосенки, непослушные и жидкие, так надоели ей, что

она пошла однажды в парикмахерскую и распушила их, вспенив по моде, отчего лицо ее под взбитой шапкой тонко завитых волос совсем осунулось, а нос заострился.

Голова ее стала большой, а личико совсем маленьким.

Алла Николаевна, увидев новую прическу дочери, удивленно всплеснула руками, но, спохватившись, сказала в крайнем недоумении и растерянности:

— А что? Это сейчас принято. Что ж, я не знаю, но... по-моему, совсем неплохо. Самой-то тебе нравится? Ну и хорошо...

Но руки ее, когда она подошла к дочери, невольно тронули пружинящие и жесткие волосы, которые стали похожи на волосы какой-то симпатичной светлокожей эфиопки. Она поцеловала дочь в щеку и отвернулась, скрывая неожиданные слезы.

А Константин Леонтьевич рассмеялся, увидев дочь, и назвал ее, не стовариваясь с женой, аддисабебкой.

Никто в эти дни не говорил в доме об экзаменах. Константин Леонтьевич и Алла Николаевна забывали на это время о ссорах, стараясь быть веселыми и непринужденными.

Сереза тоже, казалось, оставил Катюку в покое: во всяком случае, так думали Зямлины-старшие, объясняя себе его отсутствие, и даже хвалили, называя Сергея чутким и интеллигентным молодым человеком.

Никому не под силу понять бедных родителей, любящих свою дочь до безумия, никто не в силах измерить всю тяжесть их страданий и той постоянной тревоги, какие выпадали на их долю в дни вступительных экзаменов в институт. И напрасно самоуверенные юмористы соревнуются на газетных площадках в остроумии, высмеивая таких беспокойных родителей. Знали бы эти остроумные мальчишки, какие муки терпят бедняги родители, дети которых, губя свое здоровье, из года в год пробиваясь в избранный ими институт, не имея при этом никаких поблажек и уже с трудом верящие в себя, в справедливость оценки, в объективность экзаменаторов, — знали бы, что ничего уже не волнует родителей, кроме здоровья дочери или сына, приученных с детства к упорству и к святому отношению к избранному поприщу. Знали бы — оставили их в покое, а в лучшем случае посочувствовали бы. Но мало кто знает это, кроме несчастных родителей, воспитавших честных и щепетильных детей, не мыслящих о какой-либо поддержке, о замолвленном за них слове какого-нибудь влиятельного родственника или знакомого, которое могло бы облегчить их путь к профессии.

Катя Зямлина была именно из таких несносных упрямецев, которые надеются только лишь на свои силы, презирая все, что не отвечает их жизненным принципам. И она правильно, конечно, рассудила, поступая в Институт иностранных языков: десять лет на нее трагически народные средства, чтобы она изучала английский язык... Ведь кому-то для чего-то это было нужно? А стало быть, она должна оправдать затраченные на нее деньги и получить профессию. Иначе за чем она учила язык?

Но все это логически стройное сооружение рухнуло, и Катя Зямлина усталая и пустая пришла домой, блестя потными скулами.

— Что?! — спросила в дверях Алла Николаевна.

А дочь вместо ответа сведенным каким-то взглядом скользнула мимо матери и очень четко сказала:

— Давайте только без паники! — И повторила: — Давайте только без паники! Я устала. И мне все надоело. Все!

Она так крепко сжала кулачок, что у нее побелели суставы пальцев.

Больше она ничего не сказала матери, которая стояла в дверях ее комнаты и смотрела, как дочь машинально взяла с полки англо-русский фразеологический словарь и, листая страницы, стала что-то

искать, искать, искать. Страницы шуршали под ее пальцами, лицо с провалившимися щеками было напряжено в мучительной гримасе нетерпения... Сухие губы что-то шептали, и казалось — она ничего не видит в словаре, все строчки слились у нее перед глазами. Взгляд ее был таким отчужденным и лихорадочно-нетерпеливым, что Алла Николаевна вдруг поняла, что дочь не замечает даже ее, стоящую в дверном проеме.

Катя вдруг отложила толстый словарь на журнальный столик и, сторбившись, зябко нахохлилась, как больная птица. Нелепо убранные волосы ее, придавшие лицу страдальческое выражение, пушистым шаром повисли над зеркальной поверхностью полированного стола. Она медленно повернула голову к матери, улыбнулась сухими глазами и с этой пугающе-тоскливой улыбкой сказала еще раз:

— Давайте только без паники... — И уставилась на мать почерневшими глазницами, в которые провалились глаза.

— Что ты, Катюшка! Разве так можно! Пожалей меня с отцом. О какой ты панике? Я сейчас, сейчас... Что же это такое!

И она метнулась на кухню к холодильнику, достала из него бутылку боржома, долго искала ключ, гремя вилками и ножами, ложками и ложечками... Трясушимися руками налила полный стакан вспузырившейся холодной воды, понесла, расплескивая, через всю квартиру. А дочь все в той же позе, с глуповато-тоскливой улыбкой встретила, взяла стакан в руку и вдруг уронила. Стакан разбился, вода разлилась.

Алла Николаевна с тряпкой в руке собирала осколки, осторожно складывая их на ладони, подтирала воду с пола.

— Ну вот... видишь... разбила стакан, — приговаривала она порывистым голосом. — Это на счастье... посуда бьется... ничего. А ты приляг — отдохни, маленькая. Ты очень устала, я понимаю тебя.

А сама, унеся стакан на кухню, вдруг испугалась и побоялась вернуться к дочери в комнату. Сняла трубку и позвала к телефону мужа. Секретарша строго спросила: «Кто спрашивает?»

— Я спрашиваю, господи... Я, я! — вспылила Алла Николаевна. — Позовите немедленно! Что ж это такое!

Два необъяснимых случая произошли в жизни Кати Зямлиной за такой короткий промежуток времени, психика ее не выдержала, и она впала в тяжелую депрессию.

Первый случай — это провал ее на экзамене по английскому языку, на котором она с трудом получила четверку. Как это произошло, объяснить и в самом деле невозможно. Чересчур переволновалась? Слишком нервничала, путалась в ответах? Не хотела идти отвечать за тот столик, где сидела женщина, но пришлось? И это, и то, и другое. А может быть, виновата нелепая прическа, которая придавала ее лицу глуповатое и жалкое выражение?.. Недружелюбный взгляд строгой экзаменаторши? Ее толстый золотой перстень с ярким аметистом, который все время отвлекал и мешал сосредоточиться? Трудно объяснить, почему именно по английскому языку она отвечала плохо, зная этот язык лучше многих абитуриентов, которые до и после нее сдавали на пятерки. Случайность! Но разве это объяснение?

Нет, это все совершенно необъяснимо, как необъясним и поступок Сергея, который встретил случайно на улице старую свою знакомую, с которой целовался в подъезде ранней юностью, проводил ее до дома, расспрашивая девушку о житье-бытье, а потом рассказывая и о себе. Он даже рассказал, что собирается жениться. Но это, однако, не остановило ни его, ни ее, и они стали опять встречаться, но уже в новом качестве и не в подъезде, а у него дома... Через два месяца она ему сказала, что ждет от него ребенка, и он

как человек порядочный и честный, вынужден был признаться во всем Катьке... Это случилось спустя две недели после неудачного экзамена.

— Ну и хорошо, — равнодушно сказала Катька. — Давайте только без паники. Значит, так надо... Ты не волнуйся... Я не из тех, которые, знаешь... Ах-ах-ах! Которые... Мне это все равно... Все надоедо... И ты тоже. Прости меня. И не смотри на меня, пожалуйста. Я не могу, когда на меня так смотрят... Ты от меня ничего не жди: ни плохого, ни хорошего. Хорошо, что пришел и сказал... Ничего в этом особенного нет. Это случается довольно часто, особенно когда не любят по-настоящему.

Сережа ушел, а Катька так и осталась сидеть с выражением полного равнодушия.

— Почему Сережа ушел? — спросила у нее Алла Николаевна, как всегда, с хлопотливой растерянностью в голосе.

— Потому что он женится на другой, — ответила Катя с сухими глазами и с таким выражением на лице, будто ровным счетом ничего не произошло.

— Как? — шепотом вымолвила Алла Николаевна. — И это в то время, когда ты... — Она заплакала, мгновенно вылив слезы на щеки, словно глаза ее взорвались, вспыхнули слезным блеском, судорогой сведа губы.

А Катька, глядя на нее, спокойно сказала:

— Я, мама, разлюбила людей вообще. И Сережку тоже вместе со всеми. Он мне не нужен. Вот он посидел немножко, а я уже устала от него. И ты тоже иди! — строго сказала она. — Я устала от всех вас. Я разлюбила людей, ты понимаешь? Совсем и навсегда. За то, что они ничего не понимают. Не понимают, сколько они потеряли! Культуру, память о прошлом... Так много потеряли и ничего не понимают. И Сережка тоже. Иди, мама.

— Господи! Доченька! Это пройдет, — взмолилась Алла Николаевна. — Это пройдет. Отдохнешь — и все пройдет.

— Ты думаешь? — с недоумением спросила Катька и вяло улыбнулась. — Хорошо бы...

Но это не прошло. Состояние Кати Зямлиной с каждым днем ухудшалось. И настало время, когда врачи посоветовали положить ее, пока не поздно, в клинику для душевнобольных.

Все рухнуло в семье Зямлиных. Оба они — и Алла Николаевна и Константин Леонтьевич — вдруг перестали понимать, что происходит в их жизни и зачем вообще им жить дальше.

Он стал рассеянным, забывчивым и, что совсем непохоже на него, стал много и жадно есть, испытывая чувство непроходящего голода, стал быстро толстеть, наев себе за каких-нибудь три месяца толстые желтовато-поблескивающие щеки. У него появилась одышка. Усы его пожелтели от табачного дыма, а глаза стали слезиться...

Она же стала как бы все время заикаться, забывая слова, а порой и смысл того, о чем только что говорила. У нее появился новый жест. Когда у нее стопорилась речь, она как бы отмахивалась от этого напастья рукой, делая перед лицом короткую и быструю отмашку, словно быстро снимала с лица какую-то щекочущую паутину, помогая себе языком, которым она тоже очень быстро и как-то тревожно облизывала губы. Она стала очень пугливая, вздрагивала от телефонного звонка или звонка в дверь. Лицо ее в эти мгновения испуга искажалось, как будто некто жестокий и сильный замахивался на нее рукой, а она странно пряталась от этого замаха и прогоняла. Окружила себя новейшими и очень дорогими лекарствами и стала потчевать ими мужа, который не сопротивлялся, забыв навсегда о каплях датского короля.

Она вообще стала вести себя довольно странно. Когда к ней приехала двоюродная сестра из Владимира, с которой она не виделась

года два с лишним, Алла Николаевна встретила ее испуганно в дверях, а узнав, заторопилась к включенному телевизору.

— Иди скорее, Настя, садись поудобнее. Сейчас будет передача. Я ее всегда смотрю. Ну эта, господи! «В мире животных». Посмотрим, а потом поговорим, я тебе все расскажу, и ты мне о себе расскажешь. Ставь там вещички все, брось все это куда-нибудь... Потом поговорим.

Суетливым взглядом она обласкивала обескураженную сестру, а сама уже была там, за тонкой стеклянной поверхностью, где под знакомую музыку уже появилась картинка с приглашающими мультипликационными обезьянками, приплясывающими журавлями, обещающая мир всевозможных чудес, сдобренный обаятельной улыбкой волшебника Николая Николаевича, ведущего передачу.

Алла Николаевна, морщась в счастливой и горькой улыбке, разглядывала носорогов, на которых восседали маленькие белые цапли, и зачарованно слушала объяснения Николая Николаевича, внимая каждому слову. Лишь изредка отвлекалась и говорила:

— Ой, Настенька! Как я люблю эту передачу! Если б ты знала! Эту и еще... ну вот... как ее! Ну эту... «Очевидное — невероятное». Я их теперь никогда не пропускаю. Все тут понятно, все оказывается просто... И на душе у меня сразу спокойнее. В «Очевидном этом... невероятном» не все, конечно, понятно, но тоже... Все равно я успокаиваюсь. Ведь когда непонятное смотришь и видишь, что другим людям это все понятно, это тоже успокаивает. Правда? Значит, так надо. Другим понятно, а тебе нет. Я не люблю людей, которым все понятно. Не верю им. А тут смотришь и думаешь: господи, какие умные люди есть. Это успокаивает меня как-то... Умные, все знают, симпатичные. Подумаешь о себе, что ты круглая дура, и сразу легче становится... — И она вяло улыбалась, увлекаясь новой картинкой на экране. — Господи! А это еще что такое? Смотри, смотри, какой у нее хвост. Небось холодный, как у крысы.

Настя смущенно кивала и тоже улыбалась, но внимание ее было сосредоточено вовсе не на животных, не на их хвостах, а на сестре, которую она не узнавала.

То ли пронзительное предчувствие новой беды, еще более страшной, чем та, что уже обрушилась на нее, то ли вконец измятые, измученные нервы давали о себе знать, но Алла Николаевна стала и в самом деле неузнаваема. У нее вдруг поглупели глаза. Она стала на все окружающее ее смотреть с небывалым каким-то любопытством и наивной доверчивостью. Теперь ничего не стоило обидеть ее случайным словом. А ее глуповатая доверчивость граничила с постоянным испугом, и, казалось, она стала бояться не самого горя, беды или несчастья, а стала бояться своего испуга, а точнее — самою себя, неспособную уже выносить каких-либо потрясений, слез и пугливых вскриков. Врачи прописали ей спокойную жизнь, не велели волноваться, и она изо всех сил старалась жить именно так, как ей велели. И если раньше она всегда замечала в людях какие-то недостатки, которые раздражали ее и о которых она не уставала говорить, возмущаясь, то теперь все люди как бы сделались для нее на одно лицо, прелестное и добродушное. Она теперь, даже глядя на какого-нибудь грязного, одуловатого пьяницу, старалась подумать о нем хорошо, старалась найти для него какое-либо оправдание. «Ну что ж, — как бы кто-то подсказывал ей, — значит, так ему надо, значит, иначе он не может жить, бедняжка. Как мне его жалко! Такой красивый и здоровый мог бы быть мужчина, а он себя вон до чего довел. А ведь учился в школе, ухаживал за какой-нибудь девочкой, был влюблен, мечтал... Ах, бедный, бедный!» Так она думала теперь, проходя мимо пьяницы, который раньше ничего, кроме омерзения и гадливости, не вызывал в ней.

Она словно бы сдалась на милость грозного какого-то победителя, ожидая от него лишь одного — благосклонности или хотя бы пощады.

Но пощады, увы, не было. Однажды раздался в дверях звонок, который заставил ее вздрогнуть. Она поспешила открыть дверь, а когда подбежала, услышала, как там, на лестничной площадке, которая всегда блестела, переливаясь мозаичным орнаментом, напоминавшим орнамент ковра, — там, за белой филанчатой дверью, что-то грузно и тяжело упало и страшно стукнулось вдруг... И она, еще не успев ничего понять, уже почувствовала, осознала, ощутила всем своим существом, что там упал тяжелый человек и стукнулся головой об пол.

Так неожиданно умер Константин Леонтьевич Зямлин, с задумчивой улыбкой взглянув из черной рамки на бывших своих сотрудников, а потом и появившись в красном гробу, установленном в траурном конференц-зале.

Он умер, поднявшись к себе на пятый этаж. У него не хватило сил достать связку ключей из кармана, он лишь сумел дотянуться до кнопки звонка и, нажав ее, упал.

Умер стоя, как о нем говорили в институте. Он падал, когда был уже мертв. Удар головой о каменный пол, который слышала Алла Николаевна, был ударом мертвой уже головы. У Константина Леонтьевича разорвалось сердце и смерть наступила мгновенно. Он даже не успел ничего понять, хотя бедняжка Алла Николаевна, пока он лежал в гробу, гладила его голову, потому что лишь одна на всем свете слышала этот жуткий, округло-костяной удар о гладкий каменный пол.

Она никак не могла теперь избавиться от этого рокового звука, словно бы он навсегда влетел в ее голову, в которой сквозил шум напряженного до предела мозга нет-нет да и раздавался вдруг упруго-жесткий удар, будто бы это падала на каменный пол ее собственная голова. Она жмурила глаза и закрывала уши руками. Но это не помогло, потому что звук исходил из помутившегося ее сознания.

Таким вот печальным образом несколько сот людей узнали о маленькой семье Зямлиных, на которую обрушилось горе. Но из тех, кто узнал, многие вскоре позабыли о них. В институте, правда, еще сравнительно долгое время фамилия эта напоминала о себе в каких-либо документах, подписанных покойным Константином Леонтьевичем, или в разговорах, когда кто-нибудь с раздражением в голосе: «Кто это распорядился? Мы потеряем лишние полгода, если примем эту технологию! Что за педант? У нас план горит, черт побери!» И когда раздраженному человеку говорили, что все это подписано еще Зямлиным, человек хмурился и примирительно распорядился пересмотреть решение и ускорить дело. «Если бы у меня было время, я бы работал, как Зямлин. Но у меня нет его! Меня берут за глотку в министерстве», — говорил он так, как будто у Константина Леонтьевича было две жизни или, во всяком случае, одна очень долгая жизнь, в которой он позволял себе роскошь не торопиться и хорошенько обдумывать все детали до мельчайших подробностей. Это качество и в самом деле было свойственно Зямлину, который любил известное изречение о том, что нельзя женщину заставить родить ребенка раньше девяти месяцев, добавляя при этом, что случаи такие, конечно, бывают, рождаются недоношенные дети, но, дескать, случай есть случай, а мы люди серьезные и нам негоже рассчитывать на случайность, говорил, улыбаясь при этом своими серебристо-серыми усами. Институт при Зямлине частенько бывал в прорыве, опаздывая сдать в срок запланированную работу, но Зямлин с каким-то свойственным ему гипнотическим обаянием умел всегда убедить начальство в необходимости затычки. Институт плелся чуть ли не всегда в отстающих,

а Зямлин частенько получал выговоры. Теперь же, когда его не стало, не прошло и года, как институт поправил дела и выбился в передовые, заняв в социалистическом соревновании второе место по району. И постепенно Зямлина стали забывать, а если и вспоминали, то только в связи с прошлыми делами. «Как бы там ни было, — говорил иногда кто-нибудь из бывших его сотрудников, — при нем работать было интереснее. Полезного продукта, несмотря ни на что, было больше. Надежно работали. А теперь гоним, гоним... всякие там колеса-семечки». Хотя чаще его поругивали, вспоминая даже, как однажды на испытаниях некто из министерства сказал о нем, что он никто. «Но все-таки, — возражал кто-нибудь, затягиваясь дымом, — хотелось всегда поправить галстук, когда, бывало, идешь к нему. А это кое-что значит. Атмосфера! Я его любил».

Странно было слышать эти разговоры о Зямлине, которого упоминали теперь в прошедшем времени. Всегда всем казалось, что вселенское око, поглядывая на него с небесных высот и радуясь своему созданию, сделает исключение для этого человека и наградит его жизнью вечной. Казалось порой, что и сам Зямлин такого же был мнения о себе: кому-кому, а мне-то это исключение обеспечено — как бы написано было в его глазах, поблескивающих отполированным серым мрамором. Жалко его, конечно.

Не говоря уж об Алле Николаевне, которая совсем поседела после смерти мужа. У нее даже как будто поседели ресницы.

Прошел год. Алла Николаевна однажды покрасила свои волосы и стала похожа на рыжего клоуна, толстого и глуповато-наивного.

Стала она пользоваться и губной помадой, перед тем как идти на работу, и подводить глаза тушью.

Работа у нее и сложная, если учесть место, куда она поступила, и совсем неслезная. Она устроилась подавальщицей в больнице, где лечится ее бесконечно замкнувшаяся на себе дочь.

В перерывах между завтраком и обедом и полдником, а потом и ужином делать ей, в общем-то, нечего. Собрала посуду со столов, унесла на мойку, позавтракала или пообедала, выбрав себе вкусную какую-нибудь куриную ножку, накрыла столики в гулкой пустой столовой, накормила врачей, медсестер и няnek, подложив тоже что-нибудь повкуснее или пожирнее той из них, которая лечит или присматривает за ее дочерью.

— А вот это... — начинает она свой рассказ какой-нибудь нянечке, присев с ней рядышком за столом. — Я когда-то любила очень делать шубу... Знаете, что это такое? Это на майонезе надо делать. Сначала кладется слой майонеза, потом картофель, потом свекла тоже слоем, потом морковь, селедка мелкими кусочками, а сверху опять слой картошки и майонез. Это такое объединение! В духовке, конечно, надо. Она румяная выходит, сочная!

Ее слушают, а кто не знает про шубу, переспрашивает, уточняет что-то и даже записывает рецепт. Алла Николаевна бывает очень довольна в такие минуты и в подробностях объясняет, растолковывает, уточняет, вспоминая свои какие-нибудь ухищрения.

— Муж ее обожал, — добавляет она с неуверенным придыханием.

Рассказывает она и про балет, но очень редко и то лишь с глазу на глаз, без свидетелей, будто сама не верит в то, что говорит.

Все равно все знают про то, что она занималась в балетной школе, что у нее была травма, после которой ей пришлось оставить танцы; знают, что дочь ее, которую она кормит, как малое дитя, уговаривая есть и пить, на что Катя всегда тупо отвечает: «Давайте только без паники», была когда-то звездой английской школы, но вот сорвалась на экзаменах и попала сюда. Знают, что муж ее был крупным деятелем и ездил на персональном автомобиле, что у нее трехкомнат-

ная квартира над Яузой, в которой она теперь живет одна, надеясь на выздоровление дочери, на будущую жизнь и даже на внуков.

Ее, кажется, жалеют все и любят.

— А вот это... — неуверенно начинает она разговор с каким-нибудь врачом, — я, конечно, мало разбираюсь в этом, может, чего-нибудь путаю... Но тут одна знакомая мне говорит, что наша галактика сужается, а поэтому время бежит быстрее. А по-моему, она не права. По-моему, я вот, помнится, читала в «Науке и жизни» или по телевизору смотрела в передаче «Очевидное—невероятное» — точно не помню... Но, по-моему, там говорили, что галактика наша сужается, это верно, но что время от этого течет медленнее... Это что же? Значит, мы дольше проживем, что ли? Как вы думаете? Или это... я ничего не поняла. По-моему, знакомая моя ошибается, — задумчиво говорит она, не дождавшись ответа. — Галактика наша сужается, это так, но время течет медленнее. По-моему, так. Я так поняла.

И на лицо ее наплывает выражение глубокой задумчивости, пока она вдруг не опомнится и не смахнет с лица невидимую паутинку...

— Извините, конечно, я вам аппетит только порчу своими вопросами, — скажет она и с игривой улыбкой побежит на кухню за вторым блюдом.

Весной над мутной Яузой по-прежнему кружатся чайки и люди радуются приходу теплой погоды.

Окна зямлинской квартиры по-зимнему мутно и глухо смотрят на сияющую Москву, на бегущих по тротуару людей, на молчаливо кружащихся чаек. Запыленные стекла давно не мыты. На мебели в квартире хрустит под ладонью тяжелая городская пыль, состоящая из жестких взвешенных частиц гари, убирать которую надо пылесосом. Но это потом... «Как будут выписывать Катеньку, так и приберусь», — думает Алла Николаевна. — Занавески постираю, полы натру... Все сделаю. Только скорей бы Катеньку выписывали. Вон опять уже чайки прилетели, опять весна. Ишь как радуются! Точно дети! Устали бедняжки! Столько летели, летели... Ну, отдохайте теперь, — мысленно говорит она белым птицам. — Скоро лето».

Глядит на молчаливое их кружение и радуется вместе с ними. Рыжие волосы ее тусклы, как пакля. Яркая помада на губах. Черная тушь на коротких ресницах. Наивно-радостен взгляд уставших глаз. Глубоки морщины.



ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Утих Тифлис — Кавказа город столичный,
Рдел, как погоны гвардии, закат,
И Воронцова пленник добровольный —
К намазу приступил Хаджи-Мурат.

Привычно он восславил имя бога
И прошептал, о родине скорбя:
— Ты не давай мне счастья слишком много,
Чтоб я, о боже, не забыл тебя.

Рванусь ли в перестрелку, как бывало,
Или войду к единственной жене,
Ты не давай мне счастья слишком мало,
Чтоб не забыли люди обо мне.

СТРАНИЦЫ РУССКОЙ СТАРИНЫ

Вижу за грядой годин,
Там, где снег подобен свету,
Между двух Екатерин
Анну и Елизавету.
Государства во главе
Эти женщины стояли,
И не все в обход молве
Заносилось на скрижали.
Вознеслись на крови
Трех из них ступени к власти.
Не скупясь платили страсти
Дань коварству и любви.
Вот седок к вратам монаршим
Путь направил, торопясь.
— С чем пожаловал, фельдмаршал,
Меншиков, светлейший князь?
— Власть бери, но помни друга,
Мною сделана игра,
Свет трофейная супруга
Императора Петра! —
Смена шумных именов,
Смена тайного совета.
Между двух Екатерин —
Анна и Елизавета.
Воле турок вопреки,

Жерла пушек протирая,
Встали русские полки
У ворот Бахчисарая.
Хоть плохи дела с казной,
Но потешится столица,
Женит карликов царица,
Дом возводит ледяной.
На дорогах карантин,
И Бирона песня спета.
Между двух Екатерин —
Анна и Елизавета.
И уже спешит, щедра,
Одарить дворянством роту,
Дань отдав перевороту,
Дочь великого Петра.
Запорожский Аполлон —
Пел Алешка Розум в хоре,
Разумовским стал он вскоре,
В камергеры возведен.
Караулы, становые,
И Москва не ближний свет.
Но в Москве открыл впервые
Двери университет.
Вхож в него простолоудин
В силу высшего декрета.

<p>Между двух Екатерин — Анна и Елизавета. Треск свечей и блеск полов, Лейб-гвардейский полк в зените. И в своей руке Орлов Держит заговора нити. Воздавай, народ честной, Славу брату фаворита. Флаг российский над Чесмой, Порта на море разбита. Хоть с Вольтером и Дидро Вольнодумна переписка, Донесения и сыска Почитается перо. Отсвет зарев кумачов, Дух мятежный сладок кметям, Где, Петром назвавшись Третьим, Бунт возглавил Пугачев. — Не щадить холопских спин! Палачам пять тыщ за это!.. — Между двух Екатерин —</p>	<p>Анна и Елизавета. Но уже в Россию конный Мчит с известием почтарь, Что в Париже просвещенный Обезглавлен государь. Мятежу теперь на милость Может помнить лишь смутьян, Что в «Наказе» говорилось О свободе для крестьян. Не благой надеждой выслан Путь на стыке двух веков, И в Сибирь Радищев выслан И посажен Новиков. Сквозь клубящийся туман Даль окидывая жадно, Встал над Каспием державно С войском Зубов Валерьян. Трон один, и век один, И не все поглотит Лета. Между двух Екатерин — Анна и Елизавета.</p>
---	--

СЮЖЕТ

В знак дружбы зрелых лет,
 Об этом знаем все мы,
 Был Гоголю сюжет
 Подарен для поэмы.
 И слились, видит бог,
 Как два конца браслета,
 Неповторимый слог
 И вымысел сюжета.
 А ныне, вот тоска,
 Бездумные поэты,

Как в средние века,
 Заимствуют сюжеты.
 Пусть взводит пистолет
 Комедия иль драма,
 Мы требуем упрямо:
 Да здравствует сюжет!
 И снова путь торим
 К тому лишь чуду света,
 Чей слог неповторим,
 Как вымысел сюжета.

160 лет со дня рождения
Федора Михайловича Достоевского

ИГОРЬ ВОЛГИН



ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДОСТОЕВСКОГО

Несколько вступительных слов

В один из последних дней 1880 года Достоевский заехал к своему старинному приятелю А. Н. Плещееву: завез долг двадцатилетней давности. «Вот еще 150 р., — пишет он в адресованной поэту записке, — и все-таки за мной остается хвостик. Но отдам как-нибудь в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь еще пока только леплюсь. Все только еще начинается».

Ему оставалось жить чуть больше месяца.

Пушкин незадолго до своей гибели пишет «Памятник»; Гоголь, Тургенев, Толстой в конце пути тоже подводят итоги. Достоевский говорит: «Все только еще начинается».

Он умирает на взлете, в момент величайшего проявления своей духовной мощи: после московского триумфа, едва успев дописать последние страницы «Братьев Карамазовых». Он уходит в час, когда, по его собственным словам, «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной», уходит, не ведая, что всего через месяц после его кончины будет оборвано беспокойное царствование Александра II. Он уходит, не подозревая о том, что его собственные похороны сделаются заключительным актом целой исторической эпохи.

В свой последний год автор пушкинской речи становится едва ли не самой заметной фигурой общенационального масштаба.

Конечно, гений интересен в любой момент времени. Но всегда по-особому значителен финал его жизненного пути: здесь как бы срабатывает тайная мысль всего «сценария». И если к тому же последний вздох художника совпадает с исключительной минутой в жизни его отечества, тогда наш поздний исторический интерес получает двойное оправдание.

Предлагаемая работа представляет собой лишь часть большого исследования, посвященного последнему году и смерти Достоевского. Понятно, что она не охватывает (да и не может охватить) все те проблемы, которые занимали писателя: он, а не они составляют ее сокровенный интерес. Но не от разгадки ли этой главной проблемы существенно зависят все остальные?

Автор исходил не только из тех соображений, что избранный им год — последний и что в нем сходятся основные линии жизни. Концентрация исследовательских усилий в одной исторической точке позволяет острее рассмотреть (и по-новому оценить) то, что окажется в фокусе.

Порою автор отваживался на предположения: историческая реконструкция (как и любая реконструкция) допускает восстановление неизвестного и утраченного на основе достоверного.

Автор не стремился удержаться в жестких хронологических рамках, когда выход за них диктовался самим материалом: отступления от 1880 года оправданы тем, что почти каждое событие последнего года Достоевского так или иначе соотносится с коллизиями всей его жизни и — не побоимся это сказать — с дальнейшим ходом русской истории.

К сожалению,¹ конечное пространство работы не позволило ввести в нее многие — порой первостепенные — темы. Так, осталась почти незатронутой история создания и публикации «Братьев Карамазовых»: последний год Достоевского проходит на

фоне этого совершающегося труда. Меньше места чем следовало бы уделено Пушкинскому празднику в Москве и знаменитой речи: этот сюжет подробно рассмотрен в работе «Завещание Достоевского» (см. «Вопросы литературы», 1980, № 6).

Здесь же наше внимание сосредоточено на развязке личных и общественных отношений Достоевского с Тургеневым и на некоторых моментах его художественного сосуществования с Львом Толстым—в контексте совершающейся на его глазах исторической драмы.

Предвидя возможные упреки в «достоевскоцентризме», когда речь касается отношений его героя с великими современниками, автор спешит оговориться, что он не руководствовался добрым школярским правилом—раздать всем сестрам по серьгам: он старался соотнести происходящее с кругом сознания Достоевского.

...«Все только еще начинается»,— написано им за месяц до смерти. И он не ошибся. Все еще было впереди. Сам он так и не успел отдать Плещееву всю занятую у него сумму: последний «хвостик» возвращала уже Анна Григорьевна. Но с Достоевским всегда особые счета. Существует задолженность ему самому—его современников и потомков. Причем «сумма» имеет тенденцию к росту.

Эта работа — попытка отдать хотя бы часть долга.

Глава I. «КОЛЕБЛЯСЬ НАД БЕЗДНОЙ...»

Начало 1880 года

Новый, 1880 год огорошил сюрпризом.

В первый же день простыла Анна Григорьевна — и слегла с кашлем и лихорадкой. Это не замедлило сказаться на работе: хотя еженочное писание двигалось своим чередом, перемаранные листы угрожающе скапливались в кабинете. Обычно с этих черновых и получерновых листов текст передиктовывался Анне Григорьевне, которая воспроизводила его стенографически, после чего аккуратнейшим образом переписывала.

В «Русском вестнике» хвалили ее почерк.

Между тем приближались последние сроки: январский номер, как всегда, выходил в конце месяца, следовательно, не позже 16 января девятая книга «Братьев Карамазовых» должна была быть в редакции. Приходилось писать в Москву успокоительные письма: к новогодним поздравлениям многоуважаемым Николаю Алексеевичу и Михаилу Никифоровичу (Любимову и Каткову) присовокуплялись извинения за невольную задержку. Кроме того, сама девятая книга — «Предварительное следствие» — вместо предполагаемых полутора печатных листов разрасталась до пяти: финал безумной ночи в Мокром, допрос Мити с обыском и раздеванием, а также массой других идущих к делу подробностей заслуживали самого досконального изображения.

Времени было в обрез.

Пришлось отложить в сторону неотвеченные письма, отказаться от необходимейших визитов. «И во всей моей жизни страшный беспорядок», — жалуется он 8 января, вежливо отклоняя приглашение на вечернюю чашку чая.

Приглашение исходило из дома графини С. А. Толстой — вдовы поэта Алексея Константиновича Толстого. Достоевский любил бывать в этой дружественной ему семье и поэтому не замедлил посетить салон графини, как только очередная порция «Карамазовых» была отправлена в Москву.

В ту самую ночь, когда Федор Михайлович возвращался от графини Толстой, толпа полицейских чинов ломилась в одну из квартир дома номер девять по Саперному переулку. Квартира встретила пришельцев огнем. Силы оказались слишком неравными: первая типография «Народной воли» была взята штурмом. Двадцативосьмилетний наборщик Абрам Лубкин (по прозвищу Птах), прежде чем его схватили, успел выстрелить себе в висок.

Год начался с револьверной пальбы.

Правда, этому уже не удивлялись. С тех самых пор как в январе 1878 года Вера Ивановна Засулич из револьвера системы «бульдог» в упор поразила петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, подобные события — сшеломляющие, из ряда вон выходящие — утратили свою чрезвычайность.

События эти были ответом на приговоры участникам политических процессов—

к сотням лет каторги, — на издевательства в местах заключения, на административный произвол и массовые высылки без суда и следствия. Они были ответом на полную безгласность низов и абсолютную безнаказанность верхов.

Натиск революционного подполья усиливался с каждым днем.

Выстрел Засулич послужил сигналом к долгому и жестокому противоборству. В. Дубровин и И. Ковальский были взяты с оружием в руках. С. Кравчинский заколол шефа жандармов Мезенцова. 2 апреля 1879 года А. Соловьев стрелял в Александра II.

Впервые (если не считать одного дня — 14 декабря 1825 года) страна была поставлена перед небывалым в ее истории фактом: организованной вооруженной борьбой против существующей власти. Факт этот постепенно перевешивал все остальное: голод и крестьянское разорение, разномыслие западников и славянофилов, провалы во внешней политике и т. д. «Дай бог, чтобы я ошибался, — писал Лев Толстой, — но мне кажется, что все вопросы восточные и все славяне и Константинополи пустяки в сравнении с этим».

Через четыре дня после покушения на шефа жандармов Мезенцова (август 1878 года) состоялось высочайшее повеление, согласно которому все дела, связанные с применением оружия против представителей власти, передавались в ведение военных судов. После самосуда военный суд — самый скорый суд в мире: его приговоры, как правило, предрешены и обжалованию не подлежат.

Русской революции было «обеспечено» упрощенное судопроизводство.

12 мая 1879 года временным генерал-губернаторам было отправлено следующее секретное отношение: «Государь император, получив сведения, что некоторые из политических преступников, судившихся в Киеве военным судом... приговорены к смертной казни расстреливанием, изволил заметить, что в подобном случае соответственнее назначать повешение... О вышеизложенном имею честь сообщить... для руководства при конфирмации приговора военных судов по делам сего рода».

Эту бумагу подписал главный военный прокурор В. Д. Философов — муж женщины, которую Достоевский глубоко читил за ее «умное сердце» и в чьем доме он любил бывать.

Александр II благоволил к своему главному военному прокурору, но в отличие от Достоевского не жаловал его жену — Анну Павловну. Впрочем, неприязнь была взаимной. «Я ненавижу настоящее наше правительство... — признавалась Анна Павловна в письме мужу, состоявшему одним из высших юридических чинов этого правительства, — это шайка разбойников, которые губят Россию».

Ходили упорные слухи, что в доме Философовых (разумеется, на ее половине) скрывалась после освобождения из-под стражи оправданная судом присяжных Вера Засулич. Имя Анны Павловны упоминали в связи с побегом Кропоткина. В огромной казенной квартире главного военного прокурора хранилась нелегальная литература и, возможно, бывали такие гости, для которых доставало такта не интересоваться, кто именно посещает его жену, должен был требоваться впоследствии смертных приговоров.

Можно предположить, что кое-какие не подлежащие огласке подробности, связанные с деятельностью военных судов, через А. П. Философову доходили к Достоевскому.

Явный итог этой деятельности был таков: шестнадцать смертных казней за один только 1879 год. Во всем XIX столетии не было больше такого «урожайного» года. Смерть окликала смерть: эхо перекачивалось над всей страной.

26 августа 1879 года Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор русскому самодержцу.

Здесь следует сделать одно отступление.

Часто различные по своему историческому содержанию понятия обозначают одинаковыми словами.

Русские революционеры конца 1870-х годов именовали себя террористами. Так же именуются ныне те, кто сделал террор универсальным орудием своей слепой и нечистой игры.

Между тем ни исторический облик героев «Народной воли», ни их методы, ни, главное, нравственные мотивы их поступков не имели ничего общего с практикой современного — как правого, так и левого — экстремизма.

Народовольцы не взрывали железнодорожных вокзалов в часы наибольшего скопления публики, не палили без разбора в выходящую из храма толпу, не захватывали женщин и детей в качестве заложников (они вообще не знали института заложничества), не убивали своих идейных противников (скажем, ругавших их журналистов); они, наконец, не считали, что их метод борьбы — единственно правильный. Они решились на то, на что они решились, лишь после того, как все другие аргументы были исчерпаны. При этом сами народовольцы вовсе не полагали, что вынужденные приемы их борьбы имеют универсальную ценность.

«Террор — ужасная вещь, — говорил С. М. Кравчинский, — есть только одна вещь хуже террора: это — безропотно сносить насилия».

Те, кто предпринимает отчаянные и небескорыстные попытки связать современный международный терроризм с традицией русского освободительного движения конца 1870-х — начала 1880-х, совершают грубую историческую подмену.

Международный терроризм есть выражение глубочайшего кризиса буржуазного сознания. Он принципиально отличается от самоотверженной борьбы русских революционеров-семидесятников, действовавших в особой исторической обстановке, в условиях полуфеодальной монархической диктатуры. «Способ борьбы русских революционеров, — говорит Энгельс, — продиктован им вынужденными обстоятельствами, действиями самих их противников»¹.

Этот способ борьбы был оборонительной мерой против засилья в стране абсолютизма, ответом на «невероятные жестокости»² верхов.

Остается фактом: революционный террор в России 1879—1881 годов был вызван правительственным террором, теми методами, к которым прибегал царизм в борьбе с освободительным движением.

Первый выстрел — Веры Засулич — раздался в ответ на генеральский приказ высечь политического заключенного.

В. И. Ленин высоко ценил личное мужество героев «Народной воли», их вклад в русское освободительное движение. «Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, — говорил Ленин, — несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть»³.

В. И. Ленин был последовательным и принципиальным противником индивидуального террора — именно потому, что непригодность и историческая бесперспективность этого метода была «ясно доказана опытом русского революционного движения»⁴.

«Доказано опытом» — это значит не воспринято умозрительно, а оплачено собственной кровью. Россия преодолела террор и отвергла его задолго до того, как нашлись охотники в собственных интересах препарировать эту страницу ее истории.

Достоевский любил повторять, что опыт жизни следует перетащить на себе.

Отцы и дети

«От статей, печатающихся во всех газетах, об убийстве Мезенцова мне делается тошно!.. — пишет Достоевскому редактор «Гражданина» В. Ф. Пуцькович в августе 1878 года. — Я понял все статьи так: если Вы хотите, чтобы мы помогали Вам, т. е., правительству... то дайте русскому народу... конституцию!!! Вот голос печати»⁵.

В своем письме Пуцькович довольно точно фиксирует отношение либеральных кругов к убийству «сонного тигра», как называли начальника III отделения. Достоевский возмущен откликами прессы не меньше редактора «Гражданина»: он называет их верхом глупости. Но для него гораздо важнее другое.

«Это все статьи либеральных отцов, несогласных с увлечениями своих нигилистов-детей, которые дальше их пошли», — отвечает он Пуцьковичу. Обозначена коллизия «Бесов»: Степан Трофимович — Петр Верховенский.

Это давняя и излюбленная идея Достоевского. И он не устает внушать ее своему корреспонденту: «Если будете писать о нигилистах русских, то ради бога, не столько браните их, сколько отцов их. Эту мысль проводите, ибо корень нигилизма не только

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 21, стр. 197.

² Там же, т. 19, стр. 158.

³ Ленини В. И. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 315.

⁴ Там же, т. 6, стр. 380.

⁵ ИРЛИ, отдел рукописей, ф. 100, № 29828.

в отцах, но отцы-то еще пуще нигилисты, чем дети. У злодеев наших подпольных есть хоть какой-то гнусный жар, а в отцах — те же чувства, но цинизм и индифферентизм, что еще подлее».

Один из персонажей «Бесов» цитирует Апокалипсис: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих».

В письме Пуцыковичу речь идет, по существу, о том же. Жар пущее «гнусный», но свидетельствующий об искренности и вере; «теплый» именно отцы; «ангелу Лаодикийской церкви...» — не распространяется на детей. Вина если и не снимается с революционеров-семидесятников полностью, то в значительной мере перекладывается на плечи людей 40-х годов.

Здесь проходит, может быть, не столь заметная, но тем не менее весьма существенная черта, отделяющая Достоевского от того лагеря, к которому принадлежал Пуцыкович.

Так же как и Катков, неустанно требующий обрушить всю тяжесть «карающего меча государства» на головы нигилистов, Пуцыкович ждет искоренения крамолы от власти и только от власти: сила должна быть сломлена силой.

Ни в одном заявлении Достоевского 1878—1881 годов — ни в письмах, ни в «Дневнике писателя», ни в зафиксированных мемуаристами высказываниях — мы не встретим указаний на то, что автор «Братьев Карамазовых» считал возможным решить проблему чисто административным путем. Приверженец монархии, он не находит ни единого слова одобрения для тех репрессий, к каким монархическая власть прибегает в целях самосохранения.

В поединке революции с самодержавным государством он видит не столько противоборство наличных политических сил («кто — кого»), сколько глубокую историческую драму. Ибо разрыв с народом характерен, по его мнению, не только для революционного подполья, но и для того, что этому подполью противопоставит: для всей системы русской государственности. Власть столь же виновата в разрыве с народом, как и те, кто пытается эту власть разрушить. Истоки драмы едины.

Мысль о всеобщей вине (вине всего образованного общества) не оставляет Достоевского до последних его дней. Он записывает в «предсмертной» тетради: «Нигилизм явился у нас потому, что мы все нигилисты. Нас только напугала новая, оригинальная форма его проявления. (Все до единого Федоры Павловичи)».

Русская революция, таким образом, есть не причина, а следствие: она лишь «оригинальная форма» застарелой национальной болезни. Болезнь эта (в противовес мнениям Каткова, Победоносцева, Пуцыковича) не поддается лечению «железом и кровью».

От Владимира Дубровина к Алексею Карамазову

В письме Победоносцеву от 19 мая 1879 года Достоевский пишет из Старой Руссы: «Здесь, когда я приехал, разговаривали об офицере Дубровине (повешанном) здешнего Вильманstrandского полка».

Интерес жителей Старой Руссы к Дубровину вполне объясним. 20 апреля 1879 года он был казнен по приговору петербургского военно-окружного суда. Это была вторая за десятилетие (и третья с начала царствования) казнь политического преступника.

«Он, говорят, представлялся сумасшедшим до самой петли,— пишет Достоевский Победоносцеву, — хотя мог и не представляться, ибо бесспорно был и без того сумасшедший».

Речь идет о ненормальности, носящей не столько органический, сколько социальный характер. Революция для Достоевского есть отклонение от нормы, «соблазн и безумие»: тут Победоносцев не стал бы спорить со своим корреспондентом.

Однако согласился бы будущий обер-прокурор святейшего синода со следующим, может быть, еще не вполне ясным самому автору замыслом: «Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили».

Таково известное свидетельство А. С. Суворина (в его дневнике) о намерении Достоевского продолжить «Братьев Карамазовых». «Он» — это отнюдь не Дмитрий Карамазов (который какими-то своими чертами неуловимо напоминает Дубровина),

а «тишайший» Алеша, казалось бы, само воплощение нормы среди «ненормальных», обладатель счастливой психической организации.

К мысли о таком Алеше Достоевский придет не сразу. Но уже сейчас, в мае 1879 года, он пристально всматривается в людей, подобных Дубровину, пытается за внешним «безумием» разглядеть нечто иное.

«С другой стороны, — продолжает Достоевский свое письмо Победоносцеву, — мы говорим прямо: это сумасшедшие, и между тем у этих сумасшедших своя логика, свое учение, свой кодекс, свой бог даже, и так крепко засело, как крепче нельзя».

Автор письма как бы приглашает своего корреспондента поразмыслить над причинами этого удивительного явления. Ссылка на ненормальность была бы слишком удобной: она снимала вопросы и успокаивала совесть. Достоевский избирает другой путь: он старается взять этот еще неизвестный ему тип «крупным планом» — и с некоторым изумлением убеждается, что последний весьма отличается от его старых героев. Признание у революционеров «своего бога» много значит в устах автора «Бесов». У Петра Верховенского нет и не может быть бога: он, по его собственному признанию, «мошенник, а не социалист».

Позволим себе некоторую вольность. Исходя из характера «бесов», экстраполируем их поведение за пределы романа. Представим, как повели бы они себя в момент казни, если бы, скажем, таковая воспоследовала. Очевидно, это поведение по своему «тону» должно было бы чем-то напоминать трагикомическую ситуацию в сцене убийства Шатова. Липутин, Лямшин, Виргинский, Толкаченко да и сам Петр Верховенский вряд ли отважились бы посмотреть в глаза собственной смерти.

По свидетельству официального документа (донесения распорядителя казни в штаб военного округа), Дубровин взшел на эшафот «с песней возмутительного содержания». Согласно другим источникам Дубровин на эшафоте оттолкнул священника и палача и сам надел на себя петлю (последнее трудно представить, так как казнимый наверняка был крепко связан). Во всяком случае, известно, что он отказался от напутствия и попытался обратиться к солдатам, окружавшим эшафот, с речью.

«Листок „Земли и воли“» утверждал, что рота, в которой прежде служил Дубровин, выстроенная на месте казни, машинально отдала ему честь. Если последняя подробность и преувеличена (солдаты в последний момент взяли на караул, как это и предписывалось инструкцией), она все же весьма симптоматична. На глазах современников начинала твориться легенда, которая затем — после гибели на эшафоте Осинского, Соловьева, Лизогуба, «южных бунтарей» и других жертв белого террора — обрела значительную нравственную силу. ореол мученичества, окружавший «государственных преступников», начинал отбрасывать обратный свет на всю их прежнюю деятельность.

Последние годы Достоевского совпали с появлением на русской исторической сцене нового типа людей, у которых самым сильным козырем в их схватке с правительством была их собственная жизнь. Этот тип, как мы уже говорили, разительно отличался от «бесов», изображенных писателем в начале десятилетия: их разделяла жертвенность, немедленная готовность заплатить за собственные убеждения максимально высокую цену.

Конечно, стрельба, покушения, взрывы — все это, совершаемое даже с самыми «бескорыстными» целями, не могло вызвать в авторе «Преступления и наказания» ни малейшего восторга. Скорее наоборот. Однако распространялось ли это нравственное отвержение на личность тех, кто, рискуя собой, поднимал оружие?

Это вопрос.

Вернемся к записи Суворина о судьбе Алеши Карамазова.

Разумеется, Достоевский не одобрил бы способа действия, избранного его любимым персонажем, если бы именно так сложилась его романная судьба. Но перестал бы он любить его? Это очень сомнительно. Тот факт, что тягчайшее политическое преступление призван был совершить «ранний человеколюбец», герой, обладающий исключительными моральными качествами, этот факт в высшей степени знаменателен. «Лучший», «избранный» по этической шкале Достоевского совершал «худшее» по шкале юридической и государственной.

Надо полагать, Победоносцев (как частное лицо) ужаснулся бы, узнай он о возможном творческом намерении Достоевского. Но для обер-прокурора святейшего синода (а к маю 1880 года Победоносцев таковым уже стал) подобная развязка романа вдвойне неприемлема. Среди революционеров было немало выходцев из ду-

ховной среды, семинаристов и т. п. Однако бывший послушник (то есть лицо, готовящее себя к монашескому служению) в роли царевни (а именно таковым согласно еще одной дошедшей до нас версии должен был стать Алеша) — случай беспрецедентный, наносящий тяжкий удар по авторитету церкви⁶.

«Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы резолюционером...» — именно так передает Суворин замысел Достоевского.

Естественность общего пути и личной судьбы здесь совпадают.

Но пора вернуться к началу 1880 года.

Глава II. ПОРТРЕТ С НАТУРЫ

Зима 1880 года. Продолжение

Если пересмотреть дневниковые записи, которые вели в 1879—1880 годах видные деятели царствования — председатель комитета министров П. А. Валуев, военный министр Д. А. Милютин, государственный секретарь Е. А. Перетц, сенатор А. А. Половцов и другие, — можно убедиться, что, пожалуй, ни один из них не сохранил душевного спокойствия. «Кризис верхов» выражался не только в судорожных действиях правительственной администрации, но и в необычных умонастроениях ее главных руководителей.

Летом 1879 года, вернувшись вместе с императорской семьей из Крыма, Д. А. Милютин записывает: «Я нашел в Петербурге странное настроение, даже в высших правительственных сферах толкуют о необходимости радикальных реформ, произносится даже слово «конституция»; никто не верует в прочность существующего порядка вещей».

Год заканчивался; выхода пока не предвиделось.

В декабрьском номере «Отечественных записок» Салтыков-Щедрин писал: «Год приходит к концу, страшный год, который неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русского».

В своем интимном дневнике наследник престола (будущий Александр III) с присущей ему любовью к определенности делает вывод, что «самые ужасные и отвратительные годы, которые когда-либо проходила Россия, — 1879 и начало 1880».

Разумеется, Салтыков-Щедрин и Александр Александрович имели в виду существенно различные вещи. Но ощущение неблагополучия, неуверенности, разлада, предчувствие близкой катастрофы были всеобщими.

...Зима перевалила на вторую половину. Анна Григорьевна быстро оправилась от простуды (она не любила залеживаться), и жизнь постепенно наладилась.

Ночи, как всегда, были отданы «Карамазовым». Днем — обычно после двух (хозяин ложился около семи утра и поднимался поздно) — являлись посетители: всякие. Немало сил отнимали и литературные вечера, которые все более входили в моду, несмотря на беспокойство политическое.

«Мастерское чтение Федора Михайловича, — говорит Анна Григорьевна, — всегда привлекало публику, и, если он был здоров, он никогда не отказывался от участия, как бы ни был в то время занят».

Положим, привлекало не только чтение.

После смерти Некрасова только четыре человека в стране могли претендовать на роль ее духовных вождей: Тургенев, Толстой, Салтыков-Щедрин и Достоевский.

На протяжении двух последних зим имя Достоевского нередко являлось на петербургских афишах. Его знали, на него рассчитывали, его участия добивались. Этот вполне новый для него род деятельности требовал немалых усилий, как духовных, так и физических (последние были тем ощутимее, что во время выступлений он совершенно не умел беречься и при своем расстроенном здоровье выкладывался весь).

Правда, здесь были и свои приятные стороны. Восторженные овации, неизменно (с весны 1879 года) сопровождавшие его появление на литературных вечерах и как бы идущие наперекор установившемуся по отношению к нему журнальному стереотипу, медленный, но неостановимый рост популярности — все эти, строго говоря, внелитературные факторы создавали новую литературную ситуацию. Его писательское положение менялось. Менялось и положение общественное. Сдвиги на первый взгляд

⁶ Эта тема — судьба Алеши — заслуживает отдельного рассмотрения.

были не столь уж заметны; однако именно они в значительной мере подготовили его московский триумф.

2 февраля предполагалось выступление в коломенской женской гимназии. «Какое нетерпеливое волнение, — писал Достоевскому устроитель вечера Петр Исаевич Вейнберг, — происходит между нашими ученицами в ожидании завтрашнего дня — Вы и представить себе не можете!» Волновался и сам Вейнберг: не забудет ли? Достоевский успокаивал: явится вовремя и прочтет, «что Вам будет угодно назначить».

В конце письма следовала приписка: «В случае какой-нибудь слишком жестокой бури, наводнения и проч., разумеется, не в состоянии буду прибыть. Но вероятно, что все обойдется благополучно».

В Петербурге наводнений в феврале не случается — следовательно, это была шутка. Она свидетельствовала об известном расположении духа.

«Вообще говоря, — вспоминает Анна Григорьевна, — 1880 год начался для нас при благоприятных условиях: здоровье Федора Михайловича после поездки в Эмс в прошлом году (в 1879 г.), по-видимому, очень окрепло и приступы эпилепсии стали значительно реже. Дети наши были совершенно здоровы. «Братья Карамазовы» имели несомненный успех, и некоторыми главами романа Федор Михайлович, всегда столь строгий к себе, был очень доволен... Все эти обстоятельства, вместе взятые, благоприятно влияли на Федора Михайловича, и настроение его духа было веселое и приподнятое».

Зимой 1880 года Достоевский ни в малой степени не разделяет глубокого пессимизма верхов. Его тревоги совсем иного рода.

Действительно, если проследить хотя бы только тон его поздней переписки, можно не без некоторого удивления убедиться, что его настроение почти все время идет крещендо, достигая апогея в дни Пушкинских торжеств. «Настроение» не очень удачное слово: здесь правильнее было бы сказать о чувстве, более похожем на историческое ожидание. Ожидание скорой и неминуемой перемены судеб — не личных, но общих.

Это чувство и связанный с ним строй ценностных представлений заметно отличаются от его умственного и душевного расположения в начале десятилетия — с частую резкими и безоговорочными суждениями, жесткостью литературных и идейных характеристик, нетерпимостью к чужому.

Конечно, подобный сдвиг можно объяснить тем громадным духовным подъемом, который испытал в свои последние годы автор «Братьев Карамазовых», его мощной творческой поглощенностью. Это объясняет многое, но не все.

Еще в 1878 году, приступая к «Карамазовым», он пишет одному старому знакомому: «Огромное теперь время для России, и дожили мы до любопытнейшей точки». Он хвалит своего корреспондента за то, что тот чувствует себя принадлежащим «ко всему текущему, живому и насущному, быющему продолжающейся жизнью». «Ведь и я, например, — продолжает Достоевский, — точь-в-точь так же, хотя по симпатиям я вовсе не 60-х и даже не сороковых годов. Скорее теперешние года мне более нравятся по чему-то уже въявь совершающемуся, вместо прежнего гадательного и идеального».

Ощущение «огромности времени» — доминирующая черта позднего Достоевского. Понимание того, что «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной», вовсе не ввергает его в черную меланхолию и не обращает в мизантропа. Наоборот, именно это чувство заставляет страстно желать развязки. Он не отворачивается от будущего, не бежит от него — он идет навстречу ему с открытым лицом.

Зимой 1880 года он нередко проповедует в гостиных, как бы обкатывая положение уже близкой пушкинской речи. Круг знакомых все тот же: Штакеншнейдеры, Полонские, графиня С. А. Толстая...

В гостях и дома

Вольнее всего он чувствовал себя у Штакеншнейдеров, в семье покойного петербургского архитектора. Там не было ни светской чопорности, ни особого «политичного» духа литературных салонов. Собирались в основном свои — старые, еще с 60-х годов знакомцы: Аполлон Николаевич Майков, Яков Петрович Полонский с женами, вечный холостяк Николай Николаевич Страхов, Загуляевы, Аверкиевы... Атмо-

сфера дома поддерживалась стараниями Елены Андреевны Штакеншнейдер, старшей дочери хозяйки, «горбуны с умным лицом», как назвал ее Иван Александрович Гончаров. «Пожилая, болезненная девушка (ей было около сорока пяти лет.— И. В.),— говорит о ней младшая современница, — на костылях и с больными ногами, умная, добрая и приветливая».

Автор этих воспоминаний Л. И. Веселитская (В. Микулич) впервые увидела Достоевского у Штакеншнейдер зимой 1880 года. Ей показалось, что своим приходом он внес в гостиную некоторое стеснение: «Его точно сторонились и побаивались». Это, впрочем, понятно: он трудный гость. У него никогда не хватало такта (как, скажем, у Тургенева) поддерживать «приличный» светский разговор, он не мог, как Толстой, мягко захватить собеседника (именно собеседника, а не слушателя!) и без нажима подчинить своей воле. Он сам жаловался, что у него «нет жеста», в том числе, очевидно, и жеста речевого, помогающего соблюсти известные разговорные формы. Он мог говорить только о том, что более всего волновало его в данную минуту. Не всякий выдерживал этот уровень общения: вокруг могли образоваться пустоты.

Обыкновенная манера его речи, как передает Страхов, — говорить со своим собеседником «вполголоса, почти шепотом, пока что-нибудь его особенно не возбуждало; тогда он воодушевлялся и круто возвышал голос». Эта сугубо личная особенность, очевидно, сказалась и в творчестве: такие «подъемы голоса» (после нарочито замедленной «экспозиции») особенно характерны для «Дневника писателя».

Автор полифонических романов в обществе — монологист: его цель не столько убедить собеседника, сколько высказаться, изложить свой символ веры, еще раз проверить себя. «Не помню, чтобы он вел споры, — замечает Микулич, — хотя многие из гостей Штакеншнейдеров не соглашались с ним и думали совсем иначе, чем он».

В его речевом обиходе нет плавных переходов, нет мягкой сглаженности формулировок, оставляющих возможность компромисса. Диалог обрывист и угловат, зато стремителен и захватывающ монологом. Он не соблюдал разговорного этикета. «Если ему не нравилось какое-нибудь высказанное мнение, он прямо и довольно резко заявлял об этом, но что-то не помню, чтоб ему возражали».

На первый взгляд это труднообъяснимо. Один из величайших мастеров диалога, искусно сталкивающий в своих романах полярные точки зрения и высекающий из этих столкновений точно рассчитанный художественный эффект, тонкий диалектик, самозабвенно «играющий» мыслью и без усталости испытывающий ее «на практике», он нетерпим в близком идейном общении, закрыт для равноправного спора, глух к чужому. Какое уж тут многоголосье...

Однако не является ли этот внешний монолизм Достоевского обратной стороной внутренней душевной борьбы? Не прошелся ли он уже прежде по всему звучащему диапазону, чтобы остановиться на чем-то одном, выбрать себе такую ноту, которая твердо противостояла бы всей внятной ему и заключенной в нем самой музыке?

В этом случае монолог еще и средство самоубеждения.

Ему нужен не столько собеседник, сколько слушатель, ибо все возможные возражения уже известны, подвергнуты рассмотрению, преодолены (или, во всяком случае, кажется, что преодолены) — и необходимо убедить слушателя, чтобы убедиться самому.

«Он начинал мечтать вслух,— вспоминает Всеволод Соловьев (брат философа Владимира Соловьева и сын историка С. М. Соловьева.— И. В.),— страстно, восторженно, о будущих судьбах человечества, о судьбах России».

Его мысль все время устремлена в будущее; эта область для него ничуть не меньшая реальность, чем настоящее. Он предпочитает затрагивать крупные, глобальные темы, и в его разговорах они выступают гораздо «прямее», публицистичнее, нежели в его романах. Та мировая тревога, которая явлена в последних, никогда не покидает его самого.

Интересно, что общение с самим Достоевским вызывает у Вс. Соловьева чувства, подобные тем, какие он испытывал, знакомясь с его произведениями. «Это было то же самое, что и в те годы, когда, еще не зная его, я зачитывался его романами. Это было какое-то мучительное, сладкое опьянение, прием своего рода гашиша». Степень напряжения, если даже слушатель оставался пассивным, очень велика: «После двух часов подобной беседы я часто выходил от него с потрясенными нервами, в лихорадке».

«Беседа» — сильно сказано; разумеется, беседа только по форме: проповедник не нуждается в оппоненте.

Вс. Соловьев говорит о беседах с глазу на глаз; но точно так же Достоевский ведет себя на людях: «Конечно, он не был создан для общества, для гостиной».

Тургенев на публике — великолепный рассказчик, остроумец, душа общества; Толстой также не чужд этого жанра (он, правда, не любит злословить); ни тот, ни другой, как правило, не задавливают собой общей беседы. Тургеневу и Толстому — в их частной жизни — не нужна кафедра. (Когда Толстой «проповедует» в домашнем кругу или перед незнакомыми посетителями, то делает это скорее по инерции, избегая сильных душевных волнений, и не пространно.)

Кафедра нужна Достоевскому. Ибо его страстная, со вселенскими захватами речь всегда на несколько градусов выше средней «разговорной температуры». Потому что сам он не холоден, не тепел, но — горяч.

...В. Микулич, сядя у Штакеншнейдеров, поглядывает на гостей. «Невольно я переводила взгляд с безмятежной, невинной физиономии Страхова на судорожно-возбужденное, замученное лицо Достоевского с горящими глазами и думала: «Какие они единомышленники?.. Те любят то, что есть; он любит то, что должно быть. Те держатся за то, что есть и было; он распинается за то, что придет или, по крайней мере, должно прийти. А если он так ждет, так жаждет того, что должно прийти, стало быть, он не так-то уже доволен тем, что есть?..»

Наблюдательницу прежде всего поражает внешний контраст; это видимое несходство с окружающими как бы символизирует для нее несходство внутреннее.

Об этом последнем несовпадении нам еще придется говорить; остановимся пока на другом.

Как выглядел Достоевский в свои последние годы?

О внешности

Микулич пишет: «Некрасивое болезненно-бледное лицо с русой бородой, с умным сморщенным лбом и пронизательными глазами». Для нее, двадцатитрехлетней девушки, пятидесятивосьмилетний Достоевский — «хилый», «бледнолицый старик». Может быть, это впечатление обманчиво?

Вс. Соловьев познакомился с Достоевским в 1873 году. «Передо мною был человек небольшого роста, худощавый, но довольно широкоплечий, казавшийся гораздо моложе своих 52 лет, с небольшой русой бородою, высоким лбом, у которого поредели, но не поседелли мягкие тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с некрасивым и на первый взгляд простым лицом. Но это было только первое и мгновенное впечатление — это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной духовной жизни».

В. В. Тимофеева (О. Починковская) впервые увидела Достоевского в том же году, что и Вс. Соловьев. Ее женский взгляд весьма пронизателен и добавляет к портрету, нарисованному Вс. Соловьевым, важные детали:

«Это был очень бледный — землистой, болезненной бледностью — немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным, изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворен был чувством и мыслью».

И Вс. Соловьев и Тимофеева отмечают одну и ту же сильно поразившую их черту: одухотворенность. Причем одухотворенность не подчеркнута театрального «романтического» типа, а глубоко затаенную, «нутряную».

«И эти чувства и мысли, — продолжает Тимофеева, — неудержимо просились наружу, но их не пускала железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был весь точно замкнут на ключ — никаких движений, ни одного жеста, — голько тонкие, бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил».

«С первого взгляда, — замечает метранпаж «Гражданина» М. Александров, — он мне показался суровым и совсем не интеллигентным человеком всем хорошо знакомого типа, а скорее человеком простым и грубоватым... меня прежде всего поразила чисто народная русская типичность его наружности...»

Страхов говорит, что Достоевский, «несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица». Тимофеева

повторяет это определение почти дословно: лицо Достоевского напоминает ей «солдат — из разжалованных»... тюрьму и больницу». И, не сговариваясь с ними, Вс. Соловьев: «Лица, производящие подобное впечатление, мне приходилось несколько раз видеть в тюрьмах — это были вынесшие долгое одиночное заключение фанатики-сектанты».

В обликах Тургенева и Толстого удивительным образом сочетались русские простонародные черты с чертами высокого аристократизма. В облике Достоевского последние начисто отсутствуют. Его «простота» уравнивается чистой духовностью — и ничем иным.

К 1880 году происходит заметное физическое постарение Достоевского; одновременно все мощнее выступает наружу его духовная природа.

Если еще в начале 70-х годов Достоевский кажется современникам весьма болезненным человеком, то к 1880 году это впечатление резко усиливается. Один из свидетелей Пушкинского праздника говорит о «худом, пергаментно-желтом, скрюченном болезнью» ораторе. Во всяком случае, все без исключения отмечают бросающуюся в глаза физическую немощь Достоевского (может быть, по контрасту с тем потрясающим впечатлением, какое произвела на них пушкинская речь).

В 1880 году слово «старик» вполне приложимо к нему: он выглядит на свои годы.

Остается вместе с Крамским пожалеть, что «нет портрета последнего времени, равного перовскому». Этот знаменитый портрет (1872) очень нравился самому натурщику.

Крамской считает, что в последние годы лицо Достоевского «сделалось еще знаменательнее, еще глубже и трагичнее». В подтверждение своих слов он указывает на одну из его последних фотографий. Она сделана в Москве 9 июня 1880 года — на следующий день после пушкинской речи.

Фотография Панова — одно из самых поразительных и, думается, самых адекватных изображений Достоевского. При всем своем техническом несовершенстве она почти художественно передает «геометрию лица»: порой кажется, что портрет выполнен кубистом. Ни одной мягкой, расплывчатой линии — все жестко ограничено, угловато, когнито. Глаза посажены столь глубоко, что их почти не видно из-под твердых надбровных дуг. Асимметрия лица еще более усиливает сходство с живописью начала века.

Ни на одном фотографическом портрете Достоевского нельзя заметить такой духовной концентрации, такой внутренней силы, как на снимке 1880 года.

Обидчивый обидчик

Но вот странность: носитель этой исключительной силы, по-видимому, нимало не заботится о том, чтобы обставить свое духовное «я» хоть какими-то атрибутами внешней торжественности. Напротив: его житейское поведение как бы намеренно разрушает тот возвышенный образ мыслителя и пророка, представление о котором присуще русскому интеллигентскому сознанию.

«Он не вполне сознавал свою духовную силу, — пишет Е. А. Штакеншнейдер, — но не чувствовать ее не мог и не мог не видеть отражения ее на других, особенно в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговарив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе».

Толстой и Тургенев — особенно на склоне лет — никогда не позволяли себе таких выходов, как Достоевский. Отсюда отнюдь не следует, что их поведение отличалось какой-то особой преднамеренностью или театральностью: просто оба писателя хорошо знали свои, как бы сказали теперь, социальные роли. Они никогда не забывали, кто они такие.

Достоевский тоже пытается помнить об этом. Однако он все же плохой «социальный актер» — его непосредственность перевешивает необходимый минимум лицедейства, отсюда — срывы.

Конечно, болезнь: она сильно деформировала личность. Но приписывать, как это часто делается, все его уклонения эпилепсии было бы ошибочно. В поведении Достоевского есть моменты, которые можно назвать структурными: они вытекают из общего психического склада его личности и болезнь играет здесь лишь роль катализатора.

Многие мемуаристы, писавшие о Достоевском, обнаруживают одну общую подробность. В мемуарах упоминается о том тяжелом впечатлении, которое производил

автор «Преступления и наказания» при первом знакомстве (этой участи не избежала и его будущая подруга жизни). Он не умел нравиться сразу, как, скажем, Тургенев. Правда, Штакеншнейдер говорит, что он «в первое же свое посещение, за ужином, разговорился и очаровал всех», но тут же добавляет: «Слово «очарование» даже не вполне выражает впечатление, которое он произвел. Он как-то скорее околдовал, лишил покоя». Это «лишение покоя», производимое им самим, одновременно и один из важнейших признаков его художества. До конца жизни он так и не сумел усвоить безлично-вежливых, «нейтральных» форм общения — даже со случайными знакомыми. Если он «признавал» собеседника, тогда, как правило, наступало сближение, степень которого превышала психологический минимум, необходимый для простого поддержания знакомства.

«Он был чрезвычайно ласков, а когда он делался ласковым, то привлекал к себе неотразимо», — свидетельствует Вс. Соловьев. В тесном интимном общении «проповедническое» могло успешно соседствовать с глубоким вниманием к собеседнику, с вхождением в мелкие и мельчайшие детали его жизненных забот (так, с величайшим участием выслушивает он все подробности любовной истории Всеволода Соловьева). Он исповедник не только в общественных или «мировых» вопросах: к нему обращаются по сугубо частным, порой интимным поводам (адресованная ему обширная, в значительной мере еще не опубликованная корреспонденция дает поразительные примеры подобной откровенности).

Он умеет не только говорить, но и слушать — в том случае, если собеседник ему интересен и если он желает к нему приглядеться. «Он все время заставлял меня говорить, поощряя беспрестанно замечаниями: „Ах, как вы хорошо, образно рассказываете! Просто слушал бы, слушал без конца!“» — не без скрытой гордости сообщает Х. Д. Алчевская.

Его расположение к собеседнику может помимо прочего выражаться в угощении сластями, до которых он сам большой охотник: королевским черносливом, свежей пастилой, виноградом, изюмом. Он любит потчевать гостя и не приступает к деловому разговору, не предложив сластей, папирос, чаю (чем и удивляет явившуюся к нему для работы строгую Анну Григорьевну).

«„Постойте, голубчики!“ — часто говорил он, останавливаясь среди разговора... Это действительно особенно ласковое слово любят очень многие русские люди, но я до сих пор не знал никого, в чьих устах оно выходило бы таким задушевным, таким милым», — свидетельствует Вс. Соловьев.

Он, как мы уже сказали, непосредствен: на любительском спектакле у Штакеншнейдеров может прийти в «положительное восхищение», увидев Николая Николаевича Страхова в костюме испанского монаха: «Как он хорош! Bravo, Страхов! Вызывать Страхова!» Он сам готов принять участие в домашнем театре (причем непременно желает взять роль, гребущую сильных страстей, — Отелло).

Он слушает музыку, и лицо его, по свидетельству украдкой наблюдающей за ним Микулич, кажется «таким добрым, простым и спокойным».

Поведение знаменитости можно прогнозировать с большей или меньшей степенью точности: человек, постоянно находящийся в фокусе, вырабатывает какой-то определенный стереотип поведения.

В этом смысле Достоевский непредсказуем.

«Меня всегда поражало в нем, — говорит Штакеншнейдер, — что он вовсе не знает своей цены, поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы ее не мог. Дерзости природной или благоприобретенной вследствие громких успехов и популярности в нем тоже не было, а... минутами точно желчный шарик какой-то подкатывал ему к груди и лопался, и он должен был выпустить эту желчь, хотя и боролся с нею всегда. Эта борьба выражалась на его лице — я хорошо изучила его физиономию, часто с ним видаясь».

Он крайне раздражителен, но он же отходчив. Более того — он управляем, и такая умная и сердечная женщина, как Елена Андреевна Штакеншнейдер, это отлично знает и тактично этим пользуется. «Наш странный дедка» (никто больше так не называет Достоевского!) — в этом совершенно домашнем определении стойкая душевная приязнь, которую Достоевский, конечно, не мог не чувствовать.

Он отходчив даже в тех случаях, когда дело касается заветных убеждений: сколь

ни удивительно, но это так. Единственное условие — искренность собеседника и, естественно, некоторое к нему расположение.

«...Федор Михайлович,—замечает Страхов,—всегда поражал меня широкостью своих сочувствий, умением понимать различные и противоположные взгляды». Признание Страхова звучит несколько неожиданно в свете известного представления об идейной нетерпимости Достоевского, однако оно находит подтверждение и в других источниках.

Он умеет извинять самые невозможные вещи при одном условии: если они проносятся друзьями.

В азарте спора его вечная оппонентка Анна Павловна Философова (ее дочь вспоминает: «Они оба спорить абсолютно не умели, горячились, не слушали друг друга, и тенор Федора Михайловича доходил до тамберликовских высот») может с досадой воскликнуть: «Ну и поздравляю вас, и сидите со своим «православным богом»! И отлично!» — и Достоевский, вместо того чтобы смертельно оскорбиться, «вдруг громко и добродушно засмеялся: „Ах, Анна Павловна! и горячимся же мы с вами, точно юнцы!“».

Но то, что прощалось Анне Павловне Философовой, не прощалось Ивану Сергеевичу Тургеневу.

Здесь необходимо вернуться в 1879 год.

Глава III. ТРИ ВЕЧЕРА В МАРТЕ

Пророк в своем отечестве

В феврале 1879 года Иван Сергеевич Тургенев прибыл в Москву по случаю смерти брата.

Он уже давно не жил в России, однако почти каждый год посещал ее наездами. И каждый раз заставал перемены. Нынче эти перемены сделались особенно чувствительными. Они имели касательство не столько к внешнему течению жизни, сколько к ее внутреннему строю, к тем неизменным на первый взгляд моментам существования, которые, сохранив свой обыкновенный образ, где-то в глубине дрогнули, тронулись, подались.

Выросло новое поколение, которое Тургенев не знал, но которое хорошо знало автора «Отцов и детей». Правда, споры 60-х годов отодвинулись в прошлое, старые распри позабылись — и никому не приходило на ум вопрошать: что есть Базаров? Сами Базаровы уже успели стать отцами; детей занимали теперь совсем другие материи.

Для нового поколения Тургенев успел сделаться легендой.

...Неистовые овации огласили своды Московского университета, когда огромный, белоголовый, неуклюжий гость, опрокинув по дороге учебный экран, вошел в физическую аудиторию. Москва приветствовала его как первостепенную знаменитость. В Петербурге восторги повторились с удвоенной силой.

Тургенев не ожидал ничего подобного: так его еще не встречали ни в один из приездов его в Россию. Что же изменилось?

Изменилось многое.

Зимой 1879 года уже полным ходом шел тот процесс, который через год с небольшим достигнет своей кульминации на Пушкинском празднике, а еще через год будет оборван двумя взрывами на Екатерининском канале.

Еще из Парижа Тургенев писал М. М. Стасюлевичу: «Ну, вот и мир заключен... Как-то мы разделаемся с наследием войны... и дождемся ли другого наследия: предстательных учреждений и т. п.?»

Слово «конституция» не произносилось публично: она была «великим подразумеваемым». Слово *deus ex machina* (бог из машины), она должна была разрешить все проблемы.

Тургенев приехал в горячее время. Автор «Записок охотника» являл собой известную общественную традицию: он, человек 40-х годов, стоял у истоков крестьянского освобождения; он слыл другом покойных Белинского и Герцена (широкая публика не знала всех тонкостей их взаимоотношений); он был старым заслуженным либералом; на него косилась власть.

Вернувшись в Париж, Тургенев скажет Герману Лопатину: «„Ведь я понимаю, что не меня чествуют, а что мною, как бревном, бьют в правительство“, — Тургенев красочным жестом показал, как это делается».

Тургенев был не так уж не прав. Молодежь, столь неожиданно и бурно обратившая свои симпатии на автора «Отцов и детей», менее всего думала в эту минуту о высоких красотах его гармонической прозы. Она видела перед собой едва ли не единственную интеллигентную фигуру европейского масштаба. И «цвет» ее представлялся на расстоянии значительно более радикальным, чем был на самом деле.

В 1879 году ни Толстой, ни Достоевский не пользовались такой громкой писательской славой, как Тургенев. По позднему замечанию С. А. Венгерова, бывшего свидетелем тургеневских триумфов, «публика и критика поняли впоследствии... что Тургенев просто хороший писатель, а они оба (то есть Толстой и Достоевский.— И. В.) гениальны».

Достоевский не любил Тургенева.

К «истории одной вражды»

Эта нелюбовь уходила своими корнями еще в 40-е годы. Придя поначалу в восторг от остроумного и блестящего Тургенева, Достоевский очень скоро охладевает к своему новому знакомцу. Он никогда не мог забыть тех унижений, которые испытал от него в молодости: насмешек в глаза и за глаза, анекдотов, рассказываемых в злоязычном литературном кругу, откровенно явленного превосходства.

После каторги отношения установились сдержанные и довольно ровные: горячий материал накапливался постепенно⁷.

Уже двенадцать лет как они были в ссоре. С того самого июньского дня 1867 года, когда в немецком городе Бадене Достоевский в последний раз посетил Тургенева и окончательно с ним разошелся. Двадцатилетние отношения завершились полным разрывом.

Достоевский изобразил тогда эту сцену в подробнейшем письме А. Н. Майкову: автор «Дыма» ругает Россию и все русское и хвалит немцев; в свою очередь, автор письма язвительно советует ему купить телескоп, дабы лучше видеть, что, собственно, происходит на отдаленной родине.

Нашелся доброжелатель, переславший копию этого послания П. И. Бартеневу, издателю недавно возникшего «Русского архива»,— для сохранения и обнародования лет этак через двадцать — двадцать пять. Узнав об этом «донесении потомству», Тургенев поспешил оправдаться, выбрав своим доверителем того же Бартенева.

В письме, предназначенном не столько его прямому адресату, сколько будущим потенциальным читателям, Тургенев со скромностью, тайно жаждущей возражений, замечал, что хотя «в 1890 году и г-н Достоевский, и я — мы оба не будем обращать на себя внимания соотечественников», тем не менее «почел своей обязанностью теперь протестовать против подобного искажения моего образа мыслей». Далее автор письма приводил следующий довод: он уже потому полагал бы неуместным выражать перед Достоевским свои душевные убеждения, что считает его «за человека, вследствие болезненных припадков и других причин не вполне обладающего собственными умственными способностями». «Впрочем,— добавлял Тургенев,— это мнение мое разделяется многими другими лицами».

Следует заметить, что корреспондент Бартенева несколько опережал события. Правда, эпилепсия Достоевского ни для кого не была секретом, да и сам он ее отнюдь не стыдился, а даже любил при случае «выставлять» свой недуг (со смешанным чувством горести и гордости одновременно). Но перенесение признаков болезни с самого автора «Идиота» на его сочинения и (как в данном случае) на его общественное поведение стает печальным обычаем несколько позднее.

...Они не встречались и не переписывались двенадцать лет. Правда, в марте 1877 года Тургенев дал рекомендательное письмо к Достоевскому некоему Эмилию Дюрану, составлявшему в Париже монографию о выдающихся представителях русской словесности. «Я решился написать Вам это письмо,— заканчивал свое короткое послание Тургенев,— несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о Вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое Вы по праву занимаете в нашей литературе».

⁷ Подробнее см.: «История одной вражды. Переписка Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева». Л. «Academia». 1928.

Может быть, не лишено справедливости мнение, что Тургенев воспользовался подходящим предлогом для возобновления переписки и его письмо было попыткой наладить расторгнутую связь. Во всяком случае, это был жест. Известно, отозвался ли Достоевский на это послание (скорее всего нет, так как оно по своей форме и не требовало обязательного ответа), но, во всяком случае, атмосфера возможной в будущем встречи была несколько умягчена⁸.

Встрече суждено было состояться 9 марта 1879 года.

Вечер первый

В зале петербургского благородного собрания устраивался вечер в пользу Литературного фонда: подобные встречи пользовались наибольшим вниманием публики. «В программе был такой цветник имен писателей,— замечает современник,— что если бы вечер повторить трижды, то и тогда бы зал каждый раз был переполнен». Действительно, «цветник» оказался изрядным: Тургенев, Достоевский, Полонский, Плещеев, Салтыков-Щедрин.

Согласимся, что присутствие на литературном вечере трех классиков одновременно всегда чревато осложнениями.

«Не обошлось и без маленького скандала,— подтверждает подобные опасения очевидец.— Когда Тургенев прошел за занавес в комнату для чтецов, в коридоре он столкнулся со Щедриным и протянул ему руку; тот слегка взял ее и отворотился. Достоевский сделал то же. «Здесь что-то холодно!» — заметил Тургенев своему спутнику и вышел из комнаты».

Сдержанность Салтыкова понятна: у редактора «Отечественных записок» с Тургеневым свои счеты. Что касается Достоевского, то и у него, естественно, не было оснований для особых восторгов.

Во всяком случае, дипломатические формальности были соблюдены.

Весьма симпатизирующий Тургеневу мемуарист (Д. Н. Садовников) сообщает далее, что коллеги писателя правильно оценили его демарш «и после подходили к Тургеневу, заводя с ним разговоры о всякой всячине». Публика, хотя и не ведала, что делается за кулисами, могла догадываться о некотором неблагоприятии, ибо отношения Тургенева и Достоевского ни для кого не были тайной.

Несмотря на «закулисную» напряженность, вечер прошел блистательно. Хмурый Салтыков с длинной бородой и одутловатым лицом «вяло-брюзгливым и монотонным голосом» читал отрывок из «Современной идиллии» — о том, как пришел Глумов и сказал, что «надо погодить». И облик чтеца и сам его голос как нельзя более шли к мрачному колориту рассказа. «Я так и думал,— пишет Садовников,— что он в конце концов нетерпеливо крикнет: „Ну, чему обрадовались? Черти!“».

«Все переглядывались тогда с сумрачной, но удовлетворенной улыбкой,— свидетельствует другой вспоминатель.— Все понимали, что значит это глумовское „надо погодить“».

Литературные чтения обретали важность политическую. В насыщенной электричеством атмосфере 1879 года слова проскакивали как грозовые разряды. Щедринское «годить» или «не годить» обретало гамлетовский оттенок.

Салтыкова вызывали три раза.

Достоевский читал, как он это делал всегда, в начале второго отделения (он любил выходить на эстраду после антракта, когда публика затихала, шурша программами). Однако это выступление было особенным. И не только потому, что присутствовал старый соперник. Имелась еще одна причина — капитальнейшая.

Впервые публично читались «братья Карамазовы».

Вокруг дебюта

Вот уже два месяца как роман печатался в «Русском вестнике». Мнение о нем еще не установилось: толки ходили разные. Не последовало еще и обстоятельных печатных разборов. Правда, кое-какие суждения уже имелись.

⁸ Интересно, что спустя год, весной 1878 года, сам Тургенев, бывший семнадцать лет в ссоре с Л. Толстым, получил от него примирительное письмо (вызванное начавшимся у Толстого духовным переворотом), где он просто, без всякой дипломатии предлагает Тургеневу восстановить былые отношения. Тургенев немедленно отозвался на этот призыв.

Из всех персонажей романа пока наибольшим вниманием рецензентов пользовалась «загадочная прелестница» — Грушенька. «Эта Грушенька,— замечает Скабичевский,— пока еще скрывается в тумане, но на следующих страницах она не замедлит, конечно, предстать во всем своем блеске, окажется без сомнения в свою очередь маньячкой и тем не менее завлечет в свои обольстительные сети не только папеньку и сына его Дмитрия, но и остальных братьев, не исключая и набожного святошу Алексея...»

Любопытно, что в первых газетных откликах предвосхищена одна из версий продолжения «Братьев Карамазовых»: пробуждение в Алеше карамазовского начала, его роман с Грушенькой и т. д. Правда, никто из критиков не догадывался пока о другом возможном варианте: об Алеше, идущем на эшафот.

Как и следовало ожидать, либеральная пресса оценивала новый роман более чем прохладно. «„Братья Карамазовы“ производят очень странное впечатление,— писала газета „Голос“ 8 марта (то есть накануне вечера Литературного фонда).— Мы отбрасываем в сторону самое появление их в Москве, на страницах тенденциознейшего и несимпатичного журнала. Для беллетристов, как известно, нет отечества, в смысле журнальных партий и направлений. Но именно в романе г. Достоевского... замечается тенденция. Из-за Достоевского-беллетриста незаметно, быть может для самого автора, сквозит Достоевский-публицист».

Это было старое, успевшее стать привычным обвинение. Но если раньше размежевание между художником и мыслителем проводилось, как правило, по жанровому принципу (так, все «нехудожественное», что печаталось в «Дневнике писателя», упорно противопоставлялось «художественному» в романах), то теперь водораздел проводился внутри самой романистики, где по замечательному представлению критика «беллетрист» и «публицист» поочередно менялись местами.

Не было никакой уверенности, что аудитория отнесется к новому роману одобрительно.

Автор мог бы действовать наверняка: прочитав что-нибудь из старого, уже апробированного, пользовавшегося стойким эстрадным успехом. «Накануне этого вечера,— вспоминает А. П. Философова,— я виделась с Достоевским и умоляла его прочитать исповедь Мармеладова из «Преступления и наказания». Он сделал хитрые, хитрые глаза и сказал мне:

- А я вам прочту лучше этого.
- Что? Что? — приставала я.
- Не скажу».

Вечер первый. Продолжение

Он выбрал для чтения «Исповедь горячего сердца: глава содержала первый большой разговор братьев — Дмитрия и Алеши, рассказ Мити о том, как к нему «сама пришла Катерина Ивановна просить для отца четыре тысячи и что между ними произошло».

Все, кому довелось видеть Достоевского на эстраде, отмечают его «несценичность»: небольшой рост, мешковатость, отсутствие импозантности. Он не обладал тем, что принято называть актерским обаянием. Вдобавок ко всему у него был слабый голос, часто прерываемый сухим кашлем (эмфизема легких и непрерывное курение давали себя знать).

«Начал он вяло и скучно: речь шла о такой чертовщине в полном смысле слова, что я невольно подумал: вот человек... какой-то апокалипсис объясняет»,— так передает свое первое впечатление весьма не расположенный к Достоевскому Садовников. По-видимому, он был не одинок. Если Тургенев являлся перед публикой заведомо к нему расположенной (когда он вошел в зал, вспоминает А. П. Философова, «все, как один человек, встали и поклонились королю ума»), готовой благодарно отозваться на каждое его слово, то для Достоевского ситуация была иной: дружественные чувства мешались с явным недоверием и настороженностью.

Ему приходилось переламывать настроение зала.

«Но когда дело дошло до признания Дмитрия Карамазова, все разом переменялось. Публика замерла. Болезненная глубина чувства этого сладострастника была так художественно-правдиво передана автором, что я ничего подобного не слышивал. Манера читать прозу, стихи (в этой сцене Дмитрий декламирует Шиллера и Гёте.— И. В.), делать вставочные обращения к брату, трепет голосового органа, где это тре-

буется... какая-то характерная торопливость на самом драматическом месте — неподражаемы».

Это пишет тот же Садовников. Он лишь передает общее ощущение, подтверждаемое и другими слушателями: «Не я одна,—весь зал был взволнован. Я помню, как нервно вздрагивал и вздыхал сидевший подле меня незнакомый мне молодой человек, как он краснел и бледнел, судорожно встряхивая головой и сжимая пальцы, как бы с трудом удерживая их от невольных рукоплесканий».

Рукоплескания все же загремели — еще до конца чтения. Они «как будто разбудили Достоевского. Он вздрогнул и с минуту неподвижно оставался на месте, не отрывая глаз от рукописи. Но рукоплескания становились все громче, все продолжительнее. Тогда он поднялся... и, сделав общий поклон, опять сел читать».

Теперь А. П. Философова уже не жалела, что он не исполнил ее просьбу. «Боже, как у меня билось сердце.. Я думаю, и все замерли... Мы все рыдали, все были преисполнены каким-то нравственным восторгом. Всю ночь я не могла заснуть, и когда на другой день пришел Федор Михайлович, так и бросилась к нему на шею и горько заплакала.

— Хорошо было? — спрашивает он растроганным голосом. — И мне было хорошо, — добавил он».

Это была победа. Новый роман, только начатый, еще «дымящийся», получил первое признание.

«Когда он кончил, — пишет К. П. Ободовский, — все были ошеломлены. С полминуты длилось молчание, и затем гром аплодисментов, не смолкавший 1/4 часа, потряс залу».

Его вызывали пять раз.

Чему радовался Страхов!

В чем же причины этого небывалого успеха? В личности ли самого теща, которая, конечно, оказывала колоссальное воздействие на аудиторию, в художественных ли достоинствах произносимого вслух текста или еще в чем-то не названном, но смутно сознаваемом? Разумеется, эстетический эффект был сам по себе достаточно впечатляющ. Но, видимо, не только он решал дело. В конце концов, у Достоевского были и другие романы — со страницами не менее сильными, и он читал их с эстрады, но никогда прежде не добивался ничего подобного.

«В нашей вялой форменной жизни,—писал «Голос», — так редки выражения общественных чувств и общественной мысли, что те овации, которые происходили вчера на этом вечере, казались чем-то необычайным. Они производили освежающее впечатление...»

Дело было во времени.

Отзывчивая бы всякому духовному движению русская публика 1879 года чутко улавливала в бытовых и любовных линиях нового романа тот самый подспудный «мировой» смысл, который входил в плоть и кровь поколения, в состав самой жизни, споткнувшейся в своем мерном течении и поставившей, как любил говорить Достоевский, вопрос «у стены»: что дальше? «И вдруг, — пишет Тимофеева, — все в нас чудодейственно изменилось: мы вдруг почувствовали, что не только не надо нам «погодить», но именно нельзя медлить ни на минуту...»

Немало удивился бы Салтыков-Щедрин, если бы вдруг узнал, что то, о чем он мрачно повествовал с эстрады, каким-то странным образом замыкалось на новый роман его давнего идейного оппонента. Но именно так восприняли это слушатели. Время как бы сокупило смыслы, обретавшиеся вдали друг от друга, и устремило их к общему — пусть отдаленному — горизонту. Сиюминутное, насущно необходимое и конечное, общемировое естественно входило в единый круг жизни, не сопротивляясь, но перекликаясь между собой.

К «ненормальным» карамазовским разговорам начинали жадно прислушиваться.

И хотя Тургенева, мастерски прочитавшего «Бурмистра», приняли не менее восторженно, его успех имел совсем иной характер. В Тургеневе чтли прошлое (да и сам рассказ, выбранный им для чтения, был более чем тридцатилетней давности); его чествовали как славную, но уже отчасти «музейную» национальную реликвию.

В Достоевском — угадывали будущее.

Вечер 9 марта сделался событием. И Николай Николаевич Страхов, аккуратно

извещавший Л. Толстого о новостях столичной жизни, не преминул отметить это обстоятельство. «И здесь, и в Москве очень много возились с Тургеневым, — пишет он 11 марта в Ясную Поляну. — Третьего дня было литературное чтение, и меня порадовало, что публика встретила Достоевского с таким же восторгом, как Тургенева, — Салтыкову же хлопали очень мало».

О том же спустя месяц Страхов пишет А. А. Фету: «У нас здесь восхищались Тургеневым и Достоевским. Вы верно читали описания этих несслыханных торжеств. Достоевский в первый раз получил овации, которые поставили его наряду с Тургеневым. Он очень рад».

Но вот вопрос: рад ли сам Страхов? Вернее, радуется ли он за Достоевского? Очень сомнительно. Об их отношениях речь впереди; здесь же заметим, что Страхову неплохо удавалось скрывать свою глубоко затаенную неприязнь к Достоевскому. Недаром Микулич, сумевшая, как мы помним, несмотря на свои юные годы, подметить глубокий контраст между Страховым и Достоевским, тут же преспокойнейшим образом замечает: «Елена Андреевна (Штакеншнейдер. — И. В.) очень любила Достоевского и благоговела перед его умом и талантом. Но, сколько мне помнится, только она да Страхов так любили его».

Елена Андреевна действительно любила автора «Карамазовых»; об этом убедительно свидетельствуют ее дневниковые и мемуарные записи. Страхов, будучи сам человеком умным и тонким, остро восприимчивым к чужой одаренности, конечно же, понимал, что есть Достоевский. Однако любить его он не мог (о чем, в свою очередь, свидетельствуют как его воспоминания, так и печально знаменитый к ним комментарий — письмо Толстому от 28 ноября 1883 года). Не исключено, правда, что порою он пытался себя заставить (борясь, по его собственным словам, с подымавшимся в нем отвращением), но — безуспешно.

Перед Толстым можно было «обнажиться» — и он признается ему (в том же письме от 11 марта, где он радуется, что публика горячо встретила Достоевского): «Я Тургенева и Достоевского — простите меня — не считаю людьми, но Вы — человек...»

Чему же тогда радуется Страхов? Да только тому, что Достоевский получил перевес против Салтыкова и равенство с Тургеневым как представитель известного направления. Для него существенно лишь то, что разъединяет Достоевского с Тургеневым и Салтыковым, и он знать не хочет ничего о том, что сближает всех троих в глазах рукоплещущего зала.

Эта тяга к сближению, продиктованная не столько доводами рассудка, сколько мощным общественным инстинктом, будет прокладывать себе дорогу через бурные перипетии 1879—1880 годов, чтобы явить всю свою силу и все свое бессилие в упоительные дни пушкинских торжеств. Но это произойдет еще не скоро. А пока овации петербургской публики не в состоянии заглушить того «неверного звука», который неизбежно должен был возникнуть при сопряжении в одном жизненном круге таких диссонирующих величин, как Тургенев и Достоевский.

Скандал разразился через три дня.

Вечер второй (тургеневский обед)

Через три дня состоялся традиционный литературный обед.

Литературные обеды вошли в моду сравнительно недавно. «Припоминаю, — пишет Анна Григорьевна, — что в начале 1878 года Федор Михайлович бывал на обедах, которые устраивались каждый месяц Обществом литераторов в разных ресторанах: у Бореля, в «Малоярославце» и др. ...Здесь Федор Михайлович встречался со своими самыми заклятыми литературными врагами. За зиму (1878 года) Федор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбужденный и с интересом рассказывал мне о своих неожиданных встречах и знакомствах».

Натурально, обеды устраивались не для общения с «заклятыми литературными врагами»: они имели в виду соединить — хотя бы за пиршественным столом — разрозненные культурные силы. «Обеденная территория» должна была являться в этом смысле «ничейной землей».

Местом встречи был избран ресторан Бореля на Большой Морской.

На сей раз застолье сильно отличалось от ежемесячных трапез, устраиваемых петербургскими литераторами в своем достаточно узком кругу. Прежде всего чрезвычайным многолюдством: присутствовало более ста человек. Помимо известных и менее известных представителей изящной словесности и сотрудников столичной прессы, здесь были артисты императорских театров, университетские профессора, адвокаты, художники и т. д. И без того пеструю картину завершала одна хорошенькая натурщица, поражавшая более солидную публику своим легкомысленным античным нарядом: после обеда предполагались живые картины.

Итак, литературный и ученый Петербург чувствовал Тургенева. Список ораторов (а их было более двадцати!) выглядел внушительно: ректор Петербургского университета Бекетов, писатели Потехин и Григорович, академик Грот, профессора Кавелин и Сухомлинов, историк Костомаров и другие.

Это был цвет либеральной интеллигенции.

Сам виновник торжества, как свидетельствует портрет, набросанный одной навивной, но доброжелательной кистью, выглядел превосходно. «То же румяное, полное, здоровое лицо, те же осмысленные анализирующие глаза, та же медленная... походка, те же густые и нежные патриархальные седины, великолепно убирающие всю его круглую голову — голову колосса, поддерживающего целый храм...» — в этом описании звучат почти гомеровские метры.

«Немедленно после супа, — повествует добросовестный хроникер, — началось сигнальное бряцание бокалов и тарелок». Это был призыв к тишине. Молодой и мало кому известный Л. Оболенский (будущий издатель «Мысли» и «Русского богатства») приветствовал гостя довольно двусмысленными стихами:

Ты не забыт ни юностью родной,
Ни русской женщиной, ни прессой,
Хотя давно живешь в стране чужой,
Вдали от «роз» российского прогресса.

По свидетельству автора этих стихов, поначалу Тургенев «прикрыл глаза рукой, как бы смутясь от неловкости вступления, но к концу его лицо прояснилось...».

Громогласный и представительный Григорович заявил, что, только щадя скромность Тургенева, он умолчит о том, что делал последний «для многих своих товарищей, увлекаемый доброю сердцем». Желая сказать красиво, оратор выразился довольно рискованно. «Если, — припомнил он одно старое сравнение, — поставить Тургенева против окна и раздеть его, он будет светиться как кусок хрустала...»

Спасович также превознес виновника торжества, однако о прочем отозвался мрачно: «На часах нашей общественной жизни стоит час полуночный, пора всяких искушений, соблазнов и падений».

Тургенев счел необходимым чуть позже мягко поправить оратора, заметив, что «там нет ночи, где есть» Лев Толстой, Гончаров, Достоевский, Писемский».

Достоевский был упомянут еще единожды — в длинном спиче несколько разгоряченного обедом Валериана Панаева, которого, впрочем, мало кто слушал. Но в списке ораторов искать его имя было бы бесполезно. До поры до времени он предпочитал помалкивать.

До поры до времени.

Скандал с разных точек зрения

«Тургеневский обед, — свидетельствует хроникер, — за исключением одного эпизода, о котором лучше умолчать, вышел радушным торжественным праздником всей петербургской интеллигенции».

О каком же эпизоде (дабы не омрачать общего светлого впечатления) желает умолчать восторженный летописец тургеневских торжеств? Этот эпизод довольно известен. Существует, правда, несколько отличающихся друг от друга версий. Останемся пока на одной из них — самой литературной.

Эта версия изложена в воспоминаниях Г. К. Градовского, появившихся в 1904 году, то есть через четверть века после описываемых событий. Градовский излагает ответную речь Тургенева (в которой, по его словам, было упомянуто о необходимости «увенчать здание») и далее пишет: «Взрыв рукоплесканий покрыл слова писателя; но громче их раздался шипящий, желчный возглас Ф. М. Достоевского. Он подскочил к Тургеневу с трудно передаваемой раздражительностью и злобно кричал:

— Повторите, повторите, что вы хотели сказать, разъясните прямо, чего вы добиваетесь, что хотите навязать России!..

Тургенев отшатнулся, выпрямился во весь свой рост, подавлявший небольшого и щедушного Достоевского, и развел руками тем жестом, которым выражают глупейшее недоумение и негодование.

— Что я хотел сказать, то сказал!.. Надеюсь, все меня поняли.. А на ваш вопрос, хотя бы и с пристрастием, отвечать не обязан!

Таков был ответ Тургенева. «Поняли, поняли!» — раздались голоса.. Многие были возмущены неуместной выходкой Достоевского, и все были огорчены плохой развязкой тургеневского чествования.

Сцена впечатляющая. Набросанная пером в свое время очень популярного, но, по существу, весьма посредственного публициста, человека глубоко неоригинального, до конца жизни так и не сумевшего подняться выше круга привычных либеральных банальностей, картина эта полна «эффектных» художественных подробностей: маленький, щедушный, злобно шипящий Достоевский, словно моська на слона, бросается на автора «Записок охотника», явно подавляющего его своим физическим и моральным превосходством.

Во внутреннем обозрении апрельской (1879) книжки «Вестника Европы» тургеневскому обеду уделено достаточно большое место. Судя по всему, текст принадлежит человеку, присутствовавшему на обеде. Имя Достоевского прямо не упомянуто, но сделанный намек более чем прозрачен.

«Даже самый этот эпизод,— пишет «Вестник Европы»,— послужил новым поводом к одушевленной демонстрации со стороны огромного большинства представителей печати против лиц, неискусно взявшихся за неблагодарное дело — подвергнуть искусству Тургенева. «Скажите же теперь,— заключил один оратор свое обращение к нему,— какой же ваш идеал? Говорите!» — и, не дождавшись ответа, отвернулся и пошел прочь... Тургенев успел дать ответ, но этот ответ мог быть только виден находившимся вблизи, так как ответ был без слов: Тургенев опустил низко голову и развел руками. Правда, что тут ничего и не оставалось, как развести руками: но общество было менее терпеливо, и со всех сторон раздались восклицания, обращенные к Тургеневу: «Не говорите! Знаем!» Чей-то голос попытался было взять сторону того оратора: «Нет, вы не знаете!» — но был заглушен новыми восклицаниями».

Далее автор добавляет, что Тургенев промолчал «по той же причине, по которой, например, ему трудно было бы решиться на издание своего «Дневника писателя» в подражание г-ну Достоевскому,— хотя, по нашему мнению, Тургенева удерживает от этой счастливой мысли вовсе не то, чтобы он мог опасаться неуспеха». Таким образом, имя Достоевского все-таки всплывает (после чего расшифровка эпизода уже не составляла для искушенного российского читателя особого труда).

Здесь интересны три момента. Во-первых, как можно понять из текста, вопрос, заданный Достоевским, заключал собой более или менее пространное обращение его к Тургеневу. Но скорее всего именование автора вопроса оратором — не более чем риторическая фигура. Во-вторых, Достоевский спрашивал Тургенева об идеале. И в-третьих, выясняется, что Тургенев ограничился ответом чисто мимическим, так что тирада, вложенная Градсвским в его уста, — плод его позднейшего воображения.

Можно привести два аргумента в пользу достоверности изложенного в «Вестнике Европы»: 1) эпизод передан по горячим следам и 2) «Вестник Европы» — орган, наиболее близкий к Тургеневу, и не приходится сомневаться, что некоторые подробности (или, по крайней мере, их «редактура») исходят от него самого.

До сих пор свидетельство «Вестника Европы» считалось единственным упоминанием «обеденного инцидента» в русской периодической печати. Действительно, в петербургских газетах за ближайшие после 13 марта дни о нем не говорится ни слова. Ничего не сообщает об инциденте и газета «Новости». Но не сообщает лишь в своих первых отчетах. 18 марта в газете появляется статья «Вчера и сегодня. Чествование «человека сороковых годов» г.г. учеными и литераторами». В этой статье, подписанной псевдонимом Коломенский Кандид (В. О. Михневич), инциденту уделено некоторое внимание.

«Речь Ивана Сергеевича, — пишут «Новости», — произвела целую бурю; все встали из-за стола и с бокалами в руках бросились к нему с выражением приветствий.. Но и здесь дело не обошлось без „оригинального эпизода“».

Далее излагается сам эпизод:

«Среди общего одушевления к Ивану Сергеевичу подошел Федор Михайлович Достоевский и со строгим, почти негодующим лицом поставил ему вопросный пункт: что такое и в чем заключается провозглашенный им идеал? Г. Достоевский настойчиво требовал сейчас же дать ему на сей пункт обстоятельное «показание»; но эта странная и неуместная выходка была встречена всеобщим протестом».

Таким образом, картина, нарисованная Коломенским Кандидом, в общем совпадает с версией «Вестника Европы». Однако в идеологической ретроспективе инцидент приобретает принципиальный характер, а через четверть века обрастает затейливыми художественными деталями.

Исторической памяти не противопоставлено воображение: желательно, однако, чтобы и оно было историчным.

«...какой же ваш идеал!..»

Во всех источниках, запечатлевших прискорбный случай на тургеневском обеде, подчеркивается возмущение присутствовавших. Их нетрудно понять. Но попытаемся понять и Достоевского.

Для этого прежде всего следует обратиться к тексту самой тургеневской речи. Автограф речи неизвестен, хотя он несомненно был, ибо Тургенев говорил по написанному. Через день речь появилась в «Молве», а затем была перепечатана другими изданиями.

В своем очень умеренном по тону «застольном слове» Тургенев заявил, что «есть, наконец, идеал не отдаленный и не туманный, а определенный, осуществимый и, может быть, близкий... Мне не для чего указывать более настойчивым образом на этот идеал,—продолжал оратор,—он понятен вам и в литературе, и в науке, и в общественной жизни».

Вопрос Достоевского — «скажите, какой же ваш идеал?» — скорее всего обращен именно к этому месту речи.

Но справедлив ли автор этого вопроса, ставя его столь категорично?

Ведь в силу объективных причин Тургенев был вынужден изъясняться намеками. Он в данном случае поступал так же, как и сам Достоевский, который тоже не смог бы полностью обозначить свой идеал.

Идеология Тургенева не могла быть выражена в обеденном тосте, точно так же как идеология Достоевского — в «вопросных пунктах» к этому тосту: их взгляды в полном объеме неотделимы от контекста всего их творчества.

...Слухи о том, что произошло в зале ресторана Бореля, быстро распространились по Петербургу. 18 марта генерал А. А. Киреев записывает в своем дневнике: «На днях на большом обеде, данном Тургеневу представителями литературы, он произнес тост за те идеалы, которым сочувствует молодое поколение; Достоевский к нему обратился с вопросом: «Что это за идеалы?» Присутствовавшие не дали Тургеневу ответить: «Мы знаем, мы понимаем...» Потом Тургенев сказал Достоевскому, что дело шло о конституции...!»

Если верить Кирееву, между Тургеневым и Достоевским состоялся какой-то разговор с объяснениями, что, впрочем, маловероятно.

Таковы видимая сторона, внешний рисунок инцидента, случившегося на тургеневском обеде. Но, может быть, дело обстоит не столь просто и здесь присутствовали еще иные, скрытые причины? Что побудило Достоевского публично совершить этот действительно бестактный во всех отношениях поступок?

Два ряда тесно соотносенных между собой и в конце концов сходящихся факторов помогают понять поведение Достоевского: ряд, так сказать, литературно-психологический (более или менее интимный) и ряд мирозерцательный, идейный. Остановимся пока на последнем.

Идеал Тургенева — конституционная монархия, монархия умеренно-либеральная, ограниченная рядом представительных учреждений. Достоевский — последовательный противник конституции в ее общелиберальном понимании, противник буржуазных парламентских институтов, противник европейского конституционализма. Если исходить из этих формальных признаков, автор «Дневника писателя» оказывается гораздо правее Тургенева: позиция последнего, с точки зрения общественного прогресса, куда предпочтительнее.

Но тут мы сталкиваемся с одним из глубочайших парадоксов Достоевского. Его историческая концепция абсолютно не поддается прочтению (или читается не так), если применять к ней «обычные» социологические критерии. Ибо «социология» Достоевского не выносит ни малейшей формализации: она не только самобытна и личностна, но — и это главное — предполагает решительный выход из той системы идеологических координат, в которых привычно вращалась русская либеральная мысль.

Уже приходилось говорить в другом месте, что идеология Достоевского не есть случайное и хаотичное нагромождение парадоксов (когда магическим и столь удобным в идейном пользовании словом «противоречие» можно объяснить все что угодно), а определенная система, иными словами — обладающий собственными закономерностями единый идейный парадокс.

Истоки этого парадокса таятся в глубинах русской истории, в «странном», уклончивом и скачкообразном движении русского общественного сознания.

Если исходить все из тех же формальных признаков, «антиконституционалист» Достоевский оказывается в одном ряду с такими деятелями, как Катков и Победоносцев: во всяком случае, внешне это выглядит именно так. Но как только от взгляда «в первом приближении» мы попытаемся перейти к более объемным сопоставлениям, это видимое сходство мгновенно поколеблется.

Существует глубокая разница между отношением к власти (светской и духовной) Победоносцева и Каткова, с одной стороны, и Достоевского — с другой. Для первых любое ограничение самодержавия есть посягновение на принцип, ущерб и умаление власти как таковой. Самодержавие необходимо для охранения самого себя, для сохранения, для поддержания своего внешнего авторитета, для удержания в повиновении и подавлении всего того, что могло бы эту власть разрушить.

Все эти «государственные» мотивы начисто отсутствуют у Достоевского. Поразительно, но факт: его концепция самодержавия неразрывнейшим образом связана с идеей народной свободы. «Свободы истинной, а не номинальной! К черту республику, если она деспотизм!» — записывает он в 1874 году.

Свобода — главный критерий, который Достоевский прилагает к своему идеалу монархии. Причем свобода в смысле всеобъемлющем, почти глобальном и уж во всяком случае намного превышающая те отдельные, специальные «свободы», которые может гарантировать «обычная» либеральная монархия.

Это одна из самых «фантастических идей» Достоевского. Речь у него идет не о том, что есть, а о том, что должно быть, что подразумевается в «высшем смысле».

Последний шанс

И Пушкин в «Стансах», и Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», и Достоевский в своем «Дневнике писателя» создают, по сути дела, некий идеализированный образ монарха, именуемый мало общего с реальными представителями династии.

Но «передоверяя» самым косным историческим институтам свою радикальнейшую этическую программу, Достоевский тем самым ставит их дальнейшее существование в тесную зависимость от способности воплотить эту программу в жизнь.

Это не что иное, как еще одна утопическая, обреченная на неудачу попытка «идейного опекунства» над властью — традиция, восходящая еще к Пушкину и его кругу и завершенная в Достоевском. Это последняя (в русской литературе) попытка такого рода.

Самодержавию дается последний шанс.

Реальный ход русской истории сыграл злую шутку с подобными представлениями. К началу XX столетия российское самодержавие успело скомпрометировать себя буквально по всем линиям: в политическом, экономическом, военном и нравственном отношениях.

Но в 70-е годы XIX столетия царизм еще пользовался некоторым моральным кредитом. Пропась между ним и громадным большинством нации еще не представлялась столь зияющей. Недавно проведенное освобождение сверху давало, по мысли Достоевского, великий шанс: возможность безреволюционного выхода из исторического тупика.

«Фантастическая идея» Достоевского соединяет в себе вещи органически несовместимые: самодержавие выступает как орудие нравственного переворота. Переворот этот должен не только способствовать обретению гражданских прав, но и повести к максимальной духовной раскрепощенности.

В сложившиеся и малоподвижные исторические формы вносится внеисторическое нравственное содержание. Революционное по своему типу мышление вдруг «замыкается» на полуазиатскую государственную формулу; безоглядный порыв в будущее захватывает «по пути» древние атрибуты ничем не ограниченного единодержавия; упором для решительного исторического прыжка служит именно то, что более всего этому прыжку препятствует.

Здесь можно, пожалуй, провести одну аналогию.

В мировой «теоретической практике» уже встречалось нечто подобное. Это тот случай, когда вольный полет «выточенной, как бритва», диалектики заземляется на узком и достаточно «вытопанном» историческом пятанке. Это мощная игра гегелевского «абсолютного духа», находящего свое завершение в скучном идеале скучной прусской монархии (тут уместно вспомнить карамазовского черта, мечтающего «окончательно» воплотиться в какую-нибудь семипудовую купчиху).

Концепция Достоевского на первый взгляд такой же исторический монстр, как и «государственная философия» Гегеля. Однако в отличие от гегелевских категорий эту систему ценностей вряд ли можно считать итогом мощных рационалистических построений. Она строится на совсем иных основаниях.

В мире Достоевского происходит то, что можно было бы определить как «эстетизацию идеологии»: ни одно понятие не выступает у него в своем «чистом» идеологическом виде. Все претерпевает некую художественную трансформацию, становится если не образом, то знаком, символом образа. Конечно, мы имеем дело с сильным и самобытным мыслителем; однако этот мыслитель мыслит прежде всего как художник.

В этой системе представлений такие понятия, как «народ», «свобода», «самодержавие» и т. п., выступают не в своем прямом (исторически определенном) значении, а обретают некий «дополнительный» художественный смысл.

На тургеневском обеде столкнулись два типа мироощущения.

Тургенев, говоря об идеале, имел в виду конституцию, то есть формальный законодательный акт, дарующий образованному обществу известные политические права. Для Достоевского обретение политических привилегий только «образованным меньшинством» являлось бы посягновением на будущую свободу основного состава нации («серых зипунов»), которого конституция вовсе не принимает в расчет как самостоятельную национальную силу. Он против конституции не потому, что она может ограничить самодержавие, а потому, что она «ограничивает» народ, выключая его из реальной исторической жизни.

«Конституция,— записывает он в последней тетради.— Да, вы будете представлять интересы нашего общества, но уж совсем не народа. Закрепостите вы его опять! Пушки на него будете выпрашивать!»

Пушки против народа— вот что означает для Достоевского победа буржуазного парламентаризма. Такое представительство не есть народное дело, это дело «белых жилетов», стоящих над народом и не имеющих с ним ничего общего.

«А что коль из белых жилетов выйдет лишь одна говорильня?..— спрашивает он в последнем «Дневнике писателя».— «Мы, дескать, только одни и можем совет сказать, скажут они, а те, остальные (то есть вся-то земля), пусть и тем довольны будут пока, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и научим народ его правам и обязанностям». (Это они-то собираются поучать народ его правам и, главное,— обязанностям! Ах, шалуны!»).

В 1906 году, к двадцатипятилетию годовщины со дня смерти Достоевского, В. Ф. Пуцыкович опубликовал в одной берлинской газете свои воспоминания. По его словам, говоря о «нашем будущем национальном представительстве», Достоевский разумел «наши земские соборы или что-либо несколько обновленное, то есть вроде зарождающейся теперь государственной думы».

В 1906 году В. Ф. Пуцыковичу было шестьдесят три года. Переживший свой век консервативный публицист (из второго эшелона русских охранителей), он тоже принимает активное участие в дележе великого наследства. Его Достоевский напоминает «союзника» (то есть члена «Сюза русского народа»), готовящегося выставить свою кандидатуру в первый российский парламент.

Но «вольный пересказ» не совпадает с оригиналом.

Что же предлагает Достоевский? Может быть, сохранить *status quo*, отказаться от каких бы то ни было решений, то есть, изъясняясь слогом князя В. П. Мещерского, поставить точку к реформам, или, что то же, по крылатому выражению Константина Леонтьева, «подморозить» Россию? Или же действительно, как полагает Пуцыкович, созвать для уврачевания отечественных скорбей нечто вроде Первой Государственной думы?

То, что предлагает Достоевский, не имеет с этими проектами ничего общего.

«Увенчание снизу»

Он пишет: «Вот и начали все кричать об увенчании здания, забыв, что и здания-то еще никакого не выведено, что и венчать-то, стало быть, совсем нечего... если уж и начать его (увенчание.— И. В.), гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с белого жилета».

Говоря об «увенчании здания» (этот эвфемизм заменял обычно неудобопроизносимое слово «конституция»), Достоевский повторяет именно ту формулу, которую согласно некоторым мемуарным источникам употребил в своей речи Тургенев.

Его собственные предложения простираются гораздо дальше. Участникам тургеневского обеда не приходит в голову подвергать сомнению само здание, то есть всю систему русской государственности. Достоевский же поступает именно так.

Он верен себе: отстаивающая консервативные начала русской жизни, его программа радикальна по своей нравственной сути. Она предполагает национальное строение, основанное на прямом и непосредственном народоправстве как первом шаге к осуществлению безгосударственного идеала.

«Есть одно магическое словцо,— говорит автор «Дневника писателя»,— именно: «Оказать доверие». Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду».

Народ — альфа и омега всей историософии Достоевского. «У нас либеральнее (чем завершение здания),— отмечает он в подготовительных записях к последнему «Дневнику...».— У нас прежде всего народ спросить и только народ».

Здесь за скобками оказывается не одна либеральная интеллигенция: за скобками оказываются все дворянство, чиновничество, центральная и местная бюрократия и, наконец, духовенство. Иными словами, в совете «всей земли» не участвует ни один из «надстроечных» элементов государства.

Русский царь, немислимый без «обставляющих» его и исполняющих его волю государственных институтов, остается с народом лицом к лицу.

Но в этом случае так ли необходим он сам?

Для Достоевского подобный вопрос прозвучал бы кощунственно. Однако если исходить из его собственных представлений, то в этой системе одно звено «невольное» оказывается лишним: как раз то, которое, по мысли автора «Дневника писателя», скрепляет все.

Лишнее звено

Это звено — носитель верховной государственной власти. То есть именно тот, на кого Достоевский делает ставку, пожалуй, не меньшую, чем на народ. Царь — отец, народ — дети, и если так, то только царь и никто другой способен оградить интересы народа и его свободу от посягательств сил, народу чуждых и враждебных: от притязаний аристократии, вселивия бюрократии и корыстолюбия буржуазии.

Русский абсолютизм становится гарантом русского народоправства: царь выступает в союзе с народом — против его исконных врагов.

Но «кочищенный» и изъятый из своей собственной социальной стихии самодержавный монарх (лишенный к тому же «привычных» рычагов управления) превращается в миф, абстракцию, нонсенс.

Излишне было бы говорить о непонимании Достоевским исторической природы самодержавия: это очевидно. Но столь же очевидно, что отчаянная попытка привить формы самой крайней, «сверхгосударственной» демократии к многовековой практике российского абсолютизма неизбежно должна была вызвать у авторов этой идеи сильнейшие нравственные затруднения.

«Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его, не погнушаются слугой царевым,— заносится в последнюю тетрадь и добавляется:— Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит». «Что-то очень уж долго не верит»— эта сердитая и нетерпеливая обмолвка важнее и принципиальнее многих печатных уверений Достоевского на ту же тему (тон которых больше соответствует самоуверениям).

«Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит...» Служение предполагается не безоговорочное, но на известных условиях. А если не поверит? Достоевский старается об этом не думать— в данном вопросе он как бы заставляет себя стать на народную (исключительно) точку зрения: «Он (народ.— И. В.) не понимает, как монарх может его бояться, а поэтому не дать ему всей возможной гражданской свободы». Этого не желает понимать и сам Достоевский. Он принимает «мессовый» (по его мнению) взгляд на носителя верховной власти и употребляет поистине титанические усилия, чтобы вписать абсолютного монарха в свою историческую утопию.

Но повторяем: это звено оказывается лишним.

Ибо если следовать внутренней логике того самого миропорядка, о котором печется Достоевский, то в нем не остается места для русского самодержца. Церковь, совпадающая со всем народом, не нуждается в первосвященнике. У общества, в котором на деле осуществлена полная духовная солидарность, нет необходимости в отделенном от него самого и вознесенном над ним носителе религиозного или национального духа.

Более того: если бы когда-нибудь российское самодержавие вздумало провести в жизнь ту этико-историческую программу, которую «передверяет» ему Достоевский, это повело бы к его немедленному самоуничтожению. Историческая государственность была бы взорвана изнутри «внеисторическим» нравственным идеалом.

«Скажите теперь, какой ваш идеал?»— вопрошал он Тургенева. Но его вопрос носил заведомо риторический характер. Он был обращен не только к Тургеневу, а ко всей либеральной партии, причем без всякой надежды на убедительный ответ.

Да и что мог ответить Достоевскому Тургенев, если бы даже и захотел? Он лишь развел руками; этот молчаливый жест означал, что они говорят на разных языках.

Изучение мотивов

«Хорош Достоевский!»—воскликнул Анненков в письме Стасюлевичу.— Не распознал у Тургенева—идеалов и пожелал на обеде его выставить его пунцовым драконом, каковые китайцы пишат на своих знаменах... а между тем люди эти (Достоевский и Салтыков.—И. В.) не Авсеенки и Маркевичи, и несомненно высокие таланты и честные деятели».

Достоевский упомянут рядом с Салтыковым: за обоими признается честность, хотя оба не любят Тургенева (это Анненкову перенести трудно!). Автор письма не задумывается над тем, что и у Салтыкова и у Достоевского при всей разности политических убеждений могут существовать какие-то сходные мотивы в их неприязни к автору «Дыма».

И все-таки: почему Достоевский задал свой вопрос, почему он решился на этот действительно бестактный выпад, который — а он не мог этого не предвидеть — неминуемо должен был повлечь публичный скандал и поставить вопрошавшего в положение двусмысленное и неловкое? Почему он все-таки сорвался?

Позволим высказать предположение, что этот рискованный шаг был прежде всего неожидан для самого Достоевского. Его вопрос не рассчитанный и заранее взвешенный тактический ход, не тщательно спланированная общественная акция, а чистая импровизация, импульсивный порыв, эмоциональная реакция на происходящее.

Если бы Достоевский промолчал, он не был бы Достоевским.

«Общее чувство негодования... было так сильно,—вспоминает Венгеров,—что он должен был оправдываться и говорить: «Я ведь Тургенева очень ценю, я даже явился на обед во фраке»...»

В этих наивных и, думается, искренних оправданиях («ценю» еще не значит «люблю») тоже весь Достоевский. Он все-таки явился на чествование своего давнего врага, он, по-видимому, хотел быть сдержанным и «политичным», он даже постарался подчеркнуть свое отношение к виновнику торжества «формой одежды». Он честно пытал-

ся соблуксти все правила дипломатического (обеденного) этикета, но — «нет жеста», как не было его в молодости. И — сорвался: фрак не помог.

Конечно, идейные причины сыграли в этом эпизоде первенствующую роль. Но был здесь и своеобразный катализатор, ускоривший развязку: личное недоброжелательство (которое в конечном счете тоже имело общественную подоплеку).

В том самом письме 1867 года, где излагается история размолвки с Тургеневым, Достоевский замечает: «Не люблю тоже его аристократически-фарсерское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет Вам свою щеку. Генеральство ужасное...»

Здесь не место останавливаться на «истории одной вражды», которая едва ли не началась в 1845 году пламенной дружбой. Не будем повторять известное: о глубоком контрасте творческого, психического, социального (и даже внешнего) облика двух художников, их литературной «конкуренции» и т. д. и т. п. Об этом достаточно сказано другими. Затронем только один момент.

Достоевский не может принять Тургенева помимо прочего еще и потому, что остро ощущает двойственность его общественного положения. Он записывает в 1875 году «для себя»: «Вы продали имение и выбрались за границу, тотчас же как вообразили, что что-то страшное будет, «Записки охотника» и крепостное право, а вилла в Баден-Бадене на чьи деньги, как не на крепостные выстроена?»

Запись злая. Но в ней зафиксировано одно из главных обвинений — не столько даже в адрес самого Тургенева, сколько в адрес многих русских либералов, — обвинение, которое будет многократно повторено Достоевским в его публицистике и переписке.

Этот упрек обращен ко всему русскому дворянству: отъезд на крестьянские деньги за границу (обычное явление после 1861 года) под угрозой, «что что-то страшное будет», — этот отъезд равносителен эмиграции внутренней, духовной. Разрыв между либеральной (в значительной части помещицье) интеллигенцией и народом тем более трагичен, что одна из сторон, по мнению Достоевского, склонна рассматривать другую лишь в качестве объекта для своих небескорыстных экспериментов.

Впрочем, он полагает, что этот грех лежит на всей интеллигенции в целом.

«Анекдот этот верен»

В черновых записях к седьмой книге «Братьев Карамазовых» слегка обозначен один мотив, который внешне никак не сказался в окончательном тексте. Автор набрасывает краткий и на первый взгляд не вполне понятный диалог.

«— Да народ не захочет. Сем<инарист>: „Устранить народ“».

«Семинарист» — это, конечно, Ракин. Его собеседник — Алеша Карамазов. Через несколько страниц мотив возникает вновь:

«Алеша: «Да этого народ не позволит». (Как следует из контекста, речь идет об упразднении религии. — И. В.)»

— Что ж, — истребить народ, сократить его, молчать его заставить. Потому что европейское просвещение выше народа... (помолчал).

— Нет, видно, крепостное-то право не исчезло, — промолвил Алеша.

Комментаторы полного (академического) собрания сочинений Достоевского полагают, что «суждение Ракина — перелицовка идей В. Зайцева». Это допустимо, хотя и не очень убедительно: вряд ли Достоевский текстуально помнил рецензию Варфоломея Зайцева, напечатанную в «Русском слове» шестнадцать лет назад (в ней, кстати, нет слов об уничтожении народа: речь там идет о необходимости «насильственного дарования ему... свободы»).

Удивительно, что никто не заметил того, что сам Достоевский вполне определенно указывает другой источник.

В единственном за 1880 год выпуске «Дневника писателя» он пишет: «„Этого народ не позволит“, — сказал по одному поводу, года два назад, один собеседник одному ярому западнику. „Так уничтожить народ!“ — ответил западник спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а один из представителей нашей интеллигенции. Анекдот этот верен».

«Один собеседник — по одному поводу — одному ярому западнику» — эта задача с тремя неизвестными тем меньше поддается решению, что ее автор не оставил ни единого намека, могущего хоть как-то помочь нам в этом деле.

И все же попробуем разобраться.

Во-первых, следует обратить внимание на последнюю фразу. «Анекдот этот верен» — подобная категоричность как будто свидетельствует о том, что «анекдот»

приведен не понаслышке: можно предположить, что автор лично при сем присутствовал. И тогда есть основания полагать, что «один собеседник» — это сам Достоевский. Но кто же тогда второй — «ярый западник»?

...Лето 1876 года Достоевский проводит в Эмсе, на водах. Его письма полны жалоб на скуку, отсутствие знакомых из России, одиночество. Поэтому случайная встреча с Григорием Захаровичем Елисеевым (одним из редакторов и обозревателем внутренних дел в «Отечественных записках») и его женой (они первыми подошли к автору «Подростка», недавно опубликованного на страницах некрасовского журнала) отмечается в письме Анне Григорьевне как некоторое событие. «Впрочем, — добавляет Достоевский, — не думаю, чтоб я с ними сошелся: старый «отрицатель» ничему не верит, на всё вопросы и споры и, главное, совершенно семинарское самодовольство свысока. Жена его тоже, должно быть, какая-нибудь поповна, но из разряду новых, «передовых» женщин, отрицательниц.

Остановимся сначала на жене.

Относительно ее происхождения Достоевский ошибался. Екатерина Павловна Елисеева происходила из семьи потомственных военных. По свидетельству хорошо знавшего ее Скабичевского, «это была женщина невысокого роста, худощавая, крайне нервная, экспансивная, юркая и подвижная, как ртуть. Вечно она с кем-нибудь горячо спорила, в ажиотации спора начинала заикаться, что не мешало сыпаться из ее уст речам, как горох из мешка». М. А. Антонович в свою очередь отзывался об ее «интеллигентном уровне» скептически.

Теперь обратимся к мужу.

Известно, что при создании образа Ракитина автор «Карамазовых» использовал отдельные сюжеты биографии Г. З. Елисеева. Однако это еще не дает оснований приписывать «прототипу» ракитинскую фразу о народе.

Но вернемся к 1876 году. Отношения с четой Елисеевых складываются неровно. «Сегодня я Елисеевых на водах не встретил, — сообщает Достоевский. — Не рассердился ль он на меня за то, что я вчера кольнул семинаристов. Жена же его на меня положительно осердилась: она заспорила со мной о существовании бога, а я ей между прочим сказал, что она повторяет только мысли своего мужа. Это ее рассердило очень».

Разговоры ведутся с обоими супругами, и, как видим, на достаточно серьезные темы и в достаточно острой форме. Во всяком случае, от вопроса о существовании божьем вполне естественно перейти к рассуждению о том, чего «не позволит народ», — в соответствии с общим смыслом интересующей нас записи.

«Семинарист», «семинаристы» — настойчиво именуется Достоевский супругов Елисеевых. Семинаризм в его понимании черта социально-психологическая, знак духовного примитивизма. Намерения «семинаристов» относительно народа у него всегда под подозрением: «Но может ли семинарист, — записывает он в том же 1876 году (несколькими месяцами ранее), — быть демократом, даже если б захотел того?»

Вскоре отношения с четой Елисеевых портятся вконец. «Елисеевы, кажется, на меня рассердились и сторонятся. Дряннейшие казенные либералишки и расстроили даже мне нервы. Сами лезут и встречаются поминутно, и третируют меня, вроде как бы наблюдая осторожность: «Не замараться бы об его ретроградство». Самолюбивейшие твари, особенно она, казенная книжка с либеральными правилами: «Ах, что он говорит, ах, что он защищает»...»

Заметим пока, что главным оппонентом Достоевского, судя по его словам, выступает не столько сам Елисеев, сколько его экспансивная и, как сейчас бы выразились, боевитая супруга.

В воспоминаниях Суворина есть одно глухое и до сих пор не разгаданное указание. Автор воспоминаний передает слова Достоевского о его «литературных врагах»: «Они думали, что я погиб, написав «Бесов», что репутация моя навек похоронена, что я создал нечто ретроградное. Z (он назвал известного писателя), встретив меня за границей, чуть не отвернулся».

Подозреваем, что не названный Сувориным по имени Z — все тот же Г. З. Елисеев. Для этого имеются следующие основания.

Во-первых, после написания «Бесов» Достоевский бывал за границей один, без Анны Григорьевны. В своих письмах к ней он подробнейшим образом излагает все

детали своей небогатой происшествiями жизни. И уж, конечно, такое событие, как встреча с «известным писателем», не осталось бы неотмеченным.

Между тем в эпистолярных циклах Достоевского, связанных с его пребыванием за границей (после 1873 года), кроме Елисеева (а он по тем временам довольно крупная литературная фигура), не упоминается ни одного писательского имени, которое могло бы быть подставлено на место таинственного Z.

И во-вторых, выражение Достоевского «чуть не отвернулся» как раз подходит Елисееву (вернее, Елисеевым). Ведь они, с одной стороны, «сами лезут и встречаются поминутно», но с другой — «сторонятся», «третируют меня, вроде как бы наблюдая осторожность», и т. д. В разговоре с Сувориным такое двусмысленное (или кажущееся Достоевскому двусмысленным) поведение могло быть обобщено: «чуть не отвернулся».

И все-таки все эти косвенные «улики» не дают достаточных оснований для окончательного вывода.

Так кто же желает «уничтожить народ»?

Однако существует еще один источник, на который, если мы не ошибаемся, вообще отсутствуют ссылки в работах о Достоевском. Речь идет о записках ныне забытого литератора графа де Воллана. Автор записок следующим образом передает один из своих разговоров с писателем:

«Заговорили сначала о противоречии, в которое впали наши прогрессисты, отрицая народное славянское движение. „Они не любят народ,— сказал Достоевский,— они отрицают его и готовы уничтожить“. Все это он говорил шепотом, таинственно, как будто в комнате находился больной... „Мы уничтожим народ,—говорит редактор «Отечественных записок»”(?)»⁹.

Немыслимо представить, чтобы кто-либо из редакторов «Отечественных записок» (Салтыков, Михайловский или Елисеев) всерьез высказал подобную глупость (тем более нелепую в устах руководителей народного журнала). Вместе с тем слова, столь поразившие Достоевского, очевидно, были произнесены. Но кем и в каком контексте?

Конечно, «подозрение» прежде всего падает на Елисеевых, на обоих, хотя она, понятное дело, вовсе не редактор «Отечественных записок». Но как явствует из писем Достоевского, именно Екатерина Павловна выступает в качестве главной ударной силы при его встречах с четой Елисеевых, именно она затевает идейные споры и против нее в первую очередь направлен его раздражительный гнев.

Можно предположить, что именно Елисеева в полемическом задоре бракнула пресловутую фразу, возможно в присутствии мужа. Позднее у Достоевского мог произойти сдвиг памяти — и фраза была переадресована самому Елисееву (это тем вероятнее, что, как отмечалось в его письме, «она повторяет только мысли своего мужа»).

Возможен и иной вариант. А именно—что фраза была все-таки произнесена Г. З. Елисеевым, разумеется, в виде не очень удачной шутки. Конечно, подобная — «зайцевского типа» — острота не имела шансов понравиться Достоевскому. Однако тогда он воспринял ее именно как шутку, но время могло сместить акценты — забылся иронический контекст, осталась одна «голая мысль», лишенная сопутствующей интонации.

Именно как шутку расценили этот «анекдот» современники. «Анекдот, может быть, верен, — откликнулся «Вестник Европы», — как верно то, что есть на свете очень глупые люди; нам сомнительно одно, чтобы это мог быть «представитель» интеллигенции. Признаемся, нам сомнительно, чтобы даже шушера могла высказать мысль об «уничтожении народа». Не было ли это сказано г. Достоевскому на смех?»

Опасения Достоевского можно понять, если только не забывать об особенностях его мышления. Он оставляет под подозрением внутренние мотивы русского либерального движения: оно, по его мнению, в первую очередь преследует свои собственные, узкокорпоративные цели, а в иных случаях для достижения этих целей народ мог бы представлять помеху, пожалуй, не меньшую, чем самодержавие. Тезис об

⁹ Не совсем ясно, кому принадлежит вопросительный знак — автору воспоминаний или же редакции «Голоса минувшего», где они напечатаны, и что он означает: удивление или авторское сомнение в точности своей памяти.

«уничтожении народа» обретает в устах Достоевского некий художественно-метафорический смысл — как предельное заострение ситуации (и в этом отношении он равнозначен таким собирательным художественным формулам, как «кровь по совети», «человек из бумажки», «возвращение билета» и т. д.).

Разумеется, никто из участников тургеневского обеда не позволил бы себе сомнительных острот насчет «уничтожения народа»; однако мысль о его — хотя бы временном, «до срока» — устранении из будущей политической жизни (мысль, в которой никто не признался бы публично) иным из них не показалась бы невозможной.

Когда Павел Васильевич Анненков говорит, что Достоевский захотел выставить Тургенева «пунцовым драконом», он не вполне прав. Здесь скорее присутствовало стремление показать, что никакого «дракона», собственно, нет, а есть старые, хорошо всем известные либеральные пожелания.

Сама речь Тургенева давала основания для подобных оценок. Предлагаемая им программа была не только лояльна по отношению к существующей власти, но — по своему «радикализму» — просто несоизмерима с глобальными утопиями Достоевского.

«Правительственные силы, — сказал Тургенев, — которые заправляют и должны заправлять судьбами нашего отечества, могут еще скорее и точнее, чем мы сами, оценить все значение и весь смысл настоящего, — скажу прямо: исторического мгновения. От них, от этих сил, зависит, чтобы все сыновья нашей великой семьи слились в одно деятельное, единоедушное служение России, — той России, какую ее создала история».

Разумеется, в этих словах не было ничего «пунцового» (скорее Достоевского могло раздражить упоминание о «правительственных силах», под которыми можно было разуместь не только верховную власть, но и правящую бюрократию).

И уж, конечно, то, о чем говорил Тургенев, не имело ничего общего с программой и направлением «Отечественных записок»: там никогда не считали, что именно «правительственные силы... должны заправлять судьбами нашего отечества».

Между тем автор «Бесов» не желает замечать принципиальных различий между либеральным и демократическим лагерем (хотя в его отношениях к тому и другому можно проследить некоторые существенные нюансы). В его представлении «профессора» и «семинаристы» суть выкормыши одной идейной стихии и главное, что их объединяет, это полнейшее непонимание сокровенной (нравственной) сути народа. Русский интеллигентный слой, по его мнению, не есть народная интеллигенция: отсюда сугубое недоверие Достоевского к тем конституционным формам, при которых парламентские учреждения могут обратиться в органы корпоративного представительства.

«Заговор, — сказано в последней тетради. — Научатся у лаптей, как вести себя, говоря царю правду, тогда как теперь... в заговор против народа (обратится ваше увенчание здания)».

Интеллигенция должна учиться «у лаптей», как вести себя с властью. Точнее, все сословия должны пройти школу народного представительства: социальным педагогом в подобной школе должен быть сам народ.

Последнее слово

10 марта 1881 года — через несколько дней после казни народовольцами Александра II — Исполнительный комитет «Народной воли» обратился с письмом к новому императору.

«Заявляем торжественно, пред лицом родной страны и всего мира, — говорилось в письме Александру III, — что наша партия с своей стороны безусловно подчинится решению Народного Собрания...»

Итак, «Народная воля» полагалась на волю Народного собрания. Фактически подобное требование являлось программой-минимумом революционной партии.

Но очень близкое к этому предложение выдвигал и Достоевский: это тоже его программа-минимум.

С одной лишь разницей.

Для авторов письма Александру III созыв Народного собрания явился бы началом русской революции (или, во всяком случае, мощного революционного процесса). Для Достоевского такой созыв означает ее конец.

«И как плодотворно будет обучение,— записывает он,— сколько перебегут, как осиротеют доктринеры, вся молодежь от них отшатнется, даже взрыватели отшатнутся и примкнут к русской правде».

Одно и то же решение — предлагаемое «взрывателями» и предлагаемое Достоевским — должно, по мысли авторов, повести к результатам прямо противоположным. Это трагедия русского общественного сознания, ибо понятие «народ» и в той и в другой формуле остается великим неизвестным.

Есть и еще одно отличие. В письме «Народной воли» Собрание мыслится как всеобщее. Достоевский же предлагает «позвать» только «серые зипуны». Но значит ли это, что он исключает интеллигенцию из будущей политической жизни?

Вообще нет. Он говорит, что после «серых зипунов» и их слово плодотворно будет, ибо они все же ведь интеллигенты и последнее слово за ними».

Это чрезвычайно важное заявление. «Схема» Достоевского такова: первое слово говорит народ; интеллигенция учится у народа, и лишь после такой учебы она пронесит свое окончательное суждение.

Он убежден, что в этом случае оба слова совпадут.

Нужно только одно — «оказать доверие». То есть сделать именно то, на что решиться самодержавие органически неспособно.

Так замыкался круг, разомкнуть который он был не в силах.

Может быть, в глубине души он сознавал это, но все же не желал отказываться от своей надежды. Он хочет верить (и это, пожалуй, самое любопытное!), что русская революция склонится перед изъявлением народной воли: «взрыватели» примкнут к «русской правде».

Кто же останется?

«Останутся только старые доктринеры, отжившие свой срок, колпаки и либералы сороковых и пятидесятих годов».

Иными словами, русская революция ближе к «русской правде» (то есть нравственному решению вопросов), чем верящие в «механические успокоения» (конституцию) русские либералы. Они вне народа.

Поэтому в осторожных тургеневских иносказаниях Достоевский со свойственной ему способностью все доводить до крайности усмотрел еще одну (подкрепленную талантом и отсюда вдвойне соблазнительную) попытку действовать против народа: требование обозначить идеал как раз и имело целью подчеркнуть отсутствие его.

Такова в основных чертах идеологическая подоплека «обеденного инцидента» 1879 года. Однако его нельзя понять до конца, не сделав еще поправку на причины чисто психологические, на некоторые аспекты самой личности Достоевского.

Спрашивается: насколько типичен для Достоевского предпринятый им демарш и имелись ли какие-либо непосредственные «местные» причины, сделавшие его возможным?

Афронт в благородных домах

В своих воспоминаниях известный русский экономист профессор И. И. Янжул приводит следующий эпизод. Автор воспоминаний попросил Гайдебурова (дело произошло в его доме) познакомить его с писателем. «К сожалению, мой невольный порыв,— пишет Янжул,— встречен был Достоевским более нежели холодно, почему-то ему не понравилось звание профессора, которое прибавил при моей рекомендации Гайдебуров».

За столом общая беседа коснулась предметов совершенно невинных — собрания грибов и разведения овощей, в чем Янжул выказал себя большим знатоком. «Как вдруг раздался резкий, несколько визгливый голос Ф. М. Достоевского с другого конца стола... „Профессор, а профессор!—воскликнул он, хотя ему хозяин и назвал мое имя с отчеством.— Скажите, зачем вы занимаетесь в деревне скучным огородничеством, когда гораздо веселей и приятней садоводство!“».

Иван Иванович Янжул кротко и с достоинством изъяснил причины, долженствующие показать, почему он этим не занимается (ограниченность профессорского жалования и отдаленность получения желаемых плодов). «„Ну вот и неправда,— выстрелил Достоевский,— есть сорта яблонь, которые в два-три года дают фрукты... Напрасно, напрасно, попробуйте!“— и все это говорилось самым раздраженным, злым тоном. Присутствующие переглянулись, а Шелгунов со свойственной ему прямоотой, несколько не стесняясь и глядя в глаза Достоевскому, заметил мне полусмеясь: „Ну, что, как вам

нравятся, Иван Иванович, наши знаменитые писатели, не правда ли, мы их очень избаловали, давая возможность говорить все, что придет им в голову?!» Хозяин Гайдебуров умоляющим образом взглянул на Н. В. Шелгунова...»

Очевидно одно: Достоевский почему-то невзлюбил Янжула. Но только ли это обстоятельство послужило причиной его «антизастольных» выходов?

Прежде чем ответить на последний вопрос, остановимся на другом случае, «по типу» совершенно аналогичном предыдущему (его приводит в своих воспоминаниях Л. Оболенский).

На одном из ежемесячных литературных обедов (на сей раз не тургеневском, а рядовом) Н. С. Курочкин (поэт и врач, брат редактора «Искры» В. С. Курочкина) завел речь о жизнеспособности талантливых людей и, в частности, сослался на Салтыкова-Щедрина, у которого, по его словам, в молодости был порок сердца: другой с такой болезнью давно бы умер.

«Вдруг (этим «вдруг» начинаются все эпизоды подобного рода.— И. В.) Достоевский с криком и почти с пеной у рта набросился на Курочкина. Трудно даже было понять его мысль и причину гнева. Он кричал, что современные врачи и физиологи перепутали все понятия! Что сердце не есть комок мускулов и т. д. и т. п. Курочкин пытался возразить покойно, что он говорил только о «сердце» в анатомическом смысле, но Достоевский не унимался. Тогда Курочкин пожал плечами и замолчал: примолкли и все окружающие, с тревогой смотря на великого романиста...»

Тут хоть что-то можно понять. Ведь на сей раз застольный разговор коснулся вещей, которые могли показаться нейтральными кому угодно, только не Достоевскому. Он всегда отличался поразительной способностью идти вглубь — от первого очевидно-го ряда к более значительному и общему, от «слезинки ребенка» к вопросам мирового порядка. Разговор, затеянный Курочкиным, для Достоевского предлог, чтобы выйти на свои любимые темы — обличить «образованных» современников в легкодумности и верхоглядстве, в механическом подходе к человеку (к «тайне»), в несерьезности их отношения к жизни.

Всеволод Соловьев приводит еще один подобный случай, когда находившийся у него в гостях Достоевский был до глубины души возмущен тем обстоятельством, что знакомые хозяина дома — дамы-петербуржанки — не знали, где в Петербурге расположен Гутуевский остров.

«—...Не знаете, где Гутуевский остров!.. Прекрасно! Это только у нас и возможно подобное отношение к окружающему... Как это человек всю жизнь живет и не знает того места, где живет!...»

Что говорить, такой посетитель не подарок для хозяина. Он, если воспользоваться стихом Дениса Давыдова, бьет в гостиных не «в маленький набатик», а в большой набат. Такой звук непереносим для непривычного уха, ибо не соизмеряет свои возможности ни с домашним пространством, ни со слухом окружающих. И в данном случае возмущение Достоевского («...он раздражался больше и больше и кончил целым обвинительным актом») вызвано, конечно, причинами более существенными, чем «топографический идиотизм» действительно ни в чем не повинных петербургских дам. Гутуевский остров только символ, образ того, что, живя в России, можно вовсе не знать этой России (даже географически, ибо «извозчики довезут»), зловещее (хотя и на бытовом уровне) свидетельство отрыва образованного общества от отечественных корней.

Так; но чем все-таки виноваты огородничество и садоводство? Они, как думается, ни при чем. Ибо следует помнить, где, когда и при каких обстоятельствах происходит действие.

Да. Достоевский может, когда «подкатит шарик», съехидничать в гостиной Штакеншнейдеров, может быть нелюбезным, мрачным, дуться на гостей, говорить дерзости. Может на обычный вопрос о здоровье ответить Философовой: «Вам какое дело, вы разве доктор?» — и спорить до хрипоты с той же Анной Павловной о «православном боге». Но в этих с о и х домах он не злопамятен и отходчив: съязвив, сразу добреет и «как ни в чем не бывало» шутит со своей недавней жертвой. Не умеет он только одного — «быть высокомерным и выказывать высокомерие».

Он абсолютно не умеет играть: при всех обстоятельствах он остается самим собой.

Но то, что вполне могло бы сойти у своих — Философовой, С. А. Толстой, Штакеншнейдеров, — в ином месте и при иных обстоятельствах вдруг обращается в неуместную демонстрацию, идейный выпад (и даже, по словам Г. Градовского, в «допрос»).

Виновник скандала не принимает негласных правил общественной игры, не делает «поправку на публику» и, естественно, «выламывается из ряда».

И тут самое время заняться публикой: именно она в немалой мере способствовала тому, что произошло на тургеневском обеде.

Увы, это так.

К вопросу о публике

Вспомним: где главным образом происходят у Достоевского его, казалось бы, совершенно беспричинные вспышки? В литературном доме Гайдебурова, на рядовом и экстраординарном литературных обедах и т. д.

Это та среда, в которой Достоевский никогда не чувствует себя свободно. И дело не только в том, что здесь собираются сливки столичной интеллигенции, чьи политические симпатии глубоко враждебны Достоевскому. Дело еще и в его писательском положении, в его общественной репутации.

Когда Оболенский пишет о том, что все окружающие с тревогой смотрели «на великого романиста», он говорит это из будущего, то есть из того времени, когда создавались его воспоминания. В конце 70-х годов нашлось бы не так много людей, которые отважились бы назвать автора «Бесов» великим романистом. Никто, конечно, не отрицал его таланта, однако носитель этого таланта находился под общественным подозрением.

Особенно — в кругу «литературно обедающих».

Этот круг вынужден терпеть Достоевского не столько из-за пietetа перед ним самим, сколько из невольного уважения к его стремительно растущей славе. Именно на последние годы приходится бурный рост его популярности, именно в это время устанавливается непосредственная связь между ним и многосоставной читательской аудиторией. «Все алчущие и жаждущие правды,— говорит Штакеншнейдер,— стремились за этой правдой к нему; за малыми исключениями, почти все собратия его по литературе его не любили».

Он чужой среди своих: в кругу известных литераторов, либеральных профессоров и талантливых адвокатов он белая ворона. Он не вписывается в картину духовного довольтства и преуспевания: он, «человек экстремы», совсем из иного мира.

Та профессорская среда, с которой имеет дело Достоевский, инстинктивно сторонится крайностей. Ее вполне устраивает то, что есть (в том числе и в области общественной), желательны лишь с присовокуплением некоторых механических усовершенствований («увенчание здания»).

Достоевский записывает в последней тетради: «Государство создается для середины... Середина... формулировала на идеях высших людей свой срединный кодекс».

Он ставит на полях NB и семь восклицательных знаков.

Он враг этой срединной, нравственно приглушенной, «теплой» культуры. Он входит в ее крепнущий круг, затравленно озираясь: он здесь в явном меньшинстве. Поэтому он вечно закомплексован, вечно настороже: любое слово может вызвать у него повышенную, неадекватную реакцию, послужить толчком для неожиданных вспышек. И огорничество только предлог, чтобы выказать свое недовольство, явить неприязнь, разрядиться. Но если уж невинные сельские досуги профессора Ячжула вызвали у него такой гнев, можно себе представить, как воспринял он застольное слово Тургенева.

В своей речи Тургенев остался верен себе: он «подставил щеку». Каждому из присутствовавших разрешалось мысленно обозначить неназванную и от этого еще более заманчивую формулу.

«Скажите же теперь, какой ваш идеал?»— этот вопрос был обращен не только к Тургеньеву, он был обращен и к самому себе. Именно на него с безоглядной смелостью попытается он ответить через год с небольшим — в пушкинской речи.

Но в этот день, 13 марта 1879 года, в Петербурге произошло еще одно событие. Оно осталось не отмеченным ни в воспоминаниях о тургеневском обеде, ни в каких-либо специальных работах о Тургеньеве или Достоевском. Между тем представляется, что этот утренний инцидент находился в некоторой связи с тем, который имел место вечером — в зале ресторана Бореля.

Стрельба на полном скаку

13 марта 1879 года около часу дня карета, в которой помещался шеф жандармов генерал-адъютант Александр Романович Дрентельн, быстро ехала вдоль Летнего сада. Начальник III отделения (он сменил на этом посту Мезенцова) спешил в Зимний дворец на заседание комитета министров. Неожиданно с каретой поравнялся элегантно одетый молодой человек верхом на лошади; некоторое время он ехал рядом, затем выхватил револьвер и выстрелил в Дрентельна.

Пуля, влетевшая в окно кареты, вылетела в противоположное окно, минуя сачовного пассажира; молодой человек попытался сделать еще один выстрел, это ему не удалось (как выяснилось позднее, вторая пуля застряла в барабане). Нападавшему ничего не оставалось, как повернуть лошадь и скрыться (он-таки ушел от погони, бросив по дороге лошадь и пересев на извозчика)¹⁰.

«Да послужит этот случай,— грозно заявлял подпольный листок,— первым предупреждением г. Дрентельну. Исполнительный комитет, как известно, редко делает промахи».

Покушение, как мы уже говорили, совершилось около часу дня. Нет никакого сомнения, что присутствовавшие на тургеневском обеде (среди них было немало журналистов) уже знали эту первостепенную новость (сам обед происходил вечером).

Для Достоевского весть о случившемся могла стать последним эмоциональным толчком.

В своей речи Тургенев, в частности, сказал (не были ли эти слова косвенным откликом на утречнее происшествие?): «Напрасно станут нам указывать на некоторые преступные увлечения; явления эти глубоко прискорбны; но видеть в них выражение убеждений, присущих большинству нашей молодежи, было бы несправедливостью, жестокой и столь же преступной...»

Эти слова Достоевский должен был воспринять особенно остро. Вспомним его глубокое убеждение, что винить прежде всего следует отцов. Они, отцы, благодушествоуют и мирно обедают, в то время как дети проливают свою и чужую кровь.

Он запишет в последней тетради: «Передо мной стоял гимназист. Зарезать отца или спасти ребенка — одно и то же... Все перепуталось, и серьезнее, чем вы думаете, ибо они честнее отцов и переходят прямо к делу».

«Они честнее отцов», ибо они, как Раскольников, испытывают на себе. Они не ограничиваются теорией — и идут до конца. Это тоже «национальная черта поколения», которое, по мысли Достоевского, осуществляет на практике то, чего отцы вовсе не желали, но к чему они своим историческим прекраснодушием невольно подвинули детей.

Он требует признать духовное преемство.

(Это требование, однако, не вполне справедливо. Оно проистекает от бессознательного смешения двух линий, двух тенденций в русском освободительном движении. У Желябова и Софьи Перовской не было оснований признавать свое идейное родство с Анненковым или Кавелиным: это были люди совсем иного душевного склада.)

Можно понять психологическое состояние Достоевского вечером 13 марта. В переполненном избранной публикой зале ресторана Бореля звенели бокалы; речь шла о «высоком и прекрасном»; при этом не забывали упомянуть и о народе («От имени русских женщин и русского мужика,— не без иронии сообщало «Новое время»,— произнес тост Алексей Потехин»). Он оказался на банкете либеральной партии, избравшей Тургенева предлогом для заявления своих политических требований.

В это время на улице стреляли.

¹⁰ Покушавшегося — Л. Ф. Мирского (ему было около двадцати лет) — схватили позже в Таганроге, судили и приговорили к смертной казни. Он написал «извинительное» письмо Дрентельну, в результате чего был помилован. Далее следует цепь странных совпадений, имеющих некоторое отношение к Достоевскому. Мирский, находясь в крепости, выдал «петропавловский заговор» своего союзника С. Г. Нечаева (он помещался в соседней камере Алексеевского рavelина) и тем самым расстроил готовившийся Нечаевым побег (за всю историю крепости оттуда не удалось бежать ни одному заключенному). Нечаев (как известно, прототип одного из главных героев «Весов» — Петра Верховенского) умер в одиночном заключении 21 ноября 1882 года, то есть ровно в тринадцатую годовщину убийства им другого прототипа романа — студента И. И. Иванова.

Достоевский не мог не чувствовать двусмысленности происходящего. пышное обеденное действо, сладкоречивые (и пребывающие при этом в полной безопасности) ораторы — все это плохо гармонировало с грозным ходом событий, с горячим и кровавым дыханием 1879 года.

«Обеденный инцидент» испортил настроение обедающим. Правда, далеко не всем. «После живых картин Тургенев уехал, извиняясь страшной усталостью, а публика начала танцевать». Веселье достигло апогея, когда уже упоминавшаяся хорошенькая натурщица в древнегреческом костюме, уступая настойчивым требованиям гостей, вскочила на стол (справедливость требует сказать, что это происходило в отдельном зале) и лихо произнесла очередной тост. Живые картины вряд ли могли соперничать с этой натуральной сценой.

Тургеневский обед имел некоторое продолжение.

Вечер третий, и последний

Поскольку вечер 9 марта в пользу Литературного фонда удался на славу, решено было его повторить. 16 марта — через неделю после первой встречи (и через три дня после памятного обеда) — Тургенев и Достоевский вновь сошлись в зале Благородного собрания.

По настоянию публики Достоевский повторил отрывок, читанный 9 марта. Впечатление было не менее сильным. «Во многих местах, — сообщало «Новое время», — чтение прерывалось едва сдерживаемыми рукоплесканиями и восторженными криками, и только опасение за целостность, так сказать, впечатления останавливало их».

До нас не дошел голос Достоевского (он в отличие от Толстого не дожид до появления граммофона); не известно также ни одной фотографии, запечатлевшей его на эстраде. Поэтому о сценическом воздействии его личности мы можем судить лишь по отзывам очевидцев. И все они сходятся на одном: он был гениальный исполнитель.

Но тайна, увы, утрачена. Никакие внешние описания не в силах, по-видимому, передать секрет этого поразительного современников лицедейства, которое даже трудно назвать лицедейством в обычном смысле. «Разве я голосом читаю? Я нервами читаю!» — обмолвился он однажды, и это признание объясняет многое. Не актерство как таковое, не мастерство, не «сумма приемов», то есть не искусство, явленное как бы отдельно от «всего остального», а целостное переживание, та мера правды, которая «не читки требует с актера, а полной гибели всерьез».

«Читает он и говорит мастерски, — свидетельствует де Воллан, — за душу хватает его тихий надтреснутый голос, чувствуется, что перед вами глубоко страждущий человек, даже больной человек, не шарлатан фразы, а глубоко несчастный человек».

Печать личного страдания, но вызванного не только субъективными причинами. Его собственная «несчастность» могла бы лишь разжалобить публику, не больше. В его боли, столь ощутимой при выговаривании им своего текста, нечто сверхличное, общее, касающееся всех. Это дуновение мирового неблагополучия, наступающее слушателя и заставляющее его усомниться в благополучии собственного бытия.

16 марта закреплялось то, что было достигнуто 9-го. И этот успех был еще более важен: по-видимому, на настроении публики никак не отозвался скандал на тургеневском обеде.

«Гипноз окончился, — вспоминает очевидец, — только тогда, когда он захлопнул книгу (очевидно, это все-таки была рукопись, так как апрельский «Русский вестник» еще не выходил. — И. В.). И тогда началось настоящее столпотворение: хлопали, стонали, махали платками, какая-то барышня поднесла пышный букет, кому-то сделалось дурно...»

Итак, во-первых, выясняется, что в обморок падали не только после пушкинской речи. Во-вторых, следует остановиться на букете: он того заслуживает.

Цветы живые

Как было сказано, в вечере участвовал и Тургенев (его опять приветствовали стоя): он прочитал «Бирюка». Но гвоздем программы должно было стать совместное исполнение Тургеневым и М. Г. Савиной сцены из тургеневской «Провинциалки».

«Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?» — произнесла первую фразу юная и прелестная Савина, и зал, мгновенно уловив подтекст, взорвался аплодисментами.

Выступление с таким необычным партнером, как Тургенев, конечно, осталось ярчайшим воспоминанием в жизни Марии Гавриловны. (Кстати, именно в эти дни зарождается последняя любовь Тургенева — его нежное и грустно-безнадежное увлечение молодой актрисой.) Но она хорошо запомнила и другое.

«Когда вышел Достоевский на эстраду,—говорит Савина,—оvation приняла бурный характер: кто-то кому-то хотел что-то доказать. Одна известная дама Ф. (А. П. Философова.—И. В.) подвела к эстраде свою молоденькую красавицу дочь, которая подала Федору Михайловичу огромный букет из роз, чем поставила его в чрезвычайно неловкое положение. Фигура Достоевского с букетом была комична — и он не мог не почувствовать этого, как и того, что букетом хотели сравнить овации (очевидно, Тургеневу. — И. В.). Вышло бестактно по отношению «гостя», для чествования которого все собрались, и Достоевского, которому вовсе не нужно было присутствие «соперника» для возбуждения восторга публики».

Осмелимся предположить, что артистическая память все же изменила Савиной и она невольно сместила акценты. Понятно, что ее внимание сосредоточено на Тургеневе: он герой дня, с ним в паре она выходит на сцену, и естественно, что она ревниво относится к чужому успеху. «Мне хотелось,—простодушно признается Савина,—чтобы его (Тургенева.—И. В.) любили больше Достоевского».

Но, во-первых (осторожно возразим Савиной), это все-таки литературный вечер, в котором участвуют и другие писатели (а вовсе не чествование Тургенева). Во-вторых, Тургеневу преподнесли на этом вечере очередной венок («...перед принятием которого,—как свидетельствует другой воспоминатель,—он невольно сделал недоумевающий курьезный жест и начал раскланиваться»). И в-третьих, букет не столько создавал бестактность, сколько устранял ее, вознаграждая Достоевского, пользовавшегося на этом вечере ничуть не меньшим успехом, чем Тургенев.

Тургенев, приняв очередной венок, раскланивался не без кокетства; Достоевский к подобным подношениям еще не привык. «Ф. М.,—свидетельствует один из зрителей,—взял букет как-то нервно, не глядя, разом, и сунул куда-то за занавес, как будто бы прогнал мешающий ему предмет или отстранил от себя что-либо, мешающее ему наблюдать, анализировать, работать».

Если букет, как полагает Савина, и противопоставил Достоевского Тургеневу, то вслед за ним явилось событие совершенно обратное: оно как бы снимало инцидент на тургеневском обеде. «Публика,—вспоминает Садовников,—помирила его (Тургенева.—И. В.) с Достоевским, заставив выйти обоих рука об руку». «Вызывали Тургенева, Достоевского, наконец, Тургенева и Достоевского вместе: они вышли на вызов и обменялись на эстраде дружеским рукопожатием»,—подтверждает газетный отчет.

Это было вынужденное перемирие (вынужденное публикой). Но, как известно, худой мир лучше доброй ссоры. Эстрадный жест отвечал тому общественному настроению, которое в конце концов повело к «межпартийным» объятиям в дни пушкинских торжеств. Это было выражением подсознательного, но достаточно сильного стремления к общественному единству — единству всей русской культуры перед лицом грозных и неведомых событий, перед лицом общего врага. Молодежь (да и не только молодежь) инстинктивно чувствовала, что усилия Тургенева и Достоевского в конечном счете направлены к одной цели, что делящийся раскол играет на руку только тем, кто выступает противником этих целей. Аплодисментами, вызовами, требованиями подать друг другу руки пытались преодолеть реальную трагедию русского общественного сознания. Русская интеллигенция была слишком слаба, чтобы позволить себе такую роскошь — спокойно наблюдать бесплодную, по ее мнению, борьбу своих духовных вождей («Мыслимы ли партии,—замечает Савина,—когда сходятся такие колоссы, как Достоевский и Тургенев»).

И все-таки это был худой мир; недаром когда стихли рукоплескания, Достоевский за кулисами сделал Савиной следующий комплимент: «У вас каждое слово отточено, как из слоновой кости,—и прибавил не без яда: — а старичок-то пришепывает».

Вечер третий. Окончание

В этот же вечер очередную пятницу Полонского для общего удобства перенесли к Гайдебурову в его квартиру на углу Ивановской и Кабинетной улиц. Достоевского, который был постоянным посетителем у Полонских, на сей раз пригласила жена Полонского Жозефина Антоновна. Получилась накладка: еще ранее был зван и Тургенев. Яков Петрович шепнул об этом жене. «Достоевскому сейчас кинулось в голову, что Полонский не желает быть знакомым, сделал жене замечание по поводу его и пр., рассердился и начал везде распространяться о том, что его нога больше не будет у Полонских», — так передает Садовников эту «литературную» сплетню, впрочем весьма похожую на правду. Добрейшему Якову Петровичу пришлось лично ехать и уламывать своего старого приятеля.

Тургенев и Достоевский явились к Гайдебурову прямо после примирительной сцены. Тургенев несколько раньше. Он пребывал в хорошем расположении духа, но поскольку вечер проходил не у Полонского, а у «чужих», говорил сравнительно мало. «Вдобавок, — вспоминает Садовников, — скоро явился мизерный по наружности Достоевский. Я больше года, как не видал его. Он похудел, нос как-то заострился; то же трусливое (?! — И. В.) выражение нецветного (sic!) лица, как и тогда. Он вошел и сделал как-то недоумевающее общий поклон, точно боясь, что никто или многие на него не ответят. Вообще он, должно быть, страшно подозрителен».

Интересную черту являют иные вспоминатели. Так, и Градовский и Садовников явно недолюбливают Достоевского — и оба не забывают отметить его «мизерную» внешность. «Нецветное» (очевидно, бледное?) похудевшее лицо Достоевского («братья Карамазовы» дают себя знать) невыгодно контрастирует с «румяной, полной, здоровой» физиономией Тургенева, который, хоть и старше Достоевского тремя годами, выглядит значительно бодрее (переживет он, правда, его ненамного). Можно понять и «подозрительность»: после истории с приглашением и недавнего «обеденного инцидента» он должен чувствовать себя не очень-то ловко.

«Я заметил в голосе Достоевского, — продолжает Садовников, — до странности болезненные, нервные ноты. Весь организм его явно расшатан до невозможности, и довести автора «Преступления и наказания» до слез — ничего, я думаю, не стоит».

В том, что Достоевский легко уязвим, нет ничего удивительного. Поразительно другое: знаменитый писатель, работающий над своим последним романом, в присутствии Тургенева ведет себя точно так же, как тридцать с лишним лет назад, когда он, начинающий автор, выскакивал за дверь, думая, что смеющиеся шуткам Тургенева смеются над ним.

Публичное рукопожатие не уничтожило напряженности: может быть, поэтому и Тургенев и Достоевский уехали сразу же после чая, не соблазнившись обильным ужином.

Они не встретятся больше до будущей весны.

Воспоминания о тургеневских днях 1879 года надолго останутся в общественной памяти. Эти дни явятся своеобразным прологом к тому неизмеримо более значительному историческому действию, которое на краткий миг соединит русскую интеллигенцию под сенью памятника первому русскому поэту. Но это произойдет еще не скоро.

Однако пора «вернуться вперед» — к зиме 1880 года.

Глава IV. СВИДЕТЕЛЬ КАЗНИ

Государственный переворот

12 февраля 1880 года в петербургских газетах появился именной указ об учреждении Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Ей вменялось в обязанность «положить предел беспорядочно повторяющимся покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок».

Правительство вышло из недельного шока, последовавшего за взрывом в Зимнем дворце (взрыв был подготовлен «Народной волей» и 5 февраля осуществлен Степаном Халтуриним; царь и на этот раз уцелел). Диктатура, к которой не уставали призывать «Московские ведомости», была наконец установлена.

Однако это была диктатура особого рода. Дело заключалось в имени. Главным начальником Верховной распорядительной комиссии стал граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов.

Выходец из древнего армянского рода, боевой генерал и недавний покоритель Карса, он привлек к себе внимание России не только этим победоносным штурмом. Будучи в 1879 году генерал-губернатором Харькова, он ухитрился не повесить там ни одного человека (не в пример своим коллегам в Киеве, Одессе и Петербурге), чем и завоевал симпатии пораженных таким обстоятельством либералов.

Дарованные ему полномочия были почти безграничны. Ему предоставлялась власть «делать все распоряжения и принимать вообще все меры, которые он признает необходимыми... как в С.-Петербурге, так и в других местностях империи». Он становился главноначальствующим в городе Петербурге, ему подчинялись III отделение и корпус жандармов. «Человек со стороны», далекий от двора и почти неизвестный в высших сферах, превращался в фактического правителя России. «Ни один временщик, — признавался он впоследствии, — ни Меншиков, ни Бирон, ни Аракчеев, — никогда не имели такой всеобъемлющей власти».

«Диктатура полнейшая, — записывает 15 февраля в своем дневнике знакомый Достоевского, генерал А. А. Киреев. — Вице-император. Что ж, если настоящему императору не удастся сладить с нигилистами, то пусть ладит кто иной. Государю-то, пожалуй, вешать не слишком удобно». И повторяет ту же мысль в письме сестре О. Новиковой: «Делегация почти царской власти Лорису есть полуабдикация (отречение от престола. — И. В.), с другой стороны, что же делать?»

Учреждение Верховной распорядительной комиссии было своего рода государственным переворотом сверху.

С первых же шагов Лорис-Меликов постарался показать, что будет пользоваться врученной ему властью с известной осторожностью. Его обращение «К жителям столицы» было составлено в решительном и одновременно заигрывающем тоне.

«Не давая места преувеличенным и поспешным ожиданиям, — заявлял начальник Верховной распорядительной комиссии, — могу обещать лишь одно — приложить все старания и умение к тому, чтобы, с одной стороны, не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни перед какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество, а с другой — успокоить и оградить законные интересы его благомыслящей части. Убежден, что встречу поддержку всех честных людей, преданных государю и искренно любящих свою родину, подвергшуюся ныне столь незаслуженным испытаниям».

Далее следовало самое примечательное: «На поддержку общества смотрю, как на главную силу, могущую содействовать власти к возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества».

К обществу впервые обращались по-человечески; более того — обращались с просьбой. К подобному языку не привыкли.

Так начиналась «диктатура сердца».

У Достоевского могли явиться надежды, что его собственная программа, предусматривающая «русское решение вопроса», получает хоть какой-то шанс осуществиться. Как же отнесся он к столь резкому повороту государственной жизни и к самому Лорис-Меликову?

Опасения и упования

Первое, что его беспокоит, это в чьих руках окажется дело. Он настойчиво вопрошает Суворина, «хорошими ли людьми окружит себя Лорис, хороших ли людей пошлет он в провинцию? Ведь это ужасно важно. А хорошие люди есть, выбирать есть из чего». Как и всегда, Достоевского волнует не форма, а суть, чисто человеческая сторона проблемы. Для него не столь важно, хороши или плохи те или иные установления: он хочет знать, кто будет проводить их в жизнь.

Он желает убедиться в исторической компетентности нового руководителя государства, в глубине его ретроспективного понимания русской жизни. «Да знает ли он, — не отстает от Суворина Достоевский, — отчего все это происходит, твердо ли знает он причины?...»

Иными словами: понимает ли Лорис свою миссию только в первом приближении — как непосредственную борьбу с крамолой — или же у него достанет сил пойти

вглубь, осознать проблему, которую он призван решать, не в категориях привычного, инерционного, сугубо бюрократического мышления, а в контексте всей русской истории? «Ведь у нас всё злодеев хотят видеть»,—сердито добавляет Достоевский, и похоже, что в данном случае его раздражение направлено против тех, кто полагает простым искоренением «злодеев» искоренить самое злодейство.

15 февраля (то есть в день, когда появилось воззвание Лорис-Меликова) Софья Ивановна Смирнова (писательница, жена актера Александринского театра Н. Ф. Сазонова) посетила Достоевского. Она записывает в дневнике: «Б<ыла> у Достоевского. Он сидит больной, недавно б<ыл> припадок. Рассказывает мне план св<оего> романа. Гов<орит> о верховной комиссии, о том, как Лорис-Меликов будет ловить революционеров, о том, что его воззвание «К общ<еству>» плохо редактировано».

Он пребывает в двух жизненных кругах одновременно: в своем все время раздвигающемся романном пространстве и в том мире, который свидетельствует о себе со столбцов сегодняшних газет. Эти круги незримо связаны между собой.

«Говорит... как Лорис-Меликов будет ловить революционеров...»—записывает Смирнова-Сазонова, и в этом нейтральном неразвернутом сообщении можно ощутить все тот же акцент: опасение, что дело ограничится только административными мерами.

Он знал силу слова — и ему, писателю, не понравилась редактура (в свое время первое, что сделал Огарев, разбирая в «Полярной звезде» коронационный манифест Александра II, это выбрал стиль¹¹). Но ведал ли он о том, что воззвание Лорис-Меликова (как недавно выяснилось) было составлено близким к Суворичу публицистом К. Скальковским по образцу воззваний Наполеона III, а затем отредактировано самим Суворичем? (Кстати, этот малоизвестный факт объясняет некоторые недомолвки суворинских воспоминаний: может быть, издатель «Нового времени» сообщил Достоевскому о своем участии в политическом дебюте Лорис-Меликова, почему тот и донимал его вопросами.)

И все-таки, несмотря на все свои опасения, он надеялся: «Я ему (Лорис-Меликову.—И. В.) желаю всякого добра, всякого успеха...»

20 февраля, по свидетельству Суворина, «он был необыкновенно весел». Издатель «Нового времени», просидевший у него два часа, утверждает, что он «радовался замирению» (именно так поняты им последние события) и с большим оптимизмом смотрел в будущее: «Вот увидите, начнется совсем иное. Я не пророк, а вот вы увидите. Нынче все иначе смотрят».

Так говорит Суворин в своих воспоминаниях. Теперь обратимся к его дневниковой записи, повествующей о тех же событиях. Хотя текст этот достаточно хорошо известен, он заслуживает самого пристального внимания.

Христос у магазина Дациаро

Суворин подробно записывает, как он 20 февраля посетил Ф. М. Достоевского: «Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком его гостининой набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно как будто носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал:

— А у меня только что прошел припадок. Я рад, очень рад.

И он продолжал набивать папиросы».

Естественно, что разговор зашел о недавнем взрыве в Зимнем дворце. «Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться».

Обратим внимание: речь касается нравственной оценки.

«— Представьте себе,—говорил он,—что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину»... Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств

¹¹ «Мне скажут, что это маловажно,— писал Огарев.— Нет! не маловажно! Это значит, что правительство не умеет найти грамотных людей для редакции своих законов... Это явление страшное, которое приводит в трепет за будущность, ибо носит на себе печать бездарности».

и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить».

«Если сравнить,— пишет Л. П. Гроссман,— эти колебания Достоевского с его чрезвычайно мужественной и честной позицией на политических допросах 1849 года, придется пожалеть об упавшей общественной морали великого романиста».

Мы поостереглись бы делать столь решительное умозаключение. Ибо колебания свидетельствуют как раз об обратном: о самом пристальном, самом жгучем внимании как раз к проблемам общественной морали.

В 1849 году он действительно вел себя мужественно и честно: он поступал в соответствии со своими убеждениями. Он не отрекся ни от чего, во что искренно верил; не выдал никого из своих товарищей.

Теперь, в 1880 году, он «моделирует» совершенно иную нравственную ситуацию. А именно: как должно вести себя по отношению к своим политическим противникам в минуту двойной смертельной опасности. Опасности, во-первых, для них самих, а во-вторых, для других (в том числе не только для царя: десять убитых и пятьдесят искалеченных во время взрыва в Зимнем дворце солдат Финляндского полка — по-видимому, не последняя величина в условиях этой поставленной самому себе задачи).

Рассматриваются две возможности: просто пойти предупредить и тем самым предотвратить взрыв и гибель людей или обратиться к городовому, чтобы он задержал преступников.

Оба этих варианта по размышлении отвергаются.

Тут следует обратиться к одной предсмертной полемике.

В своей последней записной книжке Достоевский ведет жестокий спор с одним из самых заслуженных либералов — профессором К. Д. Кавелиным. Спор о том, что такое нравственность.

Кавелин утверждал, что нравственность определяется очень просто: верностью своим убеждениям.

«Сжигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком,— возражает Достоевский,— ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь честность (русский язык богат), но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос. Спрашиваю: сжег ли бы он еретиков,— нет. Ну так, значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный».

Против этой записи на полях он ставит NB, три плюса и два восклицательных знака.

Он возвращается к этой теме с какой-то удивительной настойчивостью, как будто предчувствуя, что этот диалог последний.

«Проливать кровь вы не считаете нравственным, но проливать кровь по убеждению вы считаете нравственным. Но, позвольте, почему безнравственно кровь проливать?»

Это моральная проблема Родиона Раскольникова.

Действительно: если пролить «крови по совести» (то есть в согласии с внутренним убеждением) допустимо (а именно так полагает Раскольников), тогда в принципе допустимо любое пролитие крови, ибо подходящие «убеждения» всегда найдутся. Убийство может быть оправдано соображениями высшей целесообразности, но от этого само по себе оно не становится моральным актом.

«Нравственно,— записывает Достоевский,— только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы ее воплощаете».

Раскольникова погубила эстетика: перешагнув порог этический, он споткнулся именно на ней — оказался «эстетической вошью». Сходная участь постигла и Ставрогина («Некрасивость убьет,— прошептал Тихон, опуская глаза», после того как выслушал исповедь Ставрогина о растленной им Матреше).

Этика, не совпадающая с идеалом красоты, грозит своему адепту самоуничтожением.

В споре с Кавелиным Достоевский оперирует примерами историческими. Сжигание еретиков — это эпоха Великого инквизитора, «ночь средневековья».

В разговоре с Сувориным Достоевский говорит, что он мысленно перебрал все причины, которые могли бы заставить его донести на взрывателей. «Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто — боязнь прослыть доносчиком».

Думается, что в последнем случае Достоевский кое-что недоговаривает. Среди «не позволяющих» причин были не только одни «ничтожные».

В той же записной тетради сказано: «...иногда нравственнее бывает не следовать убеждениям, и сам убежденный, вполне сохраняя свое убеждение, останавливается от какого-то чувства и не совершает поступка».

Донос — даже в соответствии с убеждениями — не становится от этого эстетически ценным. «Некрасивость» убийства не выкупается «красотой» предательства.

Как же должен был поступить Христос (или, что легче представить, Алеша Карамазов), окажись он у магазина Дациаро? Лично схватить преступников или крикнуть городового, то есть вмешать в дело «кесаря»? Броситься в Зимний дворец и погибнуть вместе со взрываемыми?

Из этого положения не было выхода.

«Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния» — так передает Суворин слова Достоевского. Выставляется причина внешняя и, по сути, не главная. До отчаяния могла скорее довести собственная совесть — колебание нравственное.

Либералы, однако, упомянуты не случайно. Отношение либерального общества к политическому террору своей двусмысленностью подавало повод вспомнить поведение Ивана Карамазова, уезжающего перед убийством отца в Чермашню. Такая нравственная позиция невыносима для Достоевского. Но, как сказано, невыносима и мысль о возможности политического доноса (уж никак не совпадающего с «чувством красоты»).

Вопрос о личном моральном самоопределении оставался открытым.

Еще один промах

В те самые часы, когда Достоевский вел долгую беседу с издателем «Нового времени», собеседники еще не знали, что на улицах Петербурга происходит нечто, имеющее самое непосредственное отношение к их сегодняшнему разговору.

Около двух часов дня 20 февраля граф Лорис-Меликов возвращался домой после похорон графини Протасовой. Карета главного начальника Верховной распорядительной комиссии остановилась на углу Большой Морской и Почтамтской — у дома, где квартировал граф. Городовые, стоявшие у подъезда, замерли и взяли под козырек. Михаил Тариелович уже поднялся было на крыльцо, как вдруг, по словам газетного отчета, «какой-то человек, оборванный, грязно одетый, подскочил с правой стороны к графу и, уперев револьвером в правый бок графа, ближе к бедру... выстрелил и тотчас уронил пистолет из рук».

Лорис-Меликов не был даже ранен. Боевой генерал, он не считал возможным бежать с поля боя.

«Граф... ни на секунду не теряя присутствия духа, сбросил шинель и соскочил на тротуар, чтобы схватить преступника». Но того уже взяли, взятие, натурально, сопровождалось избиением. Граф направился в дом, пошутив с народом, что его пули не берут. Преступника связали и увезли, при этом он попросил застегнуть на себе сюртук, чтобы не простудиться.

Покушавшимся оказался двадцатичетырехлетний Ипполит Осипович Млодецкий (или, как сказано в некоторых официальных документах, Молодецкий), мещанин города Слуцка Минской губернии.

Некоторое время назад Млодецкий скитался по Петербургу, и его часто встречали на Дворцовой площади. Как лицо без определенных занятий он был выслан из столицы на родину. В Минске он несколько ночей добровольно провел в участке, платя за полицейское гостеприимство перепиской рапортчиков. Затем похитил револьвер системы «ляфшо» и исчез, чтобы объявиться уже в новом качестве.

Млодецкий действовал на свой страх и риск: его поступок не был санкционирован «Народной волей». Он хотел нанести удар непременно 19 февраля (в этот день праздновалось двадцатипятилетие царствования), но, не зная Лорис-Меликова в лицо, замедлил на сутки.

Вместо ожидаемых в дни юбилейных торжеств взрывов, пожаров и прочих ужасных катаклизмов раздался один-единственный выстрел, так и не попавший в цель.

Тем не менее событие произвело сильнейшее впечатление и в России и за границей.

«В заграничных газетах пишут,—отмечает в своем дневнике С. И. Смирнова-Сазонова,— что выстрел Млодецкого стоил России 12 миллионов. Пишут также, что вопрос о падении нашей династии—вопрос только времени. Нетерпеливые ожидания революции в России; фантастич<еские> иллюстрации с представлениями взрывов и поимки нигилистов».

Как же отнесся к событию Достоевский?

«Покушение на жизнь графа Лорис-Меликова его смутило,—свидетельствует Суворин,— и он боялся реакции. „Сохрани бог, если повернут на старую дорогу“».

Свидетельство, если вдуматься, знаменательное. Оно показывает, чего опасался Достоевский в первую голову. Разумеется, он не одобряет покушений, но негодование его в данном случае обращено не столько на преступника, сколько на очевидную неуместность его деяния. Его страшат последствия. Он боится ответных действий со стороны власти. Он говорит о той роли, какую может сыграть (и, как мы знаем, до сих пор играет) политический экстремизм: роль прелюдии к политической реакции.

Да, сы был противником революционных мер. Однако в не меньшей степени, чем революции, автор «Бесов» страшится контрреволюции.

«Сохрани бог, если повернут на старую дорогу».

«На старую дорогу», окаймленную долгим рядом виселиц, окончательно повернули через год — после 1 марта; правда, этого Достоевский уже не увидел.

Одна виселица, впрочем, была воздвигнута.

Два утра с интервалом в тридцать лет

Суд над Млодецким оказался скорым. К вечеру того же дня, 20 февраля, следствие было закончено. На следующий день в половине одиннадцатого утра обвиняемый предстал перед С.-Петербургским военно-окружным судом, который в час пополудни вынес приговор; 22 февраля Млодецкий был повешен.

Достоевский присутствовал при казни.

Какие причины заставили его сделать это? Зачем понадобилось ему встать чуть свет (ему, «сове», привыкшему к ночной работе и поздним пробуждениям) и еще не оправившемуся после недавнего припадка тащиться на Семеновский плац, присутствовать, быть свидетелем, видеть?

26 февраля, через четыре дня после казни Млодецкого, у великого князя Константина Константиновича, будущего небесталанного поэта К. Р., состоялся вечер «с Достоевским и дамами».

В утонченной дворцовой обстановке, в присутствии дам самого высшего общества Достоевский заводит разговор совершенно несветский: о том, что он видел там. Константин Константинович занес этот разговор в свой дневник; запись эта достаточно лаконична. Попробуем, опираясь на газетные источники, восстановить всю картину.

Слух о казни Млодецкого распространился к вечеру 21 февраля, именно слух, так как о предстоящей казни утренние газеты сообщить не успели (возможно, правда, что днем были вытущены специальные газетные прибавления). На Семеновском плацу трудились плотники. Поздно вечером поручик Судоплатов осмотрел эшафот, а также уже послужившие в свое время Дубровину «позорные дроги», которые согласно инструкции надлежало немедленно «по исполнению казни... вернуть обратно в крепость».

21 февраля, очевидно еще до первых известий о приговоре (или, по крайней мере, до известий о времени и месте казни), двадцатипятилетний Всеволод Гаршин написал письмо, адресованное Лорис-Меликову.

«Ваше сиятельство,—обращается к диктатору молодой писатель,—простите преступника! В Вашей власти не убить его человеческую жизнь... Помните... что не виселицами и не каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения. Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу — положите начало казни и идеи, его пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно уьете нравственную силу людей, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против Вашей честной груди».

О времени исполнения приговора Гаршину стало известно еще до отправления этого письма. И он делает следующую приписку: «Сейчас услышал я, что завтра казнь».

Неужели? Человек власти и чести! Умоляю Вас ради преступника, ради меня, ради Вас, ради государя, ради родины и всего мира, ради бога».

Это крик души — души ужаснувшейся и потрясенной.

Справедливо замечено, что письмо Гаршина по своему замыслу и аргументации предвосхищает позднейшие призывы Вл. Соловьева и Л. Толстого к Александру III о помиловании первомагтовцев. Но оно является также и своеобразным комментарием к известной записи Достоевского о казни Квятковского и Преснякова (хотя эта запись сделана значительно позднее), к кругу «повторяющихся» идей, владевших им в этот последний год его жизни. Письмо Гаршина свидетельствует о реальности (и в известной мере даже типичности) тех общественных умонастроений, на которые пытался опереться автор пушкинской речи в поисках выхода из исторического тупика.

Трудно сказать, узнал ли когда-нибудь об этом письме Достоевский. Но он мог знать о другом: о событиях, случившихся после отсылки гаршинского письма и ставших вскоре известными в литературных кругах.

В ночь с 21 на 22 февраля, не надеясь, очевидно, на действенность своего послания, Гаршин в чужой, «важной» шубе явился домой к Лорис-Меликову и, несмотря на поздний час, был принят.

Какой между ними произошел разговор — никому не известно. По одной версии, Гаршин, рыдая, на коленях умолял Лорис-Меликова помиловать Млодецкого, по другой — грозил ему, говоря, что у него под ногтями сокрыты пузырьки с ядом и ему ничего не стоит, оцарапав графа, отправить его на тот свет.

Любезному, умеющему располагать к себе Лорис-Меликову удалось успокоить Гаршина — и тот уехал домой, надеясь, что всемогущий генерал что-нибудь предпримет; в это время на Семеновском плацу заканчивались последние приготовления¹².

Народ стал собираться с семи часов утра: газеты оценивают общее количество собравшихся «тысяч в шестьдесят». Люди усеяли крыши домов, высокие мишени семеновского стрельбища и даже забирались на крыши вагонов Царскосельской железной дороги.

Виселица, сколоченная из трех балок, и врытый подле нее позорный столб были, как и полагалось, выкрашены черной краской. Рядом воздвигли платформу для представителей власти, которые не замедлили прибыть: градоначальник Зуров, чиновники военно-окружного суда и другие начальствующие лица.

Вокруг виселицы было построено в каре четыре батальона гвардейской пехоты с отрядом барабанщиков впереди. С внешней стороны каре разместился жандармский эскадрон.

Общая картина (за исключением деталей) должна была напоминать 22 декабря 1849 года.

...Прошлой зимой Достоевский был на очередной пятнице у Якова Петровича Полонского. Полонские жили тогда на углу Николаевской и Звенигородской, с видом на Семеновский плац.

Хозяин «сам подвел Достоевского к окну, выходящему на плац, и спросил:

— Узнаете, Федор Михайлович?

Достоевский заволновался...

— Да... Да!.. Еще бы... Как не узнать?..»

Через много лет Анна Григорьевна сделала к тому месту «Идиота», где описывается смертная казнь, следующее примечание: «Для Федора Михайловича были чрезвычайно тяжелы воспоминания о том, что ему пришлось пережить во время исполнения над ним приговора по делу Петрашевского, и он редко говорил об этом. Тем не менее мне довелось раза три слышать этот рассказ и почти в тех же самых выражениях, в которых он передан в ром<ане>...»

Гости Полонского услышали один из таких рассказов.

«...Холодно!.. Ужасно холодно было! Это самое главное. Ведь с нас сняли не только шинели, но и сюртуки... А мороз был двадцать градусов...»

Очевидец, присутствовавший тогда, в 1849 году, на площади, утверждает, что Достоевский «не был бледен, довольно быстро взошел на эшафот, скорее был тороплив, чем подавлен». По другому свидетельству, он был даже восторжен. «Nous serons avec le Christ» («Мы будем вместе с Христом»), — сказал он Спешневу. «Un peu de poussière» («Горстью пепла»), — насмешливо отозвался тот.

¹² Совершившаяся казнь Млодецкого была одной из причин начавшегося у Гаршина тяжелого душевного расстройства.

Во время чтения приговора сквозь туман проглянул красный солнечный шар — и лучи его заиграли на куполах Семеновской церкви. «Не может быть, чтобы нас казнили», — сказал Достоевский Дурову. Тот молча указал рукой на телегу, покрытую рогожей: он полагал, что там стоят гробы (после оказалось, что это арестантское платье).

...22 февраля 1880 года мороза не было: утро выдалось серенькое, унылое, слякотное. Люди на площади терпеливо ждали.

Где именно стоял Достоевский, мы не знаем, да это и не столь важно. Важно другое: почему он был там.

Помимо слишком явных причин, приведших его на это столь знакомое ему место, помимо желаний видеть «все, что касается человека, все положения его жизни, его радости и муки» (так излагает он свои мотивы К. Р.), кто знает, не было ли здесь еще одной причины — тайной? Не мелькала ли у него безумная надежда, что в последнюю минуту казнь будет остановлена?

Для такой надежды имелись известные основания.

До сих пор за все текущее столетие Петербург видел только две публичные казни (из состоявшихся четырех): 3 сентября 1866 года повесили Каракозова, 28 мая 1879-го — Соловьева (декабристов и Дубровина казнили в крепости — тайно). Но столица хорошо запомнила также две инсценировки.

Жертвой первой из них был сам Достоевский.

...«По выходе из экипажей,—говорилось в высочайше утвержденном «сценарий», — встретить их священнику в погребальном облачении, с крестом и св. Евангелием и, окруженному конвоем, провести по фронту и потом пред середину войск».

«Не могли же они шутить даже с крестом!» — скажет впоследствии Достоевский. Очевидно, могли: священник исполнял роль статиста...

Описание казни петрашевцев, в общем, хорошо известно. Не было произнесено только короткое слово «пли!», в остальном же обряд был исполнен полностью. Гораздо меньше знают о другом спектакле, который по своей режиссуре очень напоминает действие 1849 года. Для его устроителей, надо полагать, не прошел бесследно уникальный опыт расправы над петрашевцами.

Но об этом следует сказать особо.

Знакомство в день казни

Ранним петербургским утром 4 октября 1866 года на Смоленское поле были доставлены осужденные по каракозовскому делу (самого Каракозова казнили месяцем раньше). Маленького горбатого Ишутина (его одного приговорили к смерти) поставили под виселицу, остальных — к позорным столбам.

Один из этих остальных так описывает происходящее: «Мы взошли на эшафот... Перед нашими глазами готовились повесить Ишутина; его закутали в какой-то белый мешок, накинули петлю на шею, причем он так согнулся, что совершенно походил на живой окорок. Это была возмутительная сцена. Его продержали в петле десять минут и потом уже объявили монаршее повеление».

Попробуем, опираясь на до сих пор не использованные газетные источники, воссоздать подробности этого дня, который, как выяснится, сыграл в жизни Достоевского исключительную роль.

Казни политических отличались в столице завидным единообразием: и петрашевцы, и Каракозов, и Ишутин, и Млодецкий прошли через один и тот же тщательно регламентированный ритуал.

«Священник заговорил с преступником, — сообщает газета, — потом последний стал на колени, молился, поднялся снова, припал губами (к кресту.— И. В.) и долго от него не отрывался, священник благословил его и осенил еще раз крестом. Наступило молчание, словно на этой площади не было ни одного человека». Ишутин, как уже говорилось, ждал несколько минут. Возможно, что это промедление было тщательно рассчитано: паузе надлежало оттенить развязку.

«Как вдруг в толпе раздался громко голоса: «Фельдъегерь, фельдъегерь едет! Помилуйте!» Действительно в каре въехал фельдъегерь на обыкновенных дрожках с плоскими рессорами, запряженных парю в дышло, как обыкновенно фельдъегери ездят по городу. Он держал в руках бумагу, которою махал, поднося ее высоко над головою».

«Веревку с петлей быстро вытянули из кольца, — повествует другой корреспондент, — она упала мгновенно, и это вызвало шумный радостный взрыв в народе.. Монаршее милосердие было общим предметом разговоров».

Власть понимала толк в театральных эффектах.

Петрашевы были помилованы в последний момент; в последний момент была возвращена жизнь Ишутину. Не позволительно ли было надеяться, что и на сей раз не совершится и что несчастного Млодецкого в худшем случае ожидает участь его «счастливых» предшественников?

4 октября 1866 года (то есть в день несостоявшейся казни Ишутина) Достоевский находился в Петербурге и в принципе мог присутствовать на Смоленском поле. Но здесь мы обнаруживаем одно поразительное совпадение. Не менее поразительно, что оно до сих пор не было замечено.

4 октября 1866 года — важнейшая дата биографии Достоевского. В этот день он познакомился со своей будущей женой Анной Григорьевной Сниткиной.

Воспоминания Анны Григорьевны об этом событии прекрасно известны.

(Наряду с этими воспоминаниями мы пользуемся также женевским — стенографическим — дневником Анны Григорьевны 1867 года. Записи об интересующем нас дне сделаны в нем ровно через год после описываемых событий и воспроизводят их более подробно и непосредственно, чем позднейшие воспоминания.)

Как известно, предложение о работе у Достоевского было сделано Анне Григорьевне в понедельник, 3 октября ее преподавателем стенографии П. М. Ольхиным. Вручая адрес писателя, Ольхин, по словам Анны Григорьевны, прибавил, что «непременно следует быть там в половине 12-го, ни раньше, ни позже, а именно тогда, когда он мне назначил».

Казнь Ишутина состоялась в 8 часов утра.

Мог ли Достоевский присутствовать на казни?

Теоретически мог вполне: он успел бы к половине двенадцатого вернуться домой — в Столярный переулок. Представить же такой вариант практически весьма затруднительно: во-первых, он поздно вставал, во-вторых, время визита было назначено заранее. Так что вряд ли до половины двенадцатого он выходил из дома.

Известно, какое впечатление произвел Достоевский на Анну Григорьевну. Но вчитаемся еще раз: «Показался он мне очень странным: каким-то разбитым, убитым, изнеможенным, больным, тем более что сейчас мне объявил, что страдает болезнью, именно падучей».

И внешний вид и душевное состояние Достоевского вполне объяснимы: в это время забот у него хватало (неоконченное «Преступление и наказание», история со Стелловским, кредиторы и т. д.). Октябрь 1866 года — один из самых критических моментов его жизни. Однако Анна Григорьевна, впоследствии хорошо изучившая мужа, подмечает, что в этот день он был озабочен сверх обыкновенного. «Он как бы был уж слишком расстроен и, кажется, даже не мог собраться с мыслями. Несколько раз он принимался ходить, как бы забыв, что я сижу тут, и, вероятно, о чем-нибудь думал, так что я даже боялась опять ему как-нибудь не помешать».

Рассеян, раздражен («Вообще он был какой-то странный, не то грубый, не то уж слишком откровенный»), чем-то подавлен — все это в нем не столь уж необычно. Но, как мы убедимся, точно такое же психологическое состояние овладевает им и после казни Млодецкого.

«Наконец, — продолжает Анна Григорьевна, — он мне сказал, что теперь диктовать не в состоянии, а что не могу ли я прийти к нему эдак сегодня вечером часов в 8». На этом и порешили.

Что же получается? Основная цель, которую преследовало это свидание (диктовка) и к наилучшему осуществлению которой должны были подготовиться оба собеседника, так и не была достигнута. И не потому ли, что на одного из них, помимо всех прочих причин, подействовало какое-то дополнительное (и экстраординарное) обстоятельство?

То, что произошло вечером, подтверждает такое предположение.

Ровно в восемь Анна Григорьевна вновь у Достоевского. Однако и на этот раз он не спешит приступить к диктовке. Он затевает разные посторонние разговоры: расспрашивает о семействе, интересуется ее воспитанием и образованием и т. д. И наконец — «он начал рассказывать про себя».

О чем же поведал сорокапятилетний писатель двадцатилетней девушке, которую он видел впервые в жизни (если не считать утренней встречи) и которая пока оставалась для него совершенно чужим человеком?

Он, как свидетельствует его собеседница, заговорил о самом страшном своем воспоминании. О том, «как он четверть часа стоял под боязнью смертной казни и как ему оставалось жить только 5 минут, наконец, он доживал минуты, и как ему казалось, что не 5 минут осталось, а целых 5 лет, 5 веков, так ему было еще <долго> жить». И далее следуют известные подробности.

«Почему-то (разрядка моя. — И. В.), — говорит Анна Григорьевна в воспоминаниях, — разговор коснулся петрашевцев и смертной казни».

Позволительно спросить: почему?

«Федя очень много мне в этот вечер рассказывал, — заключает (в дневнике) Анна Григорьевна, — и меня особенно поразило одно обстоятельство, что он так глубоко и вполне со мной откровенен. Казалось бы, этот такой по виду скрытный человек, а между тем мне рассказывал все с такими подробностями и так искренно и откровенно, что даже странно становилось смотреть».

С чего бы? Зачем вдруг ему, человеку, трудно сходящемуся с посторонними, отнюдь не охотнику до скорых душевных излияний, вздумалось исповедоваться перед юным существом, безмолвно внимавшим его ужасным признаниям? Ведь не рисовался же он перед ней этим. Тем более что он не любил вспоминать эту историю, и, как мы уже знаем, Анне Григорьевне довелось слышать ее из его уст не более трех раз.

Конечно, все можно объяснить одним словом: одиночество (Анна Григорьевна так это и объясняет).

Одиночество подвигает на странные поступки. И психологически вполне объяснимо (и даже естественно), что самое сокровенное «вдруг» поверяется вовсе незнакомому человеку.

Все это так. Но не уместно ли ко всем указанным причинам теперь прибавить еще одну?

Независимо от того, был или не был он в тот день на Смоленском поле, он не мог не знать о совершающейся драме¹⁹.

При первой, утренней, встрече с Ачной Григорьевной, думая о том, что только что произошло там (известие о помиловании могло еще не достичь Столярного переулка), он не в силах собраться, взять себя в руки, приступить к делу. Ибо само дело, как он любил повторять, требовало спокойствия душевного.

Вечером того же дня мы наблюдаем совсем иную картину.

Он более приветлив, более общителен и разговорчив (как сейчас сказали бы — более коммуникабелен). Расположение его духа явно переменялось. Разумеется, в восемь часов он уже знает о помиловании. Не это ли известие послужило толчком к его исповеди? Могло ли не поразить его сходство положений, одинаковость развязки, тайное сближение судеб? И не потому ли явился сам рассказ о казни петрашевцев, что разговор зашел об утренних событиях?

Анна Григорьевна не говорит об этом ни слова.

Думается, что это умолчание могло быть продиктовано одним субъективным и вполне извинительным мотивом.

4 октября 1866 года — слишком большой и слишком светлый день в жизни Анны Григорьевны, чтобы связывать его, даже в интимных записях, с каким-либо мрачающим обстоятельством. Тем более когда дело касается политического преступления: и в записных книжках и в воспоминаниях Анна Григорьевна не жалует политику.

И тем не менее у истоков их любви обнаруживается трагедия: личная судьба пересекается с грозным и кровавым ходом русской истории.

Но пора вернуться к Млодецкому.

¹⁹ Имя Ишутина не встречается ни в переписке Достоевского, ни в каких-либо других его текстах. Но не встречается там и имя Млодецкого (о присутствии на казни нам известно из четырех скупых упоминаний). Несомненно, Достоевский был хорошо знаком с каракозовско-ишутинским делом. В свое время П. Е. Щеголев выдвинул интересное предположение, что прототипом Петра Верховенского в «Бесах» является не Нечаев, а Ишутин.

«...в виду отрубленной головы!»

Но прежде следует, пожалуй, назвать еще одну причину, почему утром 22 февраля бывший смертник оказался на Семеновском плацу.

Десять лет назад, летом 1870 года, в Дрэгдене Достоевский прочитал статью Тургенева «Казнь Тропмана».

«Вы можете иметь другое мнение, Николай Николаевич, — пишет он Страхову, — но меня эта напыщенная и щепетильная статья возмутила. Почему он все конфузится и твердит, что не имел права тут быть? Да, конечно, если только на спектакль пришел; но человек, на поверхности земной, не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины на то. "Homo sum et nihil humanum..."¹⁴ и т. д.»

Не эту ли же мысль — почти дословно — повторит он в 1880 году великому князю?

В январе 1870 года в Париже был гильотинирован еще сравнительно молодой человек — Тропман, жестокий и хладнокровный убийца. Его процесс наделал в то время много шума. Тургеневу (благодаря содействию его парижских друзей) представилась редкая возможность не только присутствовать при самой казни, но войти в камеру приговоренного, наблюдать его предсмертный туалет, проводить его до гильотины. Тургенев описывает бессонную ночь, проведенную им накануне казни в доме начальника тюрьмы, громадную толпу на площади, наконец, самого Тропмана. «Что касается до меня, — пишет Тургенев, — то я чувствовал одно: а именно то, что я не был вправе находиться там, где я находился, что никакие психологические и философские соображения меня не извиняли».

«Есть высшие нравственные причины», — говорит Достоевский.

Для Тургенева в подобной ситуации таких причин не существует. Автор статьи главным образом фиксирует внимание на собственных ощущениях.

Впрочем, последние минуты Тропмана изображены с чрезвычайным талантом.

Преступника втащили на гильотину, «два человека бросились на него, точно пауки на муху»; «он вдруг повалился головой вперед», «подошвы его брыкнули». «Но тут я, — говорит автор, — отвернулся — и начал ждать — а земля тихо поплыла под ногами...»

Здесь не только различие двух нравственных позиций. Разные мировосприятия и, что существенно, разные поэтики. В эстетический круг Тургенева не входит изображение безобразного (в том числе безобразной смерти). В эстетике Достоевского безобразное равноправно «всему остальному»: смерть у него (как, впрочем, и у Толстого) — явление этически и эстетически значимое. Муза Достоевского не отводит взора там, где муза Тургенева в ужасе закрывает глаза: естественно, что объекты изображения при этом не совпадают.

«Всего комичнее, — продолжает Достоевский свое письмо Страхову, — что он в конце отвертывается и не видит, как казнят в последнюю минуту: «Смотрите, господа, как я деликатно воспитан! Не мог выдержать!» Впрочем, он себя выдает: главное впечатление статьи в результате — ужасная забота, до последней щепетильности, о себе, о своей целостности и своем спокойствии, и это в виду отрубленной головы!»

Нет сомнения в том, что 22 февраля Достоевский видел все. И каковы бы ни были его личные переживания, очевидно, не они составляли главный предмет его забот. Недаром он обладал такой мощной способностью вживаться в чужое состояние, в чужой психический мир, видеть в другом равное с собой бытие.

Он видел такое равное бытие и в Млодецком; на его глазах оно подходило к своему концу.

Князь Мышкин и Ипполит Млодецкий

...Млодецкого везли через весь город на высокой черной колеснице, запряженной парой лошадей. Он сидел спиной к кучеру, и руки его ремнями были привязаны к железной скамье. На груди болталась черная доска с надписью белыми буквами: «Государственный преступник». Из-под бортов черного арестантского халата виднелась белая рубашка. Днем раньше боявшийся простыть, сейчас он относился к этому вполне равнодушно.

¹⁴ Я человек, и ничто человеческое... (Лат.)

Говорили, что перед выездом из крепости ему дали выпить чаю.

Сквозь мерный гул толпы прорывались смех и шутки, как свидетельствует очевидец, «подчас даже и очень циничные». (Через год, когда будут казнить пятерых первоартоцев, толпа встретит казнь гробовым безмолвием.) Народ валом валил за процессией, которую замыкала телега: ломовой извозчик должен был увезти труп.

Млодецкий был еще жив.

Свидетель казни вспоминает: «Лицо этого человека с рыжеватой бородкой и такими же усами было худо и желто. Оно было искажено. Несколько раз казалось, что его передергивала улыбка».

Воспоминания эти были опубликованы через тридцать семь лет после описываемых событий. Но у нас есть еще один источник: газетные отчеты (кстати, сам факт их существования — знамение прогресса: ни в 1825, ни в 1849 году русские газеты не смели публиковать собственную информацию о такого рода происшествиях).

«Лицо его было покрыто страшною бледностью, — сообщает корреспондент «Голоса», — и резко выделялось своею одутловатостью из-под черной одежды; блестящие глаза его беспокойно блуждали в пространстве. Густые черные брови, нисходящие к носу, придавали ему весьма мрачный и злобный вид, который иногда неприятно смягчался легкой насмешливою и стиснутою улыбкой правой половины некрасиво очерченного рта». «Некоторые утверждали, — пишет репортер «Нового времени», — что он будто бы улыбался. Мы не могли принять за улыбку болезненно кривившиеся черты».

Об этой улыбке писали и подпольные народофильские листки: в них она имела героическую. Выражение лица на месте казни становилось аргументом политическим.

Млодецкий был доставлен на площадь в 10 часов 40 минут. Палач Иван Фролов приступил к делу. «Рослый, сильный, упитанный и хорошо одетый человек (он был в теплой поддежке.— И. В.) подошел спокойно и, как говорится, «истово» к хилону, измученному, привязанному к своему сиденью и безобразно напряженному человеку. Он отвязал его, но не освободил его рук от ремней, а, напротив того, подтянул их еще крепче. После этого он также «истово», почти ласково повел его, легонько прикасаясь рукой к его спине, как иногда делает радушный хозяин, подводя гостя к закуске».

...В передней генерала Епанчина князь Мышкин ведет беседу с лакеем. Князь рассказывает о виденной им в Лионе смертной казни: преступника (как и Тропмана в очерке Тургенева) возводят на гильотину.

«Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? — говорит Мышкин. — Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: «Не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя».

Это — совершеннейшее неприятие института смертной казни — с явной опорой на один библейский текст («не убий») и с косвенным отрицанием другого («око за око»).

«Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление, — продолжает князь. — Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу... непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения... А тут всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают и а в е р н о; тут приговор, и в том, что наверно не избежишь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете».

Вспомним, что в строгом юридическом смысле Млодецкий даже не был убийцей — тем несоразмерней наказание.

Смертная казнь переживалась Достоевским трижды: реально («изнутри») — 22 декабря 1849 года, художественно — в «Идиоте», и вновь реально (но уже «со стороны») — 22 февраля 1880 года.

Его «смutil» поступок Млодецкого; поступок с Млодецким «смущал» не менее. Здесь вне зависимости от политических верований действовала круговая порука смертников. И он оказался на площади не только потому, что желал проверить собственные впечатления «другим зрением». Это был своего рода моральный долг — долг, отдаваемый лично.

«Приготовления тяжелы, — говорится в «Идиоте». — Вот когда объявляют при-

говор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно! Конечно, на миру и смерть красна. Но здесь — не усиливает ли само наличие «мира», этого видимого избытка физической жизни, ужас перехода «в другой неизвестный образ», не подчеркивается ли самим бытием необратимость небытия? «Вот их десять тысяч, а их никого не казнят, а меня-то казнят!» — так передает князь Мышкин последние мысли осужденного, и вряд ли можно сомневаться, что тут отозвались собственные ощущения автора.

Тургенев передает ужас зрителя; Достоевский — смертную муку приговоренного. И в том и в другом случае казнь выглядит отталкивающе; но если зритель действительно может оттолкнуться (отворотиться, как в «Казни Тропмана»), то у казненного такой возможности нет¹⁵.

Очевидец утверждает, что Млодецкий, прощаясь с народом, сделал несколько поклонов; газеты, которым в данном случае приходится верить больше, таких подробностей не сообщают. Палач с подручными надел на Млодецкого белый колпак, закрывавший ему лицо, и холщовый халат, связав его сзади руками. Затем накинул на него петлю и поставил на скамейку.

В этот последний миг надежда еще не была потеряна. Но — фельдъегерь не появился и барабаны вместо отбоя ударили дробь...

...Александр II своим бисерным почерком пометил в записной книжке: «Млодецкий повеш[ен] в 11 ч. на Семен[овском] плацу — все в поряд[ке]».

Вечером у Полонских

22 февраля приходилось на пятницу: по пятницам собирались у Полонского. И если об утре Достоевского нам не известно ничего более, кроме самого факта, что он был там, то о его вечере сохранились некоторые подробности.

«Достоевский...—повествует мемуарист (уже знакомый нам Садовников), — был не в духе, видя, во-первых, такое внимание (к другому гостю, Сухомлинову. — И. В.) да, может, еще под впечатлением чего-либо предшествовавшего. Я не люблю его и остался в кабинете».

Нерасположение к писателю, конечно, не может не отразиться на тоне воспоминаний. Но нас в данном случае интересуют факты.

Разговор зашел о Млодецком.

«— Правда ли,—говорю я, обращаясь к Достоевскому,— что середня на Семеновском плацу было второе искушение на Меликова? Рассказывали так, что будто кто-то выстрелил, затем хотел застрелить себя и не успел. После чего взяли еще 6 человек с револьверами...

— Нет-с, это все гордские слухи. Если бы проследить весь рост этих слухов с утра и вплоть до вечера, это представляло бы интерес. Я был свидетелем казни. Народу собралось до 50 000 человек».

Достоевский сух, сдержан, немногословен. Он не вдается в подробности, он как бы намеренно запрещает себе сообщать что-либо «художественное», поверять личные впечатления.

Его интересуют слухи: городская молва, дающая пищу мифу, воплощающая в себе тайные надежды и опасения, «доигрывающая» в своей многоустой жизни несбывшиеся возможности. Не было ли среди этих утренних толков и предположений о помиловании? Не сказало ли в толках вечерних сожаление об этой так и не явленной милости и одновременно вещее предвидение мести?

Садовников упоминает еще об одной любопытной подробности. В разговоре «Достоевский порицал женщин, которые говорят, что не могут смотреть на казнь, жалуясь на нервы».

Автор мемуаров явно не одобряет Достоевского.

Интересно, читал ли он «Идиота»? Ведь из разговора князя Мышкина с Аглаей («Значит,— говорит Аглая,— коль находят, что это не женское дело, так тем самым хотят сказать (а стало быть, оправдать), что это дело мужское. Поздравляю за ло-

¹⁵ Хотя «Идиот» написан примерно за два года до тургеневской «Казни Тропмана», сопоставление соответствующих сцен обоих произведений оставляет впечатление художественной полемики: Достоевский как бы заранее противопоставляет свой взгляд тургеневскому. И пусть в письме Страхову нет прямых ссылок на роман — его автор, не принимая точку зрения Тургенева, несомненно исходит и из собственных художественных изображений.

гику») вытекает следующее: пока смертная казнь существует на земле (и вина лежит на всех), устранение от этого зрелища только женщин — не более чем лицемерие. Этим только подчеркивается (и одновременно приглушается!) нечеловеческий характер действия; само же действие продолжает совершаться.

Автор «Идиота» не стал объяснять все это Садовникову.

Сразу же после чая он уехал; Тургенев приехал после одиннадцати: на этот раз они разминулись.

«Мне не понравилось,—замечает Садовников,—какое-то совершенно холодное отношение автора «Мертвого дома» к казни живых людей, и само появление его на месте казни объясняю как желание извлечь нечто для своих патологических сочинений последнего времени, в которых один Венгеров находит что-то даже гениальное».

Присутствие Достоевского на Семеновском плацу не понравилось Садовникову, он не находит для этого случая никаких оправданий и объясняет любопытство автора «патологических сочинений» причинами сугубо утилитарными. В свою очередь, Достоевский, чрезвычайно тонко чувствующий то или иное к себе отношение, не считает нужным разяснять Садовникову свои мотивы.

Однако на следующий день некоторые разяснения были даны.

На следующий день и через неделю

24 февраля 1880 года вдова президента Академии художеств графиня Анастасия Ивановна Толстая пишет своей дочери Е. Ф. Юнге: «Сейчас возвратилась от Достоевских — я нашла его чем-то расстроенным, больным, донельзя бледным. На него сильно подействовала (как на зрителя) казнь преступника 20 февраля».

Слова шестидесятирехлетней графини поразительно напоминают характеристику Достоевского в дневнике двадцатилетней Анны Григорьевны: вспомним ее запись о 4 октября 1866 года, дне казни Ишутина.

Он мало изменился за последние тринадцать лет.

Но у нас имеется еще одно — правда, косвенное — свидетельство того, каким образом казнь Млодецкого отразилась на эмоциональном и психическом состоянии автора «Братьев Карамазовых».

23 февраля (то есть на следующий день после казни и накануне посещения А. И. Толстой) у Достоевского состоялся крупный разговор с неким Павлом Петровичем Казанским, капитаном генерального штаба. П. П. Казанский — родственник Д. А. Шера, который, в свою очередь, приходился родственником самому Достоевскому. Шеры — одни из главных претендентов на куманинское наследство (этой родственной тяжбой о капиталах, оставленных богатой теткой А. Ф. Куманиной, отравлены его последние годы). В сердцах Достоевский обозвал Шера червонным валетом, то есть мошенником.

Вслед ушедшему Казанскому отправляется письмо.

«Полчаса после Вас, — пишет Достоевский, — я опомнился и сознал, что поступил с Вами грубо и неприлично; а главное был виноват сам,— а потому и пишу это, чтоб перед Вами извиниться вполне».

Через одиннадцать месяцев еще один родственный разговор — на ту же куманинскую тему — явится (согласно одной из версий) главной причиной его предсмертной болезни. На сей же раз обошлось, дело закончилось лишь скандалом. Причем, чувствуя себя виноватым, Достоевский первый делает шаг к примирению — очевидно, нелегкий для него шаг.

Он говорит далее, что вовсе не желает оправдываться своим болезненным состоянием, которое вполне сознает, и даже — тут следует важное признание — «беспокойным состоянием нашего времени вообще... мысль о котором приводит меня в болезненное расстройство, что было уже неоднократно в последние дни».

Не оправдывается, однако упоминает: его оправдательным аргументом становится само время.

Частному столкновению, ссоре из-за «несчастливого наследства» («...хоть бы его вовсе не было», — в сердцах замечает Достоевский), подыскивается мотивировка, придающая самому скандалу анеличностный оттенок. И хотя автор письма вовсе не извиняет себя («Все эти объяснения (как оправдания) были бы для меня постыдными. Я виноват вполне...»), тем не менее он указывает причину.

Разумеется, его адресату вовсе незначит знать, был ли он на казни Млодецкого

(да об этом и не говорится в письме), но это неназванное обстоятельство сыграло свою роль.

В поступке Достоевского есть еще одна сторона. Его жест являет не только благородство характера. Это акт самодисциплины, «самовыделки», испытание самого себя — пусть на бытовом уровне — в том, что через несколько месяцев как задача будет обозначено в пушкинской речи. Он, как всегда, не выдержал, сорвался, вспыл и, может быть, обидел незнакомого (или малознакомого) посетителя. Ему трудно признать свою ошибку постфактум, однако он заставлял себя это сделать — тем бескорыстнее, что ни в каком отношении не зависит от Казанского. Это акт его доброй воли: «смирись, гордый человек», обращенное к самому себе.

Всего лишь несколько дней назад, 19 или 20 февраля, он «необыкновенно весел» (А. С. Суворин), полон самых радужных надежд («Вот увидите, начнется совсем новое. Я не пророк, а вот вы увидите. Нынче все иначе смотрят»); теперь же, после казни, недоверчив, угрюм, подавлен, готов взорваться по самому ничтожному поводу.

И наконец, существует еще одно упоминание о присутствии Достоевского на казни Млодецкого. Это дневниковая запись уже знакомой нам С. И. Смирновой-Сазоновой. Запись сделана через неделю после казни — 29 февраля 1880, високосного, года.

«Пришел Достоевский, — записывает Смирнова-Сазонова.—Говорит, что на казни Млодецкого народ глумился и кричал... Большой эффект произвело то, что Млодецкий поцеловал крест. Со всех сторон стали гов<орить>: «Поцеловал! Крест поцеловал»...»

Он толкует о казни в самый день казни (у Полонских), через два дня после нее (графине Толстой), через четыре дня (великому князю) и, наконец, через неделю. Впечатление, вынесенное с Семеновского плаца, не отпускает его; этот сюжет занимает более всех других.

Казнь Млодецкого не отразилась непосредственно в текстах Достоевского: ни в романе, ни в письмах, ни в записных книжках. Но, как мы убедились, она не прошла для него бесследно. И если Алеше Карамазову суждено было погибнуть на эшафоте, то, несомненно, день 22 февраля сыграл бы здесь не последнюю роль.

Глава V. ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ

Ход соперничества

Зима 1880 года закончилась казнью Млодецкого. Наступила весна.

15 марта Анна Григорьевна пишет племяннику мужа: «Если найдете нужным переговорить, приходите утром: до 11 я всегда дома; вечером же никогда не свободна, так как диктуем напропалую и спешим отослать в «Русский вестник» «Брагъев Карамазовых»...».

Диктовал, разумеется, Достоевский, однако множественное число употреблено не случайно: труд, если учесть его физический объем, совершался совместно. И в посвящении, которое украсит собой первое издание романа — Анне Григорьевне Достоевской,—не только любовь, но и признательность литературная.

Между тем весна выдалась трудной: благотворительные чтения следовали одно за другим — и отказать не было никакой возможности.

21 марта состоялся концерт в пользу Женских педагогических курсов. Он проходил в зале Благородного собрания: место было привычным.

Событие это заслуживает внимания.

Устроители вечера по примеру прошлого года решили соединить у себя двух знаменитостей — Тургенева и Достоевского.

Хотя Тургенев с начала февраля находился в Петербурге и теоретически они могли видаться, вероятность подобной встречи очень мала. Нейтральной территорией был дом Полонских: однако радушные хозяева старались избежать неприятностей вроде той, которая произошла на тургеневском обеде.

Итак, если они не встречались у Полонских, то 21 марта должна была состояться их первая встреча — первая после вынужденного публичного рукопожатия год назад в зале того же Благородного собрания.

Вечеру 21 марта предшествовали некоторые маневры.

Группа из трех девушек-словесниц отправилась на переговоры к Тургеневу, а тематички поехали приглашать Достоевского. С Тургеневым дело уладилось сравни-

тельно быстро. Оказалось, правда, что он дал подписку не участвовать в публичных чтениях (правительство—не без науськивания со стороны «Московских ведомостей»—опасалось его оппозиционности), однако настойчивые педагогички нажали на директора всех женских гимназий и педагогических курсов И. Т. Осина, тот в свою очередь обратился к принцу Ольденбургскому (председателю Главного совета женских учебных заведений) — и желанное разрешение было получено.

Вторая депутация вернулась ни с чем.

«Достоевский отказал нам! — кричали наперебой математички. — Это вы виноваты! Зачем вы были у Тургенева раньше, чем мы пригласили Достоевского? Вы обидели его. Теперь поезжайте сами. Он прямо сказал: «Вы были у Тургенева, зачем я вам? Или вы хотите собрать у себя всех писателей? Боитесь, что сбор будет неполный? Не беспокойтесь, имя Тургенева на афише соберет полную залу. Оставьте меня в покое. Я не поеду».

Он крайне редко отказывался от выступлений: вся выручка от них шла в пользу недостаточных студентов, курсисток, обитателей домов призрения и детских приютов. Это была не только нравственная, но и прямая материальная помощь: он считал себя обязанным участвовать.

Но тут были причины.

20 марта уже был назначен вечер в пользу Дома милосердия: в эти же числа его звали к себе Бестужевские курсы. Осилить несколько вечеров подряд при его эмфиземе и его «Карамазовых» было не так легко. Кроме того, у него могло возникнуть подозрение, что Тургенева пригласили не только раньше, но и в м е с т о него, Достоевского, и лишь неуверенность в успехе (он вполне мог слышать о подписке) заставила педагогичек обратиться к нему.

Девушки-математички оказались с характером и после бурных огорчений решили отправиться к Достоевскому вторично, впрочем без особых надежд на успех. Женская настойчивость была вознаграждена.

«Часа через два математички вернулись сияющие, встретив совсем другой прием у Федора Михайловича. Вероятно, пожалев о своей горячности, он обрадовался, увидев их вновь.

— Ну вот, я вижу, что вы добрые, — сказал он, — любите меня... Ну, будьте спокойны, я приеду к вам... приеду.

Он предложил чаю, усадил к самовару, угостил печеньем, варением, ласково поговорил с ними и отпустил их счастливыми и довольными домой».

Он сдался без боя; судя по всему, в глубине души он желал этого повторного приглашения, сожалея о своем отказе и не зная, как поправить дело. Замечательно, что на этот раз о Тургеневе не было даже упомянуто. Ему важно убедиться, что он гость желанный, что хлопоты математичек вызваны не устроительной тактикой, а искренним стремлением видеть и слышать на своем вечере именно его.

Вечер 21 марта был литературно-музыкальный: наряду с известными писателями в нем участвовали не менее известные певцы и виолончелисты. Благодарные устроители приготовили за кулисами изысканный стол. Пока иные из артистов налегали на коньяк, Тургенев обменивался любезностями с окружающими его девушками.

Достоевский, как всегда, любезностью не отличался. Встретив одну из педагогичек (она была в открытом платье), он оглядел ее с ног до головы и отрывисто спросил: «Поете?» — вероятно, приняв за одну из приглашенных вокалисток.

Именно эта девушка, которую он своим неожиданным вопросом сумел вогнать в краску, стала свидетельницей (скорее всего, единственной) первого мгновения их с Тургеневым встречи.

Достоевский присел за столик, чтобы пригетовиться к чтению, а упомянутая выше курсистка расположилась у дверей, чтобы не пускать в комнату любопытных.

Тургенев появился в дверях неожиданно — высокий, с зачесанными назад седыми волосами. Осмотревшись и увидев Достоевского, погруженного в чтение, он направился прямо к нему. «Достоевский даже вздрогнул от неожиданности быстрого движения Тургенева и неловко привстал. Молча они протянули друг другу руки, а Тургенев двинулся к молодежи, которая тотчас окружила его».

Сцена почти в точности повторяет их встречу на вечере 9 марта 1879 года.

Тургенев читал «Певцов», Достоевский — отрывок из «Подростка». Как некий примирительный жест (или жест литературной вежливости, отделяющий общее в данном случае дело от личных недоразумений) можно расценить то обстоятельство,

что когда один из писателей выходил на эстраду, другой направлялся в зрительный зал — послушать коллегу.

«Когда все стихло, на эстраде появился маленький человек, бледного, болезненного вида, с мутными глазами, и начал слабым, едва слышным голосом чтение.

Пропал бедный Достоевский! — подумала я», — вспоминает другая мемуаристка.

Далее произошло то, что совершалось почти всегда. Взглянув на эстраду (вспоминательница находилась за кулисами), она вдруг увидела, что «лицо Достоевского совершенно преобразилось» и стало похоже на лицо пушкинского пророка.

«По окончании чтения началось настоящее столпотворение. Публика кричала, стучала, ломала стулья и в бешеном сумасшествии вызывала: „Достоевский!“».

Весенние чтения 1880 года обнаружили, что общественная температура поднялась еще на несколько градусов.

Эта атмосфера благоприятствовала удивительным всходам.

Выше мы привели свидетельства людей, для которых вечер 21 марта стал, пожалуй, решающим событием в их личной жизни.

Серафима Васильевна Карачевская (та, что выглядывала из-за кулис) вскоре сделалась женой будущего знаменитого физиолога И. П. Павлова. «Я не помню, кто подал мне пальто,— говорит она.— Закрывшись им, я плакала от восторга! Как я дошла домой и кто меня провожал, решительно не помню. Уже позже узнала я, что провожал меня Иван Петрович (надо полагать, узнала от самого Ивана Петровича.— И. В.). Это сильно сблизило нас».

Не осталось без последствий и другое знакомство. Попросив девушку, ошибочно принятую им за певицу, приискать место в зале для своего домашнего доктора Якова Богдановича фон Бретцеля, Достоевский, очевидно, не мог предположить, что эта невинная просьба завершится для ее исполнительницы законным браком.

События интимной жизни совпадают с явлениями жизни общественной чаще всего по чистой случайности. Но бывают знаменательные исключения.

На вечерах, в которых участвует Достоевский, неизменно возникает повышенная эмоциональная температура, особый моральный климат. Чтец как бы распространяет вокруг себя мощное магнитное поле, к которому невольно подключаются слушатели (недаром С. Б. Карачевская признается, что такого подъема она потом никогда не испытывала). Рухаются глухие межличностные перегородки, открывается путь к другому.

Подобные ситуации благоприятствуют завязке (или развязке) человеческих отношений.

«...а «мы» читали на разных чтениях,— сообщает Анна Григорьевна А. А. Достоевскому, племяннику,— и нам аплодировали больше, чем Тургеневу, и будем читать и впредь получать аплодисменты».

Анна Григорьевна ревностно относилась к успехам мужа: ход его соперничества с Тургеневым включается в число главных семейных новостей.

Она не знает, что Достоевский обошел Тургенева не только 21 марта, но и на следующий день.

22 марта великий князь Константин Константинович пригласил к себе Достоевского на домашний вечер. Накануне у него расстроился «вечер с Тургеневым», которого Константин Константинович не рискнул принимать по соображениям политическим. Интересно, догадывался ли Достоевский, что на сей раз его действительно пригласили в место? (В «утешение», как деликатно выразился великий князь.) Вряд ли; в противном случае его реакция могла быть такой же, как во время первого визита математик.

После издания «Дневника писателя» (1876—1877) бурно разрослись личные и общественные связи Достоевского. Ему писали и к нему являлись верующие и атеисты, он стал вхож в камеры заключенных и в великокняжеские салоны.

В последние годы у него появляется много неизвестных друзей. И это не могло его не радовать.

Однако как обстояло дело с друзьями и з в е с т н ы м и?

«Два-три человека!..»

Увы, в эти последние годы у него нет близких и сокровенных друзей. Друзей, де конца ему преданных, свободно вхожих в его внутренний мир. Страхов? Но какой же это друг... Аполлон Николаевич Майков? Да, конечно, это приятельство тянется еще

с 40-х годов, но их близость (более ощутимая на расстоянии — во время пребывания Достоевского за границей) в последние годы заметно ослабла. И Страхов и Майков — особенно после публикации «Подростка» в «Отечественных записках» — относятся к нему, по его собственному выражению, «со складкой». Страхов, правда, регулярно обедает у Достоевского; однако и он и Майков в это время скорее друзья семьи — без той внутренней теплоты, которая присуща интимным духовным связям. Оба лишь совершают освященный временем (и поддерживаемый растущим успехом Достоевского) обряд.

Владимир Соловьев? Их глубокий интерес друг к другу, несмотря на значительную разницу лет, мог бы получить сильное развитие (недаром в 1878 году они предприняли совместное путешествие в Оптину пустынь). Но Вл. Соловьев слишком погружен в свои академические занятия, а Достоевский в свое писательство, чтобы крепко «обняться душами». Да и сами-то души не расположены к объятиям...

Может быть, О. Ф. Миллер, А. С. Суворин, Всеволод Соловьев, И. С. Аксаков? Это все добрые знакомые, связанные с ним более внешним образом. Это его близкий круг, но опять-таки круг не интимный. Здесь нет того приятя, которое — в разной степени — отличало, скажем, отношения Пушкина с Дельвигом, Вяземским, Жуковским, Нащокиным, А. Тургеневым...

Катков и Победоносцев? Это сюжет особый. Но, во всяком случае, они отнюдь не принадлежат к числу его задушевных друзей и даже — без существенных оговорок — не могут быть причислены к его идейным союзникам.

Кто же тогда? Да никого. У него нет друга. Такого, каким был для него покойный брат Михаил Михайлович или в молодости И. Н. Шидловский.

Самый близкий ему человек, конечно, Анна Григорьевна, она одна.

В 1880 году мы не обнаруживаем старых или новых его приятелей, с кем бы он был на «ты» (за исключением разве А. Н. Плещеева и Д. В. Григоровича: «ты» здесь лишь знак давности знакомства).

В этом последнем году его жизни у него ни с кем нет регулярной переписки; нет больших эпистолярных циклов, которые прослеживаются за прежние годы (кроме, разумеется, переписки с Анной Григорьевной). Количество корреспондентов как будто возросло, однако много писем носят случайный или же сугубо деловой характер; нельзя выделить ни одной сколько-нибудь устойчивой эпистолярной привязанности.

От знакомых и незнакомых посетителей нет отбоя, но подлинной близости не устанавливается, пожалуй, ни с кем. В его возрасте уже поздно заводить новые дружбы. И внешний успех лишь сильнее подчеркивает его одиночество.

В дружбе с такими людьми, как Достоевский, трудно (почти невозможно) быть на равных. Но у него нет и друзей иного рода: своего Анненкова (как у Тургенева), своего Черткова (как у Л. Толстого) и даже, на худой конец, своего отца Матвея (как у Гоголя).

В 1878 году он с горечью говорит Вс. Соловьеву: «Вы думаете, у меня есть друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй что, были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые, может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было. Мне это доказано, слишком доказано!»

После Сибири, говорит он, многие из прежних приятелей не пожелали его узнать. Потом друзья всегда появлялись вместе с успехом. «Уходил успех и тотчас же и друзья уходили. Смешно это, конечно, старо, известно всем и каждому, а между тем, всякий раз больно, мучительно...» Об успехе своей новой книги он узнавал по количеству навещавших его друзей: оно колебалось пропорционально степени этого успеха. «О, у людей чутье, тонкое чутье! Помню я, как все кинулись ко мне после успеха «Преступления и наказания»! Кто годами не бывал, вдруг явились, такие ласковые... а потом и опять все схлынуло, два-три человека осталось. Да, два-три человека!..»

Может быть, в этом своем разговоре с Вс. Соловьевым он назвал одно имя. То самое, которое несколькими годами ранее он упомянул в письме Анне Григорьевне: «Нет, Аня, это скверный семинарист и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением «Эпохи», и прибежал только после успеха «Преступления и наказания»...»

Достоевский говорил о Николае Николаевиче Страхове.

«И речь ведет обняком...»

«Поистине можно сказать, — замечает Анна Григорьевна, — что Страхов был злым гением моего мужа не только при его жизни, но, как оказалось теперь, и после его смерти».

Эти слова были произнесены в 1914 году, после того как вдова Достоевского впервые ознакомилась с печально знаменитым письмом Страхова Л. Н. Толстому. В этом своем послании Страхов приписывает Достоевскому известное «ставрогинское» преступление, то есть излагает ту самую поистине мировую сплетню, которая, как выяснилось ныне, лишена малейших признаков достоверности.

Страхов признается, что, работая над своими — очень спокойными и объективными — воспоминаниями о Достоевском, он боролся с подымавшимся в нем отвращением. Герой воспоминаний был, по его словам, «зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен».

«Только она (Е. А. Штакенштейндер. — И. В.) да Страхов так любили его...» — приводились выше слова одной мемуаристки.

Да, Страхов умел скрывать свои чувства и в литературе и в жизни.

«Всегда неизменно деликатный и благодушный, — говорит его биограф, — мягкий и вежливый, но уклончивый, так же скупой на выражение своих симпатий, как и антипатий, старающийся все свои настроения и впечатления скрасить шуткой и смехом, по возможности не высказывающий своего мнения и с величайшим вниманием выслушивающий во всех подробностях всякую чужую мысль, никогда не направляющий разговора в ту или другую сторону, но всегда идущий за своим собеседником, охотно подтрунивающий, но никогда не допускающий себе обмолвиться ни одним резким, грубым или неуместно игривым словом — таким вспоминают его с невольной любовью все, кто лично знал Страхова».

Когда читаешь письмо Страхова Толстому, трудно поверить, что вышеприведенная характеристика относится к его автору. Может быть, единственный раз в жизни Страхов высказался резко и до конца.

Что же подвигло его на такой нехарактерный поступок?

Поведав Л. Толстому указанную сплетню, Страхов продолжает: «Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах».

Существует предположение (впервые высказанное Л. М. Розенблум), что письмо Страхова вызвано той оценкой, какую дал ему, Страхову, Достоевский в своих записных тетрадях (тетради эти после смерти их владельца на некоторое время оказались в руках Страхова).

«Никакого гражданского чувства и долга, — записывает Достоевский, — никакого негодования к какой-нибудь гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать».

«...несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен», — говорит Достоевский. «Заметьте... что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса...» — отвечает Страхов. «...за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все...» — говорит Достоевский. «Его тянуло к пакостям», — «отвечает» Страхов¹⁶.

Этот — почти дословный! — размен показывает, чем именно Страхов был задет за живое. Достоевский попал в самую точку, в глухой угол страховского «подполья» — и вечный холостяк Страхов спешит возвратить ему те обвинения, которые уязвили его больше всего.

Но Страхов осуждается не только за свои тайные грехи, но и за пороки общественные (тоже тайные). Отсутствие «гражданского чувства и долга» (тщательно скрываемое) оказывается незримо сопряженным с «подпольем», нравственный индифферентизм — с «грубой корой жира». Страховская физиология как бы запечатлена и в его душевной структуре

¹⁶ Если допустить, что Страхов все-таки не читал запись о нем Достоевского, то подобная переписка становится еще более знаменательной в литературно-психологическом плане.

«И ангелу Лаодикийской церкви напиши...»

Страхов тепел.

Однако у теплого, усмевающегося, всегда благодушного Страхова хватило темперамента, чтобы сыграть при Достоевском столь двусмысленную роль.

Все это придает психологической загадке Страхова довольно зловещий оттенок: безамбициозный «маленький человек» (литературный человек) способен, оказывается, на многое...

«Н. Н. С<травов>, — записывает для себя Достоевский. — Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе «Жених», об которой говорится:

Она сидит за пирогом
И речь ведет обиняком.

Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил об ин я к о м, по поводу, кружит кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув 2-х мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем в дураков — и так на всю жизнь».

И Достоевский добавляет: «Главное в этом самолюбии играют роль... и 2 казенные места. Смешно, но истина. Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь».

Тут уместно вспомнить другую запись — из черновиков к «Братьям Карамазовым»: она уже приводилась выше. Это заметки о «семинаристе» — Ракитине (с его желанием «уничтожить народ»).

Казалось бы, что может быть общего между тонким эстетиком, философом-идеалистом, славянофилом и интеллектуалом Страховым и поклонником грубого материализма, прагматиком и развязным атеистом, начисто лишенным высших духовных интересов? Они антиподы, враги, представители противоположных и противополоствующих сил.

И все же в них есть момент тайного родства.

Это небескорыстие.

И для Страхова и для Ракитина идеология лишь средство; вещь не кровная, не основная, а вспомогательная. Оба они живут для себя, а их убеждения — независимо от своего реального состава — прикрывают ту «грубую кору жира», которая на первый взгляд прикрывает их самих. Кора и есть в них самое главное.

За убеждения не заплачено судьбой.

Это психологическое средство оказывается решающим.

«Теплая» духовность Страхова немногим привлекательнее «горячей» бездуховности Ракитина.

Не будем, однако, приуменьшать выигрышных качеств Страхова: его художественного вкуса, ума и определенного литературного дарования. Он был многолетним собеседником таких людей, как Толстой и Достоевский. Зачем-то он был им нужен. А в чем-то, может быть, он их и превосходил.

«Тонкость, — говорит Пушкин, — редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным».

Непрямодушный и скрытный Страхов порою брал верх над гениями. И тем не менее один из них раскусил его, а другой так и не принял услужливо предложенную ему версию.

Страхов понят, но не отлучен: при своей сверхосторожности он, конечно, старался не давать повода для открытого разрыва. Он по-прежнему обедает по воскресеньям у Достоевских; он, полуприкрыв глаза, дремлет у Штакеншнейдеров; он важно кивает собеседнику, «не обнаруживая при этом своего согласия или несогласия».

И все-таки он понят и отодвинут от сердца: о той близости, которая существовала в середине 60-х годов, теперь не может быть и речи¹⁷. Он участвует в Пушкинском празднике — и Достоевский, называющий в своих письмах из Москвы десятку имен,

¹⁷ Д. И. Стахеев говорит, что «в 18 лет нашего общего со Страховым житья он (Достоевский.— И. В.) был у нас, может быть, раз с десяток, не более».

не упоминает его ни разу (как, впрочем, и во всей своей переписке 1878—1881 годов: факт знаменательный, если вспомнить частоту упоминаний за прежние годы).

Страхов не мог не чувствовать этой отчужденности. С недоумением и скрытой досадой наблюдал он за все возрастающим успехом «Братьев Карамазовых» (которых, кстати, не считал большим художественным достижением). Он, как говорилось, остро ощущал чужую талантливость. Но если Толстой буквально подавлял его своим величием, то Достоевский, этот вечно терпящийся «полухудожник», не обладавший к тому же преимуществами отдаленности, не был для Страхова достаточно высоким авторитетом.

В своих воспоминаниях о Достоевском Страхов никогда не упускает случая мягко подчеркнуть свою близость к их главному герою. Однако иногда, желая выглядеть беспристрастным, он проговаривается. «Я старался победить в себе раздражение», — пишет он в воспоминаниях. А в письме Толстому договаривает все: «Я боролся с подымавшимся во мне отвращением...»

Но почему же осторожный и уклончивый Страхов так неосторожно доверился обитателю Ясной Поляны? В этом тоже был свой расчет.

Страхов желает понравиться Толстому. Он пытается подражать ему в его «моральной профилактике» — в преследовании и одолении в самом себе разного рода «недобрых чувств». Он подлаживается под беспощадную искренность Толстого, даря последнего небезопасными для себя, но зато столь «мужественными» признаниями.

Он не рассчитал одного: Толстой никогда бы не стал тихом опровергать то, что только что было провозглашено им публично. Толстой не унизился бы до посмертного доноса.

Страхов забыл об этой маленькой разнице.

Возможно, Страхов был действительно потрясен смертью Достоевского. «Точно земля зашаталась под ногами», — пишет он Фету 30 января 1881 года. И через четыре дня Л. Толстому: «Чувство ужасной пустоты... не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы. Хотя мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным, и хорошим, и то глубокое уважение, которое мы друг к другу чувствовали, несмотря на глупые разномолвки, было для меня, как я вижу, бесконечно дорого».

Помнил ли Страхов, посылая через два года Толстому свой «обвинительный акт», об этих, может быть, вызванных минутой признаниях? Очевидно, не помнил, ибо оба документа взаимно уничтожают друг друга. «...мне хотелось быть перед ним и умным, и хорошим...» — ведь это сильнейший аргумент в пользу Достоевского! Это свидетельство его необоримой нравственной силы: разве возникает желание быть (или казаться, добавим мы) умным и хорошим перед тем, кого в глубине души считаешь элым, завистливым, развратным? Лучшим хочется выглядеть лишь в глазах тех, кто лучше нас...

Существовала, по-видимому, еще одна причина, почему Страхов исповедовался Толстому. Он мог полагать, что автору «Войны и мира» будет приятно поношение его потенциального соперника. И здесь Страхов просчитался. В ответном письме Толстой фактически отклонил предложенную ему «заманчивую» тему.

Однако нет ли у нас оснований полагать, что еще при жизни Достоевского Страхов, беседуя с Толстым, отзывался о своем старом знакомце в весьма недоброжелательных тонах?

Такие основания есть.

Страхов едва ли не единственный общий знакомый Толстого и Достоевского, достаточно близкий к ним обоим. И поэтому наиболее «компетентный» информатор. Правда, в его многочисленных письмах в Ясную Поляну, написанных еще при жизни Достоевского, нет ни одной сколько-нибудь подробной характеристики того, кто, конечно же, не мог не интересоваться Толстого.

Это выглядит странным.

Видимо, Страхов не исключает возможности, что оба писателя еще могут встретиться (исторической нелепостью выглядит тот факт, что великие современники не были знакомы, тем более что каждый из них знаком почти со всеми крупными писателями своего времени: Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым, Островским, Григорьевичем и другими).

Несостоявшееся знакомство

10 марта 1878 года, возвращаясь с лекции входившего в силу молодого Владимира Соловьева (это была седьмая из цикла в одиннадцать лекций — «Чтение о Богочеловечестве»), Достоевский, как вспоминает Анна Григорьевна, спросил ее:

— А не заметила ты, как странно относился к нам сегодня Николай Николаевич (Страхов)? И сам не подошел, как подходил всегда, а когда в антракте мы встретились, то он еле поздоровался и тотчас с кем-то заговорил. Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?

— Да и мне показалось, будто он нас избегал, — ответила я. — Впрочем, когда я ему на прощанье сказала: «Не забудьте воскресенья», — он ответил: «Ваш гость».

Меня несколько тревожило, — продолжает Анна Григорьевна, — не сказала ли я, по моей стремительности, что-нибудь обидного для нашего обычного воскресного гостя. Беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтоб я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу».

Анна Григорьевна воистину преданная супруга. Она отводит от мужа любые ретроспективные подозрения. Это, видите ли, она могла чем-то обидеть Страхова: глава семьи на это не способен. Он дорожит своим собеседником. Однако не обольщается при этом относительно возможности удержать его подле себя исключительно духовными узами: их следует подкреплять хорошим столом¹⁸.

Когда вскоре после описанной встречи Страхов пришел обедать, Анна Григорьевна прямо спросила его, в чем дело.

— Ах, это был особенный случай, — засмеялся Страхов. — Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился.

— Как! С вами был Толстой? — с горестным изумлением воскликнул Федор Михайлович. — Как я жалею, что я его не видал! Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него!

— Да ведь вы по портретам его знаете, — смеялся Николай Николаевич.

— Что портреты, разве они передают человека? То ли дело увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали!»

Итак, если верить Страхову, на лекции Вл. Соловьева (тема которой живо интересовала и Достоевского и Толстого и могла бы дать первый толчок их беседе) Толстой предпочел сохранить инкогнито. Это вполне правдоподобно. Но вот вопрос: сказал ли Страхов Толстому, что здесь присутствует Достоевский? И если сказал, то знает ли, что после этого сообщения Толстой отказался от знакомства?

Через много лет Анне Григорьевне довелось разговаривать с Толстым (это была их единственная встреча). «Я всегда жалею, — заметил Толстой, — что никогда не встречался с вашим мужем...»

«А как он об этом жалел! — воскликнула в свою очередь Анна Григорьевна. — А ведь была возможность встретиться — это когда вы были на лекции Владимира Соловьева в Соляном Городке. Помню, Федор Михайлович даже упрекал Страхова, зачем тот не сказал ему, что вы на лекции. «Хоть бы я посмотрел на него, — говорил тогда мой муж, — если уж не пришлось побеседовать...»»

Какова же была реакция Толстого на это напоминание? Анна Григорьевна так передает его слова:

«Неужели? И ваш муж был на этой лекции? Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить!»

Толстой удивлен и огорчен одновременно. Страхов, видевший Достоевского (и холодно с ним поздоровавшийся), видимо, ничего не сказал своему спутнику. И даже

¹⁸ Мы не рискнули бы попрекать Страхова чужими хлебом-солью, если бы этот момент не был обыгран в указанной записи Достоевского. Сравним приводимый Анной Григорьевной отзыв о Страхове одного из близко знавших его лиц: «Кто, в сущности, был Страхов? Это... тип «благородного приживальщика», каких было много в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского, а по зимам ходит по определенным дням обедать к знакомым и переносит служу и сплетни из дома в дом».

если допустить, что формально он следовал желанию самого Толстого, он не мог не понимать, что бывают исключения. Страхов как бы «переиграл» саму судьбу — и уготованная ею (надо думать, не без усилий!) встреча в последний момент сорвалась.

Чем же руководствовался Страхов?

Знакомство (тем более дружба) с Толстым — немалый моральный капитал. Этим капиталом Страхов чрезвычайно дорожил: он придавал ему вес и в собственных глазах и в глазах окружающих. Страхов как бы представлял в Петербурге интересы своего корреспондента. При отсутствии личных отношений между Толстым и Достоевским он был единственным потенциальным посредником. Было бы досадно, если бы какая-то случайная встреча могла уничтожить (или сильно ослабить) эту монополию. Вместо страховских рассказов стал бы возможен прямой диалог (личные встречи, переписка и т. д.). Страхов утратил бы все те почти неощутимые, но не лишние приятности выгоды, которые он извлекал из факта незнакомства. Более того: при этом могла бы обнаружиться неприглядная роль самого Страхова, поставляющего Толстому (а кто знает, может быть, и Достоевскому) недостоверную и предвзятую информацию.

Этого Страхов боялся и не желал.

Но не следует ли взглянуть на все происходящее еще с одной точки зрения?

Приведа мотивы, которыми мог руководствоваться Страхов, мы намеренно опустили один — самый главный. Нельзя исключить, что инициатором незнакомства был сам Лев Николаевич Толстой. На протяжении двух с половиной десятилетий Толстой и Достоевский пристально всматриваются друг в друга, не предпринимая ни малейших попыток к личной встрече. Это нельзя объяснить только случайностью: потенциальные возможности для их контактов имелись.

Ни Толстой, ни Достоевский не желают делать первого шага. Достоевский по соображениям «иерархическим»: в глазах современников (и отчасти в своих собственных) он стоит «ниже» автора «Войны и мира». Мотивы Толстого, по-видимому, имеют более сложный характер.

Нетерпимый к чужому (Шекспир!), но обладающий при этом гигантской художнической интуицией, Толстой внутренне сознает творческую мощь своего современника. Характерно, что при равном, в общем, отношении к таланту Тургенева Толстой оценивает писательский дар Достоевского очень неоднозначно и зачастую противоречиво.

Толстой понимает, что только с Достоевским возможен разговор на равных. Но, может быть, именно поэтому он старается его избежать.

Чего же мог опасаться Толстой?

Глубоко захваченный переживаемым им духовным переворотом, всеми силами стремясь утвердиться в своем новом миропонимании, Толстой инстинктивно отстраняет от себя все, могущее поколебать эту столь мучительно возникшую у него веру. Встреча (и неизбежное духовное противоборство) с автором «Дневника писателя» грозит нарушить целостность только что воздвигнутого толстовского мира, потрясти его сокровенные основы.

За две недели до смерти, прочитав письмо Толстого А. А. Толстой с изложением его новых убеждений, Достоевский «хватался за голову и отчаянным голосом повторял: «Не то, не то!»...»

«Он не сочувствовал ни единой мысли Л. Н.», — добавляет А. А. Толстая.

И именно Достоевский решается на первый шаг. За несколько дней до смерти он просит у адресата это столь поразившее его письмо. Он собирается написать автору¹⁹.

Он желает начать диалог.

25 января 1881 года Страхов берет у Достоевского для ознакомления заинтересовавшее его письмо Толстого. Через три дня Достоевского не стало.

Трудно представить, как развернулся бы этот возможный, но так и не состоявшийся диалог. Можно не сомневаться лишь в одном: он имел бы для нас величайший смысл.

Конечно, трудно (почти невозможно) представить дружбу между такими людьми, как Толстой и Достоевский. Но ведь сказал же первый, узнав о смерти последнего (в письме к тому же Страхову): «Я никогда не видал этого человека²⁰ и никогда не

¹⁹ Этот факт документально установлен Г. Ф. Коган.

²⁰ Эти слова подтверждают нашу догадку, что 10 марта 1878 года Страхов даже не показал Достоевского Толстому, и огорчение последнего (в его разговоре с Анной Григорьевной) было вполне искренним.

имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек... Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу».

Обрели бы они опору друг в друге? Или кончили бы разрывом?

На эти вопросы мы никогда не получим ответа. Но как бы там ни было, в том, что среди новых знакомых Достоевского не оказалось Льва Николаевича Толстого, не последняя роль принадлежит старому приятелю их обоих — Николаю Николаевичу Страхову.

Молчание как жанр

До сих пор речь шла о друзьях-мужчинах. Но не пора ли задуматься над тем фактом, почему в позднем писательском успехе Достоевского такую важную роль играют женщины? Почему именно они чутче и тоньше мужчин воспринимают его личность, а иногда и творчество и почему на закате его жизни женщины начинают играть все большую роль в его личном и общественном окружении?

С. А. Толстая, Е. А. Штакеншнейдер, А. П. Философова, Е. Н. Гейден, Ю. Д. Засецкая, О. А. Новикова, А. Н. Энгельгардт — вот круг, тяготеющий к Достоевскому, круг, к которому и он, по-видимому, испытывает чувство приязни. Среди этих женщин есть дамы высшего света, но нет ни одной женщины только светской: все они или довольно видные общественные деятельницы (Философова, Гейден, Засецкая, Новикова), или женщины сильного ума и «умного сердца» (Толстая, Штакеншнейдер), или, наконец, те и другие одновременно.

О Достоевском нельзя сказать словами поэта: «Он среди женщин находчив, среди мужчин — нелюдим» (ибо нелюдим он порой и среди представительниц прекрасного пола). Однако душевное предпочтение, отдаваемое им в последние годы женщинам, очевидно.

«Кстати, скажу, что Федор Михайлович имел много искренних друзей среди женщин, — с видимым бесстрашием пишет Анна Григорьевна, — и они охотно поверяли ему свои тайны и сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Напротив того, Федор Михайлович с сердечной доброотой входил в интересы женщин и искренно высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить свою собеседницу. Но доверявшиеся ему чутьем понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и ее страдания, как понимал и угадывал их Федор Михайлович».

В его общем историко-психологическом прогнозе русской «женщине отводится исключительная роль (подробнее об отношении Достоевского к женскому вопросу см. нашу работу «Достоевский и русское общество» — «Русская литература», 1976, № 3).

Он говорит с поколением, которое сознательно обрекло себя «на служение в жертву». В женщинах явственней и резче сказался нравственный порыв русской революции, подвижничество и искупление. Женщина — хранительница мирового идеального начала, и это означает для Достоевского великую надежду. «Может быть, русская-то женщина и спасет нас всех, все общество наше, новой возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой делать дело, и это до жертвы, до подвига»²¹.

Поэтому весной 1880 года, накануне пушкинской речи, он так пристально всматривается в лица своих современниц: он ищет знакомые черты.

И все же существует еще одна — пожалуй, наиболее скрытая — черта, определяющая особые отношения Достоевского с его современницами. Эта черта, как думается, имеет прямое касательство не только к его личности, но и к самому типу его художественного мышления.

Чтобы пояснить нашу мысль, сошлемся на Л. Толстого. Его ближайшее духовное окружение преимущественно мужское. Само понятие «толстовец» в русском языке плохо сочетается с женским родом, обозначая в последнем случае прежде всего вид одежды. Но дело, разумеется, не только в грамматике...

Дело в ином: в исключительно рационалистическом начале, пронизывающем все стороны мироощущения Толстого, в мощной логико-аналитической доминанте его духа и его мышления.

Тут следует сделать одно отступление.

²¹ Имеется в виду активное участие русских женщин в освободительной войне на Балканах в качестве сестер милосердия, санитарок и т. д.

Художественное мышление Толстого и Достоевского — два разнонаправленных (встречных) потока, два противоположных способа миропостижения.

Толстой в максимальной степени «высветляет» свою прозу; он старается объяснить, обсудить, «дегерметизировать» характеры действующих в его романах персонажей, твердо установить их взаимные связи, как можно точнее зафиксировать все их притяжения и отталкивания. Толстой не терпит двусмысленностей, недоговоренностей, намеков, умолчаний, его усилия направлены к тому, чтобы уничтожить неопределенность.

Это стремление выражено даже в самом синтаксисе толстовской прозы, в построении фраз (типа «не потому что, а потому что»), в обилии объясняющих «размазывающих», уточняющих придаточных предложений и т. д.

Обнажение скрытых от глаз читателя внутренних причин и следствий совершается либо в форме прямого авторского толкования, либо через перекрещивающиеся и дополняющие друг друга сознания действующих лиц. Но в любом случае открыто, неприкрасиво, на наших глазах.

Эта художественная методология одинаково применима и к воссозданию глобальных исторических событий и к изображению камерных семейных сцен.

«Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашева.

Александр отказывался от всех переговоров потому, что он лично чувствовал себя оскорбленным. Бварклай-де-Толли старался наилучшим образом управлять армией для того, чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакаться по ровному полю».

Называются скрытые побудительные мотивы; единым взором охватывается бесконечная совокупность причин и следствий; определяется позиция каждого персонажа по отношению к главному событию (войне 1812 года), и само это событие находит соответствующее место в слепой (но теперь выявленной и осознанной) игре мировых сил.

Именно такой способ видения организует художественное действие на всех уровнях.

Приведем характерный эпизод из «Войны и мира»: Наполеону приносят портрет сына («короля Рима»), присланный в подарок императрицей.

«С свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, — есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь — это то, чтобы он с своим величием, вследствие которого сын его в бильбоке играл земным шаром, чтобы он выказал, в противоположность этого величия, самую простую отеческую нежность».

Ничего не остается не объясненным: вся информация вводится в текст; сам эпизод дан не с точки зрения кого-то из его участников (например, Наполеона, как это может показаться на первый взгляд), а через всеобъемлющее авторское созерцание. Сцена психологически завершена; читателю не оставляется возможности для каких-либо дополнительных предположений.

Анна сообщает Вронскому о своей беременности. Она наблюдает реакцию Вронского. Следует подробное описание внешнего поведения, «суммы движений» каждого из героев. Сообщается о том, что думает Анна по поводу того, что, по ее мнению, думает Вронский. Но этого мало. Приводятся исчерпывающие сведения о том, что думает Вронский на самом деле. Ситуация, таким образом, рассматривается с разных точек зрения, дополняющих и корректирующих друг друга; достигается максимальная полнота и объективность в изображении того, что не произносится персонажами вслух, но подразумевается. Все подлежит немедленной художественной огласке.

В «Анне Карениной» есть эпизод, где рассмотренный метод достигает своего предела. Это сцена падения Вронского с лошади во время скачек.

«Ааа! — промычал Вронский, схватившись за голову. — Ааа! что я сделал! — прокричал он. — И проигранная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Ааа! что я сделал!»

То, что мгновенно (в виде нерасчлененного ощущения) должно пронестись в душе Вронского (и что выражается его немым мычанием — «ааа!»), разлагается на составляющие и оформляется в монолог: герой фактически «прокричал» здесь авторский текст. В самый момент душевного (и физического) потрясения происходит исчерпывающая и всесторонняя оценка; при этом герой умудряется избежать крепких (и в этом смысле всегда иррациональных) выражений: его эпитеты не только вполне литературны, но и тщательно подобраны.

Мощное аналитическое начало господствует в толстовской прозе. Даже в оценке самой «неуправляемой» героини «Войны и мира» — Наташи Ростовой (которая «не удостаивает» быть умной) можно усмотреть попытку рационалистического объяснения характера, в общем, иррационального.

Грандиозное единство и целостность толстовского романа не отменяют того обстоятельства, что любой романский эпизод обретает максимальное количество художественных связей в самый момент своего воплощения; если те или иные сцены «аукаются» между собой, то это происходит как переключки уже совершенных единств. Количество сцеплений в толстовской прозе бесконечно, однако это именно сцепление одного с другим, а не превращение одного в другое.

· Художественное зрение Достоевского устроено совсем иначе.

У Достоевского отдельные романские ситуации, как правило, оставляют некоторый простор для читательской догадки. Автор не настаивает на одной (безусловной) версии происходящего. Это особенно заметно на примере жизнеописаний: дается несколько биографических версий — без авторского речительства за правильность какой-либо из них. Тот или иной слух играет при характеристике Свидригайлова, Ставрогина, Федора Павловича Карамазова, Смердякова и т. д. ничуть не меньшую роль, чем достоверно установленный факт. Достоевский почти никогда не дает происходящему немедленной авторской интерпретации. Нередко та или иная сцена содержит в себе зерна, зародыши, элементы тех повествовательных положений, которые развернутся лишь в дальнейшем. (Этот «детективный» прием приобретает у Достоевского силу художественного закона и распространяется на коллизии уже не сюжетного, а идеологического порядка.)

Можно сказать, что в прозе Достоевского действует система повествовательных намеков.

...Порфирий Петрович предлагает Раскольникову написать объявление в полицию о заложенных им у старухи процентщицы вещах.

«— Это ведь на простой бумаге? — поспешил перебить Раскольников...

— О, на самой простейшей-с! — и вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и как бы ему подмигнув. Впрочем, это, может быть, только так показалось Раскольникову, потому что продолжалось одно мгновение. По крайней мере, что-то такое было. Раскольников побожился бы, что он ему подмигнул, черт знает для чего.

«Знает!» — промелькнуло в нем как молния».

Вся сцена дана с одной точки зрения, а именно Раскольникова, находится в круге его сознания. То, что представляется Раскольникову, не дополняется и не корректируется сознанием Порфирия Петровича (мы не знаем, что последний при этом думает) или сознаниями других участников эпизода (все они, кроме Раскольникова, даны только в поведении, а не в мышлении). Однако то, что видит Раскольников, подвергается некоторому сомнению. Происходящее не получает объективного освещения, оно не зафиксировано, так сказать, твердо и окончательно (путем сопоставления нескольких точек зрения или при помощи «разрешающего» авторского комментария): остается неясным, действительно ли подмигнул Порфирий Петрович или все это лишь пригрезилось его впечатлительному собеседнику. Увиденное глазами Раскольникова читатель может восполнить собственными предположениями; этот принцип дополнительности сообщает прозе Достоевского кажущуюся психологическую неопределенность, но именно только кажущуюся.

Для его героев характерны прозрения, предвидения и предчувствия; важную роль играют отношения интуитивного порядка. Так, Сонечка Мармеладова догадывается о том, что Раскольников — убийца, еще до его признания; Иван Карамазов знает, что убийство должно произойти, еще до его совершения и т. д. и т. п.

Известный разговор Ивана со Смердяковым целиком построен на недомолвках. Здесь значимы не только и не столько слова, сколько движения.

«Что батюшка, спит или проснулся? — тихо и смиренно проговорил он (Иван. — И. В.), себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку»; «Иван Федорович длинно посмотрел на него»; «с особенным и раздражительным любопытством осведомился Иван Федорович»; «что-то как бы перекопилось и дрогнуло в лице Ивана Федоровича. Он вдруг покраснел». И т. д.

Иван уезжает наконец в Чермашню. «Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковер.

— Видишь... в Чермашню еду... — как-то вдруг вырвалось у Ивана Федоровича, опять как вчера, так само собою слетело, да еще с каким-то нервным смешком...

— Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно, — твердо ответил Смердяков, проникновенно глянув на Ивана Федоровича.

Сговор фактических сообщников происходит без произнесения окончательного слова; он выражается в намеках, интонационных акцентах, в мимике и жесте.

Если у Достоевского важнейшие художественные смыслы часто уведены, загнаны, запрятаны в подтекст, то автор «Войны и мира» занят задачей прямо противоположной: он стремится вывести эти смыслы наружу — в текст — из тьмы внетекстового хаоса, он хочет твердым комментирующим словом объять и объяснить всю полноту душевных и исторических движений.

В публицистике Толстого анализу (и часто осуждению) подлежит сама авторская личность: с не меньшей пристальностью, чем Пьера Безухова или Андрея Болконского, Толстой разбирает самого себя. Разымается не только человек: религия, государство, семья, искусство — ничто не может избежать критического и всепроникающего взгляда. Любое явление спешит получить прямую моральную оценку.

Поразительно, что, переводя и комментируя Новый завет, такой художник, как Толстой, пренебрегает именно поэтической стороной евангельского мифа и опирается главным образом на евангельскую «публицистику», всячески рационализируя сам миф и добываясь в первую очередь логической гармонии²². Не случайно такую важную роль играет в толстовстве его практическое, поведенческое, императивное начало (опрошение, непротивление, вегетарианство и т. д.) — именно то, что Достоевский, не доживший до оформления толстовской доктрины, пронизательно назовет в «Дневнике писателя» м у н д и р о м.

Может быть, чисто головная, рационалистическая, мужская доминанта толстовства, «оправдание добра» с «насильственной» помощью разума помешали возникнуть типу страстных и фанатичных последовательниц этого учения («боярынь Морозовых») при наличии достаточного количества преданных учеников. (У толстовства были свои мученики, но оно не знает м у ч е н и ц, как, скажем, ранее христианство; из числа последних можно назвать разве Софью Андреевну. И одними ли материальными соображениями объясняется активное неприятие ею учения мужа? Не было ли здесь еще и стийного сердечного недоверия к рационалистическому примату толстовства, чисто женского непонимания о б я з а т е л ь н о с т и любви?)

Женщины более откровенны с Достоевским, нежели с Толстым. И, отвечая на их послания, Достоевский всегда старается учесть личность своих корреспонденток. Его ответы никогда не строятся по известной моральной схеме, как многие поздние письма Толстого.

Может быть, женская доверительность была не чем иным, как интуитивным отзывом на интуитивное начало его искусства и его «учения» (ибо у Достоевского мы не обнаруживаем признаков того, что можно именовать системой в толстовском смысле). Достоевский многое не договаривает до конца. Но в его поэтике молчание есть момент содержательный.

Раскольников словоохотлив; Сонечка Мармеладова молчалива. Но последнее слово остается за ней.

²² Ср. известную запись в дневнике Толстого от 5 марта 1855 года: «Разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

Глава VI. РАЗВЯЗКА С ТУРГЕНЕВЫМ

Суета сует

Пушкинский праздник — главное событие последнего года Достоевского.

Он приехал в Москву в 9 часов утра 23 мая и уехал домой, в Старую Руссу, 10 июня в час дня. Он не знал, что это последний визит в город его детства — на родину. За тринадцать лет супружеской жизни (во втором браке) он покидал семью на столь длительный срок только для путешествия в Эмс, на воды. Анне Григорьевне очень хотелось сопутствовать ему в этой поездке. Однако когда были подсчитаны ресурсы, выяснилось, что и без того напряженный семейный бюджет не выдержит чрезвычайных расходов.

Полагали, что он пробудет в Москве самое большое неделю. Но в связи с отсрочкой торжеств он оставался там восемнадцать дней (не считая дороги). За это время Анна Григорьевна натерпелась страху. Она опасалась, что с мужем случится в Москве припадок. Она прекрасно знала, что в такие минуты его нельзя оставлять одного. Анна Григорьевна даже подумывала, не поехать ли ей в Москву инкогнито и, нигде не показываясь, наблюдать здоровье мужа.

Впрочем, у нее имелись опасения и иного рода. Хорошо изучившая характер своего супруга, она пыталась по мере сил уберечь его от неприятных встреч и разговоров, прибегая порой для этого к маленьким хитростям. В гостях она просила хозяйку дома посадить мужа подальше от того или иного потенциально опасного посетителя. Под благовидным предлогом она отзывала мужа в сторону, если он начинал слишком уж горячиться.

Москва таила в себе угрозу. В ней собиралась «вся литература», причем в большинстве своем враждебная (Анненков, Тургенев). Поэтому опасения, что мужа могут раздражить, довести его до какого-нибудь безумного поступка (тургеневский обед еще на памяти!), — все эти опасения были не столь уж неосновательны.

Единственным утешением было то, что он обещал писать регулярно. И он сдержал слово: письма из Москвы отправлялись порой даже два раза в сутки.

Он написал ей тринадцать больших посланий (с припиской, имеющей характер самостоятельного письма, — четырнадцать). Больше в эти дни он не писал никому.

Трудно отделаться от чувства, что судьба имела свой тайный умысел, разлучая супругов на время Пушкинских торжеств. Будь они вместе, мы никогда бы не обрели возможность читать этот, как выразался его автор, «бюллетень», вводящий нас в самую гущу событий. Мы никогда бы не увидели совершающееся его глазами.

Его втягивает в себя предпраздничный водоворот; он принимает бесчисленных посетителей и сам отдает визиты, он участвует в приготовлениях и томится в ожиданиях. Самое удивительное, что среди всех этих хлопот он не оставляет надежды выкроить хотя бы несколько часов и заняться романом («А Карамазовы-то, Карамазовы! Эх, в какую суетню въехал»). Но с горечью убеждается, что это физически невозможно.

Его везут в «Эрмитаж», где в его честь устраивают обед (кажется, он впервые в жизни удостоивается подобной чести). Его поражает московский размах («...не по-петербургски устраивают»): снимается отдельный зал, наличествуют «балыки осетровые 1½ аршина, полторааршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой».

Радует не только стол: «Сказано было мне (с вставанием с места) 6 речей, иные очень длинные».

Он отмечает все эти подробности потому, что пишет жене, которой все это интересно и которой он желает зримо продемонстрировать, как его принимают и как потчуют. В информации такого рода «вставание с места» и продолжительность речей — момент существенный.

Трудно представить, чтобы, скажем, Л. Толстой в подобном тоне сообщал о своих успехах и приберегал для Софьи Андреевны такие подробности. Черепашьим супом Толстого не удивишь. Он может описывать изысканные обеды в своих романах, но ему не придет в голову повествовать об этом в своих письмах. Для него это дело светское, следовательно — привычное. Еда, которой могут угостить его московские друзья, — именно еда и ничего больше.

Для Достоевского разварная стерлядь и дорогие сигары — знак уважения к нему лично.

При этом он совершенно не опасается показаться своей корреспондентке смешным. С какой-то поразительной, почти детской непосредственностью рассказывает он ей о расточаемых в его адрес знаках внимания: жизнь не очень-то баловала его этим.

Простодушие — вот слово, которое применительно к Достоевскому встречается в нашей работе уже не впервые. Эту свою черту он, очевидно, сознавал и сам. «...у Федей (сына.— И: В.) характер мой,— пишет он Анне Григорьевне,— мое простодушие. Я ведь этим только, может быть, и могу похвалиться, хотя знаю, что ты, про себя, может быть, не раз над моим простодушием смеялась».

Его письма жене покоряют не блеском ума (и вообще не литературным блеском, этим защитным цветом эпистолярного жанра). Их обаяние, может быть, как раз в их нелитературности, в незащищенности автора, безоглядно подставляющего себя ретроспективным насмешкам.

Наряду с откровенной гордостью (слишком откровенной, чтобы обратиться в гордыню) в его письмах звучат и нотки плохо скрываемого удивления. Он искренне удивлен тем, что его так встречают, что посторонние люди узнают его в лицо, что его ценят и им дорожат. То, к чему Тургенев или Толстой отнеслись бы внешне спокойно, как к чему-то вполне естественному и заслуженному, глубоко волнует его: он видит в этом неожиданную милость и перст судьбы.

«Он вовсе не знает своей цены»,— приводили мы слова мемуаристики.

Он по-настоящему скромнен, и эта внутренняя скромность проявляется уже на бытовом, житейском уровне. В «Лоскутной» его просят перейти в лучший номер: в Думе он записан именно в нем. «Я удивился и спросил: почему знает Дума?— Да ведь вы же стоите на счет Думы, ответил Юрьев. Я закричал».

Он закричал, ибо во всю свою жизнь ни разу не жил на чужой счет; он завсе привык платить сам. Юрьев твердо возразил ему, что все гости праздника стоят за счет Думы и что, отказавшись, он тем самым оскорбит ее. «Я решил, наконец, что если и приму от Думы квартиру, то не приму ни за что содержания». Он осведомляется у управляющего гостиницей, правда ли, что его счета оплачивает Дума, и, получив утвердительный ответ, заявляет, что вовсе этого не хочет. Но ему опять возражают, что в таком случае он обидит город Москву. «Что мне теперь, Аня, делать? Не принять нельзя, разнесется, выйдет в анекдот, в скандал, что не захотел, дескать, принять гостеприимство всего города Москвы и проч.»

Его знакомые удивлены его щепетильностью. В конце концов он смиряется (он, рассчитывающий для поездки в Москву каждую копейку). Путешествие оказывается не столь накладным, но—«но зато как же это меня стеснит! Теперь буду нарочно ходить обедать в рестораны, чтоб, по возможности, убавить счет, который будет представлен гостиницей Думе. А я-то два раза уже был недоволен кофеем и отсылал его переварить погуще: в ресторане скажут: ишь на даровом-то хлебе важничает».

Но в письмах жене он, естественно, передает не только впечатления от московского гостеприимства. Он подробно объясняет Анне Григорьевне необходимость остаться и ждать открытия: «Если будет успех моей речи в торжественном собрании, то в Москве (а стало быть, и в России) буду впредь более известен как писатель (т.е. в смысле уже завоеванного Тургеневым и Толстым величия...)» Мыслимое ли дело, чтобы те же Тургенев и Толстой так беззастенчиво, так ребячески откровенно признавались в подобных помыслах и приводили подобные аргументы! Да они постеснялись бы употребить само это слово «величие» — и вовсе не потому, что не смели соотнести себя со столь высоким понятием. Достоевский упоминает о величии буднично, с естественностью человека, отнюдь не снедаемого тайным жаром честолюбия: слову не придается никакого особого смысла. Это фразеология мальчишки, запальчиво доказывающего окружающим, что и он ничуть не хуже других.

Но, кроме соображений престижного порядка, он приводит в пользу своего дальнейшего пребывания в Москве и иные доводы. «Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бегать с поля битвы».

Битва между тем приближалась.

Вечные соперники

Лев Толстой в Москву не поехал (как выразился современник, он «блистал» своим отсутствием). Был упущен великий шанс: историческое свидание трех так и не

состоялось. Оставались двое; они сошлись в Москве, не ведая, что сходятся в последний раз.

Оба готовились самым тщательным образом: Тургенев уезжает в Спасское-Лутовиново, Достоевский — в Старую Руссу. Вдали от мирской суеты трудятся они над своими текстами: каждый отлично понимает, что именно его слово останется со словом соперника один на один.

Да, именно им будут принадлежать главные роли. Уединясь — один в своем родовом поместье, другой в недавно приобретенном (первом и единственном в жизни) собственном доме, — уединясь, они, очевидно, не могут целиком унести в горние области духа: они не могут не думать о встрече.

В 1891 году издатель «Русского архива» П. Бартенев обнаружил замечательный факт: «Любопытно, что в одном из заседаний пригласительной комиссии едва было не постановили не допускать Достоевского к чтению чего-либо на Пушкинском празднике. Некоторые члены комиссии настаивали на таком недопущении, потому что Достоевский якобы нанес Тургеневу обиду, спросив его прямо и во всеулышание на одном из петербургских общественных обедов, чего именно хочет он от наших студентов (вот еще одна версия обеденного инцидента — И. В.), и тем приведя знаменитого друга молодежи в неловкое положение и смущение. На этот раз большинство членов комиссии не допустило такого остракизма, но прения были горячие».

Их первая встреча в Москве, надо полагать, произошла 3 июня. «Тургенев со мною был довольно мил...» — лаконически сообщает он Анне Григорьевне. Так; но отчего вдруг приятель Тургенева Ковалевский («...большая толстая туша и враг нашему направлению») столь пристально его разглядывает? Очевидно, не к добру.

Сам Тургенев «довольно мил», и это, по крайней мере, свидетельствует о том, что они разговаривают, общаются. Поэтому следует признать ошибочным утверждение одного из мемуаристов (Д. Н. Любимова, сына редактора «Русского вестника») о полном отсутствии между ними дипломатических отношений.

Впрочем, приводимый вспоминателем анекдот весьма характерен.

В Москве, пишет Любимов, много говорили «о невозможных отношениях между Достоевским и Тургеньевым». Распорядители праздника были в отчаянии, «и Д. В. Григоровичу специально поручено было следить, чтобы они не встречались (в Петербурге эти функции выполнял Я. П. Полонский.— И. В.). На рауте в Думе вышел такой случай. Григорович, ведя Тургенева под руку, вошел в гостиную, где мрачно стоял Достоевский. Достоевский сейчас же обернулся и стал смотреть в окно. Григорович засуетился и стал тянуть Тургенева в другую комнату, говоря: «Пойдем, я покажу тебе здесь одну замечательную статую». «Ну, если это такая же, как эта, — ответил Тургенев, указывая на Достоевского, — то, пожалуйста, уволь!»²³

Даже если Любимов приводит подлинную фразу Тургенева, нельзя сомневаться, что произнесена она была за спиной адресата этой шутки: он вряд ли оценил бы тургеневский юмор.

Сам Достоевский тоже описывает «раут в Думе». «Подходил ко мне Островский — здешний Юпитер. Любезно подбежал Тургенев. Другие партии либеральные, между ними Плещеев и даже хромой Языков, относятся сдержанно и как бы высокомерно: дескать, ты ретроград, а мы-то либералы».

Замечательно, что все перечисленные лица — самостоятельные «партии»: сколько людей, столько и партий.

Важны не столько убеждения, сколько сам человек.

Тургенев может быть или не быть с ним любезным. То или иное поведение — вопрос тактики. Но Достоевский уже не изменит своего мнения об авторе «Дыма». Оно сложилось прочно — и навсегда.

В декабре 1879 года говорено Е. Н. Опочинину (последний занес эти слова в свой дневник): «Он (т. е. Иван Сергеевич)... всю мою жизнь дарил меня своей презрительной снисходительностью, а за спиной сплетничал, злословил и клеветал».

«Презрительная снисходительность» — вот обида, затаенная еще с молодых лет и с годами только укрепившаяся в своей уязвленной правоте. Конечно, теперь Тургенев не позволит себе явной бестактности. Однако за глаза он не стесняется в выра-

²³ Этот «анекдот» по типу совершенно аналогичен другому, уже приводившемуся, когда на вечере 9 марта 1879 года Тургенев, уязвленный враждебным отношением к нему Достоевского и Салтыкова, демонстративно замечает: «Здесь что-то холодно!»

жениях, именуя, например, «Подростка» кислотиной и больничной вонью, никому не нужным бормотаньем и психологическим ковырянием.

«Кислятиной» роман Достоевского назван в 1875 году в письме Салтыкову-Щедрину, вместе с Некрасовым публикующему этот роман в «Отечественных записках». Впечатление, производимое «Преступлением и наказанием», сравнивается с «продолжительной холерной коликой». Тургенев жалуется Я. П. Полонскому: «Дают нам каких-то больных людей, грязных оборвышей, юродивых или просто безумных развратников; водят нас в какие-то лачуги, с удовольствием описывают вонь и грязь, при одной мысли о которой начинает тошнить, и приказывают вам всем этим интересоваться, любить этих уродливых людей. Да я просто ничего этого не хочу, мне ничего этого не надо...»

Тургенев осторожен: имя Достоевского не названо (у Полонского в это время присутствует посторонний), однако все прекрасно понимают, о ком идет речь.

Тургенев не принимает Достоевского как художника. В свою очередь, Достоевский, отнюдь не отказывая Тургеневу в художественном даре («А талантом его бог не обидел: может и тронуть и увлечь»), ставит под сомнение то, что, по его мнению, должно составлять главную суть искусства.

Он считает, что даже в лучших вещах Тургенева присутствует некая преднамеренность. «Чувствуется, что он совсем не любит того, кого столь трогательным образом описывает. Словно игра одна актерская: „смотрите, мол, как я умею чувствовать“».

Да, в напряженности и резкости их взаимоуничтожающих оценок заключено не одно лишь эстетическое отталкивание. Под подозрением находится нравственная личность оппонента.

Их личное и идейное противостояние достигает на Пушкинском празднике своей высшей точки.

Опять обеденные перипетии

Описывая «потрясающие, восторженные рукоплескания», которые раздались в Москве в честь Тургенева, Страхов добавляет: «Сейчас же почувствовалось, что большинство выбрало именно Тургенева тем пунктом, на который можно устремлять и изливать весь накопившийся энтузиазм». Его чествовали как главного представителя русской литературы.

6 июня Московская городская дума давала торжественный обед прибывшим в Москву депутатам. Обед стал историческим благодаря двум событиям: поразившей современников примирительной речи М. Н. Каткова (он, чувствуя растерянность власти, сам — впервые! — пребывает в растерянности) и демонстративному жесту Тургенева, отвергнувшего протянутый ему катковский бокал.

Попробуем взглянуть на эту трапезу еще с одной стороны. Один из позднейших воспоминателей, говоря о думском обеде, замечает, что на нем Достоевский проявил «черту болезненного самолюбия, свойственную многим крупным талантам». В чем же заключалась эта черта?

Распорядители застолья «отвели место Достоевскому за первым столом, но несколько подалше от центра. Он заплакал и категорически заявил, что не сядет ниже Тургенева, и тот любезно уступил ему место, подвинувшись к Стасюлевичу».

Это уж слишком — даже для Достоевского! Оставим «слезы» на совести анонимного мемуариста, скрывшегося под псевдонимом Одиссей. Но если он все-таки присутствовал на обеде, то, очевидно, его наблюдения покоятся на какой-то фактической основе. Возможно, Достоевский в самом деле был чем-то огорчен. Чем же?

На этот вопрос помогает ответить другой источник.

13 июня 1880 года, то есть всего через день после возвращения из Москвы в Старую Руссу, Достоевский отправляет следующее послание:

«Глубокоуважаемая Вера Николаевна, — пишет он. — Простите, что, уезжая из Москвы, не успел лично засвидетельствовать вам глубочайшее мое уважение и все те отрадные и прекрасные чувства, которые я ощутил в несколько минут нашего короткого временного, но незабвенного для меня знакомства нашего».

У него случались такие внезапные приливы. Впервые увиденный им человек (особенно женщина) мог чем-то поразить его воображение. Какая-то неуловимая черта могла глубоко запасть ему в душу — и он отзывался благодарностью, симпатией, приятностью.

Так произошло и на этот раз. Вера Николаевна — жена Павла Михайловича Третьякова, основателя Третьяковской галереи (по его заказу Перов написал в свое время знаменитый портрет Достоевского). Она записала в своем дневнике: «На обеде... познакомилась с Достоевским... который сразу как бы понял меня, сказав, что он верит мне, потому что у меня и лицо и глаза добрые, и все то, что я ни говорила ему, все ему было дорого слышать как от женщины».

Его поражает доброта. В своем письме он назовет тридцатилетнюю В. Н. Третьякову «прекрасным существом».

Вера Николаевна продолжает: «Собирались мы сесть вместе за обедом, но, увидев, что я имела уже назначенного кавалера, Тургенева, он со злобою удалился и долго не мог уgomониться от этой неудачи».

Его можно понять. Только он ощутил прилив острого интереса к человеку, к женщине, которая среди окружавших его и не очень близких ему людей расположила его к себе с первого взгляда, только настроился на душевную беседу, как его соперник, вечный баловень судьбы, вновь заявил свое присутствие и лишил его этого невинного удовольствия.

Уж не эту ли сцену имеет в виду безымянный вспоминатель? В его памяти могло сохраниться заметное постороннему глазу неудовольствие Достоевского, которое теперь, через двадцать пять лет, объясняется как следствие необходимости сесть «ниже» Тургенева.

Между тем Тургенев занимал свою соседку беседою вполне светскою. Интересно, что, поместившаяся рядом с Тургеневым (и, следовательно, напротив Каткова), она ни словом не упоминает о знаменитом тургеневском жесте с бокалом: эти материи ее, очевидно, не интересуют.

С кем разговаривал в это время «удалившийся» Достоевский, мы можем только предполагать. Но вскоре он был вознагражден.

«Во время обеда,— пишет Вера Николаевна,— я вспомнила о Достоевском и желала дать ему букет лилий и ландышей с лаврами, который напоминал бы ему меня — поклонницу тех чистых идей, которые он проводит в своих сочинениях...» И, поднявшись из-за стола, она исполняет свое намерение.

«Он обрадовался им (цветам.— И. В.) потому, что я вспомнила о нем за обедом, сидевши рядом с его литературным врагом — Тургеневым».

Вера Николаевна тонко понимает ситуацию. И чисто по-женски пытается все сгладить, утратить, наладить, вернуть своему собеседнику хорошее расположение духа. Ей это наконец удается. «Он нервно мялся на одном месте, выговаривая все свое удовольствие за внимание мое к нему...» Он намеревается поцеловать ей руку, хотя тут же замечает, что это не принято в большом собрании, «но все-таки, пройдя шагов пять, поцеловал мне руку с благодарностью...».

Его дочь Любовь Федоровна утверждает, что он не любил оказывать женщинам подобные знаки внимания. По-видимому, бывали исключения.

Если иметь в виду, что обед в Дворянском собрании начался в шесть часов вечера и длился примерно до девяти и что значительную часть этого времени В. Н. Третьякова провела за столом рядом с Тургеневым, получается, что их общение с Достоевским было не столь продолжительным. И тем не менее он напишет ей о своем глубочайшем уважении, которое он «когда-либо имел счастье ощущать к кому-нибудь из людей».

Уважение тоже бывает с первого взгляда.

Больше они никогда не встретятся. Но он этого не знает. И, поцеловав Вере Николаевне руку, он направляется в главное помещение Дворянского благородного собрания (известное ныне как Колонный зал Дома союзов), где нетерпеливо шумит публика, ожидающая своих любимцев.

Апофеоз при электрическом свете

Он проходит к эстраде, «странно съжившись», может быть, чувствуя себя не очень ловко под взглядами сотен устремленных на него глаз. В отличие, скажем, от Тургенева, который ощущал себя как рыба в воде и, по свидетельству очевидца, «стремился в этот вечер сосредоточить на себе внимание публики, преимущественно пред другими писателями, находившимися в зале...».

Тургенев прочел стихотворение Пушкина — видимо, это было «Вновь я посе-

тил...», — и публика ясно поняла намерение чтеца применить к самому себе те чувства, которые испытал когда-то Пушкин. «Прескверно прочел...» — сообщает Достоевский Анне Григорьевне. «Читал тихо, но было что-то в его чтении, несмотря на старческую шелелювость (вспомним язвительное «старичок-то пришепetyвает».— И. В.) и слишком высокий голос, завораживающее», — не соглашается с Достоевским одна из слушательниц.

Тургенева вызывали семь раз. «Больше меня», — ревниво отмечает его соперник. Публика неистовствовала — и Тургенев, выйдя к краю рампы, «голосом, в котором слышалось волнение», прочитал пушкинское «Последняя туча рассеянной бури...»:

Довольно, сожройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась...—

стихи, как нельзя более подходившие к настроению последних месяцев.

Современник так живописует сцену: «„Довольно“! — раздался энергичный вызов чтеца. Вся зала, как один человек, грянула „браво“».

В завершение вечера был поставлен так называемый апофеоз (именовавшийся в афише апотеозом); он носил подчеркнуто аллегорический характер. «При соединенных звуках оркестра и хора взвился занавес, и глазам публики представился бюст Пушкина на невысоком пьедестале, поставленном посреди сцены».

Бюст утопал в зелени и был освещен ярким электрическим светом: сиянию славы основоположника новой русской литературы по мере сил способствовали последние достижения технического прогресса.

Некоторое время сцена оставалась пуста; затем из-за боковой кулисы вышли оперные певцы, а за ними гуськом потянулись известные русские писатели — Тургенев, Островский, Достоевский, Писемский — вперемежку с менее известными Потехиным и Юрьевым и уж почти никому не известными Максимовым и Поливановым. «Каждый из вышепоименованных нес с собою венок, который клался им к подножию пушкинского бюста».

По свидетельству очевидца, перед началом этого «номера» в публике «заметно было нетерпеливое и любопытное ожидание». По-видимому, не меньшее, чем на балу в «Бесах»: там весь город толкует о предстоящем литературном «шоу».

Еще деталь: в «Бесах» идею «кадрили литературы» городская молва приписывает Кармазинову, который «даже сам, говорят, хотел нарядиться и взять какую-то особую и самостоятельную (разрядка моя.— И. В.) роль». И ныне именно Тургеневу, по убеждению присутствующих, принадлежала сама мысль об апофеозе. И именно он берет на себя некую особую роль.

В отличие от «кадрили» в «Бесах» церемония в Благородном собрании была встречена бурными рукоплесканиями; аплодировали, впрочем, не все.

«Апофеоз этот, — записывает современник, — вышел по крайней мере, по моему личному впечатлению, несколько комичен».

Пока Н. Г. Рубинштейн, размахивая дирижерской палочкой, управлял оркестром и невидимым хором, участники церемонии выстроились позади Пушкина (по словам того же очевидца, «глупо глядя на публику»). Венки, как было сказано, слагались к подножию бюста. «Один только Тургенев, подойдя к бюсту, увенчал своим венком главу Пушкина».

В этом заключалась его особая роль.

Нам неизвестно, как отнесся Достоевский к «апофеозу» и к своему в нем участию. Не посетила ли его мысль об удивительной судьбе его романских фантазий? О странных сближениях сюжетов — вымышленных и реальных, — об их перевоплощениях и нечаянных встречах? Не волновала ли его пугающая способность угадки тех событий, с которыми ему еще предстояло столкнуться в будущем: казнь в «Идиоте» — и казнь Млодецкого, «кадриль литературы» — и московский «апофеоз»?

«Высокая фигура Тургенева с его внушительной седою головой особенно выделялась в среде писателей, допущенных на сцену... Максимов, Потехин и прочая литературная мелкота самодовольно улыбались на этом самодельном Олимпе. Даже скромная фигура Достоевского как-то ступевалась перед видным станом Тургенева, выступившего несколько вперед и усерднее других кланявшегося в ответ на восторженные приветствия».

Трезвому скептическому наблюдателю (археологу М. А. Веневитинову) не нра-

вится этот спектакль. Ибо литераторы не столько чествуют Пушкина, сколько исполняют роли статистов при Тургеневе. «Апотеоз...— добавляет он,— как-то не вязался с представлением об обыкновенной скромности наших доморожденных писателей и с простотою русского человека...»

Но такова была атмосфера этого праздника, где главные участники «волновались и напрягались, как борцы, которым предстоит победа или поражение».

Тут автору следует еще раз оговориться. Ибо он как бы различает упрек, что в его работе наличествует явное недоброжелательство к Тургеневу и «перекос» в пользу Достоевского.

Автора огорчило бы подобное предположение. Его собственное отношение к творцу «Отцов и детей» не совпадает с точкой зрения его героя. Но он, автор, озабочен тем, чтобы уловить скрытую пульсацию взаимных симпатий и антипатий, разобраться в глухом борении страстей — литературных и личных. Подобная задача требует не только ретроспективного созерцания, но и взгляда изнутри.

«Перестаньте,— советовал Г. К. Честертон,— хоть на время читать то, что пишут живые о мертвых; читайте то, что писали о живых давно умершие люди».

Вернемся, однако, к июньским дням 1880 года.

Главные баталии были еще впереди.

«Речь была встречена холодно...»

7 июня зал, бывший вчера свидетелем «апотеоза», вновь наполнился возбужденной толпой.

...Долгожданный момент наступил после перерыва: на кафедру поднялся сам Тургенев. «Не нужно говорить...— замечает хроникер,— какую бурю вызвало это явление». Речь Тургенева, блестящая по форме, адресовалась, как это признавал впоследствии М. Ковалевский, «более к разуму, нежели к чувству». Воздав должное великим заслугам Пушкина, Тургенев высказал некоторое сомнение относительно того, можно ли считать автора «Евгения Онегина» поэтом национальным (и, следовательно, всемирным), как Гомера, Шекспира, Гёте. Этот вопрос, осторожно заметил оратор, «мы оставим пока открытым».

«Речь была встречена холодно,— вспоминает М. Ковалевский,— и эту холодность еще более оттенили те овации, предметом которых сделался... Достоевский».

В свою очередь Страхов говорит, что тургеневское выступление породило у некоторых участников торжества чувство неловкости и «кто-то успел написать даже насмешливые стихи — конечно, не для публичного чтения»²⁴.

Разумеется, готовя собственную речь, Достоевский ничего не знал о тургеневском тексте. Но вновь — в который раз! — получалось так, что его воззрение сталкивалось с тургеневским: завтра, 8 июня он ответит на вопрос о всемирности Пушкина. В письме жене он упоминает о речи своего главного оппонента мимоходом, одной фразой в скобках (Тургенев «унизил Пушкина, отняв у него название национального поэта»): Анну Григорьевну волнует не столько тургеневское мнение о Пушкине, сколько ход нынешнего соперничества.

А. Н. Майков тоже писал из Москвы письма супруге. Перечисляя различные эпизоды праздника, он замечает, что «изо всего этого лучше всего были обеды».

Очередной обед предстоял вечером 7 июня.

Заблуждение Луи Лежара

Он давался в залах все того же Дворянского собрания, но в отличие от вчерашнего, думского, носил чисто литературный характер. Устроителем было Общество любителей российской словесности; платили на сей раз сами обедающие — в складчину.

²⁴ Сам Страхов не приводит этих стихов. Однако у нас есть возможность воспроизвести их и указать имя автора. Они принадлежат писательнице Ольге Андреевне Голохвастовой (Достоевский называет ее в числе своих почитательниц) и цитируются в одном из мемуарных источников:

Но чтоб нам не возгордиться,
О себе не возмечтать,
Поспешим оговориться,
Что не след нам торопиться
Пушкина великим звать.

«Это была,— повествует восторженный наблюдатель,— блестящая трапеза ума, чувства и остроумия, сплошной звон товарищеских, инстинктивно тянувшихся друг к другу бокалов...»

Действительно, на сей раз ничто не мешало бокалам «инстинктивно» тянуться друг к другу: Катков отсутствовал и не было надобности загораживать пиршественную чашу презрительною ладонью.

Отсутствовали и представители власти. Их функции взял на себя С. А. Юрьев, председатель Общества любителей российской словесности, провозгласивший непреходящий тост «за Того, Чьим велением сбылось задушевное желание поэта видеть народ освобожденным и Кто дал нам возможность соорудить этому поэту памятник».

Впрочем, Юрьев не ограничился предложением поднять бокалы за здоровье государя. Не менее горячо почтил он и другое значительное лицо: посланца прекрасной Франции.

Ученый-славист Луи Леже (или, как называли его газеты, Лежар) был зван на праздничный Тургеневым, рядом с которым он сейчас и поместился. В своих позднейших «Воспоминаниях славянофила» он упоминает об этом обеде и среди прочих называет Достоевского, «чьи глубоко посаженные глаза и сведенное судорогой лицо с первого взгляда свидетельствовали о том, что перед нами мятущийся гений, и о перенесенных им долгих испытаниях».

Приходило ли когда-нибудь на ум автору этих воспоминаний, что подмеченная им судорога в лице «мятущегося гения» имела самое прямое касательство к нему, Луи Лежару, и свидетельствовала не столько «о перенесенных долгих испытаниях», сколько о страданиях, именно в данный момент переносимых?

Разумеется, ни о чем подобном он не подозревал. Между тем у нас есть основания полагать, что дело обстояло именно так.

Поздним вечером 9 июня, накануне отъезда Достоевского из Москвы, его посетила М. А. Поливанова (речь о которой еще впереди). Во время их беседы в номер зашел С. А. Юрьев.

М. А. Поливанова приводит следующий диалог:

— Не могу не любить этого человека,— говорил он (Достоевский.— И. В.)— На депутатском обеде ведь совсем рассердился на него. Если бы вы слышали, Марья Александровна, как он унижал Россию перед Францией. Французы должное оказали великому русскому поэту, а мы удивляемся этому, носимся и чуть ли не делаем героем дня французского депутата. Я, знаете, даже отвернулся от него во время обеда; сказал, что не хочу быть знакомым с ним.

— Вы все за фалды меня дергали,— вставил Юрьев.

— Я хотел вас остановить, но вы не обращали внимания. Я очень сердит был, а после обеда не мог, пошел к нему и помирился. Не понимает он, что он делает.— Тут оба обнялись и поцеловались».

Достоевский отходчив: он не может долго сердиться на прекраснородного, многоглазого, но незлобивого Юрьева.

Между тем у председателя Общества любителей российской словесности имелись личные причины для застольных восторгов. Дело в том, что Луи Леже привез в Москву весть о том, что правительство его страны в честь праздника удостоивает звания *officier de l'instruction publique* и высшего знака золотой пальмы директора Московской консерватории Николая Григорьевича Рубинштейна, ректора университета Николая Саввича Тихонравова и его, Сергея Андреевича Юрьева.

«Не есть ли это,— воскликнул в своей речи Юрьев,— свидетельство о сочувствии французского народа к русскому?.. Не есть ли это также свидетельство о высшей цивилизации французского народа?..»

Надо полагать, именно в этот момент Достоевский начал тянуть оратора за фалды и лицо его исказилось той самой «судорогой», которую зорко подметил, но не совсем верно истолковал безмятежный адресат тоста.

Очевидно, дернув оратора за фалды и не добившись цели, Достоевский совсем перестал его слушать. И напрасно: он мог бы уловить в словах Юрьева нечто, напоминающее его собственную еще не произнесенную речь.

«Если к всемирному братству,— сказал Юрьев,— тяготеет природа духа французского народа... то к тому же тяготеет и стремится природа духа русского народа, но только путями, отличными от путей французских. И быт и дух русского народа пред-

уготованы к возможному осуществлению этой великой всемирной идеи... Человечность, стремление к братству и общность — вот наша природа».

Но, может быть, как раз эти слова Юрьева еще больше возмутили его соседа? Уж не имел ли в виду оратор ненавистную ему, Достоевскому, идею безличного, стадного, единения, стирающего национальные особенности и придающего всем одинаково тупое выражение довольства? А вовсе не ту жертвенную силу, которую, по мысли автора пушкинской речи, до поры таит в себе русский человек, желающий стать братом всех людей?..

Меж тем обед шел своим чередом, и П. В. Анненков провозглашал тост за здоровье двух оставшихся в живых лицейских товарищей Пушкина: господина Комовского и государственного канцлера Российской империи князя Горчакова (Комовский умрет через несколько недель, разрешив леденящий душу пушкинский вопрос: «Кому ж из нас под старость день Лицея торжествовать придется одному?» — в пользу восьмидесятидвухлетнего министра иностранных дел).

После обеда Достоевского окружает молодежь. Беседуя с молодыми людьми, он жалуется на болезнь, на память, на то, что порой забывает, о чем говорится в печатающихся главах романа. «Помолчав, он прибавил: „Напишу еще „Детей“ и умру“».

Имелось в виду продолжение «Братьев Карамазовых». Дальше он не заглядывал.

Завтра его «самый роковой день» — и он настороже, хотя и вынужден признать, что его противники ведут себя по отношению к нему почти безукоризненно. «Ковалевский наружно очень со мной любезен и в одном тосте, в числе других, провозгласил мое имя, Тургенев тоже».

Завтра он ответит Тургеневу поистине королевским жестом.

Королевский жест и другие движения

Эта едва ли не самая знаменитая в русской истории речь была произнесена 8 июня около двух часов дня.

Предоставим слово современникам.

Д. Любимов: «Достоевский поднялся, стал собирать свои листки и потом медленно пошел к кафедре, продолжая нервно перебирать листки, видимо, список своей речи, которым, кстати сказать, он потом почти не пользовался. Он мне показался осунувшимся со вчерашнего дня. Фрак на нем висел, как на вешалке, рубашка была уже измята, белый галстук, плохо завязанный, казалось, вот сейчас совершенно развяжется. Он к тому же волочил одну ногу».

Граф Д. Олсуфьев: «Он вспоминается мне невысоким, тщедушным, с лицом бледным, напряженно-сосредоточенным и неприветливым, с живыми, пронизательными, чернеющими, как угольки, глазами; все обличье его являло что-то нервное и болезненное. Рядом с красивым, величавым старцем Тургеневым Достоевский казался маленьким и невзрачным. Голос у него был высокого тембра и средней силы, так что слова, которые Достоевский хотел особенно подчеркнуть, он почти выкрикивал. Читал он свой доклад просто и вместе необычайно сильно по выразительности и по какой-то особой проникновенности».

Г. Успенский: «Когда пришла его очередь, он «смирнехонько» взошел на кафедру, и не прошло пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего в собрании».

Перечитывая воспоминания современников, замечаешь: им трудно отделаться от впечатления, что они сделались свидетелями чуда.

Как чудо воспринимал это и сам Достоевский:

«Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями, и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать, — ничто не помогало: восторг, энтузиазм (все от Карамазовых!). Наконец, я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий».

Он объясняет этот энтузиазм причинами чисто литературными: такое объяснение льстит его авторскому самолюбию. Роман еще не окончен: восторги публики словно бы обязывают его к достойному завершению труда.

«Я читал громко, с огнем», — говорит оратор, и эта бесхитростная самооценка мало помогает понять то, что, к сожалению, утрачено навсегда. Он запнулся только раз — когда упомянул о пушкинской Татьяне.

„Такой красоты положительный тип русской женщины уже и не повторялся в нашей литературе... кроме, пожалуй...“ Тут Достоевский,— свидетельствует Д. Н. Любимов,— точно задумался, потом, точно преодолевая себя, быстро: „кроме разве Лизы в „Дворянском гнезде“ Тургенева“...»

Эта заминка, о которой говорит Д. Н. Любимов, находит точное документальное подтверждение.

В дошедшей до нас рукописи речи (в той самой замеченной присутствующими «тетрадке») слова, процитированные Любимовым, располагаются не в основном тексте, а отдельно, внизу страницы: они представляют позднейшую вставку.

«Тургенев,— пишет Достоевский Анне Григорьевне,— про которого я ввернул доброе слово...» Именно «ввернул», ибо рукопись переписана рукой Анны Григорьевны, вставка же сделана рукой самого автора — скорее всего уже в Москве, накануне (в противном случае какой смысл сообщать переписчице то, что ей и так известно?²⁵

Можно было бы предположить, что решение упомянуть Тургенева в столь ответственный момент и в столь ответственном тексте созрело под влиянием чисто тактических соображений: как ответная любезность, вызванная сдержанно-корректным поведением соперника. Но такое объяснение в качестве главной и единственной причины плохо согласуется с характером Достоевского.

Через два месяца после Пушкинского праздника И. С. Аксаков в письме О. Ф. Миллеру говорит: «Некоторые тогда же подумали, что со стороны Достоевского это было своего рода *carpatio benevolentiae* (заискивание.— И. В.). Это несправедливо. Ровно дней за двенадцать... Достоевский в разговоре со мной о Пушкине повторил почти то же, что потом было им прочтено в «Речи», и так же упомянул о Лизе Тургенева, прибавив, впрочем, при этом, что после этого Тургенев ничего лучшего не написал...»

Он действительно высоко ценил того Тургенева: известно, как последнего обрадовал его пронизательный («восторженный») отзыв об «Отцах и детях» в не разысканном до сих пор письме (Тургенев, по собственному его признанию, «только руки расставлял от изумленья — и удовольствия»). Он печатает Тургенева в своем журнале «Эпоха». В 1866 году при первых своих разговорах с Анной Григорьевной он отзывается о нем «как о первостепенном таланте». И наконец, уже в 1879-м, он говорит Е. Опочинину: «Что ж Тургенев? Это человек, каких не много... Талант блестящий и огромный...» И тут же добавляет: «Жаль, правда, что талант этот вмещен в таком себялюбце и притворщике; ну, да ведь и солнышко не без пятен...»

Таким образом, упоминание Тургенева в пушкинской речи глубоко принципиально. Несмотря на личную неприязнь, автор речи не может погрешить против собственной совести: он старается соблюсти литературную справедливость.

Не исключено, конечно, что корректное поведение Тургенева на празднике помогло ему решиться.

«Ив. Сергеевич,— пишет И. С. Аксаков,— вовсе этого от Достоевского не ожидал, покраснел и просиял удовольствием».

Другой очевидец подтверждает эти слова, добавляя, что Тургенев был, видимо, «польщен и глубоко тронут внимательностью не столько публики, сколько автора „Братьев Карамазовых“».

Достоевский, как он говорит, «делал жесты» перед началом своей речи; Тургеневу пришлось делать их во время ее.

В настоящем случае мы понимаем жесты буквально — в смысле тех или иных телодвижений. Однако в разных источниках движения эти трактуются по-разному.

В письме, написанном современницей через день после пушкинской речи, утверждается, что Достоевский, упомянув о Лизе, «поклонился в сторону Тургенева, и публика разразилась рукоплесканиями». Поклон этот больше никем не отмечен. Не исключено, что воспоминательница просто подыскала для метафизического жеста Достоевского соответствующую физическую основу.

У Любимова интересующая нас сцена исполнена высокой патетики: «Вся зала посмотрела на Тургенева, тот даже взмахнул руками и заволновался; затем закрыл руками лицо и вдруг тихо зарыдал. Достоевский остановился, посмотрел на него,

²⁵ Г. Успенский говорит, что Достоевский до своего выступления «смирехонько» сидел, пригаввшись возле эстрады и кафедры, записывал что-то в тетрадке. Не вносились ли исправления в текст до самого последнего момента?

затем отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре. Несколько секунд длилось молчание; среди общей тишины слышались сдерживаемые всхлипывания Тургенева.

Увы, это кино, сказали бы мы сегодня. Смена крупных и средних планов: Достоевский, делающий эффектную паузу и докторально глядящий на раздавленного его великодушным противником, сам противник, рыдающий от избытка чувств...

Не будем, однако, излишне строги к мемуаристу: его воспоминания создавались на склоне лет, едва ли не через пять десятилетий после изображаемых событий.

Приведем еще одно свидетельство: «Всем памятно то движение руки, поцелуй, посланный Тургеневым Достоевскому в минуту, когда он в своей речи говорил о Лизе из «Дворянского гнезда». Все знали о их неприязненных отношениях, и это была одна из лучших минут этого удивительного праздника».

Это уже больше похоже на правду. Хотя, признаться, «поцелуй» смущает: не те отношения.

Воспоминания эти опубликованы в 1909 году.

Слишком широкий диапазон движений (от закрывания лица руками до воздушного поцелуя), воссоздаваемых через десятилетия, настоятельно требует поискать источники поближе.

Вот отрывок из записной книжки 1880 года. После слов Достоевского «весь зал встал и загремел рукоплесканиями. Тургенев не хотел принимать этих оваций на себя, и его насильно вывели на край эстрады. Он был бледен и сконфуженно кланялся».

Одно мелкое разночтение: здесь Тургенев бледен, у И. Аксакова он «покраснел и просиял удовольствием». Последнее вероятнее: не следует забывать о природном румянце.

И наконец, еще один источник. Ему, увы, приходится верить более остальных в силу специфичности жанра.

Это отчет агента III отделения.

Изложив соответствующее место речи, профессиональный наблюдатель тут же аккуратно фиксирует: «При этих словах раздаются дружные рукоплескания. Тургенев поднимается с своего места и кланяется публике».

Тургенев вновь (на сей раз невольно) оказывается в центре внимания. Но это его последняя крупная удача, ибо исход борьбы уже предрешен.

Нет смысла описывать то, что произошло после речи Достоевского, это описано многократно.

Следует отдать должное Тургеневу: он вел себя в высшей степени «спортивно». Он поздравил своего соперника первым.

«Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами, Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. «Вы гений, вы более, чем гений!»— говорили они мне оба».

Далее Достоевский повествует о том, как Иван Аксаков, «вбежавший» на эстраду, объявил публике, что речь его «есть не просто речь, а историческое событие!». И что отныне «наступает братство и не будет недоумений. Да, да! — закричали все и вновь обнимались, вновь слезы. Заседание закрылось».

Эпизод с Аксаковым изложен довольно точно. Опущены лишь некоторые детали, которые, однако, не могли остаться незамеченными публикою.

Назвав речь Достоевского гениальной, Аксаков продолжал: «Вчера еще можно было толковать о том, великий ли всемирный поэт Пушкин или нет; сегодня этот вопрос упразднен; истинное значение Пушкина показано, и нечего больше толковать».

«Вчера» в устах Аксакова имело буквальный смысл: именно вчера, 7 июня, был поставлен «вопрос», который сегодня «упразднен» Достоевским; автор «вопроса» находился тут же.

Однако Аксаков не ограничился иносказаниями. Он назвал имя.

«Все разъяснено, все ясно,—передает слова Аксакова Д. Н. Любимов.—Нет более славянофилов, нет более западников! Тургенев согласен со мною».

Свидетельство Любимова вновь вызывает сомнения: дело в том, что в речи Аксакова, напечатанной в «Русском архиве», эти слова отсутствуют.

Однако они все-таки были произнесены, в этом убеждает нас газетная хроника. Репортер «Голоса» следующим образом излагает аксаковский текст: «С Достоевским согласны обе стороны: и представители так называемых славянофилов, как я, например, и представители западничества, как Тургенев».

«Тургенев,— продолжает свой рассказ Любимов,— с места что-то кричит, видимо утвердительное».

На этот раз память не подвела мемуариста. Тургенев действительно что-то кричал с места. Вопрос лишь в том, было ли это что-то утвердительным.

В одном редком и малоизвестном издании тот же эпизод воспроизводится следующим образом: «В это время И. С. Тургенев хочет что-то сказать, но поднявшиеся аплодисменты не дают ему возможности вымолвить слова».

Что же все-таки хотел сказать Тургенев? Оказывается, у современников имелись на этот счет некоторые предположения.

«Правда,— пишет автор, укрывшийся под псевдонимом Очевидец,— после слов г. Аксакова поднялся было И. С. Тургенев и хотел что-то сказать или возразить, но раскатившиеся по зале аплодисменты не дали вымолвить ему слова. Обладая он голосовыми средствами г. Юрьева, ладоши не заглушили бы его слов...»

Предположения о том, что Тургенев хотел «что-то возразить», не столь уже безосновательны. Эти возражения были через несколько дней изложены им письменно.

«И в речи Ив. Аксакова, и во всех газетах,— пишет Тургенев Стасюлевичу,— сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне ее одобряю. Но это не так — и я еще не закричал: «Ты победил, галилеини!». Эта очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия... понятно, что публика сомлела от этих комплиментов; да и речь была действительно замечательная по красивости и такту. Мне кажется, нечто в этом роде следует высказать».

Конечно, ничего подобного Тургенев не рискнул бы произнести 8 июня — во всеуслышание. Не исключено, однако, что какие-то (можно не сомневаться, в высшей степени деликатные) уточнения к словам И. Аксакова он бы сделал. Понятно, почему в печатном тексте своей речи Аксаков снял слова о тургеневском «согласии»: очевидно, его попросил об этом сам Тургенев.

Вообще следует признать, что упоминание Достоевским автора «Дворянского гнезда» было едва ли не главным толчком для проявления первых тургеневских эмоций. Аксаков говорит, что Тургенев «был отчасти (и даже не отчасти, а на две трети)» подкуплен этим упоминанием. Сам Тургенев, как свидетельствует Достоевский, высказав ему свои восторги, счел нужным специально заметить: «Не потому, что вы похвалили мою Лизу, говорю это». Оговорка знаменательная.

Со временем тургеневские оценки все более ужесточаются. 15 июля, беседуя в Париже с В. В. Стасовым, Тургенев сначала вообще не хочет распространяться на эту тему, но затем, выяснив мнение самого Стасова (последний именует речь «поганой и дурацкой»), он признается, «как ему была противна речь Достоевского, от которой сходили у нас с ума тысячи народа». Он говорит, что для него невыносима даже трактовка пушкинской Татьяны: он словно запомнил, что его собственное имя было произнесено в связи с именем этой героини. «Тургенев,— продолжает Стасов,— был в сильной досаде, в сильном негодовании на изумительный энтузиазм, обурявший... всю русскую интеллигенцию»,

...Но вернемся вновь в зал Благородного собрания.

«Чтение стало продолжаться, а между тем составили заговор. Я ослабел и хотел было уехать...— пишет Достоевский.— В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре, лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: «За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!»...»

«Тут были «курсистки» курса Герье (крайнего западника), еще в прошлом году делавшие овации Тургеневу,— сообщает И. Аксаков.— Бог знает где, тут же в собрании, добыли они лавровый венок и поднесли его, при общих кликах, Достоевскому, за что им, вероятно, достанется».

Судьба уготовила Достоевскому очередной сюрприз: те, кого он склонен был принимать за явных сторонников Тургенева, венчали его лаврами — зримым и осязаемым признанием его победы.

Все это не могло быть слишком приятно Тургеневу, тем более что увенчание соперника сопровождалось действиями, не ставшими достоянием широкой публики, но от этого не менее оскорбительными для того, кого они непосредственно задевали.

В своих воспоминаниях М. Коззлевский приводит следующий эпизод: «Выходя

из залы, Тургенев встретился с группой лиц, несших венок Достоевскому, в числе их были и дамы. Одна из них в настоящее время живет вне России по политическим причинам. Дама эта оттолкнула Ивана Сергеевича со словами: „не вам, не вам!“

Зачем нужно было отталкивать Ивана Сергеевича? Уж не сделал ли он инстинктивное движение благодарности, приняв венок на свой счет? Мог ли он предполагать, что дама, политические убеждения которой, по-видимому, не являлись для него секретом, собирается увенчать лаврами чelбвека, чьи взгляды не должны быть ею разделяемы?

Все эти «мелочи» не могли не укрепить Тургенева в его отрицательном отношении к речи. И, может быть, самым обидным и для себя непростительным он полагал то, что он, Тургенев, поддался на неожиданный выпад противника, просиял при упоминании своего имени, явил публичную слабость.

Сторонники Тургенева почувствовали всю деликатность ситуации. «После заседания,— пишет Е. П. Леткова-Султанова,— уже совершенно осознанно явилась потребность выразить Ивану Сергеевичу, на чьей стороне мы видим правду. Было решено подать венок Тургеневу».

Эта попытка восстановить нарушенное равновесие была предпринята вечером. А пока «вереница дам», с трудом пробиваясь сквозь заполнившую проходы толпу, поднимается на сцену; они возлагают огромный зеленый венок на виновника торжества, то есть некоторое время «при криках и топоте и махании платков» держат его над ним («Венок был насильно надет на Достоевского»,— говорит очевидец).

«Восторг,— свидетельствует еще один источник,— дошел до высших пределов, когда Федор Михайлович, растроганный, как бы подавленный своим торжеством, стал благодарить; видимо взволнованный, он поспешил удалиться».

Он поспешил удалиться к себе в гостиницу— перевести дух перед вечерним чтением и написать Анне Григорьевне обо всем случившемся. Ему сопутствовал венок, эскортируемый одним из распорядителей. Распорядитель этот впоследствии вспоминал:

«Мы подъехали к Лоскутной почти одновременно, и я вошел в его номер вслед за ним. Он любезно просил меня присесть, но так был бледен и, видимо, утомлен, что я решил по возможности сократить свой визит. Хорошо помню, как он вертел в руках тетрадку почтовой бумаги малого формата, в которой не без помарок (вспомним о вставках.— И. В.) была набросана только что прочитанная речь, повторял неоднократно: „Чем объяснить такой успех? Никак не ожидал...“».

Примерно через час он напишет Анне Григорьевне свой знаменитый «бюллетень». В предыдущем послании она сообщила ему о покупке жеребеночка на радость детям. Заканчивая свое восторженное, лихорадочное письмо и наспех целуя всех домашних, он прибавит: «Цалю жеребеночка».

В эту минуту он готов расцеловать весь мир.

Ночной венок

День 8 июня стремительно шел к концу— и вот наступил вечер, последний вечер незабываемых Пушкинских торжеств. Порядком измученные зрители начали сдавать— и в зале Благородного собрания оказались даже свободные места.

Достоевский читал своего любимого «Пророка». Как полагает современник, присутствующий здесь же Тургенев «не мог скрыть... своего завистливого неудовольствия на утренний успех Достоевского». Он исполнил отрывок из пушкинских «Цыган»— рассказ о сосланном Овидии. («По моему мнению...— записывает в дневнике Веневитинов,— не следовало... после успеха Достоевского читать стихи, оканчивающиеся словами: «Что слава?— Дым пустой!»— и т. д.»).

Автор не вполне справедлив: ведь «Пророка», прочитанного Достоевским, теперь тоже можно принять за намек, и с еще большим основанием.

Именно на этом вечере Тургенев получил моральную компенсацию в виде уже упомянутого венка, принимая который он громогласно заявил, что положит его к подножию пушкинского бюста. Затем был повторен позавчерашний «апoteоз»: писатели с венками (без последних положительно не могли обойтись) вновь продефилировали по сцене. Теперь уже Достоевский («...вероятно, по просьбе Тургенева и в виде взаимной любезности») увенчал своим венком (не путать с утренним!) главу поэта.

Вся эта сцена не понравилась скептически настроенному наблюдателю еще боль-

ше, чем в первый раз. Он в сердцах замечает, что вторичная демонстрация «апотеоза» напоминает ему «казенные реверансы институток перед важною особою... или фиктивные коленопреклонения мальчиков в католических церквях, когда они пробегают мимо алтаря... не понимаю,— заключает автор,— как Достоевский, умный, как кажется, человек, мог согласиться на личное участие в этой глупой комедии... Уж лучше бы он и во второй раз предоставил Тургеневу дешевую честь увенчания фиктивного Пушкина на фиктивном апотеозе русской литературы, которая сама показала мне какую-то фикцию в этот вечер...».

Можно понять раздражение немного ошалевшего от оваций свидетеля торжеств. Ему претит вольное или невольное писательское позерство. Он не знает, что на исходе этого бесконечного дня (вернее, уже глубокой ночью) Достоевский совершит поступок, который тоже мог бы показаться театральным, наблюдай его кто-нибудь со стороны.

Но зрителей не было: ни одного человека не случилось в этот неурочный час на площади у Страстного монастыря. Извозчик остановил пролетку; может быть, он-то и помог барину поднести громадный венок (тот самый!) к нему черневшему в ночи бронзовому изваянию.

Достоевский положил венок к подножию монумента и молча «поклонился ему до земли».

В отличие от Тургенева он не стал оповещать публику о своем намерении. Он рассказал об этом только Анне Григорьевне, которая и поведала об этом факте потомству.

Ему не суждено больше увидеться с Тургеневым никогда. Но значит ли это, что именно день 8 июня стал их последним днем?

История любит символические финалы. Заманчиво пойти ей навстречу и представить, что судьбоносная развязка произошла здесь, в зале Благородного собрания, под сенью пушкинского бюста (самого Пушкина, примиряющего своих наследников). Такое завершение выглядит красиво.

Попробуем подыграть судьбе.

Таинственные старики: быль или притча?

В письме Достоевского, повествующем о его триумфе (письме захлебывающемся и задыхающемся, написанном дрожащей рукой),— в этом письме есть одно загадочное место.

«Вдруг, например,— пишет Достоевский,— останавливают меня два незнакомые старика: „Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк!“».

Что же это за старики? Имена их не названы, но сама сцена запомнилась крепко. Через несколько дней в письме С. А. Толстой он воспроизводит ее вновь:

«Два седых старика подошли ко мне, и один из них сказал:

— Мы двадцать лет были друг другу врагами и двадцать лет делали друг другу зло; после вашей речи мы теперь, сейчас, помирились и пришли вам это заявить».

И Достоевский вновь подчеркивает: «Это были люди мне незнакомые».

И наконец, третье упоминание о таинственных стариках. Это слова Достоевского в передаче М. А. Поливановой: «Два седых старика помирились после того, как двадцать лет жили во вражде. Да в какой! Где только могли, там вредили они один другому, ночь не спали, а думали, как бы почувствительнее затронуть другого; а тут один из них уверял меня, что теперь точно ничего и не было, вся ненависть пропала у него».

Итак, факт зафиксирован трижды. Обратим внимание, что во всех случаях информация исходит от самого Достоевского.

Повторяются и некоторые устойчивые подробности: оба старика седые, жили во вражде (причем активной) двадцать лет, примирение произошло немедленно после речи.

Правда, несколько странно, что говорит при этом только один из стариков («один из них уверял меня», «вся ненависть прошла у него»), второй почему-то предпочитает помалкивать.

Удивительно и другое: как быстро они успели столкнуться! Насколько можно понять, все происходит буквально через несколько минут после окончания речи — и старики должны были проявить незаурядную прыть, чтобы найти друг друга в тол-

пе (ведь не сидели же они рядом!), обняться и успеть известить обо всем этом Достоевского.

Право же, странные старики! Думается, однако, что они существовали на самом деле. И, кажется, мы даже можем назвать их имена.

Это Достоевский и Тургенев.

Предвидя возможные протесты (и отчасти их разделяя), попытаемся все же обосновать наше рискованное предположение.

Мы уже приводили слова Достоевского о том, что Тургенев бросился его «обнимать со слезами». Вспоминатель (Д. Н. Любимов) подтверждает: «Тургенев, спотыкаясь как медведь, шел прямо к Достоевскому». Именно Тургенев и Аксаков ведут его под руки: «...он, видимо, как-то ослабел; впереди бежал Григорович, махая почему-то платком».

Достоевский говорит, что с Тургеневым они только обнялись (вернее, обнимал Тургенев), но кто знает, не подставил ли опять щеку автор только что упомянутого «Дворянского гнезда»? Во всяком случае, современник записывает: «По окончании речи оба писателя, несколько лет между собою не говорившие, говорят, горячо между собою поцеловались».

Не забудем и об уже упоминавшемся воздушном поцелуе: он мог носить и менее платонический характер.

Наконец, в памяти А. И. Сувориной триумф Достоевского вообще запечатлелся как праздник двоих: после того как автор речи произнес имя тургеневской Лизы, кто-то вскрикнул, «кричали Достоевского, Тургенева...». И вот «Тургенева вытащили на сцену. Достоевский протянул ему руку, и они поцеловались... Восторга публики,— продолжает Суворина,— я не могу изобразить при этой трогательной сцене, когда два таких огромных писателя-учителя помирились!».

Память подвела мемуаристку, и она, очевидно, смешивает два разных случая: публичное рукопожатие 16 марта 1879 года (чему она также была свидетельницей) и объятия 8 июня. Однако смысл происходящего передан верно.

Григоровичу было отчего бежать впереди и махать платком: он являлся вестником примирения.

Достоевский говорит о двух седых стариках. Оба они действительно немолоды: Тургеневу почти шестьдесят два, Достоевскому без малого пятьдесят девять. И один из них, именно Тургенев, бел как лунь.

Достоевский говорит, что старики не разговаривали двадцать лет. В явной ссоре они с Тургеневым несколько меньше: лет тринадцать. Но история их взаимного недоброжелательства (в том числе скрытого) насчитывает более трех десятилетий.

Достоевский говорит, что старики только и думали, как повредить друг другу. Конечно, у него с Тургеневым имелись и другие заботы. Следует, однако, признать, что крови было попорчено немало.

Достоевский говорит, что старики именовали его пророком. Через несколько дней в письме С. А. Толстой он обмолвится, что пророческой назвал его речь именно Тургенев.

Наконец, в письме Анне Григорьевне фраза о стариках непосредственно предшествует описанию тургеневских объятий. Переход от стариков к Тургеневу совершается в рамках единого сюжета.

Почему же Достоевский не называет вещи (точнее, лица) своими именами?

Он страшится. Нет, не Тургенева и уж, разумеется, не Анны Григорьевны, которую первую оповещает о достойных всяческого уважения незнакомцах. Он страшится поверить. Поверить в то, что такое действительно бывает.

Не потому ли всей картине сообщается почти художественный характер? Фигурам вполне символическим наспех придаются какие-то конкретные черты. Но благородные седины, двадцатилетняя вражда и внезапное, как гром небесный, раскаяние — все это атрибуты сентиментально-романтической прозы. Достоевский слишком большой реалист, чтобы принимать такие вещи всерьез.

Поэтому оба старика осягаются там, в рамках некоей мифологемы, в виде предельно обобщенном. Он не находит нужным расшифровывать эту метафору. И не случайно в этой полувывмышленной сцене смещены некоторые акценты.

Тургенев на самом деле обратился к нему с какими-то словами. Они, эти слова, могли содержать не только высокую оценку его речи, но и косвенно относиться ко всему контексту их взаимных отношений. Эти слова могли содержать намек на необ-

ходимость личного примирения именно теперь, когда он призвал к примирению общему.

Недаром у Достоевского говорит только один из стариков, второй, то есть сам Достоевский, внимательно его слушает.

Он пишет С. А. Толстой: «Тургенев и Анненков (последний положительно враг мне) кричали мне вслух, в восторге, что речь моя гениальная и пророческая». Любопытно, что врагом назван здесь один Анненков. Он «положительно враг»; в отношении Тургенева такой положительной уверенности теперь быть не может.

Тургеневские объятия сделали свое дело. Но предмет этих объятий, приявший их, так сказать, художественно, умудрен опытом; в частной жизни он оставляет себе путь к отступлению.

«Все плакали, даже немножко Тургенев»,— сообщает он С. А. Толстой. В этом «немножко» сказались все его недоверие и вся осторожность по отношению к постоянному сопернику. Он не убежден в его искренности. И он — что, может быть, глупое,— он не хочет выглядеть смешным.

Он не хочет выглядеть смешным, ибо ни он сам, ни Тургенев вовсе не годятся на роли чудесно перевоспитавшихся стариков. Оба они слишком не простые и слишком искушенные люди, чтобы поверить в столь благостный исход.

Но, с другой стороны, Достоевскому жалко упускать такой почти воплотившийся сюжет. Поэтому он предельно схематизирует ситуацию, дает, так сказать, некий обобщенный образ. Старики — герои моральной притчи, они персонажи нарицательные, и их собственные имена не так уж важны. Действие совершается, но сами действующие лица остаются неназванными.

Все эти предосторожности оказались совсем не лишними: Тургенев, как мы помним, очень скоро признается, что речь Достоевского ему «противна».

Допустим теперь, что старики — вполне реальные лица и что сцена, описанная Достоевским, в точности соответствует действительности. Что же тогда? Тогда мы имеем выразительную смысловую рифму: зеркальность эпизодов, схожее поведение двух пар стариков — момент почти художественный.

Как бы там ни было, велик соблазн закончить «историю одной вражды» трогательной сценой примирения, хотя бы и внешнего. Но увы, это невинное желание трудно исполнимо. Существует документ, заставляющий нас усомниться даже в таком формально благополучном финале.

Последняя встреча, или Русский человек на rendez-vous²⁶

Мы имеем в виду воспоминания Е. Н. Опочинина, в которых автор описывает свою московскую встречу с Достоевским. Встреча эта произошла, как он утверждает, «после открытия памятника Пушкину и знаменитой речи».

Достоевский покинул Москву 10 июня утром; следовательно, встреча могла иметь место только 9 июня.

«Я встретил его у Никитских ворот,— говорит Опочинин,— и пошел с ним по бульвару. Федор Михайлович смотрел понуро и, видимо, чувствовал себя неважно.

— Устал я что-то,— заметил он, когда мы прошли с сотню шагов по бульвару.— Давайте сядем».

Они садятся и продолжают беседу.

«— А-а-а, Федор Михайлович! — послышался радостный голос с боковой аллейки позади нас, и вдруг перед нашей скамьей выросла монументальная фигура И. С. Тургенева».

Тургенев присаживается рядом с Достоевским. «Занятый своими мыслями,— продолжает Опочинин,— я не прислушался к разговору... но с последними словами, которые медоточиво пропел Тургенев, я вдруг заметил, что Достоевский встал со скамьи. Лицо его было бледно, губы подергивались.

— Велика Москва,— сердито бросил он своему собеседнику,— а от вас и в ней никуда не скроетесь! — И, отмахнувшись рукой, зашагал по бульвару».

Сразу же оговоримся: если сам факт, приводимый Опочининым, весьма правдоподобен, то некоторые сомнения возникают относительно его датировки.

Следует иметь в виду, что день 9 июня оказался для Достоевского очень насы-

²⁶ Свидание (франц.).

ценным. Днем он отдавал необходимые визиты. С утра по просьбе фотографа М. М. Панова отправился к нему в мастерскую, где и был сделан тот знаменитый снимок, о котором мы говорили в главе «Портрет с натуры».

Анна Григорьевна считала эту фотографию «наиболее удавшимся из многочисленных, но всегда различных (благодаря изменчивости настроения)» изображений ее мужа. Она говорила, что на этом портрете она «узнала то выражение, которое видала много раз на лице Федора Михайловича в переживаемые им минуты сердечной радости и счастья».

Анне Григорьевне приходится верить, хотя, признаться, особой «радости», а тем более «счастья» на лице Достоевского не заметно. Скорее следует согласиться с И. Крамским, полагавшим, что «по этой фотографии можно судить, насколько прибавилось в лице Достоевского значения и глубины мысли». Но, может быть, именно такое выражение и означало у него счастье?

Во всяком случае, 9 июня он бесспорно испытывал сильный душевный подъем. И свидетельство Е. Н. Опочинина, что Достоевский «смотрел понуро и, видимо, чувствовал себя неважно», плохо вяжется с переживаемым моментом. Трудно избавиться от подозрения, что вспоминатель просто путает числа и описанная им встреча произошла не после, а до пушкинской речи.

Но, с другой стороны, в пользу Опочинина (точнее, в пользу его хронологии) говорят некоторые детали. Во-первых, в разговоре с ним Достоевский упоминает Ивана Аксакова и жалеет, что он только теперь по-настоящему его узнал. Эти слова, конечно, могли быть произнесены и до 9 июня, но после вчерашних аксаковских восторгов 9-го — дата очень подходящая.

Во-вторых, никем еще не доказано, что нельзя быть усталым и даже понурым в момент величайших духовных взлетов. Вчерашний день измотал Достоевского: на той же фотографии Панова он выглядит (с житейской точки зрения) далеко не лучшим образом.

Кроме того, что могло так взорвать Достоевского? Уж не пытался ли Тургенев в этой — под липами московского бульвара — беседе несколько подкорректировать свои вчерашние оценки и указать Достоевскому на его идейные промахи? И не почувствовал ли Достоевский в словах Тургенева первые признаки той журнальной бури, того отбоя, которые обрушатся на его речь и на него самого буквально через несколько дней?

Но Е. Н. Опочинин был занят своими мыслями и «не прислушался». Когда свидетель событий рассеян, историку ничего не остается, как строить гипотезы.

И наконец, самое капитальное. Если бы размолвка на бульваре произошла до 9 июня, такой факт вне всякого сомнения нашел бы отражение в письмах Анне Григорьевне. Но там на это нет и намека. Если принять хронологию Е. Н. Опочинина, тогда все понятно: последнее письмо из Москвы написано 8-го вечером; о том же, что происходило 9-го, он уже рассказывал жене лично.

Достоевский уходит от Тургенева «отмахнувшись». После вчерашних объятий это выглядит грустно.

Итак, как бы нам этого ни хотелось, есть серьезные основания полагать, что их последняя встреча (или, если угодно, расставание перед вечной разлукой) произошла при обстоятельствах, не вполне приличествующих случаю. Не умильная слеза и не взаимное раскаяние двух седых стариков сопровождает последний акт этой исторической распри. Достоевский, уходя в вечность, дает «отмашку» Тургеневу: несмотря на неизящность жеста, он более (чем, скажем, воздушный поцелуй) соответствует характеру их отношений.

Конечно, в высшем смысле ни Достоевскому не дано отмахнуться от Тургенева, ни Тургеневу умалить Достоевского. Они останутся рядом — как писатели и как люди, — являя разные, но в равной мере значительные исторические надежды, боль, упование и урок. И пусть они еще раз не поймут друг друга на том московском бульваре (как не понимали всю жизнь), у них все же остается шанс. Ибо и тот и другой — оба дети России, страны, где молодые люди способны грохаться в обморок от «мировых вопросов», где у седых стариков под влиянием все тех же вопросов достает сил заключить друг друга в искупительные объятия. Да, оба они — разумеется, в высшем смысле — могут вписаться в ту идеальную картину, которая явилась одному из них и, как мы сейчас убедимся, имела некоторые аналогии в реальной жизни.

Для этого следует отступить в один боковой сюжет.

Боковой сюжет

Среди множества бумаг, составляющих архив Достоевского, находится несколько листов, аккуратно сшитых в отдельную тетрадку. Рука Анны Григорьевны узнаётся сразу: листы исписаны ее крупным разборчивым почерком. Но сам текст принадлежит не ей: это всего лишь копии. Последнее обстоятельство сразу же привлекает внимание, так как почти все остальные документы представлены в подлинниках.

Естественно, возникает вопрос: куда девались оригиналы?

Тетрадка имеет заголовок: «Lettres de M^l^{re} Polivanoff»²⁷. При этом фамилия Polivanoff зачеркнута, но не очень густо, она без труда прочитывается.

Шесть сшитых в тетрадку копий сняты с писем Марии Александровны Поливановой. Корреспондентка — женщина не первой молодости: в одном из ее посланий сообщается, что она мать шестерых детей, старшему из которых (девочке) семнадцать и младшему (мальчику) пять лет. Ее сын И. Л. Поливанов опубликовал в 1923 году в журнале «Голос минувшего» запись своей матери о посещении ею Достоевского — документ, который нам уже приходилось цитировать.

«Это... — пишет И. Л. Поливанов, — запись для себя... черновой текст на двух листках почтовой бумаги большого формата, без какого-либо заглавия».

Прежде чем обратиться к этой записи, скажем несколько слов о семействе Поливановых.

Сорокадвухлетний Лев Иванович Поливанов, известный педагог, директор весьма престижной московской гимназии, в 1880 году был временным секретарем Общества любителей российской словесности и одновременно председателем комиссии по устройению Пушкинских торжеств. К нему как к одному из главных распорядителей сходились все нити праздника.

Достоевский посещает Л. И. Поливанова: «Познакомил меня с семейством». Следовательно, и с Марией Александровной.

Это произошло 30 мая. Возможно, до своего отъезда из Москвы Достоевский еще несколько раз мельком виделся с М. А. Поливановой, которая была усердной помощницей своего деятельного мужа.

Льву Ивановичу хотелось не только распоряжаться, но и участвовать. Вместе с Тургеневым, Достоевским и другими знаменитыми литераторами он продефилировал мимо бюста Пушкина в памятном нам «апотеозе», что вызвало язвительное удивление современника — с какой это стати почтенный Лев Иванович, известный лишь своими грамматиками, очутился среди тех, «кого по заслугам можно, пожалуй, признать богами или полубогами»: ведь сам он едва ли годился даже в полугерои...

Он окажется настоящим героем, но — другого романа, о котором поведают Достоевскому жена Льва Ивановича.

По свидетельству ее сына, Достоевский был «властителем... духовных интересов» его матери. Именно она была одной из последних, кто видел Достоевского в Москве.

Завтра, 10 июня, он уезжает — и Мария Александровна решила посетить автора пушкинской речи, несмотря на поздний час («...будь что будет!»). На улице накрапывал теплый июньский дождик. «Лоскутная» встретила ее мертвой тишиной. Коридорный шепотом осведомился, как доложить. «Он постучался, а у меня помутилось все в глазах».

Достоевский был одет совершенно по-домашнему: в валенках, в старом пальто и ночной сорочке. «Он стал извиняться, что принимает меня в таком наряде».

Мария Александровна попросила дать ей рукопись пушкинской речи и даже изъявила готовность переписать этот текст за ночь. Достоевский не согласился: «А что сказал бы ваш муж на это? Нет, матери семейства нельзя сидеть по ночам. Я строго смотрю, чтобы жена моя уже спала к двенадцати часам».

По ночам можно было сидеть только самому: диктовка Анне Григорьевне не простиралась, по-видимому, далее известного часа.

Мария Александровна высказала убеждение, что многие, слышавшие вчера его речь, стали лучше. «Федор Михайлович схватил мою руку и со слезами на глазах повторял, что это его лучшая «награда», что ничего ему более не надо».

Он тронут: признание Поливановой имеет для него принципиальную важность.

²⁷ Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, ф. 93, II, оп. 7, ед. хр. 10.

В ее словах он как бы находит подтверждение практического смысла своих художнических усилий. Он слышит подобные признания не впервые.

6-го числа на думском обеде В. Н. Третьякова сказала ему, что он помог ей и ее близким «стать на несколько ступеней выше». Он ответил: «Да, надо молитвенно желать быть лучше! Запомните это слово, оно как раз верно выражает мою мысль, и я его сейчас только придумал».

Именно после этого он захотел поцеловать Третьяковой руку. И теперь, после слов Поливановой, «схватил со слезами» руку своей гостьи.

Хозяин сам заварил чай, отказавшись от услуг Марии Александровны. Точно так же чуть позже он откажется от услуг вошедшего в номер Юрьева: последний предлагал свою помощь в дорожных сборах («...услуги эти были отклонены улыбкой, которая говорила: „Никто никогда мне не укладывает. Я всегда сам!“»).

Итак, они беседовали уже втроем.

Когда пробило одиннадцать, Юрьев поднялся уходить, а Поливанова намеренно задержалась: ей не хотелось идти вместе с Юрьевым.

Уже в дверях зашел разговор о пушкинской «Пиковой даме». Достоевский воодушевился. Его рука «лежала в руке Юрьева, но говорил он все время, обращаясь ко мне».

Именно этот разговор послужит поводом для первого письма Поливановой.

Наконец Юрьев ушел; стала собираться и Мария Александровна. Достоевский передал поклон мужу. Упомянул, что после вчерашнего дня он «всю ночь не спал, сердце все билось, не давало спать, дыхание было несвободное» (не случайно, знать, показался он утром Опочинину понурым и усталым). Она вышла от него счастливая. Юрьев все еще стоял у подъезда, поджидая извозчика...

Ее первое письмо Достоевскому написано 22 июля. Оно отправлено из сельца Загорено Нижегородской губернии: там, очевидно, семья проводила летний отдых. Корреспондентка Достоевского воспользовалась разрешением, данным ей при расставании: написать свои впечатления от чтения «Пиковой дамы».

Но «Пиковая дама» лишь явилась литературным предлогом для изъяснений нелитературных. Далее в письме Марии Александровны начинают звучать очень личные ноты.

«Возможность Вам написать является для меня спасением,— говорит Поливанова.— Вам господь даровал великую силу: делать людей лучше. Никто в мире, кажется мне, не понимает человека так вполне, как Вы, никто не любит бессмертную душу человека так по-христиански, как Вы, а поэтому Вы и не можете презирать никого...»

Она как бы заранее просит его о снисходительности. Она обращается к нему за помощью, не открывая пока, в чем именно эта помощь должна заключаться. Она пишет достаточно абстрактно: «Может ли ненормальное положение вещей, ненормальное и тяжелое отношение между хорошими людьми тянуться без конца, целыми годами, до самой смерти и не найти разрешения?.. Может ли человек двоиться вечно и не пожелать, не делать усилий, чтобы выйти из такого положения?»

«Ваш вопрос,— пишет в ответном письме Достоевский,— слишком общ и вообще задан. Нужно многое знать в частностях и подробностях».

Подробности не замедлили явиться.

В письме от 25 августа Поливанова рассказывает о своей жизни, главным образом о своем многолетнем счастливом супружестве. Но ничто не вечно под луной. «Он почувствовал себя более оцененным и лучше понятым другой». «От семьи своей он отстал, там не пристал, и вот он двоится без конца и даже и в прочих вопросах жизни».

Ей дорог муж; она тяжело переживает свою драму. «Он был моим кумиром, и я не помнила себя, любя его». Она пытается найти выход в хлопотах по гимназии; она вся в заботах — до 11 часов вечера. «Потом в 12, в 1, приезжает он». Они просиживают до двух за корректурами, испытывая внутреннюю неловкость. Конечно, стараются скрыть все от детей.

Она рассказывает историю его измены. Все началось летом 1874 года. В качестве гувернантки к детям им порекомендовали молодую девушку с французским языком. Гувернантка заявила Марии Александровне, что у нее есть жених, однако не преминула добавить, что не верит в прочность любви и что брак, по ее мнению, безнравственное дело, ибо «в нем человек постоянно сам себя насилует». И, конечно же, что

«мужчины все одинаковы». В подтверждение последнего тезиса она сказала, что «берется всякому вскружить голову и завлечь его».

Сказано — сделано. Теоретические рассуждения самонадеянной эмансипантки нашли практическую почву, причем гораздо быстрее, нежели могла предположить ее неопытная слушательница.

Далее Мария Александровна повествует о том, как в историю этих сложных и запутанных отношений неожиданно вмешалось новое лицо.

Этим лицом оказался Достоевский.

Поливанова пишет: «После Вашей речи 8 июня (в тексте ошибочно июля.— И. В.) шла я потрясенная, среди толпы, в другую залу и вдруг сталкиваюсь с «ней». Она бросилась ко мне, обняла меня, говорила, что она очень несчастна, просила прощения или что-то в этом роде...»

Если бы подобная сцена была изображена в романе, в ее реальность трудно было бы поверить. Это чудо еще почище случая со стариками. Женская ненависть сильнее мужской, особенно тогда, когда она питается столь специфическими причинами.

«До сих пор,— продолжает Поливанова свою исповедь,— каждая мысль о ней сопровождалась желанием ей смерти. Если я встречала ее, то меня охватывала чуть не дурнота. Я ненавидела ее всем существом, мне хотелось приковать ее ко дну реки».

Марии Александровне трудно не поверить. Но еще труднее поверить в то, что произошло 8 июня: «А тут все как рукой снялось. Кроме безграничной жалости к ней ничего не осталось во мне. Мы поцеловались и поговорили несколько незначительных слов».

Да, это еще одно маленькое чудо, которое оттеняет другое, большое, потрясшее всех. И Достоевский не мог не сопоставить этот эпизод со своими стариками. Оба сюжета как бы нарочно явились для того, чтобы наглядно продемонстрировать, что мировая идея пушкинской речи не есть пустая абстракция. Последствие совершалось немедленно — на микросоциальном, главном для него, уровне.

Но, как уже повелось с пушкинской речью, вскоре начались сбои.

Мария Александровна написала письмо сопернице в духе их последнего объяснения. Та отозвалась в не менее благородном тоне. «Она надеется, что мы с ней будем «друзьями», что будем составлять счастье Льва Ивановича». Однако сам Лев Иванович оказался не на высоте. Он почему-то не спешил разделить столь возвышенные чувства. Он, пишет его супруга, «ко всему этому отнесся никак, ему, скорее, все это было неприятно».

Впрочем, когда поостыли первые восторги, в душу самой Марии Александровны начали заползать некоторые сомнения. Предложение покаявшейся разлучницы представляется ей уже не столь заманчивым. «Согласиться на *mepage an trois*²⁸ я не могу»,— пишет она Достоевскому.

Автор письма чистосердечно пытается обвинить во всем себя: «Может быть, это очень скверно с моей стороны, жестоко и черство и доказывает тупую гордость, неумение любить и жертвовать собою — я, ей-богу, не знаю и путаюсь». Но искренность мешает сделать вид, что все это ей по душе, что она без насилия над собой способна смириться со своим положением.

Любопытно, предусматривал ли глобальный призыв Достоевского («Смирись, гордый человек!») подобные частные применения? Универсальность формулы подверглась сомнению при первой же — бытовой — проверке.

Он давно задумывался над этим. Еще в 1864 году у гроба первой жены («Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?») он записывает: «Возлюбить человека, как самого себя по заповеди Христовой,— невозможно... Закон личности на Земле связывает. Я препятствует». Он пытается примирить «закон личности» с «законом любви», но приходит к выводу, что по достижении этой цели человек как таковой «окончивает свое земное существование».

В пушкинской речи он постарался обойти эти философские подводные камни.

Высказав 8 июня 1880 года свою «заветную мысль», он, очевидно, не подозревал, что его слова будут поняты столь буквально. Но время было слишком нетерпеливо — и оно сыграло с ним жестокою шутку. Он стал первой жертвой собственного призыва, очутившись в объятиях своего давнего врага, которому на мгновение возжела-

²⁸ Брак втроем (франц.).

лось сделаться другом. Но «я препятствует» — и объятия размыкаются тем быстрее, чем жарче они были. И тут же, рядом, женщина, все еще надеющаяся на личное счастье, понимает его слова в прикладном смысле; ей, однако, еще труднее переступить через свое — женское! — «я».

Он ничего не ответил Поливановой на ее августовское письмо. И она пишет ему вновь и вновь. В своем несчастье она становится эгоистичной и нетерпеливой; она уже не просит, а требует: «Я тайну свою положила Вам в руки — и это связало меня с Вами». Она словно забыла, что он вовсе не просил ее о подобной доверенности.

Получив это письмо Поливановой, Достоевский отвечает в тот же день.

Три четверти своего письма от 18 октября он, по его собственным словам, «употребил на описание себя и своего положения». Он просит, он умоляет свою корреспондентку «собрать всю силу Вашего дружества» и поверить ему, что он не отвечал только потому, что физически не мог этого сделать. Все лето и осень не разгибаясь лист за листом он гнал «Карамазовых», он писал день и ночь — и в Старой Руссе и здесь, в Петербурге, — он «по пяти раз переделывал и переправлял написанное». Он ищет себе оправдание: «Не мог же я кончить мой роман кое-как, погубить всю идею и весь замысел». Его сокрушают эпилептические припадки; его мучат посетители с просьбами и авторы с рукописями. Он не успевает отвечать на самые нужные ему письма. Даже его собственные дети, которых он гонит от себя, «вечно занятый, вечно расстроенный», говорят ему: «Не таков ты был прежде, папа». Он призывает Марию Александровну на него не сердиться.

Наконец он переходит к главному. Не вдаваясь в подробности и избегая давать советы — вообще стараясь не обсуждать ситуацию, — он лишь пытается осторожно поддержать Марию Александровну в ее собственных усилиях. Признанный психолог и знаток человеческой души, он в конкретном случае страшится бестрепетной рукой коснуться чужого горя. По-своему благодаря за доверие («То, что Вы мне открыли, у меня осталось на сердце»), он тем не менее дает понять, что не в состоянии исполнить возлагаемую на него великую миссию.

«Конечно никакая сделка невозможна и Вы правильно рассуждаете и чувствуете», — пишет он, очевидно имея в виду *mepege an trois*. Сторонник всеобщей любви, он высоко ставит права любви индивидуальной и не считает, что такой исход и есть гармония. «Но если он (муж; ни имя, ни фамилия Поливанова в ответном письме не названы. — И. В.) становится другим, то хотя бы и продолжал быть перед Вами виноватым, Вы должны перемениться к нему — а это можно сделать без всякой сделки. Ведь Вы его любите, а дело это давнее, неболевшее...». Он отнюдь не подсказывает своей корреспондентке какие-то конкретные волевые решения, он возлагает надежды на время, терпение, человечность. «Ведь придет же время, когда он посмотрит на Вас и скажет: «Она добрее меня» — и обратится к Вам. Не безмолвным долголетним попреки привлечете Вы его к себе».

Заканчивая свое письмо, Достоевский деликатно отстраняет от себя честь быть конфидендом в подобных вопросах. «Да, впрочем, что ж я Вам об этом пишу? (Может быть, еще и... обижаю Вас.) Ведь если я и знаю Ваш секрет, то сколько бы Вы мне об этом ни написали — все-таки останется целое море невысказанного и которого Вы и сами не в силах высказать, а я понять. И не слишком ли Вы увлекаетесь, думая про меня, что я могу столько значить в Вашей судьбе? Я не смею взять столько на себя».

Она пошлет ему еще два письма — будет писать о «Карамазовых», о «хватящих за душу» вопросах, которые он ставит в своих произведениях, благодарить за внимание («...одним только Вам высказываюсь, не выскажусь — задохнусь»). Но более не будет требовать от него невозможного. Она, кажется, поняла, что он не всемогущ.

Он уже не успел откликнуться на ее последние письма.

Теперь нам осталось повторить вопрос: почему исчезли оригиналы? Ответить на него нетрудно. Скорее всего после смерти Достоевского Поливанова обратилась к Анне Григорьевне с просьбой вернуть ее послания: у нее были для этого серьезные причины. И вдова Достоевского пошла ей навстречу. Она вернула письма, не забыв предварительно аккуратно снять копии.

Письма Поливановой составляют незначительную часть писательского архива Достоевского. Но они очень точно отражают ту степень человеческого доверия, которое испытывали к Достоевскому многие из его современников. И в письмах Поливановой

и в некоторых других посланиях (порой носящих еще более интимный и откровенный характер) можно усмотреть одну общую черту: страстное упование, что именно он, Достоевский, способен разрешить не только общие, но и сугубо личные вопросы, утолить сердечную боль, подать немедленную духовную помощь. Подобные упования превышали его человеческие возможности, в этом смысле он был жертвой собственного искусства.

Направляясь в Москву, он полагал, что отрывается от этого искусства всего на несколько дней. Он ошибся: московская пауза, хотя и принесла ему ни с чем не сравнимое утешение, взяла все же более трех недель. За все время писания «Карамазовых» он не позволял себе таких длительных отвлечений.

Надо было наверстывать упущенное.

Ему оставалось жить полгода. В эти последние месяцы он работает так, как не работал никогда: заканчивает «Карамазовых», выпускает «Дневник писателя» с пушкинской речью и яростной отповедью ее оппонентам, приступает к изданию нового периодического «Дневника...».

Он умер за месяц до 1 марта 1881 года.

Он умер в минуту великих потрясений и великих надежд. Две встречные волны — революции и реакции — сшиблись и застыли «на какой-то окончательной точке». Чаша весов колебалась, поочередно склоняясь то в ту, то в другую сторону.

Будущее было открытым.

Он умер — и вопросы, которые в зависимости от нужд вопрошавших именовались то вечными, то мировыми, то проклятыми, получили еще одно обозначение: они стали называться вопросами Достоевского.

СЛОВО О ВЕЛИКОМ ХУДОЖНИКЕ



АЛЕСЬ АДАМОВИЧ: ДОСТОЕВСКИЙ ПОСЛЕ ДОСТОЕВСКОГО

От других слышал, по себе знаю: Достоевского и Толстого читаем порознь. Редко чтобы одновременно. Чехов и Бунин, Гоголь и Тургенев гораздо легче берутся (даются?) в руки в один и тот же день.

Нет, не помню, чтобы читал одновременно Толстого и Достоевского. Слишком перегибают они, эти двое,— каждый в свою сторону — и нам перегнуться (всем нутом) одновременно в разные (настолько разные!) стороны почти невозможно.

Но в нас они, и Толстой и Достоевский, прочитанные и сопережитые, как-то совмещаются ведь. Не тесня, а дополняя, огранивая и усиливая друг друга. Совмещенное, а не раздельное их воздействие и на всю духовную ситуацию в мире, а также на современную литературу. Или так скажем: все более совмещенное! Параллельные (а когда-то воспринимались и как расходящиеся) прямые не только сблизились, но и пересеклись. Во многих точках. Пересеклись, пересекаются в нашем времени, не таком уж удаленном от их времени. И потому, оглядываясь на «Войну и мир» (вот бы такую эпопею о нашей Великой Отечественной!), неизбежно замечаем и другого гиганта, другую вершину — «Братьев Карамазовых»... Не помещается наша кризисная эпоха даже в безбрежных границах жанра толстовской эпопеи, требует она и того провидческого заострения мысли, тревоги человеческой и о человеке, какое есть у Достоевского.

А «Преступление и наказание» — такой современный призыв к запрету на кровь и жестокость! — обязательно зовет, кличет на подмогу толстовскую публицистику и все ту же «Войну и мир»... И тогда замечаем вдруг, что конфигурация каждого из этих величайших литературных континентов, именуемых Толстой и Достоевский, сохраняет следы, черты изначальной близости их, которые современники замечали меньше.

А может, у них, у современников Толстого и Достоевского, и не было такой потребности в совмещенном воздействии сверхгениев. Это нам с нашими проблемами в пору кликать всех великих. В свое время Альберт Швейцер предупреждал, говорил, что привыкание к атомной бомбе, а тем более к любой возможности ее применения — превентивном или в ответ — повлияет на массовую психологию, на самую психику человека. И надо этому всеми способами и средствами противиться!

Разве не важнейшая задача современной литературы — оберегать от такого сдвига психику и психологию людей, вырабатывать противодействие? И искать, и спрашивать помощи, подмоги у великих гуманистов.

Зловещее безудержное тиражирование и усовершенствование смертоносных боеголовок, сама демографическая ситуация во многих странах, где с ужасом подсчитывают не сколько умирает, а сколько рождается, кошмар фашистского, уже азиатского, эксперимента в Кампучии и т. п. — все как бы направлено на то, чтобы обесценить жизнь человеческой единицы. Да что единицы — миллионов жизней! Физики в отношении своих явлений и процессов называют это энтропией.

Когда-то на Нюрнбергском процессе — всего тридцать пять лет назад! — люди с отвращением, но как бы все еще не веря, как на существа с другой планеты, смотрели на тех, кто планировал миллионные убийства. А сегодня так ли это их поражает? Ведь разговоры идут уже о 200 миллионах жертв «после первого обмена ударами».

Да, произошло в миллионах душ наряду с осознанием опасности и стремлением, готовностью ей противодействовать, происходит то там, то здесь снижение общего

уровня человеколюбивых настроений, идей. Разве не наводит на такую горькую мысль тот оскорбительный для рода человеческого факт, что более 60 стран — дипломаты, правительства — все еще поддерживают в ООН Пол Пота, убийцу более трети населения Кампучии?

Люди никак не могут остановить, несмотря на все попытки миролюбивых сил, обратить вспять или хотя бы затормозить этот процесс, дикую игру в термоядерно-ракетную конфронтацию. Такое не проходит бесследно и для психики человека. Слишком обычной для слишком многих делается страшная, но уже не очень сознаваемая ими прикидка: если они нас столько, то мы их столько! Да и как иначе, если самые близко стоящие к «кнопкам» деятели снова и снова внушают сотням миллионов людей, через телящик вторгаясь в их жизнь, врезываясь в поток повседневных забот и размышлений: есть вещи более важные, нежели мир... Говорит это государственный секретарь ведущей страны капиталистического мира. И стоит ли удивляться, что именно 6 августа, в тридцать шестую годовщину ядерной бомбардировки Японии, президент Рейган принял решение о массовом производстве нейтронного оружия в США.

В этой ситуации не самое ли важное, чтобы как можно больше людей и как можно скорее осознали жестокую реальность положения: ни одна нация, ни один класс, ни одна страна ничего не выиграют, «обменявшись ударами»! Ничего важнее мира нет!

Но чтобы выполнять свою задачу в такой ситуации, и выполнять ее не на публицистическом лишь, а и на художественно-психологическом уровне, литература и ее служители обязаны осознать: меняется, нет, уже изменилось очень многое в самосознании мирового искусства. Прогрессивного, конечно, гуманистического искусства. Само понимание гуманизма в чем-то изменилось — в нас, в нашем сознании и произведениях последних лет. Да, что-то приходится решительно пересматривать, не боясь повредить и отбросить старые клише. Идеологические и психологические.

Одно из таких идеологических и психологических клише, самых устойчивых, с которыми спорили еще Достоевский и Толстой, но которые дожили и до «атомной эры», — так называемый арифметический гуманизм. На этой проблеме в 60-е годы сосредоточил, заострял внимание наш философ Ю. Карякин в известных статьях «Правда о посюстороннем мире» («Вопросы философии», 1967, № 9) и «Антикоммунизм, Достоевский и „достоевщина“» («Проблемы мира и социализма», 1963, № 5).

Когда-то Достоевский подставил подножку безоблачной логике «арифметического гуманизма», который увлеченно подсчитывал, сколько голов не жалко ради счастья миллионов обиженных и униженных. Сколько же не жалко? Ста голов, тысячи, ста тысяч? Ну а если эти сотни и тысячи абстрактных единиц взяты да и персонафицировать: не просто единица, а ребенок! Ради вас, счастья вашего будет замучен один-единственный ребенок! Примете вы, лично вы, свою порцию счастья? Или, может, вернете б и л е т — как Иван Карамазов возвращал самому богу!

И тем не менее и после Достоевского, Толстого «арифметический гуманизм» (столькими-то можно пожертвовать ради стольких-то!) царил не в одних лишь головах политиков, но и во многих произведениях литературы. И не будем максималистами в оценке этих произведений задним числом. Доатомное человечество еще многое могло себе позволить, не выходя самоубийцей.

Но Достоевский и это многое именовал уже бесовством, проецируя его на будущее, когда радители человеческого счастья «потребуют» (тогда это казалось невысказанным преувеличением) миллиона голов.

Петруша Верховенский в «Бесах» передразнивает оппонентов (и самого автора): «Кричат: «Сто миллионов голов» — это, может быть, еще и метафора». А дальше приводит аргументы, которые и после Достоевского (но до бомбы) звучали порой даже убедительно. Особенно если ими пользовались не Петруши, а честные борцы за человеческую справедливость, счастье большинства: «...но чего их бояться (то есть голов.— А. А.), если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов?»¹.

А потом были 30-е и 40-е годы XX столетия, нацизм с его программой и практикой убирания с планеты сотен миллионов неарийцев. Вон как перевернули формулу Петруши: уже 500 и более миллионов ради блага 100 миллионов! Заметьте: во имя блага, счастья не большинства (отринутых), а меньшинства (себя избравших).

¹ Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л. «Наука». 1974, т. 10, стр. 313.

Раз можно ради счастья и ради будущего пожертвовать тысячами голов (чужих, разумеется), так почему не миллионами (ради соответственно большего счастья)? А если миллион, то почему только один? И какая разница, кому и скольким быть счастливыми, если счастье возможно в принципе на чьих-то мучениях и костях? Важен разрешающий принцип, а уж применить его найдется кому — и, может быть, совсем не в тех целях.

А можно и цель, даже великую, истинно гуманную, исказить до неузнаваемости — таким принципом, средствами такими. Ведь произнесли человеческие уста:

«Если во время войны погибнет половина человечества — это не имеет значения. Не страшно, если останется и треть населения... Если действительно разразится атомная война, не так уж плохо, в итоге погибнет капитализм и на земле воцарится вечный мир... Хотя мир будет лежать в развалинах, но и эти развалины будут уже социалистические...»

Такой «социализм», мы уже убедились, способен отлично поладить с самым оголтелым империализмом, вполне сойдясь на логике современного «арифметического гуманизма»: во имя того-то и того-то можно и сотнями миллионов голов пожертвовать! Потому что «есть вещи важнее мира». Спросить бы у генерала и госсекретаря Александра Хейга — при его детях и внуках спросить, — какие же это вещи и понятия важнее самого существования человека на планете. Ради чего можно уничтожить в се? Маоистов, тех даже спрашивать бессмысленно: им все верится, что они-то отсидаются на богдыханской горе во время схватки атомных тигров.

Да, Достоевский после Достоевского куда как прав во многих и многих вещах — даже больше, чем в контексте своего времени.

Абсолютный запрет «не убий!», который в «Преступлении и наказании», «Бесах» и «Братьях Карамазовых» (так же, как у Толстого) звучал словно эхо христианского, религиозного идеала человеческого общежития и лишь подкреплялся политикой, сегодня неожиданно стыкуется с жесткой реальностью, в которую поставлены люди на планете. Уже не идеал только, а неотвратимая реальность диктует все более жестоко такой запрет. Возможности «арифметического гуманизма» (погибнут тысячи, но это во имя будущего счастья миллионов!) исчерпаны, исчезли под угрозой атомного саморазрушения. Не говоря уж о маоистской «половине человечества», но даже «малая цифра» во имя способна всех и все обратить в радиоактивный пепел.

В Сараеве туристам показывают следы — отпечатки человеческих ног (на асфальте), — место, с которого Гаврило Принцип, сербский студент, стрелял в австрийского эрцгерцога. История так распорядилась, что его выстрел оказался стартовым выстрелом первой мировой войны. Получилось как в тире: попал в яблочко, обвалилась вся фигура. Все неустойчивое равновесие европейской политики рухнуло. И вслед за одной жизнью — еще 10 миллионов!

И сегодня стреляют и что-то жизни обрываются: в Сальвадоре, Иране, на вьетнамской, кампучийской, ангольской границах, в Ливане, время от времени в Европе и в самой Америке. Но «фигура» вроде бы держится, не обваливается...

Да, держится, но кто может предугадать, какой выстрел станет стартовым, если так будет продолжаться, и, может быть, у кого-то появится соблазн рискнуть еще и атомным выстрелом (одним-единственным). Ну хотя бы ради того, чтобы продемонстрировать наглядно возможности нейтронного оружия.

Достоевский после Достоевского...

Век XX читает его произведения, одно усваивает, а другое по-прежнему откладывает на потом, хотя кое-что откладывать вроде бы и рискованно...

В новом контексте, в прочтении совершенно иным временем меняется что-то и в самом Достоевском. И кое-что действительно изменилось в его произведениях: одно укрупнилось, высветилось, другое ушло на второй план.

Многое, очень многое как бы прожектором, из глубины выхвачено и притянута. Ну хотя бы вот это: «Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское... И что такое смягчает в нас цивилизация? (Век XIX еще спорил с этими «подпольными» мыслями и ощущениями. И начинавшийся XX продолжал спорить. Но не наше время: оно не одного Наполеона, оно Гитлера и иже с ним помнит! — А. А.). Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосто-

ронности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение... По крайней мере, от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже, наверно, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде»².

Яснее высвечивается и как бы притягивается нашим временем, материализуется именно та сторона его произведений, которую сам Достоевский и его исследователи обозначают как фантастическую («фантастический реализм»). Именно то, что казалось авторским переживом, чрезмерным сгущением и нагнетанием, особенно натурально перекликается с нынешней повседневностью существования человеческого, едва ли не нормой стало. «Будущее Слово» великого провидца (выражение Салтыкова-Щедрина) угадало многое, даже обидно для века XX, как он обреченно следует за предупреждающими прогнозами человека из предыдущего века.

Еще в 1968 году критик М. Туровская в статье «„Преступление века“ и „массовая цивилизация“»³ простым сопоставлением текста Достоевского и фактов повседневной западной действительности с ее психозом потребительства, немотивированных убийств и прочим и прочим продемонстрировала провидческую силу «Будущего Слова» этого писателя. А если это так, тогда и его «положительные рекомендации», и, видимо, многие, заслуживают отношения куда более серьезного, чем нам представлялось и теперь, может быть, представляется.

Кто еще так знал человека, как Достоевский, Толстой — эти гиганты, по словам одного из западных исследователей, у ног которых по-детски резвится вся мировая литература! И потому стоит нам лучше вслушиваться не только в его, Достоевского, разоблачительные филиппики, но и в те слова, в которых мучительные поиски выхода из лабиринта извечного человеческого взаимонепонимания.

Помните его настойчивое: «...всякий человек за всех и за вся виноват».

Сегодня, в нашем контексте, звучит это отнюдь не узкопроповеднически, как у Степана Тимофеевича, может быть, да у старца Зосимы звучало. Здесь мысль о всечеловеческом, мысль, которая так занимала Достоевского во время написания «Подростка» и когда «Братьев Карамазовых» создавал, речь о Пушкине готовил. Мысль о том, как всем жить со всеми...

Нет, было бы нелепо механически переносить эту нравственно-философскую идею на любую конкретно-историческую ситуацию, уравнивать по линии вины, скажем, агрессора и жертву, преступника и честного человека и т. д. Можно спросить: а что, ситуация, которая сейчас реально существует в мире, — что она, отменяет право человека, право эксплуатируемых, угнетенных народов на борьбу за человеческие условия существования? Против агрессии расистов, империалистических разбойников?

О другом речь. Сложна и противоречива человеческая история, и только безумец (особенно страшный, когда он во главе государства) может в наш век да при технике, дающей возможность слишком больно для других народов самоутверждаться, считать себя во всем правым и только других виноватыми: и ныне, и в прошлом, и в будущем все виноваты передо мной, а я, а мы ни перед кем! Именно из этого чувства, последовательно культивировавшегося нацизмом, вызревал зоологический эгоцентризм в душе вполне нормальной, как и все другие, нации. Этим же путем идут и маоисты, постепенно, но настойчиво расширяющие список угрожающих претензий ко всем близким и неблизким соседям. Речь идет о тех зарубежных политиках, которые рискуют не собой, а тем, что им не принадлежит, — судьбой, жизнью человеческого рода. О тех, кого американские коммунисты, говоря о доктрине, о планах «ограниченной» атомной войны, бескомпромиссно окрестили атомными идиотами.

Никто не умел, как Достоевский, замечать и показывать ту черту, порой еле различимую черточку, за которой в страдальце вызревает мучитель, жертва становится палачом, хотя все еще продолжает считать других обидчиками. По инерции.

Интересное письмо получил я в 1980 году из Ленинграда в ответ на статью в «Литературной газете» («Забывтое и незабывтое», 31 октября 1979 года), где я как раз пы-

² Ф. М. Достоевский Я. Полное собрание сочинений в тридцати томах. 1973, т. 5, стр. 112.

³ «Новый мир», 1968, № 7.

тался об этом рассуждать в связи с предстоящей публикацией «Карателей». Корреспондентка из Ленинграда написала:

«Меня заинтересовал Ваш разговор с турецким журналистом, который «забыл» трагедию армянского народа. Думаю, что ему пришлось забывать многое еще, кроме армян. Например, болгар, которых даже русские добровольцы (еще задолго до революции) ездили спасать от турецкого ига...

В начале 50-х годов попала мне в руки книга английского историка Грима — история английского народа от его истоков почти до современности. Книга очень интересная, читается как захватывающий роман. И с каждой страницы льются ручьи крови. И не только вражеской, черной: льется кровь соотечественников, даже близких родных в борьбе за власть, за троны, за «идеи». И, читая эту книгу, я загордилась. В те века, когда цивилизованная Англия, «мать парламента», уже была впереди всех по уровню культуры, славяне все еще «в лесу жили, пню молились». Но — были людьми! Не были такими палачами-кровопийцами! С этой гордостью в душе я отправилась в библиотеку Дома печати и в силу хорошего ко мне отношения получила на дом «Повесть временных лет»! И с той же гордостью приготовилась читать светлую историю славян... Дорогой Александр Михайлович! Кровь, пропитавшая все строки этой летописи, лилась мне на руки... Когда я шла по улице, мне чудилось, что под камнями скрыты миллионы мертвых глаз, миллионы жертв под моими ногами, погибших в веках славянской истории от руки братьев... От этого ужаса я в самом буквальном смысле заболела... Излечилась от своей гордости. И поняла, что нет такого народа, которому не надо было бы многое и многое забывать...»

Трезво смотреть в далекое прошлое учили нас и Достоевский и Толстой.

О Толстом один голландец сказал, что если бы господь бог захотел писать роман, он не смог бы обойти стороной опыт автора «Войны и мира». Такое порой впечатление, что бог жизнь действительно старательно штудирует и порой напрямик цитирует то Толстого, то Достоевского. А мы, пишущие сегодня, казалось бы, идя за жизнью, перебирая руками нить самой жизни, обнаруживаем себя... в романах этих чудодеев. Будто списывает кто-то с книг того же Достоевского саму жизнь и подсовывает нам.

Когда-то я считал собственным наблюдением (и действительно сам заметил это, когда жил под немцами, а потом ушел в лес к партизанам) то, как не умели мы, как трудно нам давалась роль победителей, суд творящих (я думал об этом, когда писал в романе «Сыновья уходят в бой», как Толя рубит дрова с пойманным шпионом, а в «Хатынской повести» — сцену, где Флера стоит с винтовкой над пойманными карателями). И вдруг много лет спустя читаю у Достоевского в «Подростке» (единственный его роман, даже не прочитанный толком в свое время, когда всего Достоевского читал-перечитывал): «Есть случаи, в которых победитель не может не стыдиться своего побежденного, и именно за то, что одержал над ним верх. Победитель был, очевидно, — я, я и стыдился»⁴.

Нет, у нас было не совсем так: мы не побежденных стыдились. Вот этого как раз не было! После всего, что натворили они на нашей земле, такое испытывать мы вот именно стыдились бы. Но и в роли самодовольных божков над поверженным, хотя и ненавидимым противником выступать не умели. Сказывалось, очевидно, довоенное воспитание на самой гуманной из гуманных русской литературе. Зато хорошо помню, какими бездушно-уверенными богами выглядели «пришельцы из Европы», как натурально чувствовали они себя в роли хозяев чужой жизни и смерти, когда перед ними были пленные или заключенные.

А для нас подобная роль была чужая, сколько ни длилось ожесточение войны. По крайней мере для таких, как мои Толя, Флера, подростков, моих одноклассников.

Да, вырастали мы в мире не безоблачном. Отнюдь. Но мир книг, нас, меня окружавших, был самый светлый: Пушкин, Толстой, Некрасов, Гюго... Ясность, гармония, простота, обещание впереди обязательного счастья, добра, любви!

Нет, помню, как с высокого неба литературы набежала на душу тень — не свет-

⁴ Ф. М. Достоевский. Подросток. М. «Художественная литература». 1961, стр. 396.

лая тень грусти, печали, сострадания, как прежде бывало не раз, а знобящая, словно чья-то холодная ладонь меж лопаток. Ночь, все спят беззаботно, а тут такое творится, такое этот студент, этот Родион Раскольников с собой и с другими делает! Я впервые читаю Достоевского... И до того, бывало, десяти-двенадцатилетний, грустил, упивался мировой скорбью наедине с Лермонтовым, Байроном, но тут было что-то совсем иное.

Я еще не взялся их читать — романы Достоевского. Во-первых, потому что не очень-то мог бы и найти его книги в то время да еще в своем небольшом поселке. А во-вторых, и не очень искал: был еще внутренне отгорожен своим беззаботным, все не кончающимся детством от горя человеческого, которого вокруг, конечно, хватало. На многих, очень многих моих одноклассников и даже одноклассников жизнь обрушила неза заслуженные и страшные удары, а нас, семью нашу, обошло так же случайно, как других не обошло, — и такие, как я, школьники умели многого не замечать. А если и замечали, то не задумывались...

В нашем поселке рабочих-стеклодувов есть свой обелиск жертвам Великой Отечественной — около ста фамилий. А какие столбики имен-фамилий получились бы, когда бы записали тех, в чьих семьях детство оборвалось, закончилось еще до срока.

Мое же детство закончилось в тот день, когда голодный радостно прибежал из леса и, как на стену, налетел на голос матери: «Война, сынок!..» Тут уж и вовсе не до книг. Тем более что его, Достоевского, книг я не отыскал, не добыл из той кучи возле школы, где полицейай жег литературу, а мы поворовывали у него за спиной, пока он занят был картошкой. (Так и не испек, оболтус, — не очень для этого пригоден книжный жар, пепел.)

Нет, все-таки книги стали нужны. Когда схлынула первая волна ошеломленности.

Вчитывался в Толстого, это понятно: у него ведь о разгроме нашествия под Москвой, о дубине партизанской войны. Но не только об этом. Так же как в любимых одноклассниках Пушкина, Лермонтова, Гюго, Байрона, которые тоже читал-перечитывал при дымной коптилке, в книгах Толстого сохранялся, удерживался тот мир воспоминаний о довоенном, когда все это читалось впервые и так сопрягалось с довоенными мечтами, надеждами...

Довоенного Достоевского (кроме того единственного чтения «Преступления и наказания») во мне не было, не жило. Может быть, в ненормальных условиях войны, оккупации как раз Достоевский был бы особенно созвучен мыслям, настроениям? Тому, что происходило. Как знать? Но я почему-то думаю, что читался бы он с чувством двойственным. И именно потому, что больше мог рассказать о том отвратительном, что мы сами вдруг обнаруживали в людях. Но мы-то обнаруживали и тут же отлучали их, вычленили из числа людей — наших людей. Не вдаваясь особенно в «психологию». А у него ведь нескончаемый диалог и спор с нею — с психологией мучительства, палачества.

Мы (говорю о себе, о своем подростковом возрасте) как раз от этого уходили — от любой сложности и правды, которая не казалась привычно нашей. А к той, что у Достоевского, не скажешь, что мы были приучены как к своей в 30-е годы школьным и домашним чтением.

А тем более не могли мы и не хотели что-то менять в представлениях и оценках своих, если это исходило от жизни-наоборот. Именно как жизнь-наоборот, мир-наоборот мы воспринимали то, что принесла война и тут же начавшаяся оккупация. В этом мире-наоборот и души наши настроены были на восприятие-наоборот: яростно удерживали в себе довоенное, даже еще украшая и идеализируя, и не впускали то новое, что навязывала жизнь-наоборот.

А что, можно спросить (если вернуться к Достоевскому), его правда, жестокая, трудная, о человеке, о людях — разве не помогала бы она ненавидеть фашистов пришлых и своих? Не об этом ведь речь. Но, видимо, нам следовало ею переболеть, этой правдой, раньше, в свое время. И тогда мы были бы закаленнее и более зрячими душевно в минуты особенно сложные и тяжелые. Но именно вовремя переболеть. А когда уже все случилось и началась жизнь-наоборот, все усилия души были направлены на то, чтобы держаться за довоенное, если даже оно выглядело наивным

или уязвимым и не могло себя ничем прикрыть. Мы не в пример сыновьям Ноя старательно отводили глаза...

Так мне все это представляется. Но, кажется, я нащупал разницу: Достоевским, начиная его читать, мы болеем. Переболев, только потом становимся его читателями. Сказать так о Пушкине, Толстом, не правда ли, было бы странно? Детство, юность воспринимают их, в себя забирают как что-то абсолютно себе созвучное.

Интересно, что, даже пройдя через всю «достоевщину» войны, я не был готов им переболеть. Нет, набросился на его тома, днями сидел в минской Библиотеке имени Пушкина, собирался даже написать дипломную («А защитит вы хотите дипломную?» — «А почему?..» — «То-то же почему!») Такое тогда было к Достоевскому отношение).

Я упивался чтением всех его романов подряд. И литературы о нем. И все не заболел. Это было скорее открытие неведомого материка парадоксальных мыслей, гимнастика интеллекта, нежели работа чувств, а потому больше, может быть, волновали старые послесловия и статьи о клейких листочках, о билете Ивана Карамазова и о мрачном своеволии «принципиального самоубийцы» Кириллова, нежели соответствующие страницы самих романов. Ведь мы были «из леса», где переживаний с нас достало, а вот умные мысли — и чем необычнее, парадоксальнее, тем лучше! — вот это как раз и было сильнейшим проявлением самой жизни, обещанием ее неизведанных радостей, жизни, которую удалось нам пронести мимо всех смертей. Непривычные мысли, столь заостренные, азартная интеллектуальная жизнь и были в то время для нас (таких, как я, во всяком случае) теми самыми клейкими листочками, самой что ни на есть живой жизнью...

Вроде бы снова н а о б о р о т... Ну что ж, еще одно. Так уж взросло наше сознание, перекувыркиваясь через самое себя.

А в общем, взаимно читаемый Достоевский не накладывался, мало соответствовал послевоенному состоянию души, и я все не заболел: слишком мы бурлили радостью, счастьем, что все-таки прорвались через жизнь-наоборот к своей и вообще к жизни сквозь смерть.

Какой уж там Кириллов с его вознесением в боги через принципиальное лишение себя жизни, если мы этой гадостью, смертью, смертями, были сыты по горло. Даже на военные фильмы не ходили. А когда сосед по общежитию, студент-фронтвик (главное, фронтвик!), взял и застрелился, да еще сразу после войны, — мы были потрясены, как предательством. И кто предал: прошедший все фронты, столько раз свою жизнь уберегший, честно уберегший — гимнастерка от орденов тяжелая, как кольчуга, — а тут вдруг предавший ее той гадине, которая четыре года нас преследовала!..

Заболел я Достоевским, может быть, как раз в те времена, но открылось, обнаружилось, что переболел, гораздо позже. Когда не я к нему, а он пошел — на меня, из самой жизни пошел. Да не из книг, а из реальной жизни! Произошло это, когда начали мы записывать — сначала для документального кино, а затем для книг «Я из огненной деревни» и Блокадной — хатынскую и ленинградскую память народную о минувшей войне. Вот тут мне, помню, и пришло на ум, даже вслух высказался, когда ездили мы с Брылем и Колесниковым по бывшим деревням, по обезлюженным нацистским геноцидом районам Белоруссии: «Ему бы в этой машине сидеть, Федору Михайловичу Достоевскому, и мы записывали бы для него да фотографировали!..»

Вот так высказалось удивление, открытие, что все, что помнит, рассказывает народ, прямо просится в его романы. И не только потому, что обезлюживание целых стран усилиями наци, зараженных фашистским бешенством, — это как бы прямой выход к практике его же, Достоевского, «бесов», которые сто миллионов голов требовали «для водворения здравого рассудка в Европе». Хотелось позвать Достоевского на подмогу, чтобы как-то осмыслить совсем иные масштабы и уже не прогнозы, а жестокою практику им открытого и предсказанного «бесовства». Но еще и потому он вспомнился, что почти в каждом рассказе людей, переживших Хатыни и блокадный голод, столько раз пронзала душу так потрясавшая и в его романах неожиданность и пугающая нелепость поступков и мыслей людских, переживаний в момент, когда в упор видит человек свою или чужую смерть. Так и кажется, что обезумевшая жизнь начинает списывать себя с литературы:

«...в затылок — он и упал, ни словечка не сказал, ни словечка. А хлопчик уже идет, бедный, идет да все: «Ой, боюсь, ой, боюсь!» А как выстрелили, даж он еще крикнул: «Ой, не боюсь!» — и упал»;

«Схватила младшую, ей было девять лет... Горит и на ней платье и на мне горит... Замчала в ту яму, где глинобитку делали, положила... И опять же лезу по тому самому огню — за старшей... Мало что поубивали, а то и сгорят!.. Потянула, подняла. Так оно такое молодое, мя-ягкое!..»;

«Вдруг сказала своему восьмилетнему сыну: «Сынок, мой сынок, что ж ты в эту резину обулся? Твои ж очень будут ножки долго гореть. В резине»;

«В дом вскочила растерянная, понимаете. А мысли такие... Еще жить думалось. Лежал узелок одежды, дак думаю: «Возьму я хоть узелок, сожгут же, дак переодеться не во что, я ж в одной одежке». А тогда думаю: еще посмеются, скажут: «Убивают, а она узел какой-то!..»;

«Я лежала, пока принесли солону. Лежу и думаю: «Во, это ж поубивали, и убитые все знают. Лежу и сама себе так думаю... В общем, убитый человек, а знает... Слышу — солома зашелестела. Лежу и подергаюсь — ничего не болит. Думаю, это ж ничего и не болит. Убитый человек, и все знает. Потом они подождли...»;

«Я трое суток сидела в сарае с убитыми. Ну, все равно что убитых людей стегла. На каждом углу страж стоял. Обойдет вот так кругом сарая и вот так ухо приложит да это слушает, дышат ли люди...»

Не стану здесь выписывать такие же примеры (а их сколько угодно) из Блокадной книги (некоторые приводил в статье «В соавторстве с народом»⁶), а лишь повторю то, что уже когда-то говорил: когда мы с Граниным записывали ленинградцев-блокадников, возникало порой нелепое ощущение, что «все начитались Достоевского». Такое знание человека, «неба» и «бездны» человеческой души, столько мыслей о пределах человеческих — и все через собственную судьбу пропущенное! Нет, не книг начитались, а жизнь прожили, но зато она, жизнь, кажется, «начиталась Достоевского». С него себя взялась безудержно списывать.

Литература прошлого, оказывается, необязательно в образе движется. Необязательно вслед новому времени — в виде услужливой маркитантки. Да нет же, литература, которая обозначается словом «Достоевский», все время впереди дожидается: вышли куда-то, пришли, а он уже здесь, Достоевский. Все время обнаруживаем, что он уже рассказал об этом.

Ну ладно, ленинградцы — культурные традиции, музеи, библиотеки, но и сама что ни на есть святая простота, бабка с белорусского Полесья: ее те же вопросы мучат, что когда-то и великим (тому же Достоевскому) с такой болью давались. Вон как яростно оспаривал Иван Карамазов и Зосима каждый свою правду о детской слезинке. Зосима — через притчу о божьем избраннике Иове. У которого отнял бог, чтобы посрамить сатану, детей, а затем новыми одарил и будто бы вернул человеку счастье... «Да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде, с новыми, как бы новые ни были ему милы?»

Когда мы встречались, разговаривали с матерями, пережившими хатынский ужас, всегда было рискованно и мучительно переспрашивать, сколько у них сегодня детей. Скажут — четверо или шестеро, а мы, уже понявшие кое-что, знаем: возможно, лишь двое или трое. Живых, новых. Но называют всех. И тех, замученных. Не заменили и не могли заменить их новые. И радость за новых — великая — не вытеснила горе великое и неуходящее. Может быть, только потеснила. Нет, не замечали мы, чтобы, как заверял старец Зосима, «старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость». А они ведь, бедные матери, даже старались обрести какой-то не скажем покой, но хотя бы равновесие в обрушившейся своей жизни. У той, у которой было двое, столько же и сегодня. Было трое — стало трое (прямо нам говорили: «Столько же и родилось») — но когда спрашиваешь, все равно вырывается у них: «четыре у меня», «шесть их у меня»...). Какая уж тут «тихая умиленная радость»! Скорее крик на весь мир в спрашивающих глазах: «Так что же это было и неужто правда, что с нами делали, неужто быть могло то, о чем вы спрашиваете, а я рассказываю?» А когда ее, такую женщину, находят и привозят в Минск свидетельствовать против убийц ее детей (через двадцать, через тридцать лет), она, бедная, совсем не умеет быть грозным роком для

⁶ В книге «Литература великого подвига». М. «Художественная литература». 1980.

сидящих под солдатской стражей бывших палачей, таких непохожих, обрюзгших, испуганных, лысых. И все в ней кричит, взывает: «Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены?»

Снова и снова поражаешься, как на все есть, находится слово у Достоевского. Не на все, так на очень и очень многое. О чем сам он, казалось бы, и представления не имел, не мог иметь. И о Хатынях его слова такие точные. И о Кампучии...

Совесь его вычитывала в торопливо-всеядной газетной хронике разрозненные факты, к которым другие давно привыкли — о мучителях-родителях, о жестоком помещике, — совесь его кричала, корчилась от боли. За все человечество. Современное ему. И будущее.

А когда разрозненные факты преступлений отлились в преступные системы — гитлеровские или полпотовские, — системы государственно налаженные, нацеленные на истребление миллионов и миллионов людей, вот тут обнаружилось, что все равно слов адекватнее тех, что уже есть у Достоевского, не находим...

И как он необходим в нашем деле — даже практически! В наших спорах, сомнениях. Вот я написал повесть «Каратели» и по обыкновению стал давать читать машинописный текст. Ради самопроверки. Очень уважаемый мной писатель и переводчик, великолепный знаток немецкой литературы, поэзии и вообще Германии был для меня рецензентом номер один. Но вот он меня и огорошил. Прочел и сказал приблизительно так: «Смущает меня, что вы в чем-то отступаете от русского гуманизма. Да, юридически срока давности у таких преступлений нет и быть не может. Но они, ваши персонажи, действительно в большинстве случаев другие уже люди были, когда их судили. Ведь и это трагедия... Во всяком случае, так посмотрела бы русская литература когда-то...» У меня была возможность сослаться на то, что прежняя наша литература не знала, не ведала ничего подобного — таких массовых и страшных преступлений, зверств... Ответил, объяснил мне Достоевский. Только у него нашел ответ и на эту ситуацию.

Один из моих «персонажей», Муравьев, на суде (и в обращении к судебным инстанциям) так говорил, писал: «Я не стараюсь защитить себя, т. к. все время чувствовал, что являюсь подлецом и негодяем... Однако я хочу сказать, что мы сейчас не те, какими были 30 лет тому назад, и потому встает такой вопрос: каких же людей вы будете приговаривать к расстрелу — тех, которые были 30 лет назад, или тех, которые в течение более 25 лет честно трудились на благо всего нашего народа, которые в настоящее время имеют детей и даже внуков?»

Сразу же коробит от слов «25 лет честно трудились на благо...». То есть человек исполнял, делал всего лишь то, что тысячи и тысячи лет миллионы людей делали, — работал. Но считает, почти убежден, что этим уже заслужил если не прощение, то снисхождение за убийство сотен человек. (Если иметь в виду, что дилетантеров было около тысячи, убили они более 100 тысяч человек, значит, на каждом из них кровь не менее 100 человек, а если точнее, так все 100 тысяч на каждом: групповые преступления!) Значит, он себя уже простил «за трудную доблесть»?!

А не служит ли именно это самым неопровержимым свидетельством, доказательством, важнейшей уликой, что и через тридцать лет не изменился такой человек, в главном не переменялся? Я узнавал и всякий раз поражался: ни одного не нашлось, не то что Мити Карамазова, который, помним мы, за один помысел об убийстве готов себя покарать, даже «истребить», но и вообще не оказалось среди бывших карателей ни одного, кто не выдержал бы мук совести и сам себя покарал бы по-настоящему. Да где уж там: цепляются за существование до последнего, хотя ничего нет ужаснее их существования. Дети узнали, жена, все люди знают уже, кто он такой, недавний их сослуживец, их отец, муж, — куда с этим пойти можно, как жить? А они цепляются, а они изворачиваются! Как когда-то цеплялись за любое существование и согласились собственную жизнь каждый день выкупать у оккупантов десятками чужих жизней.

Достоевский своими «Карамазовыми» дает ответ, изменились они или не изменились, бывшие каратели, через тридцать лет. Изменились бы, поднялись до истинно человеческого облика, образа, состояния — так разве могли бы жить с той памятью как ни в чем не бывало? Да сами себя сразу же и покарали бы, как только открылся бы в них действительно новый человек. Потому что открылась бы и их взгляду вся бездна вины перед людьми, детскими жизнями, загубленными ими. А как с этим

жить, плодить детей и смотреть им в глаза («Таким же, каких я когда-то...» — запоздало бормочет в последнем слове)? Перевыполнять на работе план?

Да, действительно, классики с таким материалом не сталкивались. И Достоевский не сталкивался. Но снова срывается то самое необъяснимое «Будущее Слово» — и вот уже отвечает на вопросы, казалось бы, сугубо нашего времени.

Кстати сказать, не слишком ли привыкает современный человек к тому, что можно измерить добро и зло тоннами угля или кубометрами обстроганных досок (бывший командир отделения у Дирлевангера и послевоенный бригадир на деревообрабатывающем комбинате в Донецке Лакуста Г. Г. настойчиво демонстрировал суду благодарственные грамоты)? Век техники приучает к этому, что ли? И он же век постоянных презрительно-нигилистических атак на моральные ценности, выстраданные человечеством за тысячелетия. Главная из тех ценностей не чисто словесная, конечно, а выраженная в отношениях между людьми чувство запрета: не делай другим того, чего не пожелал бы себе самому! Оно-то, наименее, может быть, прочное чувство, подвергалось всегда и подвергается наибольшему давлению, испытанию.

Но есть Толстой, есть Достоевский, мировая гуманистическая традиция, а значит — и высота, эталон требовательности человека к самому себе! Это и нам с нашими ограниченными писательскими силами и масштабами придает смелости, решимости браться, тащить-перетаскивать на себе темы, проблемы часто совсем «негабаритные», мало освоенные литературой, которые жизнь не церемонясь столько нашвыряла нам под ноги.

Достоевский после Достоевского... Не следом за нами поспевают такие художники, а как бы из будущего навстречу нам выходят — опытнейшие проводники на все более сложном и крутом пути человечества.

Минск.

ДАНИИЛ ГРАНИН: В ДОМЕ НА КУЗНЕЧНОМ

Девятого февраля 1981 года весь мир отмечал сто лет со дня смерти Федора Михайловича Достоевского. В университетах Чехословакии и Австралии, Англии и Японии, США и Швеции взоры людей мысленно обращались к трехэтажному дому в Кузнечном переулке, где в зимние дни 1881 года умирал писатель. Вся его петербургская жизнь связана с этими районами мелкого чиновного люда, студентов, меблированных комнат, каменных дворов-колодцев, рынков, трактиров...

Сто лет, минувших с того, многое изменили в сознании человечества. Книги Достоевского прошли через эти крутые перемены без потерь, они вышли даже обновленными, обретая гжучую, порой странную современность. Иногда это похоже на провидение — слишком много мест в «Бесах», в «Братьях Карамазовых» читаются как провидческие, чтобы это было случайностью. Как будто гений его угадал ход развития человечества, предчувствовал. Но, может, это обязанность гения?

Когда-то внук Достоевского Андрей Федорович Достоевский повел меня по городу, показывая адреса происходящего в романе «Преступление и наказание». Вдруг оказалось, что все можно увидеть. Все обрело историчность. Здесь жил Достоевский, а здесь Мармеладовы. Потом то же самое произошло в Старой Руссе. Там Г. И. Смирнов водил и показывал, как бежал Дмитрий Карамазов, через какой мостик, и у какого жмяка Алеша обращался с речью к мальчикам. Я об этом писал, не хочу повторяться.

Точность адресов, топографии наблюдается и у других авторов. У Пушкина в Михайловском, у Диккенса в Лондоне, у Бунина в Ельне. Это пейзаж, это описание, это декорации к происходящему. У Достоевского иначе. Вместе с Раскольниковым он подсчитывает шаги от дома Раскольникова до дома старухи-процентщицы. Он находит (подыскивает?) этот дом, а в доме лестницу, на ней квартиру, то есть как бы ставит и разыгрывает драму. Он и драматург и режиссер. Ему надо увидеть, как все происходит. И понять. Понять — вот что удивительно. Раскольников для него во многом тайна. Он старается понять его и предлагает ряд версий. Ему нет смысла притворяться, он многое знает — мысли Раскольникова, его чувства, слова, поступки, но этого мало, чтобы выяснить мотивы, то предсознательное, что заставляет Раскольникова поступать вопреки логике. Все это для самого Достоевского

загадка. Он относится к своим героям как к тайне. И Мышкин для него тайна, и Иван Карамазов, и Ставрогин.

Лев Толстой помогает нам понять человека, он знакомит нас с движением его характера, с истоками его мыслей, ведет в глубины души.

Достоевский помогает нам понять непознаваемость человека. Показывает неисчерпаемость его, хаос его чувств, показывает, как много противоречивого, непостижимого таится в человеке.

В этом дань уважения к человеку, в этом урок Достоевского для каждого писателя. Мы ведь как? Мы в нашей литературе слишком много знаем про наших героев. Они нам ясны до самого доньшка. Своих родных так не знаем, как своих героев. Все нам известно в любых обстоятельствах, все замотивировано, все объяснено, своих героев можем проанализировать до конца, без остатка.

В какой-то мере это отражает наше время, эпоху НТР, где действия обычно достаточно прагматичны, подчинены пользе дела, логике обстоятельств. Такие люди как бы требуются, они удобны, они соответствуют... И тогда оказывается, что Достоевский защищает нас от этого человека-выгоды, человека-функции, защищает достоинство тайны и высшего происхождения человека.

Психология для Достоевского — средство исследования важнейших проблем жизни. И, вероятно, первая из них — проблема веры. Во что верить человеку? Может ли существовать бог?.. Было бы наивно полагать, что атеизм снимает проблему веры человека, веры в гармонию, во всеобщее счастье, в особое предназначение человека, да мало ли...

Если говорить об уроках Достоевского для нашей литературы, то представляется, что в том круге проблем, которые он ставит, это не отдельные смелые вопросы о происходящих событиях, несмотря на то, что Достоевский жил, страдал, волновался всеми политическими, народными заботами тех лет; нет, это самые насущные и самые вечные вопросы. Поучительно, как переплавлялась злободневность в его романах, как очищалась она, как извлекались из нее не абстракции, но облитые слезами и кровью трепетные идеи живой души.

Он бесстрашно изображает судьбу людей, лишенных веры, — вера покинула их, боги ушли, умерли. Его мучает — что будет с человечеством, если нет бога? Что будет, если вместо богочеловека появится сильная личность, которой все дозволено? А что, если тогда будет исчезать, уничтожаться человеческое? Но как противостоять этому? На что имеет право человек? Может ли он распоряжаться чужой жизнью ради пользы других людей? Кто убивает Федора Карамазова? Как идет битва добра и зла в человеческой душе? Есть ли бессмертие? Откуда двойственность, двойничество человека?.. Одна за другой исследуются им проблемы бытия, страдания, зла, любви, преступления, безумия, страсти, корысти...

Его художественный гений отличался громадной философской силой. Достоевский всегда занят вопросами решающими, коренными. Для него литература — это способ мыслить, для него писатель отличается не столько умением наблюдать подробности жизни с ее красками, запахами, с ее словечками, деталями, а мучительной работой мысли, которая бьется над вопросами смысла бытия. Вот в чем сила Достоевского, в чем его пример для современной литературы.

В его вещах нет обыденности. Он умел видеть фантастичность русской жизни.

Все происходит, как говорилось, в самом что ни на есть реальном городе и все тем не менее фантастика. Без устрашающей чертовщины, просто действительность чуть-чуть сдвинута, иногда неуловимо, и от этого появляется возможность заглянуть в такие ущелья, в такие пропасти, о которых мы и не подозревали.

Читать Достоевского трудно, порой неприятно. Почему? Ведь в книгах его нет натурализма, смакования тягостных сцен ужасов, насилия. Вопрос этот сложный, и я не берусь ответить на него, хочу лишь обратить внимание на одну особенность — на как бы уличающую сторону его гения. Например, на «обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастье, то есть когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и проч. ...» («Подросток»). «...жилыми, один за другим, протеснились... к двери с тем странным внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается, даже в самых близких людях, при внезапном несчастье с их ближним, и от которого не избавлен ни один человек, без исключения, несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия» — это эпизод катастрофы с Мармеладовым.

Конечно, никому не хочется открывать в себе такое. Достоевский каким-то образом заставляет находить в собственной душе плохое, узнавать в ней те страсти, что терзают его героев. Мы как бы становимся причастными, мы тоже виноваты, нас уличили, опознали... Оказывается, и мы не лучше, и мы готовы на подобное. А когда в «Подростке» говорится о способности человека лелеять в своей душе высочайший идеал рядом с величайшей подлостью — и все совершенно искренно, — то разве это только о людях прошлого?

И то, как читают Достоевского, как одолевают его книги, в какой-то мере характеризует нравственные стремления общества.

Читая Достоевского, становится стыдно — это драгоценное качество его гения, которому следует учиться, если можно этому научиться. Стыдно, совестно — поэтому и трудно читать. Он заставляет устыдиться, он снимает всевозможные увертки, оправдания зла и безнравственности. Как он умеет изображать низость, лицемерие, ханжество, жестокость! Нет, нет, это не большой талант, скорее целительный, не жестокий, а гуманный. Может быть, когда мы жаждем изо всех сил показать лишь хорошее, доброе, возвышенное, добродетельное, когда мы хвалим и отбираем лучших, примерных — мы усыпляем совесть, требовательность, мы льстим людям, народу. Авторитет, накопленный русской литературой, укреплялся, в частности, неустанным обличением пороков и заблуждений. В этом принимали участие не только Достоевский, а и вся великая русская литература, имевшая смелость говорить своему народу слова гнева, печали...

Потревожить совесть сегодняшнего человека не просто. Она защищена ловко и надежно. Но Достоевский умеет, может, как никто другой добираться до неё — в этом он один из современнейших писателей.

Творчество Достоевского поощряет мысль. Крупнейшие философы, психологи, ученые мира испытали на себе его влияние. Литература о Достоевском привлекает самостоятельной философской и научной ценностью. Она сама по себе замечательна.

На недавней встрече с американскими писателями Норман Казинс говорил о том, как его работа в области биохимии мозга привела его к выводу, что человечество не случайное явление и что человеческое сознание выходит за пределы науки и вряд ли может быть объяснено физико-химическими процессами. Писатели более других имеют доступ в эти неведомые области, в частности в подсознание. Он отметил как великий пример творчество Достоевского.

Только художник, и в первую очередь писатель, может помочь людям открыть новые истины о себе. Достоевский был в этом смысле и остается гордостью России, русской литературы, мировой литературы, всей многовековой истории искусства.

Я не знаю, зачем пишутся книги. Когда-то Пушкин сказал: «Цель поэзии — поэзия». Что здесь первопричина, что толкает художника, ради чего он работает? Ради наслаждения, воспитания, исследования? Не знаю. Но все это в высшей мере своей дают книги Достоевского. И есть в них сверх того ощущение чуда, которое чем дальше, тем больше привлекает и чувства и мысль нашу, поднимая ее, давая возможность видеть себя и наш мир человека во всей его брэнности и его величии, его достоинстве и его ценности, весь наш мир, его красоту и непостижимость его существования.

Ленинград.

А. НИНОВ



ДОСТОЕВСКИЙ И ТЕАТР

1

С о времени первого спектакля по Достоевскому на сцене Малого театра в Москве прошло уже более ста лет. Начало было положено комедией Л. Н. Антропова «Очаровательный сон» (1878), написанной на основе повести «Дядюшкин сон»,— в ней участвовали, между прочим, такие мастера Малого театра, как Н. М. Медведева и Н. И. Музиль. Множество переделок романов и повестей Достоевского для сцены, значительно превысившее с тех пор количество его собственных оригинальных сочинений в прозе, породило уверенность в том, что сам писатель сделал все или почти все для перенесения своих сюжетов в театр. Убеждение такого рода обманчиво.

Сам Достоевский, как известно, не считал драматургию своей областью творчества и с большой долей скептицизма относился к попыткам переделок его произведений для сцены. Рискуя соперничать в прозе с Гоголем, Достоевский так и не решился написать что-либо специально для театра. По свидетельству В. Ф. Пуцыковича, «знаменитый романист-психолог мне не раз выражал сожаление, что ему не могут удаваться ни сценические, ни собственно сатирические произведения. Очевидно, эта мысль его давно мучила. Еще о сатирических он говорил как бы с сомнением. Но невозможность что-нибудь написать именно для сцены, как бы он желал, представлялась ему несомненной и тем более смущала его».

В молодости, правда, Достоевский пробовал писать исторические драмы, соперничал в сюжетах с Шиллером и Пушкиным (неосуществленные замыслы «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова»). В более зрелые годы он начал комедию в духе Гоголя и позже собирался инсценировать «Неточку Незванову»¹. А на последнем году жизни надумал обратить в драму один из эпизодов «Братьев Карамазовых».

В представлении Достоевского лишь Гоголь соединял в полной мере гениального романиста, великого драматурга и несравненного сатирика-юмориста в одном лице. Идеал художника в этом роде казался Достоевскому недостижимым, притом что именно Гоголь оставался для Достоевского самым высоким авторитетом и образцом.

Достоин внимания, что именно в прозе Гоголя останавливало взгляд и вызывало восхищение Достоевского. Реплика. Прямая речь. Неожиданное и парадоксальное по своему алогизму высказывание героя, способное разом высветить всю его внутреннюю сущность, весь характер.

Возможности прямого, сказанного героями слова, особенно в диалогической форме, напряженной и действенной, Достоевский расширил в огромной степени, обогатил глубоким психологизмом, проникающим содержанием всех его романов. Слово героев не только ставит их в определенные отношения друг к другу, но и меняет эти отношения, усиливает энергию взаимодействия.

Относительно сжатую структуру, характерную для гоголевского повествования, Достоевский раздвинул в разных направлениях и более всего за счет субъективизации образов своих героев. Углубление сферы художественного исследования человека вообще и его внутреннего мира в особенности привело Достоевского-романиста к созданию монумент-

¹ См.: А. И. Ш у б е р т. Моя жизнь. Л. Academia. 1929, стр. 201.

тальной эпической формы, подчиняющейся своим собственным законам композиционного развертывания, в корне отличным от тех, что определяют структуру драмы и ограничивают ее пространство.

Такой пронизательный критик, как Н. Н. Страхов, усматривал даже известный недостаток Достоевского-романиста в центростремительном направлении его мысли, захватывающей все новые и новые предметы и связи, в чрезмерном усложнении плана одного произведения.

Свойство, отмеченное Страховым, является, конечно, не слабостью Достоевского, а коренной его особенностью. Циклопическая постройка романа была необходима для выражения всей полноты мысли, которая владела им при разработке того или иного сюжета. Но эта же особенность, заставлявшая Достоевского-художника писать двадцать образов вместо одного и сотню сцен вместо десяти, очевидная невозможность понизить тонкость анализа и ослабить творчество за счет упрощения плана фатальным образом закрывали для него область драмы. Войти в эту область, где закон самоограничения выступает с особой непреложностью, автор «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов» и «Братьев Карамазовых» так и не решился или не успел, хотя театр всегда притягивал его к себе, а в повестях и романах Достоевского заключены элементы множества комедийных и драматических положений.

Увлечшись какой-нибудь драматической или комедийной ситуацией, Достоевский постепенно расширял и усложнял ее; основной мотив порождал, как правило, контрмотивы; противоречивые связи между героями развертывались во всех подробностях; монологическое и диалогическое самовыражение персонажей неразрывно соединялось с авторскими характеристиками и оценками. Повествование Достоевского, срывающееся воедино драматические и комедийные элементы с эпической всеохватностью, позволяющей философски углубиться в предмет и оценить его с самобытной точки зрения, как раз и заключает в себе тот художественный синтез, достижение которого составляло главную, и высшую, цель писателя.

Многократно обращавшая на себя внимание сценичность произведений Достоевского, подтвержденная вековой театральной практикой, была и остается не прямой, а потенциальной, она связана с рядом особых условий, которые Достоевский-художник ставит перед театром. Сложность и необычность этих условий воздвигают высокий барьер перед постановщиками его произведений, и далеко не все, что было исполнено по его сюжетам на сцене, может быть отнесено к театру Достоевского.

Первое из этих условий — соответствие драматической инсценировки мысли и духу прозаического произведения — было оговорено самим Достоевским, которому не раз приходилось отвечать на предложения о переделках для сцены его повестей и романов. В известном письме В. Д. Оболенской, выразившей желание приспособить для театра роман «Преступление и наказание», Достоевский указал на два разных аспекта самой проблемы инсценирования. Он разграничил общую эстетическую и теоретическую трудность, здесь возникающую, и, так сказать, практические возможности удовлетворительного решения этой проблемы.

«Благодарю Вас очень за внимание к моему роману: я всегда сумею оценить искренний отзыв как Ваш и Ваши похвалы мне весьма лестны... — писал Достоевский. — Насчет же Вашего намерения извлечь из моего романа драму, то конечно я вполне согласен, да и за правило взял никогда таким попыткам не мешать; но не могу не заметить Вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере вполне.

Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме».

Совершенно ясно, что для Достоевского роман в принципе непереволим в драму, даже если в недрах этого романа заключено сильное драматическое содержание.

Достоевский мыслил аналитическими категориями многосложного повествования, и чтобы на месте созданного им прозаического произведения явилась драма, нужен был бы обратный путь укрупнения, интеграции множества деталей и сцен в одно целое, отказ от системы всестороннего освещения персонажей, то есть разработка первичной идеи в другом масштабе и другим способом. Тем самым и первичная идея должна была бы передвигаться в иной ряд, соответствующий драматической форме искусства.

И если даже самому Достоевскому такой способ извлечения драматического экстракта, то есть обратного движения мысли от романа к драме, представлялся затруднитель-

ным или невозможным, то тем более проблематичным он был и остается для его инсценировщиков, вынужденных чаще всего довольствоваться в бор кой отдельных мотивов, диалогов и сцен, тем или иным способом связанных в одно целое. Такое лоскутное повторение в копии колоссальных эпических созданий не может быть в принципе совершенным и всегда связано с обеднением оригинала.

В противоположность буквалистскому копированию, схематичному или лоскутному, а потому заведомо упрощающему избранное для сцены произведение, Достоевский подсказывал инсценировщикам другой путь, более сложный, но зато и более результативный. «Другое дело, — писал он той же В. Д. Оболенской, — если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в драму или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет... И однако же отнюдь прошу не принимать моих слов за отсоветывание. Повторяю, я совершенно сочувствую Вашему намерению, а Ваше желание непременно довести дело до конца мне чрезвычайно лестно...»

Успешное решение проблемы инсценирования Достоевский тем самым видел в сотворчестве, в создании на основе литературного источника самостоятельного драматического произведения. Именно этот путь, как показала практика перенесения Достоевского на сцену, оказался впоследствии наиболее плодотворным.

2

Вместе с первыми попытками постановки романов «Преступление и наказание» и «Идиот» на столичной сцене конца 90-х годов в русской критике были предприняты попытки теоретического осмысления самой проблемы сценичности Достоевского. На страницах журнала «Театр и искусство» в 1900 году появилась статья Осипа Дымова «Драматические элементы в романах Достоевского», где были затронуты существенные вопросы театральной интерпретации произведений великого романиста. О. Дымов полагал, что в мире Достоевского «действуют не столько х а р а к т е р ы людей, сколько символы страстей... Реальной драме здесь делать нечего»².

Подчеркивая элементы иррационального, не выразимого словами в душевном состоянии героев Достоевского, критик явным образом упускал то, что диалогически высказано (и высказано с огромной внутренней силой и определенностью), а также недооценивал возможности театра создавать эквиваленты «невыведенного», находить замены «прямых», «открытых» слов правдивым поведением актера на сцене, передающим всю сложность напряженной и спутанной внутренней жизни изображаемого персонажа. Драматические элементы в романах Достоевского, по мнению критика, лишь предрекают театру направление к тем заповедным тайникам человеческой психики, которые средствами драмы раскрыты быть не могут.

«Романы «Идиот» и «Преступление и наказание» и другие, кем и как бы они ни были бы переделаны в драмы, не могут, в силу внутреннего соотношения своих частей, вполне удовлетворить требованиям сцены,— заключал О. Дымов.— Но своим появлением эти «драмы по роману» сослужили немалую службу театру в будущем, если не в настоящем»³.

Оценивая результаты первых инсценировок романов Достоевского на сцене Александринского, Малого и других театров, среди которых особое значение имели спектакли театра Литературно-художественного кружка в Петербурге, критики начала века еще не вполне отдавали себе отчет о смысле тех эстетических преобразований, которые уже совершались в русском театральном искусстве. Театр искал и находил пути расширения границ психологической правды на сцене, и появление Достоевского в репертуаре несомненно усилило эту тенденцию.

Отлично сознавая трудности обращения романа в драму, Достоевский сохранял доверие к театру, который при неизбежных утратах полноты содержания романа способен не только восполнить эти потери, но и открыть зрителям такие достоинства созданных художником характеров, которые при обычном чтении остаются не до конца уясненными. И здесь, собственно, заключается второе условие рождения театра Достоевского — а к т е р - п с и х о л о г, способный проникнуть в тайну художественных характеров писателя и воспроизвести на сцене подлинный образ персонажа. Один из самых замечательных ис-

² О. Дымов, «Драматические элементы в романах Достоевского» («Театр и искусство», 1900, № 6, стр. 120).

³ Там же, № 8, стр. 160.

поянителей роли Дмитрия Карамазова, Л. М. Леонидов, в свое время верно сказал о том, что значит для актера вжиться в мир идей и образов Достоевского:

«Играть Достоевского нельзя, его можно проработать, промучиться на сцене. Нельзя в Достоевском работать над ролью, можно быть одержимым ролью. Он тебя захватывает целиком, железными тисками, и не выпускает; переживать Достоевского на сцене — это значит сидеть на стуле, утыканном острыми концами; жить Достоевским — это значит быть в крови»⁴.

Русские актеры должны были получить Достоевского в свой репертуар, принять и освоить его стиль, открыть его заново для публики, чтобы театр Достоевского мог стать фактом национального искусства. Решение этой задачи растянулось на несколько десятилетий, и после некоторых отдельных попыток, для своего времени замечательных, лишь на рубеже XIX и XX веков Достоевский прочно утвердился в творчестве целого поколения крупнейших русских артистов.

Более чем какой-либо другой писатель, постепенно покорявший сцену, Достоевский нуждался в режиссерском театре, то есть едином и последовательном взгляде на смысл и характер всего представления как законченного эстетического целого и способности провести этот взгляд практически. Таково важнейшее третье условие рождения театра Достоевского.

Ни один великий драматург прошлого не ставил перед театром столь сложных проблем. Шекспир, Мольер, Шиллер, Пушкин, Гоголь, Островский дают театру определенный текст, уже заключающий в себе стройную драматургическую концепцию. Режиссура первого порядка — общая ориентация текста для возможного театрального представления — была здесь произведена самими авторами, причем с гениальной последовательностью, чувством сцены, сознанием художественной меры и внутренней целесообразности каждой реплики и ремарки.

Инсценировщики Достоевского, даже наиболее опытные, могли предложить лишь свой, один из многих, то есть условный, а не абсолютный драматургический вариант того или иного прозаического сюжета.

Появление рядом с гениальным художником ординарной фигуры драматурга-двойника, остающегося в тени великого имени, но практически решающего важнейшие вопросы философии, композиции и художественного единства драмы, создавало немалую опасность для театра Достоевского. Опасность упрощенного, ремесленного или даже нарочито искаженного использования его образов не раз возникала в истории постановок Достоевского в России и за рубежом.

И в то же время ищущая режиссерская мысль и театральная практика подтвердили, что в творчестве великого романиста заключены поистине неисчерпаемые запасы живой театральности и сценичности.

Указывая на отличия романа и драмы, с которыми должен считаться и которые может с успехом использовать театр, Вл. И. Немирович-Данченко заметил в письме К. С. Станиславскому:

«Мне и сейчас кажется, что если хорошо угадать, почувствовать психологию автора вообще важно, то угадать, почувствовать ее у романиста — самая первая необходимость. Это едва ли не самое главное различие драматурга от романиста, что последний дает не только рисунок, но и «круги», «приспособления». К ним надо приблизиться до точности. Иногда — как у Достоевского — они стали избиты, истрепаны театрами; тогда надо заменить их другими, не выходя из «внутренних образов», определенно данных романистом. Найти слияние индивидуальности актера с индивидуальностью романиста — вот важнейшая задача».

О необходимости постигнуть психологию романиста для собственно театральных целей Немирович-Данченко писал в октябре 1910 года, в дни триумфа «Братьев Карамазовых» на сцене Московского Художественного театра, когда эта задача впервые была решена целым актерским ансамблем с необходимой последовательностью и полнотой.

При обращении к Достоевскому творческая роль режиссера как интерпретатора и организатора спектакля удваивается по сравнению с работой над оригинальной пьесой; ведь любую, даже самую удачную инсценировку он должен еще прокорректировать по оригиналу, приняв во внимание всю сложность идейно-художественной целостности избранного произведения.

⁴ Леонид Миронович Леонидов. Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки. Статьи и воспоминания о Л. М. Леонидове. М. «Искусство», 1960, стр. 123.

Постановки Достоевского на сцене несомненно способствовали развитию самого искусства режиссуры. И нельзя признать случайным, что рождение театра Достоевского и появление режиссерского театра в России на рубеже XIX и XX веков практически совпали во времени.

Размышляя о пути Московского Художественного театра в связи с его пятидесятилетием, К. С. Станиславский в октябре 1913 года назвал тех авторов-драматургов, встреча с которыми явилась необходимым этапом становления коллектива и постепенного продвижения МХТ от «внешнего реализма» к «реализму духовному». Среди них: А. Толстой («Царь Федор Иоаннович»), Чехов («наш вечный автор»), Горький, Ибсен, Гамсун («Драма жизни»), Тургенев, Мольер. «И вот между Гамсуном и Тургеневым, — говорил Станиславский, — я поставил бы Достоевского, который дает актеру так много для проявления стихийности, страсти, тех „полос чувств“, которые проходят и через „Драму жизни“».

Без режиссерского театра Достоевский не мог бы столь глубоко и прочно утвердиться на сцене, равно как без опыта сценического освоения Достоевского русская режиссура рубежа веков не была бы вполне готова к всесторонней художественной реформе театрального искусства. Достоевский был спутником этой театральной реформы в не меньшей мере, чем Лев Толстой, Ибсен, Чехов, Гауптман, Горький, Шоу, драматургия которых составила фундамент нового театрального движения.

И наконец, последнее, четвертое необходимое условие возникновения театра Достоевского — это возможность свободного общественного функционирования в ряду других сопредельных явлений русской художественной культуры нового времени. Надо отметить, что это последнее условие долго оставалось тормозом, мешавшим своевременной встрече Достоевского с отечественным театром. Обстоятельства его продвижения на русскую сцену складывались крайне неблагоприятно и в конце жизни писателя, когда некоторые театральные деятели уже порывались ставить Достоевского, и после его смерти, на протяжении 80—90-х годов XIX века, когда драматическая цензура сделала все возможное, чтобы воспрепятствовать театрализации его знаменитых романов.

Только в самом конце 90-х годов, с ростом демократического движения и при изменившейся общественно-политической ситуации в России, эта многолетняя цензурная блокада была прорвана и все главные произведения Достоевского от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых» впервые прозвучали как спектакли на русской сцене.

К тому же примерно времени сложился и достаточно широкий слой театральной публики, для которой основной интерес заключался уже не в иллюстрациях и пересказе известных ей сочинений, а в глубине трактовки одного из самых сложных и противоречивых русских художников.

Утверждение Достоевского на сцене отечественного и зарубежного театра сопровождалось настойчивыми попытками художественной критики определить природу, масштабы и перспективы нового театрального явления. Особенно широко проблема отношений Достоевского и театра обсуждалась русской критикой в связи со спектаклями «Братья Карамазовы» и «Николай Ставрогин» на сцене Московского Художественного театра в 1910—1913 годах. Именно тогда в печати появилось несколько замечательных статей, углубивших и раздвинувших эмпирическое понимание театральности Достоевского. Таковы статьи Максимилиана Волошина, Вячеслава Иванова, Александра Бенуа и некоторых других авторов, сумевших оценить значение спектаклей МХТ по Достоевскому в контексте общеевропейской культуры и опыта мировой драмы от античности и Шекспира до новейшего времени.

Едва ли можно считать случайностью, что в своей работе, посвященной общим вопросам мирозерцания, эстетики и поэтики Достоевского, Вяч. Иванов обратил внимание на существо приемов, которые кажутся «как бы прямым перенесением условий сцены в эпическое повествование: искусственное сопоставление лиц и положений в одном месте и в одно время, преднамеренное сталкивание их, ведение диалога, менее свойственное действительности, нежели выгодное при освещении рамп, изображение психологической эволюции также сплошь катастрофическими толчками, порывистыми и испуганными оказательствами и разоблачениями, на людях, в самом действии, в условиях неправдоподобных, но сценически благодарных...»⁵.

Определяя роман Достоевского как «роман катастрофический», все развитие кото-

⁵ Вяч. Иванов, «Достоевский и роман-трагедия» («Русская мысль», 1911, № 5, стр. 56, вторая пагинация).

рого спешит к «трагической катастрофе», Вяч. Иванов верно указал на два существенных признака, которые отличают этот роман от трагедии: во-первых, трагедия у Достоевского не разворачивается перед нашими глазами, а излагается в повествовании и, во-вторых, «вместо немногих простых линий одного действия мы имеем перед собою как бы трагедию потенцированную, внутренне осложненную и умноженную в пределах одного действия: как будто мы смотрим на трагедию в лупу и видим в ее молекулярном строении отражение и повторение того же трагического принципа, какому подчинен весь организм»⁶.

Главные герои Достоевского, люди страсти и определенных убеждений, никогда не оставались нейтральными в политической, идеологической и социальной борьбе — их воссоздание в театре поэтому с особой наглядностью обнаруживает и глубокие противоречия, свойственные творчеству великого художника, и разнообразие общественные цели, которые связаны с той или иной интерпретацией его произведений на сцене.

Известно, с какой резкостью возражал М. Горький в предреволюционные годы против самой идеи инсценирования романа «Бесы» в Московском Художественном театре. Еще до премьеры спектакля он заявил в печати, что «одно дело — читать книги Достоевского, другое — видеть образы его на сцене да еще в таком талантливом исполнении, как это умеют показать артисты Художественного театра. В книгах для внимательного читателя ясны и реакционные тенденции Достоевского и все его противоречия, все те страшные натяжки, которые никому другому не простили бы... я уверен, — заключал Горький, — что образы его на сцене театра, подчеркнутые игрою артистов, приобретают убедительность и завершенность большую, чем на страницах книг»⁷.

Возражения Горького против инсценирования Достоевского исходили, таким образом, не из умаления возможностей театра, а, наоборот, из предпосылки, что театр воздействует на душу с удвоенной силой, что «сцена переносит зрителя из области мысли, свободно допускающей спор, в область внушения, гипноза, в темную область эмоций и чувств, да еще особенных, «карамазовских», злорадно подчеркнутых и сгущенных...»⁸.

Парадокс такой постановки вопроса, разделяющей мысль и эмоцию, сознание и чувство, никогда более не повторялся Горьким, и он связан, конечно, с особым историческим и общественным моментом, который переживали Россия и русская культура между поражением первой демократической революции и началом первой мировой войны.

В статьях «О „карамазовщине“» и «Еще о „карамазовщине,»» Горький не скрыл своих опасений, что проповедь Достоевского и болезненный надрыв его героев, усиленные театром, будут использованы в духе веховской идеологии против революционного и демократического движения, переживавшего тяжелые времена. Причин для таких опасений было более чем достаточно, и когда вся официозная и либеральная пресса осенью 1913 года обрушилась на Горького за его протест против инсценировки «Бесов», В. И. Ленин поддержал писателя и готов был радоваться его полемическому «ответу на «вой» за Достоевского»⁹.

Однако в своем ответе оппонентам Горький допустил философские ошибки (отзвуки «богостроительства»), а также ограничился однобоко-негативными характеристиками творчества Достоевского, что, конечно, ослабило политическую и теоретическую основательность его позиции. Горькому казалось тогда, что между пророками русской литературы и народом, к которому они обращались, расширилась духовная межа. «И Достоевский велик, и Толстой гениален, и все вы, господа, если вам угодно, талантливы, умны, — отвечал Горький своим оппонентам, — но Русь и народ ее — значительнее, дороже Толстого, Достоевского и даже Пушкина, не говоря о всех нас.

Наша замученная страна переживает время глубоко трагическое, и хотя снова наблюдается «подъем настроения», но этот подъем требует организуемых идей и сил больше и более мощных, чем требовал назад тому восемь лет»¹⁰.

Проблема, однако, как раз заключалась в том, что новый революционный подъем не мог быть духовно подготовлен в отрыве от основных ценностей национальной культуры; Пушкин, Толстой и Достоевский, каждый по-своему, принадлежали русскому освободительному движению, и отторжение их по тем или иным причинам от революции лишь

⁶ Там же, стр. 55.

⁷ М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. М. «Художественная литература», 1953, т. 24, стр. 153, 155.

⁸ Там же, стр. 154.

⁹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 226.

¹⁰ М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, стр. 156.

ослабляло ее идейную мощь. В цикле статей о Лье Толстом, написанных в ту же эпоху, В. И. Ленин показал, как нужно подходить к великому наследству и как распоряжаться им. По отношению к Достоевскому эта задача в полной мере сохраняла свою актуальность.

У Горького были веские основания протестовать против возможного использования в спекулятивных целях религиозно-политического консерватизма автора «Бесов», но он терял объективность в полемике, оценивая эту тенденцию как основную и преобладающую у Достоевского.

Время показало, что такое обоюдоострое оружие, каким является наследие Достоевского, не только должно быть вырвано из рук реакции и отделено от политических и теократических притязаний наследников Каткова и Победоносцева, но может быть с успехом использовано против них, а также против псевдореволюционного анархизма, дискредитирующего идеи революции и социалистического будущего.

Своими догадками о возможности нового прочтения театром такого сложного произведения, как «Бесы», имевшего не лучшую репутацию у современников, Вл. И. Немирович-Данченко поделился в письме А. Н. Бенуа, приступая к инсценированию романа:

«Боюсь еще утверждать, но я вдруг почувствовал в самое недавнее время, выражаясь высоким штилем, какое-то озарение насчет именно революционной части романа. Почувствовал, что во мне раздралась какая-то завеса и освободила меня от разных соображений, вследствие чего трагическое в этой части романа получило ту духовную ширь и глубину, при которых нет места специфическим тенденциозным соображениям общественного характера. Мне не только стала не страшна «актуальность», как Вы выражаетесь, этой части романа, а явился непоборимый соблазн осветить с высших точек зрения именно то, что еще кажется свежими ранами. В этом-то как бы и счастье, что я овладел исторической перспективой для событий, не лишенных интереса жгучей современности... И уж если наши сердца еще могут биться крепко, не вялым пульсом, и если мы хотим сильных эмоций в театре, то лучшего материала не найти»¹¹.

Овладеть «исторической перспективой» и суметь передать на сцене самое жгучее современное содержание с «высших точек зрения» — это и есть то условие, при котором театр Достоевского получает настоящее эстетическое и социальное основание.

3

В репертуаре советского театра Достоевский занял важное место рядом с Грибоедовым, Гоголем, Тургеневым, Островским, Толстым, Чеховым и Горьким. Едва ли можно считать случайным тот факт, что глубочайший кризис старой, буржуазно-помещичьей России в 1915—1917 годах отозвался на сцене Московского Художественного театра — сверх ожиданий самих исполнителей — в постановке «Села Степанчиково» по Достоевскому, где Иван Москвин в роли Фомы Опискина гениально угадал некоторые психологические истоки распутищины. Это открытие было непреднамеренным, и оно тем более потрясло современников, смотревших премьеру спектакля по Достоевскому за месяц до Октябрьской революции.

«Театр не напрасно трудился два года над инсценировкой — спектакль показал нам одно из глубочайших и отталкивающих национальных наших явлений — воплощенную в живых образах «распутиновщину»... И, конечно, только один театр в России мог это сделать с такой яркостью и силой, — писал весьма известный в свое время критик Ю. Соболев, — я не мыслю «Степанчиково» на иной сцене, ибо только коллективное творчество Художественного театра может дать такие результаты»¹².

Являя на сцене истинный лик Фомы Опискина, ничтожного приживальщика, обращающегося в зловегущего тирана для окружающих, Иван Москвин не модернизировал Достоевского, не приспособив его к злобе дня, а вскрывал реальные типические черты определенного характера с высшей, нравственной точки зрения. И чем глубже проникал исполнитель в психологию этого будто бы отжившего исторического типа, тем отчетливее выявлялась его сегодняшняя общественная сущность, как бы заново освещенная современным жизненно-политическим опытом и самого артиста и зрителей.

Один из молодых участников спектакля МХТ, А. Д. Попов, в будущем замечательный

¹¹ Вл. И. Немирович-Данченко. Избранные письма в двух томах. М. «Искусство». 1979, т. 2, стр. 103, 104.

¹² Ю. Соболев, «Село Степанчиково на сцене» («Рампа и жизнь», 1917, № 39, стр. 5).

мастер советского театра, писал о возбуждающем и революционном воздействии комедийного таланта Москвина, гневный уничтожающий юмор которого был воспринят от Достоевского. «Фома Опискин в горячем сознании молодежи вырастал в символ какого-то зоологического паразита, — свидетельствует А. Д. Попов. — Люди добрые и по чеховски деликатные теряли волю и силу под остановившимся и убивающим взглядом Фомы. Поэтому Фома Опискин в сценическом воплощении Москвина вызывал прилив сил для борьбы со всяческим паразитизмом»¹³.

В летописях Московского Художественного театра отмечено, что на сорок седьмом представлении «Села Степанчиково» 2 июня 1918 года присутствовал В. И. Ленин. Как показал Сим. Дрейден, автор книги «В зрительном зале — Владимир Ильич», где всесторонне описано это событие, не случайными оказались ни выбор спектакля, ни самый момент, когда в голодной Москве 1918 года, только что переведенной на военное положение, В. И. Ленин нашел время побывать в театре. Тут совпали и давний интерес к Московскому Художественному театру, засвидетельствованный многими ленинскими документами, и особое внимание к Достоевскому, которое среди прочего подтверждается подбором книг в личной кремлевской библиотеке Владимира Ильича.

По воспоминаниям участника спектакля В. Г. Гайдарова, хотя «Село Степанчиково» в первый сезон шло очень часто, играли его «с неизменным азартом». «К тому представлению, которое смотрел Владимир Ильич, спектакль был в полном цвету. Принимался он превосходно. Если первое время успех подогревался сенсационностью ассоциаций с недавней «распутищиной», то в дальнейшем внешний налет злободневности стал ощущаться и нами и зрителем меньше. И все ярче проступало в образах типическое»¹⁴.

При всей полемичности отношения к Достоевскому, унаследованной от русской революционно-демократической критики, В. И. Ленин, по словам Бонч-Бруевича, не раз говорил, что «Достоевский действительно гениальный писатель, рассматривавший больные стороны современного ему общества, что у него много противоречий, изломов, но одновременно — и живые картины действительности»¹⁵.

Есть основания полагать, что в творчестве Достоевского В. И. Ленин особо ценил его художественный критицизм и сатирический юмор: не случайно в статье «Еще одно уничтожение социализма» (1914) он воспользовался образом адвоката-краснобая Фетюковича из «Братьев Карамазовых» для саркастической характеристики «барского скептицизма» П. Б. Струве — прямого идейного наследника тех самых либералов пореформенной эпохи, которых с разных сторон обличали в свое время и Салтыков-Щедрин и Достоевский.

Не эта ли обличительная сторона жестокого таланта Достоевского, подчеркнутая в «Селе Степанчикове» артистическим гением Москвина, вызвала несомненное одобрение В. И. Ленина, на сей раз театрального зрителя? Ведь именно после революции в беседе с А. В. Луначарским В. И. Ленин высказался в том смысле, что если есть театр, который новая власть должна из прошлого во что бы то ни стало спасти и сохранить, то это, конечно, Художественный театр. Мысль Ленина была подтверждена и закреплена первоочередным включением МХТ в сеть государственных академических театров страны. Главным героем спектакля «Село Степанчиково» И. М. Москвин также подтвердил в своих воспоминаниях: «Приехал Владимир Ильич к нам в театр, дал хороший отзыв о спектакле и в списке театров нас поставил на первое место»¹⁶.

Таким образом, традиция театрального воплощения Достоевского на сцене не только не была прервана в послеоктябрьскую эпоху, но, напротив, была поддержана и одобрена наиболее авторитетными деятелями молодого Советского государства. Особенно настойчиво в этом отношении действовал А. В. Луначарский — и как критик-марксист, внесший живую мысль в общую трактовку творчества Достоевского, и как первый нарком просвещения, непосредственно осуществлявший ленинскую программу социалистического культурного строительства.

Широко известна блестящая статья А. В. Луначарского «Достоевский как художник и мыслитель» (1921), написанная к 100-летию со дня рождения великого писателя. Вполне определенную позицию занял он и по вопросу о репертуарности Достоевского, реши-

¹³ Алексей Попов. Воспоминания и размышления о театре. М. ВТО. 1963, стр. 76.

¹⁴ Сим. Дрейден. В зрительном зале — Владимир Ильич. Книга первая. М. «Искусство». 1980, стр. 153.

¹⁵ Ленин В. И. О литературе и искусстве. Изд. 3-е. М. «Художественная литература». 1967, стр. 704.

¹⁶ И. М. Москвин. Статьи и материалы. М. ВТО. 1943, стр. 70.

тельно высказавшись против запретительных мер, мешавших продвижению классических произведений писателя на сцену. «Теперь идет борьба, — откровенно говорил Луначарский в 1929 году, — можно ли его разрешить на сцене. Я считаю, что мы представляем собой сейчас настолько здоровый организм, развивающийся, имеющий в себе огромные повышающиеся запасы энергии, что мы можем позволить себе сейчас такой великолепный материал, как материал Достоевского, ставить перед собой и критически преодолевать его, хотя бы отдельный человек вместо того, чтобы преодолеть его, потонул. Мы не можем запретить купаться в Москва-реке потому, что каждый год тонет несколько человек. Так же точно мы не можем отвести все общество от гигантской задачи: преодолеть Достоевского, использовать его для нас, потому что на отдельных лиц он может подействовать нездоровым образом»¹⁷.

О необходимости «преодолеть» классиков заявляли в 20-е годы и вульгарные социологи, более всего боявшиеся в литературе и искусстве влияния политически чуждой идеологии. Попытки преодолеть Достоевского делались и в театре — таков был, например, демонстративный «Суд над Раскольниковым» на сцене московских и петроградских театров времен нэпа. В контексте выступлений А. В. Луначарского ходовой термин означал нечто иное, а именно — критическое освоение наследства Достоевского, то есть всестороннее восприятие его колоссальной художественной ценности при отчетливом марксистском понимании свойственных ему идейных противоречий и определенных исторических слабостей. На театральной сцене эту сложную эстетическую задачу наиболее успешно решали первые академические театры. Например, Малый театр в Москве, где с участием Е. Т. Жихаревой в роли Настасьи Филипповны несколько лет с неизменным успехом шел спектакль «Идиот»; к этому же роману Достоевского обратился Ленинградский академический театр драмы, когда исполнением заглавной роли князя Мышкина в 1927 году было отмечено тридцатилетие сценической деятельности народного артиста республики Н. Н. Ходотова.

Крупным событием театральной жизни конца 20-х — начала 30-х годов стал спектакль Московского Художественного театра «Дядюшкин сон»; смелой импровизационной игрой Н. П. Хмелева, О. Л. Книппер-Чеховой и других замечательных артистов МХАТа в комедийном сюжете Достоевского было обнаружено глубокое драматическое и даже трагическое содержание.

Советский театр рос интеллектуально, мужал философски, обогащался в психологическом и эмоциональном отношении. По-своему способствовали этим процессам напряженнейшие страстные дискусии героев Достоевского, вынесенные на сцену. Театр воспитывал нового зрителя, способного извлечь из драм прошлого века, осмысленных и прочувствованных Достоевским, вполне современные нравственные уроки.

Заслуга обновленного и пронизательного истолкования Достоевского в русском театре нашего времени в немалой мере принадлежит Г. Товстоногову, осуществившему в 1958 году на сцене ленинградского Большого драматического театра имени М. Горького знаменитую постановку спектакля «Идиот» с участием Иннокентия Смоктуновского в роли князя Мышкина. Этот же спектакль БДТ был возобновлен в другой редакции в 1966 году и тогда же с триумфальным успехом показан на гастролях ленинградцев в Лондоне.

Какую же задачу ставили перед собой создатели спектакля, воплощая на сцене трагедию добра, которую несет в романе князь Мышкин? Отвечая на этот вопрос, Г. Товстоногов подчеркнул в своей книге «Круг мыслей», что он стремился, исходя из образа, заданного автором, найти режиссерское решение, адекватное логике самого романа. Режиссер обратил внимание на важную особенность строения романа «Идиот» — многие события его происходят внезапно, при нечаянных встречах. Мышкин, Рогожин, Ганя Иволгин, Настасья Филипповна встречаются в разных домах и на петербургских улицах; их маршруты неожиданным образом пересекаются в критические моменты жизни, будто какой-то невидимый сильный магнит притягивает или отталкивает их друг от друга.

Подготавливая роковую встречу Мышкина и Рогожина, которая должна состояться в темном подъезде петербургской гостиницы «Весы», режиссер одной только переменной света достигал поразительного эффекта. Монолог героя, начатый в одном месте, продолжался совсем в другом, и Мышкин сам с удивлением обнаруживал вдруг эту неожиданную, лучом прожектора зафиксированную переменную места; простым сценическим

¹⁷ А. В. Луначарский. Неизданные материалы. «Литературное наследство». М. «Наука». 1970, т. 82, стр. 165.

приемом театр нашел способ передать состояние человека, всецело углубленного в свои мысли и не замечающего, куда его занесло.

Мышкин — Смоктуновский в спектакле БДТ находился в непрерывном движении; до самого конца он настойчиво шел к своей внутренней высшей цели, хотя цель эта роковым образом отодвигалась от него и в финале его снова ждала бездонная пропасть — утрата нормального человеческого рассудка. Используя гораздо большую степень условности, чем в романе, свободно перемещая героя во времени и пространстве, ограниченных рамками сцены, театр передал это непрерывное и настойчивое движение героя к ускользающей цели — стремление чистого человека жить по законам справедливости и добра.

Глава автобиографической книги И. Смоктуновского «Время добрых надежд», повествующая о встречах актера с наследием Достоевского, названа очень точно — «Свет». Именно светлый, просветленный художник, убежденный, что падение человека не есть окончательный и последний его удел, что жива и пребудет всегда надежда на нравственное воскресение личности, — этот веривший в будущее Достоевский, утопические мечты которого постоянно соединялись с пророчеством, более всего привлекал и привлекает к себе современный театр.

Так по преимуществу трактовал преступление и нравственную драму Родиона Раскольникова ветеран советской режиссуры Ю. Завадский, поставивший в Государственном академическом театре имени Моссовета по роману «Преступление и наказание» спектакль «Петербургские сновидения», сохранившийся в репертуаре театра до наших дней.

«...главной нашей целью было проникновение в последний слой «душевных событий» романа (так я называю не внешний, почти детективный сюжет его, а внутреннюю жизнь героев), раскрытие духовной одержимости автора, его пафоса, обращенного к человеку, в котором звучит предостережение и одновременно надежда... — писал в одной из своих последних статей Ю. Завадский. — Естественно, что центром нашего спектакля стал образ Родиона Раскольникова, созданный Геннадием Бортниковым, нравственные странствования, внутренние борения которого со всеми их взлетами и падениями должны были стать частью духовной жизни зрителя, раскрыть логику преступления героя и его наказания».

Посвященный памяти Евгения Вахтангова, спектакль «Петербургские сновидения» характеризует Ю. Завадского как глубоко интеллектуального, мыслящего режиссера, который всегда и до конца своих дней испытывал настоятельную потребность в философском и теоретическом осмыслении театральной практики. В этом смысле Ю. Завадский достойно продолжил дело своих старших соратников и учителей — К. С. Станиславского и Е. Б. Вахтангова. Режиссерская мысль нередко обгоняет профессиональную критику и, во всяком случае, требует внимательного подхода и изучения.

Юрий Любимов в Театре драмы и комедии на Таганке поставил «Преступление и наказание» откровенно полемично по отношению к предшествующей сценической традиции. Обычно на сцене с большим или меньшим успехом разыгрывалась личная драма Родиона Раскольникова, совершающего в развитие своей теории убийство «по убеждению». По мнению Н. Крымской, подробно писавшей о постановке Ю. Любимова, и «сегодня в Раскольникове куда более интересно (и современно) его духовное начало, причины его хождения по кругам ада, нежели маниакальная (патологическая, неподвижная) убежденность в праве убивать». Театр вправе взглянуть сегодня на драму Раскольникова не только с точки зрения его собственных нравственных мук и «хождения по кругам ада», но более объективно, оценивая идеологию и личность героя как они того заслуживают в исторической перспективе. Недаром сам Достоевский, обдумывая сюжет своего романа и характер повествования, пришел к выводу, что это должен быть «рассказ от себя», то есть от автора, а не исповедь «от него», запутавшегося в противоречиях человека.

Выставляя всем на вид (выражение Достоевского) преступление Раскольникова, Юрий Любимов позаботился о том, чтобы снять какой-либо оттенок оправдания его идеи или сочувствия его выбору. Никакого отпущения грехов за содеянное! Никакого смягчения приговора за покаяние! Вот общая мысль и главное направление режиссуры «Преступления и наказания» в Театре на Таганке. Подход к Достоевскому тут особый, экспрессивный по преимуществу, и А. Трофимов, основной исполнитель центральной роли, подчеркивает в Раскольникове прежде всего заносчивый и воспаленный ум, главный двигатель его преступления, приглушая те психологические качества и задатки, которые сближают его с кроткой Соней Мармеладовой. Для создателей спектакля — и режиссера, и художника, и актеров — важнее было обнаружить истоки преступной идеи Раскольникова, нежели показать ее преодоление в финале через христианскую любовь.

Спектакль Ю. Любимова не повторил и, конечно, не исчерпал всей сложности «Преступления и наказания», всей философской и психологической глубины его главных фигур, но он недвусмысленно подчеркнул в грандиозном замысле Достоевского те его идейно-общественные мотивы, которые особенно злободневны сегодня.

Едва ли не самое трудное в искусстве режиссера, обратившегося к Достоевскому, — объединить всех участников спектакля, вовлечь каждого отдельного актера в тот вихрь мыслей и чувств, который владеет героями в катастрофическом мире Достоевского.

Из всей громады романа «Братья Карамазовы» Виктор Розов взял для своей пьесы лишь один важный мотив, одну наиболее близкую ему тему, тему «мальчиков», которая тесно связана с линией Алеши Карамазова и включает такие благодарные для драматического исполнения характеры, как Лиза Хохлакова и штабс-капитан Снегирев.

Казалось бы, пьеса по Достоевскому «Брат Алеша» остается слишком частной, слишком камерной вариацией необъятного по своей сложности произведения и в этом смысле едва ли может претендовать на сколько-нибудь адекватное воспроизведение основной философской идеи романа. Однако актеры Анатолия Эфроса в Театре на Малой Бронной смогли преодолеть эту локальность и раздвинуть границы инсценировки. Они сохраняют верность Достоевскому в главном и в целом, хотя играют лишь отдельные эпизоды из огромного повествования, а центральные герои романа (кроме Алеши Карамазова) не появляются в них вовсе.

Тут-то и подтверждается мысль поэта, что театр — это не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло. Наиболее талантливым артистам Театра на Малой Бронной удается открыть в Достоевском нечто такое, что было до спектакля неведомо или не вполне отчетливо для нас, читателей романа. На это решающее достоинство спектакля А. Эфроса однажды обратил внимание и сам автор пьесы драматург Виктор Розов:

«Кажется, что Эфрос и актеры влезли в самые глубины чувств и мыслей Достоевского, а это нелегко, почти недостижимо. Когда я смотрю и слушаю Ольгу Яковлеву — Лизу Хохлакову, меня охватывает некоторая дрожь. Ольга Яковлева — актриса, человек, который знает, лично знает, вне сцены знает весь мучительный трагический духовный мир своей героини. Она все в своей личной жизни пережила сама, а такие глубокие натуры встречаются крайне редко. Я даже боюсь Яковлеву, боюсь и благоговею. Или Дуров — Снегирев. Ай-ай-ай!.. И оба Алеши — Сайфуллин и Грачев — так по-разному, но так свято и мученически играющие и понимающие свою роль... Умеет Эфрос что-то достать со дна. А ведь это главное в решении и пьесы, и сцены, и образа. Достать из самой глубины».

Пока что нельзя сказать, что это стремление увенчалось полным успехом в новой постановке «Братьев Карамазовых», осуществленной недавно режиссером Павлом Хомским в Театре имени Моссовета. Между «Петербургскими сновидениями», которые продолжают исполняться на сцене театра, и сегодняшними «Братьями Карамазовыми» есть, конечно, прямая преемственная связь, есть накопленный актерами опыт существования в мире Достоевского и увлеченное желание этот опыт развить и приумножить. Но тут же обнаруживаются явные потери на пути от стройной монологической формы спектакля Ю. Завадского к полифоническому построению «Братьев Карамазовых», где по необходимости сталкиваются в многоголосом споре разные идеи, разные характеры и разные духовные силы России Достоевского, составляющие в совокупности стихию карамазовщины.

Если в «Петербургских сновидениях» все держалось и держится на духовном потенциале главного исполнителя, Геннадия Бортникова — Раскольников, то в новом спектакле далеко не возник еще тот согласованный актерский ансамбль, который был бы в состоянии последовательно реализовать конструктивную режиссерскую мысль, обнаружившую в философском лабиринте «Братьев Карамазовых» некое высшее художественное единство.

Проблемы особой сложности возникли перед молодым режиссером Львом Додиным, поставившим весной 1981 года на малой сцене БДТ в Ленинграде спектакль по «Кроткой» Достоевского. Для этого нового спектакля — первого опыта прочтения «Кроткой» в русском театре вообще — сам же Л. Додин инсценировал текст «фантастического рассказа» Достоевского. Главная трудность здесь заключалась не в том, чтобы создать сокращенную сюжетную версию произведения, а в самом принципе режиссерского инсценирования, в последовательном переводе всех элементов содержания рассказа на язык театрального представления.

При небольшом сравнительно объеме «Кроткой» спектакль по этому рассказу длится

более трех часов и так или иначе вбирает в себя все или почти все художественные и психологические подробности многослойного авторского текста Достоевского. Считая свой рассказ «в высшей степени реальным» по содержанию, Достоевский признавал его тем не менее фантастическим по форме, так как он строился на известном психологическом допущении.

«Дело в том,—разъяснял писатель в предисловии «От автора»,—что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, „собрать свои мысли в точку”».

Установка «фантастического рассказа» Достоевского предполагает в авторе некоего всевидящего стенографа-психолога, который сумел бы записать и художественно обработать то, что совершается в уме и сердце другого, потрясенного бедой человека. Предположительное допущение такого внутреннего «стенографа», проникающего в тайные глубины чужой человеческой души, Достоевский и считал фантастическим в своем рассказе. Для нынешних читателей это не более чем художественная условность, глубоко и последовательно мотивированная точкой зрения автора и типом повествования.

Взявшись за постановку «Кроткой», Л. Додин верно почувствовал и представил характер сбивчивого, со смещениями во времени, с урывками и перемежками внутреннего монолога, составляющего важнейшую стилевую особенность этого произведения. Вместе с художником Эдуардом Кочергиным он нашел убедительную театральную форму, соответствующую стилю и мысли Достоевского. Чтобы обратить внутренний монолог героя в игровую, в законченное сценическое действие, имеющее свое начало, развитие и конец, режиссер и художник спектакля должны были на малом пространстве использовать разнообразный арсенал современного психологического и метафорического театра.

На сцене все реально и условно одновременно. Реальна обстановка квартиры, в стенах которой оборвалась одна и продолжается трагедия другой жизни. Реальны мучительные отношения, в результате которых Он и Она приходят к трагическому финалу. И в то же время эти отношения рассмотрены уже в некой ретроспекции, *post factum*, способ уяснения случившегося до некоторой степени условен, как отчасти условна граница между бытием и небытием, проведенная через время и пространство сцены. Герой спектакля мыслит вслух; он существует в настоящем и в прошлом одновременно. Эта грань времен также оказывается условной, и она преодолевается каждый раз, когда смятенное сознание героя возвращает его от мертвой женщины под саваном, остающейся в спальне, к живой, выходящей на авансцену, и от живой к мертвой.

Надо сказать, что есть проза Достоевского и каковы условия ее драматической трансформации в современном театре.

Решающая роль в этом сценическом монологе принадлежит Олегу Борисову, актеру особенной психологической остроты, характерности и внутренней силы. С самого начала он ведет спектакль на высоком накале мысли и нервного напряжения. Без этих качеств, собственно говоря, нельзя было бы и подступиться к Достоевскому.

Герой «Кроткой» не принадлежит к числу светлых героев Достоевского; это не мечтатель из «Белых ночей», не князь Мышкин из «Идиота» и не Алеша из «Братьев Карамазовых». Он «закоренелый ипохондрик» и по свойствам своего характера, может быть, ближе всего к сочинителю «Записок из подполья», парадоксалисту, состоящему с миром, с окружающими и с самим собой в самых неприязненных отношениях.

Кстати, герой «Записок из подполья» изливается не в устном монологе, не мысленно, а на бумаге, и в этом, по его признанию, «целая психология»: «Может быть, и то, что я просто трус. А может быть, и то, что я нарочно воображаю перед собой публику, чтоб вести себя приличнее, в то время когда буду записывать». Вопрос об отношении героя, субъекта высказывания, и «публики» — важнейший в художественной системе Достоевского; он определяет общую установку, тон и слог повествования. «Записки из подполья» есть самохарактеристика героя-повествователя, и Достоевский впервые очертил здесь жалкий, странный, а в чем-то и страшный характер человека, возводящего трагическую уродливость своего сознания во всеобщий закон бытия.

Сам Достоевский гордился тем, что он первый из русских писателей открыл подобный характер и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. «Трагизм состоит в сознании уродливости... — подчеркивал Достоевский. — Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невоз-

можности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!»

В «Записках из подполья» и в «Кроткой» просматриваются вариации одной общей мысли, общей проблемы, разрешаемой на разных уровнях и разным художественным способом. Эта общая проблема — трагизм «подполья», проникающий в интимные, скрытые от глаз человеческие отношения, когда один на один в драматических условиях жизни оказываются Он и Она.

Достоевский вывернул наизнанку характерный мотив демократической литературы шестидесятников, с большим пафосом прозвучавший, например, в известном стихотворении Некрасова «Когда из мрака заблужденья...». В отличие от Некрасова, а точнее, в откровенной полемике с ним Достоевский во второй части «Записок из подполья» (повесть «По поводу мокрого снега») написал свою психологическую версию того, что случается с книжным, краснорассуждающим, но ложно чувствующим человеком, когда он действительно оказывается в двусмысленной роли избавителя «падшей души» от опустившего ее порока и позора.

Случается, по убеждению Достоевского, нечто фальшивое, уродливое и постыдное, что и приключилось когда-то в молодости с Парадоксалистом, обреченным на нравственную муку и самого себя и обманутую им женщину, имевшую несчастье довериться зыбкой искренности его сострадания и участия. Герой «Кроткой» — один из тех же несчастных людей, мучительно переживающих трагизм ущемленности и одиночества. Только на этот раз не «падшая душа», которую он возмечтал было «горячим словом убеждения» извлечь из бездны нищеты и порока, а душа чистая и кроткая, юная и неопытная оказалась невольной жертвой подобного характера.

Для «подпольного» человека любить всегда значило «тиранствовать и нравственно превосходить». «Я и в мечтах своих подпольных, — признавался герой «Записок...», — иначе и не представлял себе любви, как борьбу, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом».

Достоевский развил и продолжил в «Кроткой» свой анализ парадокса такой любви вплоть до трагического финала, к которому приходят Он и Она, тогда как в действительности они хотели, а в идеале могли бы любить друг друга... Ведь в прозаических отношениях закладчика и его застенчивой и самолюбивой клиентки выступает вдруг и глубокая пылкость натуры, и недоужинный скептический ум, и бесстрашная искренность.

Более всего Олегу Борисову в спектакле удаются негативные черты и черточки психологического феномена, созданного Достоевским, — та «грубость мысли и сердца», которая идет от эгоизма, от ипохондрии, от ущемленности и заносчивости героя, от его злого рассудочного ума, в котором есть что-то мефистофельское. Все это реальные свойства человека, причастного к гибели Кроткой, и актер обнажает истинную психологическую подоплеку трагедии без какого-либо смягчения, идеализации или сентиментального прикрытия подлинных ее причин.

Роль главной героини в спектакле БДТ поручена молодой артистке Наталье Акимовой. Она точно выдерживает режиссерский рисунок роли, обозначая не только доверчивость, но и строптивость и гордость этого прямого, чистого, мечтательного характера.

В тексте Достоевского есть намек, что Кроткая — девушка «нового направления», не чуждая идеям эмансипации, то есть сознания равенства женских прав. Новые нравственные понятия, возвышая ее требования к жизни, не облегчают фатальной женской судьбы и делают еще более трагичным и неразрешимым ее столкновение с действительностью.

Напомним, что «Кроткая» принадлежит эпохе, которая начиналась «Грозой» Островского, а заканчивалась толстовской «Анной Карениной». В трагической судьбе женщины, как понимали ее величайшие русские художники, с наибольшей полнотой и отчетливостью проявлялись не частные, а всеобщие, универсальные законы общественного бытия, обрекающие на гибель живую душу.

В том, как Он относится к Ней, есть, по Достоевскому, не только «тиранство», но и глубокое чувство, на которое органически был не способен парадоксалист в отношениях с Лизой, и в этом смысле психологическая сатира «Записок из подполья» обращается в «Кроткой» трагедией. В мире Достоевского эти понятия-близнецы, как уже говорилось, способны сближаться, притом что общей почвой для них остается правда...

С главным героем «Кроткой» к финалу совершается психологическая и нравственная метаморфоза, переворачивающая отчасти изначальное представление об этом человеке.

«Несмотря на кажущуюся последовательность речи, — отмечал Достоевский в предисловии «От автора», — он несколько раз противоречит себе, и в логике и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно уясняет себе дело и собирает „мысли в точку“».

О. Борисов превосходно передает работу мысли, то есть спонтанный внутренний процесс, совершающийся в герое под влиянием пережитого душевного потрясения. Как и требует Достоевский, ценой колоссальных внутренних усилий артист собирает к концу спектакля свои размышления «в точку», переходя от частных, сбивчивых обвинений ее или себя к страстному развенчанию всего существующего миропорядка, в котором люди — жертвы и заложники повсеместно царящего зла.

Большое искусство актера дает почувствовать тончайшую грань, отделяющую иногда напряженную до предела мысль от безумия. О. Борисов, можно сказать, физически демонстрирует отделение человека от всех принятых обществом жизненных ценностей, от господствующих установлений, законов и ложных нравственных норм. Усиливая те внутренние потенции роли, которые возвышают сознание, критический ум изображаемого лица, О. Борисов, однако, не слишком доверяет его чувству и сердцу, их способности очиститься и переродиться.

Любовь его к Кроткой показана как своеобразная форма мучительства, проявляющегося то в «тиранстве», то в самоуничужении. Но ведь и это не последнее слово Достоевского, и в развитии своего героя он оставляет возможность страшной ценой, через муку и страдание, вырваться из нравственного «подполья», пусть даже с трагическим опозданием и без каких-либо надежд на облегчение собственной участи.

Сам Достоевский никогда и не признавал за полную истину точку зрения какого-либо одного лица. И в «Кроткой» авторская концепция объединяет разные, неслиянные, противостоящие голоса. Так же строится и спектакль БДТ по этому произведению, обобщивший многое из того, что открыл для себя в Достоевском современный театр. Опыт постановки «Кроткой» на ленинградской сцене, как и некоторые другие спектакли последнего времени, возбуждает надежды, что новое творческое прочтение Достоевского не останется для театра 80-х годов единичным или случайным эпизодом.

Достоевский-художник проходит в наши дни через особый исторический рубеж: вот уже сто лет как все произведения писателя, от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых», живут после смерти своего создателя, подтверждая пушкинскую мысль о бессмертии души поэта в его творениях. Мысль и слово Достоевского воистину «бежали тленья» — столетний срок делает эту истину более очевидной чем когда-либо прежде. И то обстоятельство, что театр, отечественный и зарубежный, принял эпос Достоевского в свой постоянный поэтический арсенал, есть еще одно доказательство всемирности «заветной лиры», им оставленной.

Художественный мир гениального писателя неисчерпаем — в этом великая сложность театральных истолкований Достоевского. И одновременно залог того, что вторая, звучащая в театре жизнь его героев никогда не прекратится.

Ленинград.

КОНСТАНТИН КЕДРОВ



«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОГИБШЕГО ЧЕЛОВЕКА»

К вопросу о положительном идеале у Достоевского

В лекциях о творчестве Ф. М. Достоевского Луначарский приводил слова из романа «Бесы»: «Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Это будет человек-бог». Луначарский добавляет: «Нет, не бог-человек, а человек-бог. Это разница. Не бог, который сделался человеком, а человек, который сделался богом, который соединил величайшее могущество и развитие»¹.

В этом суть еретического «евангелия от Достоевского»: не богочеловек, а человек — бог!

Не отождествляя позицию автора с позицией его героя, мы все же видим, как много здесь от положительного идеала Достоевского. К сожалению, после Луначарского, как и до него, в творчестве Достоевского немало число истолкователей в первую очередь видели глубину человеческого падения: все помнят легенду о Великом инквизиторе, но редко вспоминают главу «Кана Галилейская», где, по словам Достоевского, сила утверждения должна перевесить силу отрицания.

Сила утверждения не устраивала реакционную критику еще в большей степени, чем сила отрицания. Вспомним, как безжалостно цензура Каткова искромсала эпизод о воскресении Лазаря в «Преступлении и наказании», но и в усеченном виде эта глава вызвала грозные нарекания: как можно «блудницу» Союю сравнить с Магдалиной! Евангельская блудница раскаялась в содеянном, а Соня продолжает заниматься своим ремеслом (чтобы накормить голодных детей, добавим мы от себя).

«Кана Галилейская» хотя и миновала реакционную критику еще в большей степени, чем сила отрицания. Существовала и другая причина заговора молчания вокруг «евангельских эпизодов» в романах писателя: литературоведение и критика времен Достоевского были не готовы к объективному научному подходу к религиозной символике. Клерикальный или антиклерикальный пафос игнорировал всякую художественность. Можно даже сказать, психологически тогда не выработался еще объективно-научный подход к проблеме, свойственный сегодняшнему литературоведению.

В евангельской мифологии Достоевского следует искать прежде всего то, что волновало самого писателя. А он не скрывал своей высшей цели, когда утверждал, что ищет в христианстве формулу «восстановления погибшего человека». Это, говорил Достоевский, «основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия».

Достоевского прежде всего привлекали два мифа: миф о любви и миф о смерти. Те, чей глубинный смысл был раскрыт еще в ранних работах К. Маркса: «Смерть и любовь являются мифами отрицательной диалектики, потому что диалектика есть внутренний простой свет, проникновенный взор любви, внутренняя душа, не подавляемая телесным материальным раздроблением, сокровенное местопребывание духа. Итак, миф о ней есть любовь; но диалектика есть также бурный поток, сокрушающий вещи в их множественности и ограниченности, ниспровергающий самостоятельные формы, погружающий все в единое море вечности. Итак, миф о ней есть смерть»².

¹ А. В. Луначарский. Очерки по истории русской литературы. М. «Художественная литература». 1978. стр. 377.

² Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 40, стр. 116—117.

Диалектика любви и смерти во всей полноте характерна для мифа о воскресении.

Этот миф доминирует во всех фольклорных системах. Зерно умирающее и воскресающее есть в мифологиях всех народов. Чиченица (чечевица) в Латинской Америке, рожаница (рожь) у славян, Джон Ячменное Зерно в Шотландии, просо в Китае... До сих пор возникновение мифа о воскресении чаще всего объясняется культом плодородия, то есть сугубо прикладными, хозяйственными причинами. Таким образом, зачеркивается эстетическая природа и ценность мифа, игравшего и до сих пор играющего громадную роль во всей мировой культуре.

Миф о воскресении, конечно, не сводится к простым магическим действиям ради хорошего урожая. Ведь зерно олицетворялось в мифологиях всех народов в образе страдающего, умирающего и воскресающего человека-бога. Смерть и страдания древнеегипетского Озириса, древнегреческого Диониса, русского Костромы переживались человеком как собственная смерть и собственное воскресение.

Здесь следует четко осознать диаметрально противоположную семантику понятий «бессмертие» и «воскресение». Бессмертный не умирает, воскресающий должен обязательно умереть.

Переживание смерти в средневековых мистериальных действиях было настолько сильным, что истории известны случаи, когда участники, изображавшие Христа, погибали, будучи привязанными к кресту, в течение нескольких минут. Но это, несомненно, были неопытные и неталантливые актеры: эстетическое переживание смерти должно потрясать зрителей в гораздо большей степени, чем актеров. К тому же смерть лишь прелюдия к высшему — катарсису в мистерии воскресения.

Само слово «мистерия» в своей основе означает «познание тайны». От древнейших времен до современности искусство есть познание и переживание тайны любви, тайны жизни, тайны смерти. Эстетическая природа действия о воскресении сохраняет свою непреходящую ценность и в живописи Андрея Рублева, и в драматургии Шекспира, и в романах Достоевского и Толстого.

Есть известная закономерность в том, что Достоевский, всю жизнь разгадывавший загадку о человеке, напряженно размышлявший над библейскими сюжетами, искал, однако, их реальную жизненную подоснову, доходя до первоисточков легенд, до тех изначальных слоев культуры, где человек впервые заявил о себе как о существе, отличном от породившей его природы. В мифе о воскресении человек впервые не согласился с мирозданием, создавшим его смертным. Если на протяжении всей своей истории вопреки очевидности смерти человечество создало миф о воскресении, значит, в этом мифе заключена великая тайна человеческой души и природы — таков был ход мысли самого Достоевского.

На ранних этапах истории мистерия воскресения была эстетическим осознанием человеком своего рождения. В момент биологического рождения человек еще не наделен сознанием, он участвует в природном процессе независимо от своей воли, как часть природы. Человек проигрывал свое рождение на эстетическом уровне, становился не участником, а соучастником великого таинства природы.

Что фактически изображалось? На глазах у присутствующих мертвое становилось живым. Но не таков ли и сам процесс зарождения жизни? Зерно, погребенное в недрах земли, вновь рождается в ее материнской утробе. Мать земля непрерывно рождает погребенных в ней детей³.

Что же обретал человек в момент катарсиса? Теперь вся жизнь воспринималась как неожиданный дар. Он обретал ее заново, как бы внезапно родившись.

Во многих трансформациях мифа о воскресении в мировой культуре, в мифологиях всех народов четко прослеживается неразрушимый сюжет первозданного действия о «мнимой смерти». Суть его заключена в том, что некто, считавшийся умершим, гниющий и разлагающийся, внезапно обретает жизнь.

В большом числе легендарных сюжетов на первый план выступает тление, зловоние как неопровержимые доказательства смерти. Лазарь не просто умер, от его тела уже исходит запах тления, что всячески подчеркивается и в самой притче и в ее иконографическом изображении, где апостолы зажимают носы в момент, когда камень отвален от «двери гроба».

В «Братьях Карамазовых» глава о смерти Зосимы называется «Тлетворный дух».

³ Вспомним, как рассказывает Хромоножка в «Бесах»: «..Богородица что есть, как мнишь?» — ..Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого.. — ..Так, говорит, Богородица — великая мать сыра земля ~~есть~~...».

Тлетворный дух, исходящий от тела учителя, стал великим соблазном для старцев. Ликует противник Зосимы Ферапонт, ибо вместо благоухания мощей праведника Зосима «провонял». Причем всячески подчеркивается необычность такого явления, ведь Зосима «тело имел невеликое, сухое, к костям приросшее, откуда бы тут духу быть?».

Как и в притче о воскресении Лазаря, тление, усиливающее реальность и очевидность смерти, должно быть контрастной прелюдией к воскресению. В главе «Кана Галилейская» Алеша увидит в сонном видении воскресение Зосимы потому, что сумел переступить через соблазн очевидности самого тления.

В романе «Преступление и наказание» Соня читает Раскольникову притчу о воскресении Лазаря, и здесь Достоевский акцентирует обязательный момент тления. Зосима «провонял», Лазарь «смердит». Для усиления этого момента Достоевский прибегает и к словесному комментарию и даже к графическому выделению слова «четыре», указывающего на время тления: «„...уже смердит; ибо ч е т ы р е дни, как он во гробе”». Она энергично ударила на слово: ч е т ы р е».

Притча о Лазаре есть сокровенная тайна, связующая Раскольникова и Соноу: «Где тут про Лазаря? — спросил он вдруг...— Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня».

Ведь он мыслит себя погибшим и не воскресшим Лазарем. Его духовная смерть («Я себя убил, а не старушонку...») наступила в момент убийства. С тех пор Раскольников пребывает в своей камерке, по словам Достоевского, похожей на гроб, а когда об этом же говорит мать Родиона Романовича, он восклицает, что она не подозревает, какую великую истину сейчас сказала.

Чтение притчи о воскресении Лазаря должно стать предвестием воскресения Раскольникова. Лазарь, уже охваченный тлением, воскрес вопреки очевидности; вопреки очевидности и всепокрушающей логике должен воскреснуть и Родион Раскольников. По крайней мере так это представляется Соне. «„И о н, о н — тоже ослепленный и неверующий, — он тоже... уверует, да, да! Сейчас же, теперь же”», — мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания».

Воскресший, как бы освобождаясь от телесности, облекается в «ризы нетления». «Ветхий Адам» погибает, чтобы возродился новый.

Всего этого не происходит с Раскольниковым. Он так и остается Лазарем. Лазарь в отличие от Христа не сам воскресает, его должны воскресить. Раскольникова воскрешает Соня. Сам он не жалеет о преступлении и не раскаивается в глубине души. Он просто следует к воскрешению по пути, указанному Соней.

Пожалуй, в этом кроется фундаментальное отличие действия о мнимой смерти от действия о воскресении. Мнимое умершего всегда оживляет кто-то; строго говоря, это не воскресение, а именно оживление. Воскресение исходит из глубины души героя — оживление происходит под воздействием внешних сил.

Расстояние от сюжета о мнимой смерти до сюжета о воскресении громадно. Удельный вес притчи о воскресении Лазаря несоизмерим с весом и значимостью повествования о воскресении Христа.

Иное дело, когда мнимая смерть переживается самим участником действия и дана его внутренним взором. Такова известная легенда о праведном перевозчике, который в надежде на легкую смерть бесплатно переправлял людей через реку. Однажды он перевез необычного странника и, когда оглянулся по его приказанию, увидел на оставленном берегу свое бездыханное тело.

Образ мнимой смерти, когда человек, как бы перешагнув через собственный труп, продолжает другую жизнь, часто встречается в творчестве Льва Толстого.

Есть мнимая смерть героя: одежда, оставленная на берегу, и записка о смерти; есть жизнь героя в другом облике «после смерти». Но в фольклорной мистерии герой, пройдя через мнимую смерть, возрождается, а в «Живом трупе» после мнимой смерти наступает смерть настоящая. Получается антимистерия, где действие направлено не к воскресению через мнимую смерть, а через мнимую смерть к настоящей смерти. Оставив на берегу одежду, как бы перешагнув через свой труп, Протасов не воскресает, а становится живым трупом.

Еще нагляднее переход через мнимую смерть к другой жизни в эпизоде аустерлицкого прозрения Андрея Болконского.

Тяжко раненный, он кажется мертвым. Над его телом император Наполеон произносит достойную эпитафию: «Вот прекрасная смерть». Эти слова как бы действительно обращены к умершему, ибо для нового, «ожившего» Андрея они уже ничего не значат. Его прежний двойник растворился в бесконечной голубизне неба над Аустерлицем.

«Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человечком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками».

Фольклорное действо о мнимой смерти играет существенную роль в «Преступлении и наказании», в «Воине и мире». Однако для Толстого совершенно невозможен мифологический подход, свойственный Достоевскому. Сюжет мнимой смерти возникает у него из самой действительности. Нет никаких обращений к мифу через бездны тысячелетий. Тем поразительней эта встреча двух писателей — как бы в середине тоннеля, где пути Толстого и Достоевского тесно сходятся.

Раскольников толкнул к духовной гибели пример и образ Наполеона, которому «все дозволено». Только перешагнув через убийство, Раскольников убил в себе «наполеона». Наполеона искал в себе до Аустерлица и Андрей Болконский. И ему пришлось перешагнуть через свою «смерть».

Знаменательно, что в мистерии о мнимой смерти всегда сталкиваются два взгляда на умирающего; проникающий сквозь внешнюю оболочку событий утверждает: он жив; другой свидетельствует: он мертв. Утверждение, что Лазарь не умер, но спит, звучит не во внутреннем мире героя, а во внешней среде, рядом с хором других голосов, утверждающих противоположное. Мы ничего не знаем о переживаниях самого Лазаря ни в момент смерти, ни в момент воскресения.

Совсем иная композиция внутреннего и внешнего взгляда в психологическом пространстве Толстого. Здесь в отличие от мифа внутренний взгляд дан действительно изнутри.

В «Смерти Ивана Ильича» герой видит, как его запикивают в черную дыру какого-то мешка, но в тот момент, когда пространство сжалось до бесконечности, перед ним открывается свет и бесконечность вширь.

«— Кончено! — сказал кто-то над ним.

Он услышал эти слова и повторил их в своей душе. „Кончена смерть, — сказал он себе. — Ее нет больше!”».

То, что для родственников безусловная реальность, видимая внешним взглядом (смерть, агония, труп), для Ивана Ильича, видящего смерть взглядом внутренним, есть конец смерти.

Так совмещение внутреннего и внешнего взора на великое душевное состояние человека в момент осознания своей смерти и победы над ней дарует нам мифологический взгляд Достоевского и подчеркнута антимифологический взгляд Толстого.

Контрастно столкновение внутреннего и внешнего в момент смерти князя Андрея после Бородинского сражения.

«Вторая смерть» Болконского, уже не мнимая, а реальная, повторяет переход через рубеж бездыханного тела. Под Аустерлицем перед ним открылась бесконечность ввысь, под Бородином — бесконечность вглубь. Безгранично раздвинулись стены комнаты, вместив всех людей, которых видел князь Андрей. Он вместил в себя весь мир, а Наташа в это мгновение видит агонию и бездыханное тело.

Умирание князя Андрея есть постоянная пульсация таких состояний, когда окружающим кажется, что Андрей жив, в то время как для себя он уже умер, и наоборот: в последний момент агонии князь чувствует свой переход к иной жизни.

«Оно вошло, и оно есть с м е р т ь. И князь Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся.

„Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение!”».

Вернемся теперь к притче о Лазаре, вспомним концентрацию всех психологических состояний такого рода в одном диалоге о смерти. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его» — и слова учеников: «Если уснул, то выздоровеет». И эпически спокойное сведение двух взоров в мифологическом пространстве Евангелия: «Иисус говорил о смерти его; а они думали, что он говорит о сне обыкновенном».

«Необыкновенный сон» Лазаря и его необыкновенное пробуждение происходят как бы на наших глазах, но мы ничего не узнали бы о психологическом состоянии Лазаря в момент смерти и воскресения, если бы не литературное воплощение этого состояния в романе Толстого «Воскресение».

Внешний и внутренний взоры здесь четко соотносятся. Внешнее проявление внутреннего состояния, когда умерший выходит из гроба, «обвитый по рукам и ногам погре-

бальными пеленами; и лицо его обвязано было платком». Это место Соня Мармеладова прочла «громко и восторженно... дрожа и холодея, как бы воочию сама видела».

Иное дело, когда князь Андрей в момент смерти-пробуждения, очнувшись «в холодном поту, зашевелился на диване»; никаких внешних проявлений происходящего внутреннего действия здесь нет. «Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом».

В главе «Кана Галилейская» Достоевский обратился к сюжету мнимой смерти. Сначала бездыханное гниущее тело Зосимы (вспомним, что именно смрад гниющего тела ближнего заставляет ясно осознать смерть и усомниться в возможности воскресения). Смутился и Алеша. Как бы перешагнув через тело учителя, он уходит из монастыря, падает на землю и лежит словно бездыханный. С того момента и начинается действие о блуднице.

Охваченный отчаянием Алеша попадает в руки семинариста Ракитина, который приводит его к Грушеньке: «...не для радости Грушенькиной он влек к ней Алешу... Цель же у него теперь была... увидеть «позор праведного» и вероятное «падение» Алеши «из святых во грешники», чем он уже заранее упивался...»

Но между Грушенькой и Алешей неожиданно возникает духовная близость, исключаящая возможность чувственной связи. Ракитин выигрывает пари, Алеша возвращается к гробу Зосимы.

И у Толстого и у Достоевского древнее фольклорное действие о блуднице, спасающей грешный мир, всегда оканчивается классическим перевертышем: блудница оказывается величайшей праведницей, непорочной невестой, спасающей жениха. Кульминация чувственного влечения жениха и невесты в мистериальном браке — обет целомудрия.

«В любви между мужчиной и женщиной,— пишет Толстой,— бывает всегда одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь светло Христова воскресения... Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь и в это утро сознавал ее, и сознавал, что в этой любви он сливался с нею в одно».

Отношения Настасьи Филипповны и князя Мышкина, Раскольникова и Сони, Грушеньки и Алеши — наиболее яркое воплощение такого чувства.

Трудно сказать, когда именно зародился сюжет этой любовной мистерии. В основе ее лежит отказ от физической близости между влюбленными, и не потому, что между ними нет чувственного влечения, а потому, что в недрах биологического влечения рождается человеческая любовь в современном понимании этого слова.

Вспомним, каким сиянием, каким торжеством окружает Толстой Катюшу Маслову в ночь ее грехопадения. Не играет существенной роли, знал или не знал Толстой, что в архаических истоках пасхальной мистерии в жертву распятию еще в добиблейскую эпоху приносилась священная блудница ради воскресения жениха. «Для нее блестело золото иконостаса и горели все свечи на паникадиле и в подсвечниках, для нее были эти радостные напевы: «Пасха господня, радуйтесь, людие». И все, что только было хорошего на свете, все было для нее».

В «Преступлении и наказании» именно блудница Соня читает Раскольникову притчу о воскресении Лазаря.

В поезде, еще только взглянув на портрет Настасьи Филипповны, князь Мышкин полюбил ее за красоту. Но это не телесная, земная красота — это красота страдания, которую Мышкин увидел в ее глазах, красота, которая «спасет мир».

В Евангелии Мария-грешница стоит у распятия Христа, помещенного между двумя разбойниками, а в «Идиоте» над телом убитой грешницы сидят «Христос» — Мышкин и «разбойник» — Рогожин.

Идет суд над блудницей Масловой. Когда-то соблазнивший ее князь Нехлюдов теперь должен бросить в нее камень — вынести приговор. Но суд над блудницей превращается у Толстого в суд блудницы.

И у Достоевского мы видим не блудницу, распростертую у ног праведника, а грешника Раскольникова, целующего ноги Сони Мармеладовой.

Грушенька следует в Сибирь за осужденным Дмитрием по пути, уже проторенному Соней. Снова блудница, снова в Сибирь и снова за грешником. На пороге XX столетия еще

одна блудница проследует по этому пути. На этот раз за ней поедет воскресающий, раскаявшийся грешник — Нехлюдов.

Однако у Толстого на первый план выступают мотивы житейские, антимифологические. Соня читает Раскольникову Евангелие, Грушенька рассказывает Алеше притчу о лужке, Нехлюдов слышит от Катюши совсем другие слова:

«Какого еще бога там нашли? Всё вы не то говорите. Бога? Какого бога? Вот вы бы тогда помнили бога... Чувствую вину...— злобно передразнила она.— Тогда не чувствовал, а сунул сто рублей. Вот — твоя цена...»

Сколь различен суд Сони и суд Катюши, и все-таки одна и та же тема спасения грешника ценой жертвы блудницы отчетливо слышится у Толстого и Достоевского: «Ты мной хочешь спастись...»

В канонизированных евангелиях, отобранных из тридцати с лишним апокрифических текстов, не совсем ясна и, пожалуй, слишком обытовлена и затуманена мессианская роль блудницы Марии. Последовав за Христом, именно она выливает на него сосуд с чистым народным миром итирает его ноги своими волосами.

Это непонятное непосвященным действо вызывает ропот среди учеников: не лучше ли было продать это миро за триста динариев и отдать деньги нищим? Ответ понятен лишь тем, кто посвящен в тайну обряда «погребения-свадьбы». Тем самым, объясняет жених, она приготовила меня к смерти и погребению.

Мнимо умершего оплакивает его невеста, она же воскрешает его поцелуем живой водой. Так или иначе, но воскресению предшествовала свадьба — брак в Кане Галилейской.

Эпизод из этого брака читается над умершим монахом Зосимой. Современному человеку довольно трудно понять, почему над умершим читается глава о свадьбе. Только воспоминание о фольклорном сближении противоположных обрядов — свадьбы и погребения — проясняет истинный смысл такого странного совмещения.

Невеста-смерть — чрезвычайно распространенный фольклорный образ. Фольклорный перевертыш «свадьба-похороны» слышится в погребальных плачах, где умершего называют женихом, обвенчанным с сырой землей, а невесту венчают с тесовой домовиной, то есть с гробом. Таков закон мистериального действия: все превращается в свою противоположность. Это мир наизнанку. Здесь похороны — свадьба, а свадьба — похороны. Здесь смерть означает воскресение.

Вспомним роковые для жениха браки с царственными блудницами: Венерой, Астартой, Клеопатрой... За брачную ночь жених расплачивался своей жизнью. Жертва любви окажется удобной богам, и невеста-смерть, готовившая жениха к погребению, станет невестой мнимо умершего и воскресшего жениха. Только смерть сблизила Болконского и Наташу. Брак, не состоявшийся в жизни, как бы осуществился в смерти. Но за смертью не последовало воскресения.

Отголоски этих архаичных фольклорных обрядов порой слышны и в канонизированных текстах евангелий. На вопрос, почему не постыятся апостолы, следует ответ: могут ли печалиться сыны чертога брачного, если с ними жених? Брак в Кане Галилейской, таким образом, не бытовая свадьба, а фольклорная свадьба-погребение, предрекающая воскресение жениха.

В ритуал этой свадьбы входило превращение воды в вино — один из древнейших символов воскресения. Вино — кровь Диониса, воскресающего в виноградной лозе. В глубинных истоках этого обряда ощутимо реальное природное таинство превращения дождевой воды в виноградные гроздья, дающие вино. В праздник сбора винограда заключались и реальные земные браки. Жених — сам Христос, сыны чертога брачного — апостолы

Таким образом, становится понятно, почему традиция требовала чтения над умершим главы «Кана Галилейская». Этот брак является тайным предвестником воскресения. Не удивительно, что Алеша, задремавший во время чтения, видит воскресение Зосимы. Стены кельи раздвинулись, все сидят за брачным столом, архитриклин в белых одеждах разливает вино новой жизни. Понятен Алеше инносказательный смысл древней притчи: не вливают вино новое в мехи старые. Должно произойти полное обновление человека. «Ветхий Адам» считался умершим, «новый Адам» — обновленным, воскресшим. Новый, воскресший Алеша уходит по завещанию Зосимы из монастыря в мир.

Создавая роман «Братья Карамазовы», Достоевский надеялся повлиять на сердца и умы молодежи, привести ее к сознанию перелома, озарить их светом Каны Галилейской. Писатель думал, что возможно повторение мифологического взрыва, происшедшего

в I веке, когда мистерия воскресения, выйдя из катакомб и пещер, заполнила пространство истории.

Писатель ошибся: мистерия может стать историей только однажды.

Выход мистерии воскресения из христианских катакомб осуществлялся под знаком архаичной и темной для современного сознания идеи сыновней жертвы. Авраам, готовый принести в жертву своего единственного сына, далеко не единственный персонаж мировой мифологии. Жертва сына в древнейших фольклорных культах есть цена бессмертия, потому что ни в каком ином воплощении символ жертвенности не мог обрести такой ослепительной яркости. Если сила и осуществимость мистерии оправдывались величиной жертвы, то и жертва должна была быть громадной. Мистерия всегда существует вопреки установленному порядку вещей, природе и времени. Жертвенная смерть сына — это как бы антирождение. Природе возвращается рождение, в конечном итоге всегда оплачиваемое ценой смерти.

В семейных отношениях сложная диалектика будущего и прошлого моделируется взаимоотношениями отца и сына. Убивая сына, отец приносил в жертву самого себя, свое будущее и прошлое. В сыне воплощались все предки, гибель сына была страшнее собственной гибели. Здесь поистине распадалась связь времен. Это было нечто более страшное, чем смерть, — это был неотвратимый и вечный конец времен. Здесь приносится в жертву и прошлое, и настоящее, и будущее. Жертвуют временем, чтобы обрести вечность.

Действо о сыновней жертве противостоит природному ходу времени, где сыну расти, а отцу умиляться. Когда-то эта природная предопределенность лежала в основе жестокого магического ритуала — убийство стариков ради будущего благополучия.

В речи на открытии памятника Пушкину Достоевский вспомнит об этом:

«...представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика... Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии?»

В романе «Братья Карамазовы» это «здание судьбы человеческой» возводится на сыновней жертве. Об этом говорит Иван Карамазов в связи с мыслью об убийстве отца. Раз мир стоит на крови и жертве, то жертва отца естественнее жертвы сына. Надо смириться с неизбежностью жертвы и выбрать наименьшее зло. Смерть отца естественнее, чем гибель сына.

Существовало же в старину поверье, вспоминает Иван, что здание лишь тогда стоит прочно, когда в основе его кровь невинного младенца. Иван Карамазов не хочет жить на крови младенца в таком здании.

Спор между Иваном и Алешей идет о природном и неприродном порядке вещей. В любом случае здание на крови, но одно дело, когда это кровь отца, который и без того должен умереть раньше сына, другое дело — кровь сына, замученного младенца. Перечень детских жертв: от ребенка, затравленного генеральскими псами, до Илюшечки, погибшего от туберкулеза, — обрамляет совершающееся убийство отца, Федора Карамазова.

Принять или не принять жертву, как бы искупающую это преступление, — вот о чем спор. Разумеется, и Алеша невинную жертву младенца принять не может. Но у жертвы есть собственный голос. Кто может запретить Илюшечке быть жертвой! Добровольность жертвы — вот чего не учли Родион Раскольников и Иван Карамазов в своей всеокрушающей логике.

Не на могиле Илюшечки, а у камня звучит речь Алеши Карамазова. «Речь у камня» называется и сама глава. Это жертвенный камень у края дороги и это тот камень, который отвален «от двери гроба» в момент воскресения. Илюшечка есть то зернышко, которое умирает в земле ради будущей жизни мира. Он та сторона в споре Алеши с Иваном, которую забыли выслушать; он сама жертва. Об этом речь Алеши у камня:

«...кто нас соединил в этом добром хорошем чувстве, об котором мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будем и вспоминать намерены, кто как не Илюшечка...»

— Карамазов! — крикнул Коля, — неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?

— Непременно встанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было...»

Ребенок должен стать тем зернышком, которое если, «падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Вспомним, что в романе Л. Толстого «Воскресение» на совершенно ином, антимифологическом уровне возникает образ умирающего и воскресающего зерна.

Вот как рассказывает писатель о символике веры крестьянина Набатова, который наследовал от предков «твердое, спокойное убеждение, общее всем земледельцам, что как в мире животных и растений ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую — навоз в зерно, зерно в курицу... — так и человек не уничтожается, но только изменяется». Право, чего-то не хватает в этой цепочке превращений. Ведь не просто «навоз в зерно» превращается. Ведь сначала предстоит умереть в земле — с плачем, рыданиями, со слезами и болью.

Но если с плачем и слезами, значит, уже не просто превращение, изменение, а смерть, жертва и воскресение. Сам роман «Воскресение» пронизан идеей добровольной жертвенности без малейшего намека на какую-то награду в будущем. Воскресение совершается здесь, сегодня, сейчас — или никогда. Ведь и Алеша в главе «Кана Галилейская» переживает сейчас свое воскресение, а его ответ Коле Красоткину не о духовном воскресении, а о будущем «оживлении». Не «воскреснем», а «восстанем», потому что воскресение Алеши уже совершилось.

Само воскресение в художественном времени Каны Галилейской выходит за круг времени, ибо это то состояние мира, о котором князь Мышкин в «Идиоте» говорит, вспоминая слова из Апокалипсиса: «И голос был, что времени больше не будет». Это можно понимать двояко: конец света, как это воспринимали ранние христиане и безуспешно его ждали; было и другое понимание конца времен — время исчезает потому, что «для бога один день как тысяча лет и тысяча лет как один день».

При таком подходе природный порядок времени сохраняется, изменяется лишь восприятие его. В ограниченных рамках собственной жизни человек воспринимает все время и все пространство создавшего его мироздания.

Само воскресение оказывается не в прошлом, а в настоящем времени. Оно есть зерно всех событий, которое прорастает на почве будущей и прошлой жертвы. Круг времени, замкнувшийся в двойной жертве, распадается. Творится вечное воскресение.

Воскреснуть значит выйти за круг времен, перешагнуть рубеж, за которым «времени больше не будет».

Но именно так понимал идею воскресения Лев Толстой. «Что значит «будущая жизнь»? Можно верить в жизнь, но для жизни вечной наше понятие «будущая» совершенно неприложимо»⁴.

Однажды Толстой сформулировал эту мысль еще яснее: «Прежде всего про состояние после смерти нельзя сказать, что оно будет. Бессмертие не будет и не было, оно есть»⁵.

Эти слова должны, по крайней мере, развеять недоумение тех, кто ищет и не может найти в романе «Воскресение» самого воскресения Нехлюдова⁶. Толстому чуждо мифологическое мышление, но, в сущности, роман «Воскресение» о том же, что и «Братья Карамазовы», — о духовном воскресении человека, о его психологическом выходе за пределы биологического времени, о его способности пережить в рамках своей жизни свою смерть и свое бессмертие.

Социальная значимость подобного взгляда столь велика, что без нее образ человека в романах Достоевского окажется затуманен, а порой и полностью искажен сиюминутными интересами. Для Достоевского человек — существо исторически бессмертное, вечное. Его внутренний мир, его быт, его социальный облик соизмеримы разве что с самой вечностью.

⁴ А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М. Гослитиздат. 1959, стр. 117.

⁵ Там же, стр. 229.

⁶ Заметим, что и в евангелиях нет рассказа о самом воскресении. Оно преломляется все в тех же фольклорно-мифологических символах: превращение воды в вино (Кана Галилейская), превращение вина в кровь (тайная вечеря).

ДОСТОЕВСКИЙ ГЛАЗАМИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЗАПАДА

Мировая слава Достоевского сегодня неоспорима. Но мы не всегда задумываемся над ее слагаемыми. Одно очевидно сразу: в их число неизменно входит изумление перед его духовной мощью, перед дыханием подлинности и глубины, перед изобилием творческой фантазии. Даже те, кто провозглашает собственную несовместимость с жизненным пафосом русского писателя, — например, Д. Лоренс или У. Сомерсет Моэм, талантливый скептик, для которого просто не существует реальности, больше всего поглощавшей Достоевского, — даже они вынуждены признать, что захвачены в поле его напряжения. Но за вычетом этой произвольной плененности гениальной силой что остается? С момента знакомства с Достоевским, то есть с конца прошлого века, Запад не раз будет приносить ему почести за то, дескать, что он расширил пределы человеческого «я», стерев границу между добром и злом, за то, что он, оказывается, высвободил иррациональную стихию души из-под диктата рассудка, что он узаконил изначальное своеволие личности, открыв область «немотивированных поступков», что он стимулировал развитие новой психопатологии, углубившись в феномен раздвоения и двойничества, за то, что своей обращенностью к «внутреннему человеку» он выдал грядущим литературным героям мандат на свободу от вещного мира, от бытия.

Таковы нередко похвалы. А если к ним еще добавить ошеломленные голоса тех, кого подавляло приписанное Достоевскому раскрепощение от старой культурной упорядоченности, — голос Г. Гессе, за ним О. Шпенглера, вскоре С. Цвейга и, наконец, даже Т. Манна... Когда знакомишься с этого рода пророчествами о миссии Достоевского в европейском мире, обнаруживаешь, что на него как на посланца необузданного «славянского духа» взваливается монументальная вина чуть ли не за все катаклизмы, изменяющие лицо старой Европы. Все это, вместе взятое, хотя и создает небывалую славу, но такую, за которой, по совести говоря, мог бы воспоследовать и обвинительный вердикт.

Однако этот вихревой образ Достоевского — покорителя, разрушителя, зачинщика авангардных штурмов — не свидетельствует ли о подспудном самоотрицании западноевропейской культуры, теряющей классическую гармонию и чувство внутренней правоты? Хотя трепетно ожидаемый хаос уже гнезвился в самой «европейской душе», понадобилась — как это уже не раз бывало на путях культурной истории — апелляция к первозаданной силе чужеземца, чтобы снять ставшие обременительными старые табу. Для типичного в первой трети нашего века восприятия Достоевский скорее всего потому явился художником эксцесса, выразителем хвалимых или хулимых крайностей, что в эти десятилетия на Западе как бы выветривается сердечный центр, не допускавший формализации и последующего противоборства полярных начал в этике, искусстве и познании мира. Так, одни с радостью, а другие со страхом объявили об упразднении в мире Достоевского нравственных критериев именно тогда, когда мораль стала отождествляться с внешними формами благопристойности, обратившись для «приличного общества» в атрибут самодовольства, а для богемы — в лицемерные пути. Живая этика, опирающаяся у Достоевского на суровое знание самого худшего о человеке и превозмогающая это знание в акте любви, не могла быть признана не чем иным, как моральной неразборчивостью — отвратительной или заманчивой. Затем, синтезирующую силу его романов — когда точка отсчета перемещается в духовный мир персонажей, а между тем окружающая реальность остается непоколебленной, — это единство бытия и сознания нелегко было усвоить западным литературным течениям и вкусам; они не были подготовлены к тому, что превышало бы альтернативу предметности и субъективности, вещиности и психоло-

гизма. Отсюда ностальгические жалобы (например, Вирджинии Вулф), что Достоевский, ослабив бытовую обусловленность своих героев, тем самым подорвал земной фундамент реалистического романа, или, напротив, восторги по поводу того, что на его страницах бродят развоплощенные духи (как писал в начале века английский эссеист Мидлтон Марри). Такая же борьба односторонностей завязывается вокруг подходов Достоевского к истине: он предстает либо мечущимся между правдами разных персонажей (что образцовый западный либерал склонен ставить не в упрек, а в заслугу), либо изображается авторитарной личностью, диктующей свою догму. Философски все еще не усвоено то, что Достоевский, предоставляя — без всякой авторской цензуры — каждому созданному им лицу развить до конца свое заветное верование, тем не менее подводит через опыт романских событий и это лицо и читателя к открытию истины, исповедуемой автором.

Но, описывая симптоматические для Запада черты «неусвояемости» Достоевского, не следует все же искушаться родившимся именно там толкованием его творчества как экзотически «восточного», принадлежащего к принципиально иному культурному пространству. Россия Достоевского была ведь и Европой, а Европа, как он сам чувствовал, его второй родиной; поэтому действительно русское, действительно национальное лицо его необычайного по страсти и размаху искусства не показалось бы зарубежным европейцам таким диковинным, если б они к тому времени уже не разучились узнавать в этом искусстве исходные черты собственной духовности. Вдобавок можно обнаружить и отечественную традицию непонимания Достоевского, так что в конечном счете все здесь решается тем, что человек выберет для себя высшим, и чья-то невосприимчивость к духу Достоевского неизменно будет тенью его славы.

На Западе, разумеется, всегда существовали особо чуткие читатели Достоевского, а также все пополняется когорта исследователей, глубоко постигающих мир русского писателя. Но наши беглые обобщения касаются в первую очередь не специалистов-филологов, призванных вживаться в свой особенный предмет, а творцов литературы, более непосредственно разделяющих чувство жизни современников, их текущие мнения и оценки. При этом писатель, даже движущийся в новой художественной колее, легко идентифицирует себя с рядовыми читателями по части вкусов и запросов. В. Вулф (прижизненный сборник ее критических эссе так и называется «Common reader»¹), сама будучи создательницей новых форм повествования, глядит между тем на прозу Достоевского все еще глазами читателя старой выучки: ищет пластическую изобразительность там, где надо слышать слово, и находит одну лишь неблагообразную пантомиму, сопровождаемую «шумом и яростью».

При всей их специфической «перекошенности» шаг в страну Достоевского все же сделали на Западе экзистенциалисты. Они подняли его над чисто психологическим уровнем, где к нему только и оставалось безуспешно подбирать ключи, годные для Марселя Пруста и Генри Джеймса. Пусть Камю духовно уместается на одной линии образов Достоевского и пишет о нем так, как мог бы написать о собственном творце, скажем, Иван Карамазов или Кириллов, но зато здесь глубинное идейное слово персонажа наконец услышано и энтузиастически воспринято в его личной автономности и сверхпсихологическом значении. Тем самым все наиболее характерное в Достоевском — грандиозность диалогов, самостояние героев, их зависимость не от обстоятельств, а от ценностей — перестало ощущаться как художественно не оправданная причуда.

И этот поворот к сути Достоевского недаром совершился в континентальной Европе за годы второй мировой войны. Не только относительно благополучный и непрозорливый конец века, но и последующие 20—30-е годы с их культом «здоровой» биологической brutality, с характерными для них чертами фрейдистской, социологической и прочей девальвации человеческого духа не могли принять к сердцу Достоевского-трагика. Но когда зло обнаружилось в своей очевидности, несводимой к неврозам и влияниям среды, тогда Достоевский стал нужен по существу — как вожатый в трагическом мире.

Тут же обнаружилось, что ближний литературный ряд его предшественников, современников и младших подражателей отвечает на вопросы не того ранга, какие встали теперь. Как поэт крайних для человечества ситуаций Достоевский (в этом смысле типично восприятие А. Мальро) оказывается в разреженном трагедией пространстве, в цепочке мировых вершин — вместе с Софоклом, Данте, Шекспиром. Его и раньше, при первом взлете посмертной славы — в символистские и экспрессионистские 10-е годы, — сопоставляли с фигурами такого именно масштаба, но зато теперь стали сомнительными все прочие сравнения — из современников рядом остался, пожалуй, только Толстой.

¹ Обыкновенный, рядовой читатель (англ.).

Новым духом веет от признаний послевоенных писателей, переживших опыт нацистского тоталитаризма; в годы их юности Достоевский, как бы незаконно попавший им в руки посреди духовной неволи, «Достоевский на скверной бумаге» (как вспоминает Г. Бёльль), явился опорой для совести. Можно, конечно, огорчаться, что Бёльль, рассуждая о творческой личности Достоевского, вторит многим скопившимся на Западе за столетие предрассудкам — хоть и в тонах, приглушенных привычкой к присутствию гения. И все же он, как и его младший соотечественник З. Ленц (а по ту сторону океана Уильям Фолкнер), ищет в Достоевском не апологию своеволия и соблазнительных отклонений, а человеческую свободу, милосердие и возвышающую правду. И Бёльль и Ленц видят в герое «Идиота» силу, противостоящую механике деспотизма. Притом для Ленца в князе Мышкине воплощен идеал не только личностно-нравственный, но и общественно значимый, дан не только символ, но и призыв...

О влиянии Достоевского, о следовании ему высказывались бесконечно многие — и те, кто имел на это право, и те, кто это право узурпировал. Но воздействие Достоевского растет подспудно, проявления его нужно, думается, искать скорее не в том, что уже сказано, а в том, что еще предстоит сказать искусству и самой жизни.

Р. ГАЛЬЦЕВА, И. РОДНЯНСКАЯ.

ГЕРМАН ГЕССЕ

Г. Гессе (1877—1962), немецко-швейцарский поэт, романист и теоретик культуры, автор «Степного волка» (1927, русский перевод — 1977) и «Игры в бисер» (1943, русский перевод — 1969), познакомился с Достоевским не позднее 1904 года, когда прочел «Под-ростка», и посвятил русскому писателю пять статей в период с 1914 по 1925 год, время духовного брожения в Германии и повального увлечения Достоевским. «Мир Гёте закатился, и взошел мир Достоевского,— писал Гессе в 1919 году.— Мы не предлагаем здесь никаких оценок; Гёте не «крушнее» и не «мельче» Достоевского. Просто ориентация сегодняшнего мира стала другой, нам светят другие звезды и в короткой нашей жизни мы держимся тех, что сияют к нам ближе и обещают тепло». Знатоку Востока, античности и Ренессанса, органически переживавшему и величие и хрупкость европейской культуры, Гессе почудилась в образах Достоевского новая, «грозная святость», опасно равнодушная к добру и злу, к закону и обычаю, но близкая к первоначальному хаосу, источнику будущих миров.

...Для старца Зосимы еще в силе идеал праведности, для него все еще значимо различие между добром и злом, разве что он предпочитает дарить свою любовь именно злым. У Алеши эта святость нового рода уже намного свободнее и деятельнее, он уже с почти безнравственной незадетостью проходит через всю грязь и гадость своего окружения; часто он заставляет меня вспомнить «благороднейший завет» Заратустры: «Я завещал некогда отречься от всякого отвращения!» И что же? Братья Алеши осуществляют ту же идею еще смелей, они идут по тому же пути еще решительней, и часто вопреки всему начинают казаться, будто соотношение между братьями Карамазовыми на протяжении трех томов толстой книги понемногу прямо-таки переворачивается, все прочно стоявшее мало-помалу оказывается сомнительным, святой Алеша шаг за шагом обмирщается, его мирские братья освящаются, и самый буйный, самый разнузданный из братьев, Дмитрий, оказывается вдруг самым святым, самым чутким и задумчивым предтечей новой нравственности, новой морали, нового человечества. Это очень странно... Этот «русский человек» (который давно уже есть и у нас в Германии) не дает назвать себя ни пьяницей или преступником, ни поэтом и святым; его можно охватить только рядоположностью, одновременностью всех этих свойств. Русский человек, Карамазов—убийца и судья сразу, грубиян и нежнейшая душа одновременно, он совершеннейший эгоист не меньше, чем герой совершеннейшего самопожертвования. К нему не подступишься с европейской, с прочной нравственной, этической, догматической точкой зрения. В этом человеке внешнее и внутреннее, добро и зло, бог и сатана сосуществуют... На пороге великих переворотов человечество создало себе в этой книге символ, образ, подобно тому как отдельный человек создает себе в сновидении образ борющихся и сталкивающихся в нем порывов и сил. Что «Карамазовых» мог написать какой-то один человек — чудо... В этом мифо-романе, в этом

сновидении человечества не только изображен порог, через который переступает Европа, тревожный, опасный момент взвешенности между Ничто и Всё, но на каждом шагу можно угадывать и предчувствовать еще и щедрые возможности Нового... В душе Достоевского то, что мы в иных случаях называем истерией, болезнью или страстной одержимостью, послужило чувствительным органом, указателем и барометром для человечества.

(«Братья Карамазовы, или Закат Европы», 1919)

...Параллель (с одиночеством Христа) у Мышкина вот такая. Когда я думаю о нем, об «идиоте», сразу приходит на ум тоже, казалось бы, не такой уж важный момент, но вместе с тем это именно опять-таки момент невероятной, полной изоляции, трагического одиночества. Я имею в виду сцену того вечера в Павловске, в доме Лебедевых, где выздоравливающий князь спустя несколько дней после своего эпилептического припадка принимает визит целого семейства Епанчиных, когда внезапно в этот оживленный и светский кружок, хотя уже и чреватый скрытыми конфликтами и напряженностью, вступают молодые господа революционеры и нигилисты, вторгается многословный юноша Ипполит вместе со своим мнимым «сыном Павлищева», вместе с «боксером» и прочими,— эту неприятную, всякий раз отталкивающую, при чтении шокирующую и отвратительную сцену, где ограниченные и заблудшие молодые люди в своей беспомощной злости выступают назойливо, вызывая и обнаженно, словно на слишком ярко освещенных подмостках; где каждое, буквально каждое их слово вдвойне тягостно, во-первых, своим воздействием на доброго Мышкина, а во-вторых, мрачной скандальностью, с какой оно оголяет и выдает самого говорящего. С одной стороны — общество, эlegantные светские люди, богатые, властные, консервативные, с другой — сорванная молодежь, безжалостная, жаждущая только мятежа, знающая только свою ненависть к вышестоящим, нерасчетливо, надсадно, дико, безвыходно глумящаяся при всем своем риторическом интеллектуализме, а между двумя этими партиями князь, одинокий, беззащитный, под критическим и напряженно-подозрительным наблюдением обеих сторон. И каков исход всей ситуации? Хоть и допустив в возбуждении несколько малозначительных промахов, Мышкин начинает вести себя в совершенном согласии со своей доброй, нежной, детской натурой; он с улыбкой сносит переносимое, на бесстыдство отвечает с поистине Христовой самоотверженностью, готов брать на себя всю вину, уличать себя — и тем не менее совершенно срезывается и удостоивается презрения, причем не со стороны той или другой партии, скажем со стороны молодых людей в пику старым или наоборот, а с обеих сторон! Все от него отворачиваются, всем он наступил на мозоль; на какой-то момент крайние противоречия в общественном положении, возрасте, настроении полностью исчезают и все объединяются, вполне объединяются в возмущенном и яростном отталкивании того, кто один среди всех чист душой!.. От прочих Мышкин отличается тем, что, как идиот и эпилептик, но вместе и очень умный человек, вступил в более близкие и прямые отношения с бессознательным, чем они... Его не только посещали редкостные и важные мысли и откровения, но раз или несколько раз он стоял на той магической границе, где все подлежит утверждению, где истинна не только любая заветная идея, но и любая противоположная ей. Вот что страшно, вот чего другие справедливо боятся в этом человеке... Высшая действительность как реальность человеческой культуры есть поделенность мира на светлое и темное, доброе и злое, допустимое и запретное. А высшая действительность для Мышкина — магическое переживание обратимости всех установлений, равно правомерного присутствия противоположных полюсов. «Идиот», если его осмыслить до конца, проводит в жизнь матриархат бессознательного, элиминирует культуру. Он не разбивает скрижали законов, он просто переворачивает их и показывает, что на оборотной стороне начертано нечто противоположное. В том, что этот враг порядка, этот страшный разрушитель выступает не как преступник, а как симпатичный, робкий человек, полный доброты и притягательной силы, добросердечия и бескорыстного добродушия,— тайна этой пугающей книги.

(«Мысли по поводу «Идиота» Достоевского», 1919)

Публикация и перевод В. БИБИХИНА.

ПОЛЬ КЛОДЕЛЬ

П. Клодель (1868—1955) — французский драматург и эссеист, академик с 1946 года. Примечателен ряд, в который он ставит Достоевского. «Я очень восхищаюсь им,— говорил Клодель в 1949 году.— Я испытал его влияние, как ученик испытывает влияние учителя. Не считая Рембо, у меня было еще четыре таких учителя: Эсхил, Вергилий, Гомер, Шекспир». Вместе с тем на клоделевской оценке Достоевского сказывается настороженное недоверие ревностного католика к «неортодоксальным» формам духовности.

Достоевский не был ни варваром, ни больным, разве что назвать болезнью чудовищный труд человека (несущего на себе печать целой расы и целого столетия и приносящего себя им в жертву), наказанного так за свое выздоровление. Это подводит меня к единственному критическому замечанию, которое я сделал бы о Вашей работе, а именно: Вы приписываете смысл законченного образа кризису, страданий человека, который непрестанно изменяется и на неотступные вопросы свыше предлагает все мыслимые ответы и все отговорки, на какие только способны разможенные душа и тело... Когда он восседает на треножнике или взбирается на трибуну, его причудливые, скрытые, уклончивые, фрагментарные ответы наподобие тех, какие некогда добывали от одержимых, никак нельзя принимать за чистую монету. Они всегда скорректированы какой-то недоговоренностью, чем-то важным, что Достоевский упрямо замалчивал и что его до последнего часа мучило. Он не выбрался из состояния исканий и вопросов... Говорю это не с тем, чтобы принизить Достоевского, героя, который вновь вернул нам крест со дна ренановской клоаки и из болот XIX века. За его слезами, лихорадочными фантазиями, богохульством христианин наблюдает с таким же удивлением, с каким врач — за сильными сотрясениями тела, к которому возвращается здоровье. Но пусть никто не говорит нам, что состояние пароксизма есть состояние покоя. В конце концов, очищение души — одно из великих оправданий существования искусства...

(Письмо А. Жиду 29 июля 1923 года)

Публикация и перевод В. ВИБИХИНА.

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ

В. Вулф (1882—1941) — английская писательница и эссеистка, в 20-е годы выступила с романами («Миссис Дэллоуэй», «К маяку» и др.), которые расширили возможности психологической прозы и во многом обновили тип повествования. В эти же годы написаны статьи «Русская точка зрения» («Russian point of view», 1925) и «Фазы художественной прозы» («The phases of fiction», 1929), где отразились размышления В. Вулф над эволюцией европейского повествовательного искусства. В первой из них Достоевский представлен как выразитель национального духа, во второй сделана попытка ввести его в новый западноевропейский контекст, включив в одну категорию с «психологами» Г. Джеймсом и М. Прустом.

...Простота, безыскусность, память о том, что в переполненном горестями мире главное — это понять своих братьев по несчастью... вот атмосфера, которая подобно облаку окутывает всю русскую литературу и влечет расположиться под ее сенью, вдали от нашего сухого великолепия, от наших укатанных магистралей,— все это, разумеется, с гибельными для нас последствиями. Мы начинаем копать в себе, мы владаем в литературную аффектацию добродетели и простоты, что тошнотворно до крайности. Нам не дано произнести слово «брат» с простой убежденностью...

Душа — поистине главное действующее лицо русской прозы. У Чехова тонкая и чувствительная, подверженная бесчисленным колебаниям и расстройствам, она у Достоевского глубже и объемней; ее одолевают тяжкие болезни и сотрясают яростные припадки, но внимание сосредоточено именно на ней. Вот почему, назерное, английскому читателю требуется столько усилий, чтобы перечитать «Братьев Карамазовых» или «Бесов». Душа ему чужда. Даже антипатична. У нее ведь слабое чувство юмора и никакого комического чутья. Она бесформенна. Она недостаточно связана с рассудком. Она неупорядоченна, растльчатая, не поддается контролю логики или дисциплине художественной формы. Романы Достоевского — это бурлящие водовороты, саму-

мы, которые с шумом и свистом засасывают в себя. Они состоят целиком и полностью из душевной материи. Против воли нас захлестывает, вращает, мы слепнем, захлебываемся,— и в то же время испытываем головокружительный восторг. Не считая Шекспира, это самое захватывающее чтение. Мы открываем дверь и оказываемся в комнате, полной русских генералов, их домашних учителей, их падчериц и свойственников и еще множества всевозможных лиц, которые на самой высокой ноте толкуют между собой о глубоко личных вещах². Но где мы все-таки очутились? Ведь в обязанности писателя входит сообщать, в гостинице ли мы, в частных апартаментах или в меблированных комнатах. Нам, однако, и не думают это объяснить. Мы — души, несчастные, пытаемые души, которым только и остается что говорить, изливаться, исповедоваться, перебирать и мучительно расщеплять те жгучие грехи, что жалят нас, ползая во прахе у наших ног. Впрочем, по мере того как мы вслушиваемся, замешательство наше проходит. Нам швырнули спасательную веревку, мы ухватили нить разговора; чудом держась за нее, мы дикими рывками пронесимся по хлябям, несемся все вперед и вперед, то утопая, то в миг прозрения... открывая для себя такое, что доводится переживать только под максимальным нажимом жизни. На лету мы схватываем все — имена людей, их взаимоотношения, что остановились они в Рулетенбурге, в отеле, что Полина втянута в интригу с маркизом Де-Грие, — но как это несущественно в сравнении с душой! Душа — вот что важно, ее страсти, ее смятение, разительная смесь в ней красоты и безобразия.

...Когда скорость возрастает и первоэлементы души уже не различаются порознь в сценах юмора и в сценах страсти — как это свойственно нашему медлительному английскому восприятию... — перед нами предстает новая панорама человеческого сознания. Прежние перегородки расплавлены... Существует нечто большее, чем точное разграничение между дурным и похвальным, к которому мы так привыкли. Часто у нас наибольшую симпатию вызывают страшные преступники, а жалкие грешники тревожат до глубины души...

Вздымаясь на гребнях волн, зацепляясь и ударяясь о подводные скалы, английский читатель не может не испытывать неудобств... В Англии правит не самовар, а заварочный чайник; время здесь ограничено; пространство заполнено... Общество рассортировано на высший, средний и низший классы, у каждого из которых свои традиции, манеры и, в определенной степени, свой язык. Английский писатель, хочет он того или нет, испытывает постоянное давление, понуждающее его учить эти барьеры, и как следствие ему навязывается некая упорядоченность и оформленность; он склоняется больше к сатире, чем к состраданию, скорее к исследованию общества, чем к постижению индивидуальностей как таковых.

Подобных ограничений Достоевский не знал. Ему безразлично, знатный вы человек или простой, бродяга или великосветская дама. Кто бы ты ни был, ты сосуд с тем сложным содержимым, с той взбаломученной, пенящейся, бесценной жидкостью, которая зовется душой. Душ не ограничишь перегородками. Она переливается через край, она выступает из берегов, смешиваясь с другими душами...

(Из статьи «Русская точка зрения»)

...Странное мы испытываем ощущение: что мы покинули повседневный мир... что остались без опор, которые пусть и досаждали у Диккенса и Джордж Элиот, но все-таки поддерживали и дисциплинировали нас. Зрительное чувство, до сих пор столь деятельное, неустанно зарисовывавшее то поля, то фермы, то лица, отныне словно бы гаснет или же тратит силы на то, чтобы осветить внутреннюю область души, а не внешнюю жизнь...

Стоит ступить из мира Пруста в мир Достоевского, как застываешь на месте от их несходства... Какая резкость у русского в сравнении с французом! Он очерчивает характер или сцену посредством кричащих противоположностей, между которыми не перекинута моста... Чувствуется, что ткань цивилизации сплетена здесь из грубых волокон и сильно сквозит. Люди отпущены на свободу по сравнению с заточением, которому они подвергались в Париже. Они вольны кидаться из стороны в сторону, жестикулировать, шумно разглагольствовать, свистать, впадать в ярость или в крайнее возбуждение... Они свободны той свободой, какую дают всепоглощающие чувст-

² В несколько шуточной форме В. Вулф передает впечатление от первых сцен романа Достоевского «Игрок».

ва... Нас поначалу поражают в этом мире, сравнительно с пруссовским, простор и возданность. Но когда глаз немного привыкнет, станет ясно, что мы в той же самой вселенной, что здесь нас манит все тот же внутренний мир сознания и увлекают — включения души.

...Сцену необычайного собрания, куда Варвара Петровна привела полоумную хромоножку³... невозможно дочитать до конца, не ощутив, что на какую-то кнопку в вазе душе жмут изо всех сил, а между тем для ответных чувств уже недостает энергии... Действующие лица (они стеклись в эти стены со всех концов города) бледнеют, содрогаются от ужаса, впадают в истерику. Они предстают перед нами, освещенные ослепительными вспышками.

Однако, хоть они вопят и топчут, звук долетает до нас как бы из-за закрытой двери. Возможно, дело в том, что ненависть, изумление, гнев, ужас — чувства слишком сильные, чтобы переживать их непрерывно. Эта невещественность и этот шум заставляют усомниться, способен ли психологический роман, проецирующий действие в сферу сознания, дать нам, вместо того чтобы доводить до изнеможения, то эмоциональное разнообразие и многокрасочность, какие находим у повествователей старого типа.

(Из статьи «Фазы художественной прозы»)

Публикация и перевод И. РОДНЯНСКОЙ.

ФРЭНК О'КОННОР

Об ирландском писателе Ф. О'Конноре (псевдоним Майкла О'Доновена; 1903—1966) его знаменитый соотечественник поэт У. Йитс сказал: «О'Коннор сделал для Ирландии то же, что Чехов для России». Известный более всего как новеллист, О'Коннор был и критиком; его исследование о романе «Зеркало на дороге» («The mirror in the roadway. A study of modern novel», 1957) написано уже после переезда писателя в США. Достоевского автор «Зеркала на дороге» стремится уложить в психоаналитические схемы; однако приводимый ниже небольшой отрывок не несет печати этих методов. Перед нами юмореска, в которой ради демонстрации творческих особенностей Достоевского обыгрывается на заведомо сниженном материале психологическая коллизия «Вечного мужа».

Самым необычным и, как можно теперь судить, самым значительным романистом XIX века был Федор Достоевский.

...Допустим, на столе у меня лежит банкнота достоинством в пять фунтов и мой друг Джон крадет ее. Если Б Джейн Остин нашла здесь сюжет для романа, она, должно быть, хладнокровно и последовательно проанализировала бы характер Джона, стремясь обнаружить, какие изъяны понудили его к такому поступку. Троллопу было бы интересно выяснить, есть ли здесь смягчающие обстоятельства, и, если таковые были, показать, каким образом Джон искупит вину передо мной. Бальзак был бы так захвачен мыслью о том, что удастся сделать с пятью фунтами умному человеку, что к концу повествования Джон, верно, предстал бы миллионером с бесценной коллекцией мебели и шедевров — и с изрядной моральной проблемой на шее.

Достоевскому все это показалось бы ребячливым и элементарным. У него, конечно, Джон был бы безумно влюблен в некую особу, для которой он хочет закатить пир, а так как я его лучший друг, он, естественно, крадет деньги у меня. Разумеется, это провинность, но Джон отныне несвободен от чувства вины навсегда. Мне известно, что деньги украл он, и он знает, что я об этом знаю. Он жаждет разрыдаться и сделать мне признание, но я, потворствуя своей врожденной жестокости, скрытой за высоконаравственными побуждениями, не предоставляю ему такой возможности. Он, таким образом, вынужден пойти на компромисс и ограничиться полупризнанием, рассказав о великолепном обеде, который он дал своей возлюбленной и который обошелся ему в пять фунтов. Я же парирую его рассказ чем-нибудь вроде истории о горничной, которая стащила у меня два фунта, а потом пошла и повесилась. После того как в припадке отчаяния, вызванном моей жестокостью, он пытается перерезать мне горло, я остаюсь в затруднительном положении, ибо Джон, дабы он мог простить сам себя, будет требовать себе наказания, а я, уже обойдясь с ним достаточно сурово,

³ Из романа «Весы».

не имею желания его наказывать... К моменту, когда повествование кончится — чуть ли не договором о совместном самоубийстве (если оно вообще когда-либо кончится), — станет в высшей степени неясно, кто что у кого украл... Все поступки до единого получают символический смысл, и, возможно, они ближе к правде, чем простой набор фактов, зарегистрированный Джейн Остин, Треллопом или Бальзаком, поскольку и в Джоне и во мне есть много такого, что не может быть установлено в судебном порядке... Но им неизбежно будет недостагать «здорового чувства повседневности», о котором та же Джейн Остин говорила с одобрением.

Публикация и перевод И. РОДНЯНСКОЙ.

У. СОМЕРСЕТ МОЭМ

У. С. Моэм (1874—1965) — английский писатель, чрезвычайно плодовитый и популярный. В русских переводах широко известны его романы «Время страстей человеческих» (1915), «Луна и грош» (1919), автобиографическая книга «Подводя итоги» (1938). Эссе о «Братьях Карамазовых», откуда извлечены приводимые здесь отрывки, входит в книгу Моэма «Десять романов и их создатели» («Ten novels and their authors», 1954). Книга эта выросла из работы над сокращением и адаптацией десяти лучших, по мнению Моэма, европейских романов (предприятие, характерное для прагматического склада английского беллетриста). В списке Моэма английская литература представлена Филдингом, Дж. Остин, Диккенсом, Э. Бронте, французская — Стендалем, Бальзаком и Флобером, американская — Г. Мелвиллом, русская — Достоевским и Толстым. Моэм обращался мыслью к Достоевскому и до и после настоящей работы, отзываясь о нем более комплиментарно⁴, но данный отклик представляется идущим из глубины жизненных пристрастий писателя.

...Бальзак и Диккенс создали огромное число персонажей. Они были очарованы людской многоликостью, и их воображение воспламенялось от непохожести людей друг на друга... Достоевский же, подозреваю, не интересовался никем, кроме себя, а другими — лишь поскольку они внутренне задевали его... Он довольствовался очень малым набором характеров, и они повторяются от романа к роману.

...Человек — это запутанный клубок пороков и добродетелей, хорошего и дурного, своекорыстия и бескорыстия, всевозможных страхов и готовности встретить их лицом к лицу; клубок наклонностей и предрасположенностей, которые влекут его то туда, то сюда. Он создан из столь несогласимых стихий, что поразительно, как они могут ужиться между собой в одной индивидуальности, вступая в относительно гармонический союз. Но существа, вышедшие из мастерской Достоевского, лишены подобных сложностей. Они состоят из желания властвовать и желания покоряться чужой воле... Им удивительно не хватает обычных человеческих качеств. У них есть только страсти. Нет у них ни самоконтроля, ни уважения к себе. Их дурные инстинкты не смягчены воспитанием, жизненным опытом или тем чувством приличия, которое удерживает человека от самооплевания. Вот почему их действия с точки зрения здравого смысла представляются невероятно сумасбродными, а побуждения — безумно непоследовательными. Эти люди — какая-то неистовая компания. Но они необычайно интересны. Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов той же породы, что Хитклиф Эмили Бронте⁵ и капитан Ахав у Мелвилла⁶. Они трепещут жизнью...

Мы в Западной Европе с изумлением всматриваемся в их необъяснимое поведение и принимаем его — если вообще принимаем — за поведение, естественным образом присущее русским. Но действительно ли русские таковы? И были ли они таковы во времена Достоевского? Тургенев и Толстой — его современники. Тургеневские герои весьма похожи на обыкновенных людей. Все мы встречали молодых англичан, напоминающих созданного Толстым Николая Ростова, веселых, беззаботных, расточитель-

⁴ См. об этом, например, в статье Г. В. Аникина «Трагедийный роман Л. Толстого и Ф. Достоевского в восприятии английских писателей XX века» (в сборнике «Русская литература 1870—1890 годов». Сб. 3. Свердловск. 1970, стр. 53—78).

⁵ Демонический герой романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» (1847). Сопоставление произведений Достоевского с этим сочинением писательницы-романтика производилось в Англии неоднократно.

⁶ Герой философского романа американца Германа Мелвилла «Моби Дик, или Великий Кит» (1851), бросающий вызов мировому злу.

ных, храбрых и любящих — словом, добрых малых; и каждому из нас доводилось знать хоть нескольких девушек, столь же милых, очаровательных, искренних и добрых, как сестра его Наташа; точно так же у нас на родине нетрудно отыскать человека, который походил бы на толстого, чудаковатого, великодушного и добросердечного Пьера Безухова. Достоевский утверждал, что принадлежащие ему странные персонажи более реальны, чем сама реальность⁷. Не знаю, что он под этим подразумевал. Муравей реален не меньше, чем архиепископ. Если Достоевский имел в виду, что они обладают нравственными качествами, которые поднимают их над заурядными людьми, он ошибался. Коль скоро в музыке, живописи, литературе заключено ценное свойство смягчать душевные пороки, утолять страдания и хотя бы отчасти освобождать душу от бремени страстей, то к героям Достоевского все это не имеет отношения...

«Братьев Карамазовых» Достоевский обдумывал очень долго и трудился над ними больше, чем над всеми другими вещами... С точки зрения композиции это лучшее его произведение. Судя по его письмам, он подспудно верил в мистическое начало, которое мы зовем вдохновением, и надеялся, что оно поможет ему воссоздать то, что смутно различал его умственный взор. Ну а вдохновение — вещь ненадежная. Скорее всего оно дает о себе знать при работе над отдельными эпизодами. А чтобы сочинить роман, потребен *esprit de suite*⁸, та смысловая логика, посредством которой удается расположить материал в связном порядке, так, чтобы одно правдоподобно вытекало из другого, а в законченном целом не оставалось швов. Достоевский был не слишком к этому способен. Вот почему ему лучше всего удаются отдельные сцены. Он обладал поистине замечательным даром нагнетать напряжение и придавать ситуации драматизм. Во всей литературе не знаю сцены ужаснее, чем убийство Раскольниковым старухи процентщицы, и не многое столь же потрясает, как тот эпизод в «Братьях Карамазовых», когда Иван встречается с чертом, олицетворяющим его встревоженную совесть.

...Но вот назревает критическая ситуация, на весах судьба Дмитрия. Пусть Иван действительно обезумел от терзаний, но не впал же он в слабоумие. По всему, что известно о его характере, мы вправе ожидать, что он соберется с силами и станет действовать здравомысленно. Самым естественным, наипервейшим для Ивана и Алеши делом было бы тотчас отправиться к защитнику, сообщить ему о признании и самоубийстве Смердякова и передать украденные Смердяковым три тысячи. Располагая таким материалом, адвокат, представленный как человек необыкновенных способностей, наверняка сумел бы заронить сомнение в умы присяжных и отклонить обвинительный приговор⁹. Между тем Алеша прикладывает к голове Ивана холодные компрессы и заталкивает его в постель...

Не получает объяснения и самоубийство Смердякова. Он был показан как самый расчетливый, бесчувственный, хладнокровный и самоуверенный из четырех сыновей Карамазова. Он все прикинул заранее. С немалым присутствием духа он ухватился за случайно выпавшую ему удачу и убил старика. У него репутация абсолютно честного человека, и никто не заподозрил бы его в похищении денег. Улики показывали на Дмитрия. Насколько я понимаю, у Смердякова не было причины вешаться, разве только затем, чтобы дать Достоевскому возможность завершить главу в высшей степени драматическим известием о его гибели¹⁰. Достоевский был создателем сенсационных романов, а не реалистом и потому не стеснялся пользоваться приемами, которых последний непременно постарался бы избежать.

⁷ Возможно, Мюэ имеет в виду известные слова Достоевского из его письма А. Н. Майкову 23 декабря 1868 года: «Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихнего... Ихним реализмом — сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты».

⁸ Здесь — чувство формы (*франц.*).

⁹ Достоевский как раз позаботился о том, чтобы тщательно мотивировать невозможность такого оборота событий. В обвинительной речи прокурор говорит: «Одни деньги ведь не доказательство. Мне, например, совершенно случайно стал известен, еще неделю назад, один факт, именно, что Иван Федорович Карамазов послал в губернский город для размена два пятипроцентных билета по пяти тысяч каждый... принеся три тысячи, нельзя доказать непременно, что это вот те самые деньги...» (глава «Трактат о Смердякове» из двенадцатой книги романа).

¹⁰ Этим «эффектом» кончается глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» из книги одиннадцатой.

Пускай Достоевского можно порицать за растянутость — недостаток, который он сам отлично сознавал, но с которым не мог или не желал расстаться; пусть хотелось бы, чтобы он избегал неправдоподобия в характерах и обстоятельствах, которое не может не раздражать внимательного читателя; пусть некоторые его мысли представляются ошибочными, — все равно «Братья Карамазовы» — изумительная книга. Ее тема глубоко значительна. Критики часто писали, что тема эта — искание бога; но я бы сказал, что главное здесь — проблема зла... Она все еще ждет разрешения, и обвинительный акт Ивана Карамазова до сих пор остается без ответа.

Публикация, перевод и примечания И. РОДНЯНСКОЙ.

АЛЬБЕР КАМЮ

Для А. Камю (1913—1960), французского писателя, эссеиста, ведущего представителя философии экзистенциализма, Достоевский был идейным знаменем, источником вдохновения и одновременно объектом перетолкования. Литературные образы Достоевского превращаются под пером Камю во всеохватывающие символы, живущие своей, независимой от первоначального контекста жизнью и обслуживающие нужды абсурдистского и бунтующего сознания.

Представленные ниже сокращенные переводы глав из двух программных книг Камю (глава «Кириллов» из «Мифа о Сизифе», 1942, и глава «Отказ от спасения» из «Бунтующего человека», 1951) наиболее показательны для его размышлений на темы Достоевского. Первый текст, вышедший из дневниковых записей 1938—1940 годов, сначала готовился как самостоятельное эссе под названием «Достоевский и самоубийство».

В образе Кириллова из «Бесов» Достоевский, по убеждению Камю, выразил глубокий, выношенный им взгляд на смысл жизни — как протекающей среди бесмысленного мира: существование временно, но оно в качестве героического противостояния абсурду подлинно. Однако под занавес, в «Братьях Карамазовых», Достоевский, как представляется это Камю, изменил открытой им правде, променяв ее на успокоительные заверения в будущей жизни и тем самым лишив бытие человека единственно возможной для него истины: став вечным, оно стало ложным. Более адекватен Достоевскому отрывок из «Бунтующего человека». К этому времени Камю покидает позицию беспечности, обретая точку опоры в «природе человека», которая призвана служить надежным критерием защиты человеческого достоинства и жизни. Камю по-прежнему стоит на позициях «метафизического бунта» с его неприятием абсурдного миропорядка. Однако он заодно с Достоевским, когда размежевывается с Иваном, переходящим от бунта к «метафизической революции» — нигилистическому состоянию вседозволенности и оправданию преступлений.

Все герои Достоевского вопрошают о смысле жизни. И в этом они современны — они не боятся быть смешными. Современное мироощущение отличается от классического именно тем, что первое питается метафизическими проблемами, в то время как второе — моральными. В романах Достоевского вопрос всегда ставится с такой напряженностью, что требует только крайних решений. Существование либо вечно, либо ложно. Если бы Достоевский ограничился такой постановкой вопроса, он был бы философом. Но он описывает последствия, к которым подобная игра ума может привести в человеческой жизни, и именно потому он — художник. Среди этих последствий особо занимает Достоевского то, которое в «Дневнике писателя» он назвал «логическим самоубийством». В декабрьском выпуске¹¹ «Дневника» за 1876 г. Достоевский пытается воспроизвести рассуждение «логического самоубийцы»¹²...

Самоубийца кончает с собой, потому что он о бижен в метафизическом плане. В определенном смысле можно сказать, что он мстит за себя. Самоубийство — это способ, которым он доказывает, что его «не возьмешь». Эта же тема с удивительной полнотой воплощена в образе Кириллова, персонажа из «Бесов», также сторонника «логического самоубийства»... Это самоубийство в высшем смысле... Здесь речь идет уже не о мщении, а о восстании. Кириллов, таким образом, оказывается героем

¹¹ На самом деле в октябрьском выпуске.

¹² Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. СПб. 1895, т. 10, ч. 1, стр. 351—352.

абсурда, однако с той существенной оговоркой, что он убивает себя¹³; но он сам объясняет это противоречие так, что во всей его наготе раскрывает и секрет абсурда. К своей убийственной логике он прибавляет необычайное честолюбие, которое и определяет дальнейшую судьбу Кириллова: он хочет убить себя, чтобы стать богом... Эта логика абсурдна, но таковой она и должна быть. Здесь интересно выявить смысл этой божественности, сведенной на землю... О своей божественности он говорит спокойно; он не безумный — иначе таковым является и сам Достоевский...

Божественность, с которой здесь идет речь, является, таким образом, вполне земной... Стать богом означает лишь одно: быть свободным здесь, на земле, и не служить никакому бессмертному существу. А это прежде всего означает: вынести все последствия такой горькой независимости... Для Кириллова, как и для Ницше, убить бога значит стать богом самому, значит уже на этой земле осуществить вечную жизнь, о которой говорит Евангелие¹⁴.

Но если этого метафизического преступления достаточно для самоосуществления человека, к чему сюда добавлять еще и самоубийство? Зачем убивать себя и покидать этот мир, после того как завоевана свобода?.. Кириллов должен убить себя из любви к человечеству. Он должен показать своим собратям царский и трудный путь, по которому он пройдет первым. Его самоубийство является педагогическим. Кириллов, таким образом, жертвует собой... Когда он умрет, люди наконец станут просвещенными, земля будет населена царями и озарится человеческой славой. Выстрел Кириллова будет сигналом к окончательной революции. Итак, его толкает к смерти не отчаяние, а любовь к ближнему. Прежде чем завершить эти невыразимые блуждания духа пролитием своей крови, Кириллов высказывает мысль столь же старую, как и человеческое страдание: «Все хорошо, все».

Так, тема самоубийства у Достоевского оказывается именно темой абсурда... Ставрогин и Иван Карамазов воплощают истины абсурда в жизни. Именно их должна освободить смерть Кириллова. Именно они пытаются быть царями... И вполне понятно, что, как и Ницше — самый знаменитый из богоубийц, — Иван кончает помешательством. Этот путь есть путь риска, и перед трагическим финалом глубинное движение духа абсурда спрашивает: ну и что?

Итак, в романах Достоевского, так же как и в «Дневнике писателя», ставится дилемма абсурда. Достоевский воспроизводит смертоносную логику, экзальтацию, «страшную» свободу и царскую славу человека. Все хорошо, все позволено и ничто не вызывает отращения — таковы суждения абсурда. Но сколько грандиозно творчество Достоевского, создавшего своих героев из пламени и льда, — образы, которые кажутся нам такими близкими! Страстный мир безразличия, бушующий в сердцах его героев, не представляется нам невероятным. Там мы находим нашу повседневную тоску. И, несомненно, никто, кроме Достоевского, не смог бы придать миру абсурда столь непосредственное и в то же время мучительное обаяние.

Однако каков же вывод писателя?.. Кириллов, Ставрогин и Иван Карамазов побеждены. «Бесам» отвечают «Братья Карамазовы». Именно здесь подводится итог... Свой божественный сан человек меняет теперь на счастье. Мы «радостно расскажем друг другу все, что было». Итак, где-то в России раздался выстрел Кириллова, но мир продолжает катить свои слепые надежды. Люди не поняли «этого»!

В лице Достоевского к нам, стало быть, обращается не приверженец абсурда, а экзистенциальный писатель... Трудно поверить, чтобы в пределах одного романа страдания всей жизни могли преобразиться в радостную уверенность... В любом случае сомнение остается при нас. Вот произведение, в котором благодаря светотени мы можем отчетливее, чем при свете дня, разглядеть борьбу человека со своими надеждами. Придя к развязке романа, его создатель совершает выбор против своих персонажей. Это расхождение автора с героями позволяет, таким образом, сделать еще одно уточнение: дело в том, что «Братья Карамазовы» — это не роман абсурда, но роман, который ставит проблему абсурда.

...Неожиданный ответ автора своим героям, Достоевского — Кириллову фактически можно сформулировать так: существование ложно и оно вечно.

(«Кириллов»)

¹³ По мысли Камю, одной из центральных в «Мифе о Сизифе», герою абсурда положено жить и принимать бессмыслицу жизни как должное.

¹⁴ Ставрогин: «Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?» Кириллов: «Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную». (Прим. А. Камю)

Если романтический бунтарь прославляет личное начало и право на зло, это все же не означает, что он стал на сторону человека вообще, а значит лишь то, что он стоит за самого себя. Дендизм, каким бы он ни был, всегда есть отношение к богу. Человек как творение может противостоять только своему творцу. Он нуждается в боге, с которым у него что-то вроде мрачного флирта... Провозглашение своей проклятости, на что так шумно претендуют романтики, есть не что иное, как хитрый трюк по отношению к богу. Однако с Достоевским проблема бунта продвигается значительно дальше. Иван Карамазов встает на сторону человеческого рода, особо подчеркивая его невиновность. Иван утверждает, что смертный приговор, который висит над человеком, несправедлив. Далеким, по крайней мере в своем первом порыве, от того, чтобы защищать зло, Иван отстаивает справедливость, которую помещает над богом. Таким образом, Иван не то чтобы вообще отрицает существование бога, но отвергает его во имя нравственной ценности. Романтический бунтарь хотел говорить с богом как равным: на зло он отвечает злом, на жестокость — высокомерием. Идеалом де Виньи, например, было молчанием ответить на молчание. Здесь, без сомнения, речь шла о том, чтобы подняться до уровня бога, что само по себе уже есть богохульство. Но здесь еще не принимались оспаривать его место или могущество. Богохульство романтиков еще сохраняет почтительность перед богом; как всякое богохульство, оно в конечном счете причастно священному.

Однако с появлением Ивана гон меняется. Над богом теперь вершится суд, и притом свысока. Если зло неотъемлемо от божественного творения, то это творение нельзя принять. Иван не хочет больше полагаться на непостижимого бога, он избирает более высокий принцип, а именно — справедливость. Он начинает бунт, чтобы заменить царство милосердия царством справедливости. Одновременно он ведет атаку на христианство. Романтический бунтарь порывает с богом, находя в нем начало ненависти. Иван же отвергает тайну, а вместе с ней и бога как начало любви. Только любовь может заставить нас примириться с несправедливостью по отношению к Марфе¹⁵, с десятичасовым рабочим днем и даже с гибелью невинных детей... Иван не приемлет христианского взгляда на глубинную связь между страданием и истиной. Самый отчаянный возглас Ивана, когда бушующие бездны разверзаются под ногами бунтаря, это его «пусть даже»: «Лучше уж я останусь при... неутоленном негодовании моем», пусть даже я буду и неправ. Это значит, что если даже бог существует, если за тайной скрывается истина и старец Зосима прав, Иван все равно не согласится, чтобы за эту истину нужно было расплачиваться злом, страданиями и гибелью невинных. Иван воплощает собой отказ от спасения. Вера ведет к бессмертию. Но вера предполагает принятие тайны и зла в мире и примирение с несправедливостью. Тот, кто из-за страдания детей не может принять веру, безусловно не примет и бессмертия. Если бы даже вечная жизнь существовала, Иван отказался бы от нее. Он отклоняет такую сделку. Он готов принять милосердие божие, но без всяких условий, вот почему он сам ставит условия. Бунт требует или все, или ничего. «Весь мир познания не стоит... слезок ребеночка». Иван не говорит, что истины нет. Он говорит, что если даже истина существует, то ее все-таки принять нельзя. Почему? Потому что она несправедлива. Именно с этого момента начинается борьба справедливости против истины, и эта борьба впоследствии уже не прекратится. Как защитник личности, а потому и моралист, Иван довольствуется своего рода метафизическим донкихотством. Однако пройдет не так много времени — и грандиозный политический заговор уже поставит целью превратить справедливость Ивана в мировую истину.

Помимо всего Иван олицетворяет собой также отказ спастись в одиночку. Он солидарен с осужденными на гибель и ради них отрекается от небес. В самом деле, если бы он верил, он мог бы спастись, но были бы другие, обреченные на гибель. И, таким образом, человеческое страдание продолжалось бы. Для того, кто способен к истинному состраданию, спасение на таких условиях невозможно... Еще один шаг — и от принципа «всё или ничего» мы переходим к требованию «все или никто»... Начиная с этого пункта, Иван берет на себя последствия своей позиции. Если он отвергает бессмертие, то что ему остается? Жизнь в ее самой элементарной форме. Пусть нет больше смысла жизни, все же остается сама жизнь...

Итак, Иван будет и жить и любить, «не зная, зачем». Но жить означает также действовать. Во имя чего же действовать? Если нет бессмертия, то нет ни воздаяния, ни

¹⁵ Ср. Евангелие от Луки 10, 33—42.

возмездия, ни добра, ни зла... Но если нет добродетели, то нет и закона; тогда «все дозволено».

С этого «все дозволено» и начинается фактически история современного нигилизма. Романтический бунт не шел так далеко. Он ограничивал себя, заявляя, что отнюдь не все разрешено; правда, себе романтики дерзновенно позволяли преступать запретное... Существенная разница между теми и этими бунтарями заключается в том, что романтики разрешали себе запретное из потворства, тогда как Иван будет принуждать себя ко злу из логической последовательности. Он не позволит себе быть добрым. Нигилизм — это не только отчаяние и отрицание, но главным образом сама жажда отчаяния и отрицания. Тот самый человек, который так страстно стремился встать на защиту невинных, который приходил в содрогание от страдания детей, который собирался своими глазами увидеть, как лань ляжет подле льва и как жертва обнимется со своим убийцей, этот же человек, как только он отречется от божественного миропорядка и попытается создать свой собственный, признает правомерность убийства... Он прекрасно осознает свою дилемму: или быть добродетельным и нелогичным — или же быть логичным и преступным. Двойник Ивана, его черт, справедливо подсказывает ему: «Ты идешь совершить подвиг добродетели, а в добродетель-то и не веришь — вот что тебя злит и мучит»¹⁶. Вопрос, который в конце концов ставит Иван, вопрос, постановка которого явилась истинным вкладом Достоевского в дальнейшую разработку бунтарского умонастроения, единственный вопрос, который здесь нас интересует, это: можно ли жить в состоянии бунта?

Иван позволяет нам отгадать его ответ: в бунте можно жить, только доведя его до конца. Каков же предел метафизического бунта? Метафизическая революция. Владыка нашего мира, после того как его права оспорены, должен быть свергнут. Его место должен занять человек. Так как и бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человекобогом. Но что значит быть богом? Это значит... отвергнуть всякий иной закон, кроме своего собственного... Стать богом означает здесь принять преступление (любимая идея мыслящих героев Достоевского). Итак, личная проблема Ивана заключается в том, чтобы узнать, будет ли он верен своей логике и сможет ли он, начавший с негодующего протеста против страдания невинных, одобрить убийство своего отца с равнодушием человекобога. Нам известно его решение. Иван одобрит убийство отца... Зажатый между необоснованностью добродетели и неприемлемостью преступления, сменяемый жалостью и неспособный к любви, одиночка, лишенный спасительного цинизма, человек высшего интеллекта, он будет уничтожен, убит противоречием...

Впрочем, крушение Ивана не может препятствовать тому, чтобы вслед за проблемой — раз уж она поставлена — наступили ее последствия: бунт отныне входит в фазу действия... Замысел узурпации верховного престола остается, таким образом, целиком моральным. Иван не стремится ничего переделывать в сотворенном мире. Но само творение таково, что он извлекает отсюда право моральной свободы для себя и для всех остальных. Однако с того момента, как бунтарский дух, провозгласивший «все дозволено» и «все или никто», начнет переделывать мир, чтобы установить господство обожествленного человека, и с того момента, как метафизический бунт из сферы морали распространится на политику, откроется новая эпоха в истории бунтарства. Заметим, что эта эпоха, чрезвычайная по важности и последствиям, вырастет из того же нигилизма. Это предвидел и об этом возвестил Достоевский, пророк новой религии... Иван хотел только проверить себя, но потерпел поражение. Зато после него придут другие, с более твердыми намерениями, те, кто, начав с того же безнадежного страдания, будет уже добиваться власти над миром...

Но пока что перед нами стоит Иван с бледным лицом бунтаря из бездны, неспособный к действию, раздираемый между идеей своей невинности и волей к убийству. Он ненавидит смертную казнь, потому что видит в ней символ человеческого существования, а сам в то же время влечется к злодеянию. За то, что он стал на защиту человеческого рода, его уделом становится одиночество. Вместе с Иваном взбунтовавшийся разум кончает помешательством.

(«Отказ от спасения»)

Публикация, перевод и примечания Р. ГАЛЬЦЕВОЙ.

¹⁶ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л. «Наука». 1976, т. 15, стр. 87 (в главе «Это он говорил!» из одиннадцатой книги романа).

К 150-летию со дня рождения Достоевского немецкий литературовед М. Шпербер предложил нескольким европейским писателям для дискуссии четыре развернутых вопроса о Достоевском: как живут в современности его книги? в чем природа его антизападничества и «реакционности»? что такое «религия Достоевского» и почему в его творчестве вера всегда переплетена с экстремальными ситуациями, предельными переживаниями? что такое его герои — психологические откровения, скрытая мифология или проекции философских идей? В предисловии к возникшему так «круглому столу» (Wir und Dostojewskij. Eine Debatte mit H. Böll, S. Lenz, A. Malraux, H. E. Nossack, geführt von M. Sperber. Hamburg, 1972) Шпербер писал: «Нас немало повсюду в мире — тех, для кого Достоевский в своем прошлом остается как бы присутствующим. Хотя со времени его смерти прошло девяносто лет, русский художник не перестал волновать своих читателей, заставляя их задуматься о себе и смысле своего существования: словно в минуту катастрофы начала и цели человеческого бытия оказываются для них внезапно под вопросом».

АНДРЕ МАЛЬРО

А. Мальро (1901—1976) — французский писатель, философ искусства и государственный деятель; участвовал в антиколониальном и революционном движении в Юго-Восточной Азии (эссе «Искушение Запада», роман «Завоеватели», 1928); боролся против фашизма как писатель, командир эскадрильи в Испании, танкист, партизан, полковник армии де Голля (романы «Удел человеческий», 1933, в русском переводе 1935 года — «Условия человеческого существования»; «Надежда», 1937, русский перевод — 1939; «Орешники Альтенбурга», 1943); был министром культуры в деголлевском правительстве. Мальро близок к экзистенциализму как непосредственный предшественник А. Камю. «Человеческий ключ не подходит к мирозданию», говорит Мальро, и смысла творения достигнет только творец смысла; поэтому подлинная жизнь есть искусство и подлинное искусство — всегда богоборчество, соревнование с творцом. Веру в успех такого «противостояния», заставляющего иногда идти прямо против очевидности, он считает ядром творчества Достоевского.

...Взору француза Достоевский предстает писателем, который посягнул на роман законченных форм и чуть ли не разрушил его... Он, по-моему, никогда не имел по-настоящему дела с формой, со структурой; она для него не существовала, но, возможно, она не существовала и для Шекспира, который был к ней, пожалуй, совершенно безразличен... Достоевский сегодня в известном смысле соперник Шекспира по фактической ирреальности своего мира и по некоторым своим образам женщин — особенно помешанных.

...В каждом романе Достоевского встречаются экстремальные ситуации... Можно было бы написать книгу огромной важности об отношении мировой литературы к тому, что называется экстремальными ситуациями. Этот вопрос во сто крат серьезнее всего, что говорится о классицизме, романтизме и прочих школах. Великая греческая трагедия — ведь это все экстремальные ситуации; елизаветинский мир и великие Дантовы видения — что это как не ситуация крайностей?..

И то же напряженное противостояние мы находим в Библии, в ее великих поэмах. Оттого для нас несравнимо значим «Иов», одна из величайших поэм этого противостояния. Подлинный диалог в произведениях Достоевского идет между религией и историей. Остальное эпизодично...

Словом, в гении Достоевского для меня приобретает огромное значение то, что он дерзнул быть единственным человеком веры, для которого вера и истина необязательно перекрывают друг друга, необязательно сливаются в одно¹⁷.

Публикация и перевод В. БИБИХИНА.

ГЕНРИХ БЕЛЛЬ

Г. Белль (род. в 1917 году) — западногерманский писатель, лауреат Нобелевской премии; большинство его произведений переведено на русский язык. Впервые прочитав «Преступление и наказание» в 1934—1935 годах, Белль поставил Достоевского выше

¹⁷ О значении, которое Мальро придавал словам Достоевского «лучше остаться со Христом, нежели с истиной» (из беседы Шатова со Ставрогиним в «Бесах»), см.: Вельниковский С. Б. поисках утраченного смысла. М. «Художественная литература». 1979. стр. 85.

всего, что ему было тогда известно из литературы. С тех пор его интерес к Достоевскому неизменен (он, в частности, автор сценария документально-видового фильма «Достоевский и Петербург»). Бёлль, который намеренно «подбирает» в своем творчестве «бросовый человеческий материал», отравленный обществом и историей «на свалку», особенно восприимчив к дару сострадания у Достоевского. И не случайно в ответ на вопрос, какие персонажи Достоевского могли бы стать сегодня героями его собственного романа, Бёлль называет как самую близкую ему Лизавету, «слабоумную сестру убитой Раскольниковым ростовщицы».

«Бесы» и «Идиот» сохраняют для меня неизменную актуальность. «Бесы» — не только потому, что описание убийства Шатова я не могу забыть с 1938 года, когда читал роман, но и потому, что за пережитые с тех пор тридцать лет современной истории они успели стать столько же классической, сколько пророческой моделью слепого, абстрактного фанатизма политических групп и течений... «Идиот» — из-за обоих «конкурентов», Мышкина и Рогожина, и из-за Катерины Ивачовны¹⁸, предмета этой «конкуренции»: на этих трех образах мне стало ясно, что противоположность здоровому не больной, а страдающий. Я прочитал «Идиота» в годы, когда на все лады пропагандировалась политическая идеология здоровья. «Здоровый человек», человек, который не страдает, казался мне с тех пор злым чудовищем — как и «здоровое чувство единства с народом» и «здоровое искусство»...

Многие политические высказывания Достоевского мне представляются психологически обусловленными и относительными. Его нападки на атеизм и революцию идут, возможно, от его страха перед самим собой. Если взять его творчество в целом со всеми образами, проблемами, ситуациями, то ведь такой внутренний мир должен был пугать его и пробуждать в нем тоску по вере и порядку, каких он не находил в себе. В этом смысле многое могло быть реакцией на его собственный внутренний хаос; в своих романах он, конечно, мог его упорядочить и держать в руках, но хаос явно теснил и подстегивал его, когда он не писал... В своих романах он выражает все от глубочайшей веры до тотального нигилизма. И то и другое он выводит убедительно — скажем, у Ивана Карамазова и Сони Мармеладовой, — и то и другое во многих разновидностях. Как христианин и как автор он никогда не прятался под крылом каких бы то ни было принятых или заданных систем, он и его образы были беззащитно открыты ужасу, абсурду, чужести — чужести не в географическом, а в метафизическом смысле, в смысле, в каком сын человеческий оставался чужим; «мир его не принял» — это верно даже и для «чужого» Камю и для Кафки. Многие образы Достоевского — «чужие» или, по крайней мере, «отчужденные», как совершенно мирской Митя Карамазов, без вины осужденный... Чужой Мышкин, чужой даже, казалось бы, такой brutальный, а в действительности невероятно чувствительный Рогожин; чужая для них обоих и для самой себя Катерина¹⁹. Это религиозная литература в единственно возможном смысле слова. Так разрушается иконография, каноны «спасенного мира» и «святости». За множеством таких изображений отчужденности стоит тоска по братству, по искуплению... Предположительное «время Достоевского» будет, по всей вероятности, так же доходить до крайностей, как и он сам, только в новом направлении: без насилия, без политики, без ненависти, убийства, — «богострашие», обращенное целиком и полностью на людей... Глубже продуманный, дальше развитый Достоевский может чмать следствием только одну крайность: крайность человечности, преодолевающей отчуждение, преодолевающей отношения господства... По-моему Достоевскому... большой «роман о святом» удался... Мышкин — дерзновеннейшая попытка конкретизировать в литературе сына человеческого в облике сострадания.

Публикация и перевод В. БИБИХИНА.

ЗИГФРИД ЛЕНЦ

З. Ленц (род. в 1926 году), западногерманский писатель и драматург, известен романами «Ястребы в небе» (1951), «Человек в потоке» (1957, фильм — 1958), «Урок немецкого» (1968, русский перевод — 1971), «Живой пример» (1973), радиопьесами («Время невинных», 1961), сборником рассказов «Эйпштейн пересекает Эльбу у

¹⁸ Г. Бёлль спутал: имя Настасья Филипповны с именем другой героини Достоевского.

¹⁹ См. предыдущую сноску.

Гамбурга» (1975) и др. (более двадцати пяти книг за тридцать лет). В его творчестве, особенно раннем, сильно влияние Достоевского, которого наряду с Фолкнером и Хемингуэем он называет своим крестным отцом.

...Актуальнее «Бесов», ближе Карамазовых из всех образов и книг Достоевского, самым близким мне до сих пор остается князь Мышкин, прекрасный «идиот». Сеять любви к ближнему, чистый миссионер сострадания, незлобивый, вызывающе невинный манифестант добра: в князе Мышкине, по-моему, заключена целая... программа счастья, приспособленная Достоевским к обществу своего времени... Почему «Идиот» останется для меня навсегда актуальным? Потому что на этом романе я осознал среди прочего, что любая предлагаемая нами утопия — социальная или религиозная — повлечет за собой по меньшей мере попрек в глупости, но что без выдвигания утопий мы станем наблюдателями зла, потакая ему своим молчанием. Долг конкретной утопии: князю Мышкину он, по-моему, близок. И современным писателем еще и сегодня Достоевского делают именно его конфликты и его проекты незамедлительной утопии; здесь та почва страдания, которая давала ему право писать, и здесь те фундаментальные вопросы, которые литература не только в его время ставила перед жизнью, но и вынуждена всегда ставить перед жизнью...

Реакция публики на «Бесов» со всей ясностью показывает, что Достоевского как политическое явление нельзя ничтоже сумняшеся причислить к левым или правым. Правые относились к нему без понимания, левые с досадой. Отсюда еще вовсе не следует, что Достоевский был внеполитическим писателем — как раз наоборот. Я воспринимаю его, писателя, как партию одного человека, манифест которой предлагает не только пункты программы, но целый эпический космос. В моем понимании политики называть политической можно всякую деятельность, служащую улучшению и обеспечению человеческой жизни. И под этим углом зрения... Достоевский был выдающимся политическим писателем...

Публикация и перевод В. БИБИХИНА.



О ЧИ Е Р К И И Н А Ш И Х Д Н Е Й

ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО

★

ПРИЧАСТЕН КО ВСЕМУ

Кто сам себя щечочет,
Смеется сколько хочет.
Немецкая пословица.

В старых городах люди живут,
чтобы работать, а в новых — работа-
ют, чтобы жить.

Из разговора в Набережных Челнах.

Исредко по тому, как выглядит город, можно судить, какие люди в нем живут, что они делают для своего города и чего ждут, что хотят получить от него взамен. Мысль, может быть, и не новая, но в Бернбурге она приобрела свое истинное звучание. Тут широко ведется новое строительство, мощно реконструируется старая, помпезная, часть города, исторически примыкающая к крепости Бернбург (Медвежий замок), которая, в свою очередь, считается самой красивой и хорошо сохранившейся в районе между Эльбой и Гарцем. Реставрируются, принимая прежний вид и одаривая красотой прохожих, дома на Тельманплац в нижней части города — Тальштадте, приводится в порядок старинная Брайтештрассе (Широкая). Горожане передельывают, обновляют окружающую их среду, создавая улучшенные социальные и материальные условия для жизни. Но прежде было моральное, духовное возрождение самих жителей, которые поверили в свои силы, в силы городских властей и в ту линию, партийную прежде всего, которую повел новый бургомистр. Люди, особенно актив города, духовно поднялись на такую ступень, заразились таким энтузиазмом, что им самим, без принуждений и агитации, захотелось дать новую жизнь своему городу, тому городу, в котором они живут от рождения. Конечно, не обошлось без экономических рычагов. В городе построены два новых — цементный и вакцинный — заводы, в несколько раз расширено производство соды и добыча калийной соли, значительно вырос рабочий класс, немалые суммы выделяет и государство на устройство города. Жизнь, будь то в городе или на селе, определяет в первую очередь экономические и социальные факторы. Но ведь случается, и нередко еще, что одна экономика не в силах превратить место жительства, город, к примеру, в удобную со многих точек зрения, скажем — комфортабельную, социальную среду обитания. А бернбуржцам удалось кое-что сделать.

Есть города на земле, которые испытали на себе влияние разных эпох, впитали множество архитектурных стилей. К ним по праву относится более чем тысячелетний Бернбург — неслышный, древний город, раскинувшийся по обе стороны Заале. Он старинный, но не стареющий, а, наоборот, возрождающийся город, переживающий вторую молодость. И горожане, конечно, знают, кого надо благодарить за происходящие в нем перемены. Не один день и не один вечер провели мы с бургомистром Крафтом Ваземом в разговорах о городской жизни.

Лик земли меняется с каждым годом. Подвергается изменениям экологическая среда, преобразуется среда социальная, внося свои коррективы в привычную жизнь. Все меньше и меньше остается на земле деревень, сел, кишлаков, аулов, фольварков. На смену им идут города, притом разные, такие, в которых люди будут жить еще не одно столетие, и такие, от которых жители следующего тысячелетия, возможно, откажутся. Уменьшаются, и об этом можно только сожалеть, не тронутые человеком, девственные и пахотные земли. Их поглощают новые сооружения и дороги, эрозия и овраги. В одной только евро-

пейской части нашей страны овраги ежесуточно уносят десятки гектаров. Но как бы ни жаль было земли, заковываемой в бетон и асфальт, строительство городов не остановить. Они безудержно завоевывают жизненное пространство на планете.

Процесс миграции населения из сельской местности в города считается необратимым. Причина тому — бурное развитие промышленности и высокая степень индустриализации сельского хозяйства. Чтобы остановить его, либо стабилизировать, надо, видимо, создать на селе условия комфорта рангом выше, чем в современных городах, а это вряд ли пока возможно. О миграции свидетельствуют цифры. В Советском Союзе, например, по итогам последней переписи, в городах проживает 68, в сельской местности — 32 процента населения. До войны, то есть сорок лет назад, все было наоборот. Только за последние двадцать лет в СССР выросло 400 совершенно новых городов, так называемых молодежных. Если темпы урбанизации сохранятся, то можно предположить, что за порогом 2000 года почти все население нашей страны по образу и укладу жизни, независимо от места работы, приложения сил и знания, перейдет на городские рельсы, превратится в горожан.

В Западной Европе, в том числе и в странах социалистического содружества, в Северной Америке, ряде стран Азии урбанизация шла и идет более быстрыми темпами, чем в целом в нашей стране. В Германской Демократической Республике, например, из 17 миллионов человек в сельской местности проживает 3 миллиона 800 тысяч, то есть 22 процента. Трудоспособное население в сельских общинах составляет примерно 750 тысяч человек, а непосредственно занятых производством сельскохозяйственной продукции около 800 тысяч. Выходит, что почти 50 тысяч человек в республике живут в городах, а на работу ездят в поле, на ферму. В США, Японии, Венгрии этот показатель значительно выше. Из печально знаменитого Далласа в степь ежедневно отправляются до 100 тысяч человек. Для того чтобы живущие в городах могли ездить на работу в поле или на ферму, нужен четко работающий общественный транспорт или по крайней мере необходимое количество автомобилей в личном пользовании граждан и развитая сеть первоклассных дорог. В ГДР одна из частей инфраструктуры, а именно транспорт, решена на сегодняшний день вполне удовлетворительно, даже, можно сказать, хорошо. С конца XIX века традиционно строятся в стране автобаны (скоростные дороги). Личных автомобилей в ГДР — 40 на 100 семей, а в Бернбурге — даже 43. В стране к любой ферме или полевому стану можно свободно подъехать на легковом автомобиле. Многие факторы, в том числе и транспортные, дают возможность людям жить в городе, а работать на селе. И из Бернбурга в сельскую местность, на свои рабочие места, ежедневно отправляются около двух тысяч горожан. Их, правда, шестикратно перекрывают те 12 тысяч человек, которые едут в обратном направлении — на заводы и фабрики города, на предприятия, расположенные вокруг него. В ГДР отмечено и такое явление, как приток в село бывших горожан.

Города, как и люди, живут своей жизнью, у каждого из них своя судьба и свой полет. Одни развиваются очень быстро. У нас, к примеру, Набережные Челны, Надым, Волгодонск, Красноярск. В ГДР — Карл-Маркс-Штадт, Росток, Галле, Нойбранденбург. Другие — умеренно, третьи — приостановились в своем развитии, стали историческими достопримечательностями. Это Суздаль, Ростов Великий, Коканд — в СССР, Веймар, Висмар, Кведлинбург, Вернигероде — в ГДР.

Прогнозы говорят, что к 2000 году население земного шара превысит 6 миллиардов человек, из которых две трети будут обитать в городах. Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу сольются к тому времени и образуют единый город с населением около 50 миллионов. В Мехико будет проживать более 30, в Нью-Йорке — 22 миллиона человек. Давно ли Москва была миллионным городом? А сейчас в нашей столице более восьми миллионов жителей. Правда, крупных городов-миллионеров не так уж и много на земле, их легко сосчитать. А средних? Или маленьких? Первых — сотни, вторых — сотни тысяч¹.

В Бернбурге проживает 47 тысяч человек. Но чтобы избежать перебоев в снабжении, расчет основных жизненных ресурсов ведется исходя из 50 тысяч, с небольшим запасом «прочности». По количеству своего населения Бернбург согласно мировой градации попадает в разряд маленьких городов, а по делению, принятому в ГДР, он стоит на границе среднего. Население его растет медленно, примерно полторы тысячи в год. Так

¹ По мировым масштабам города с населением в 40—60 тысяч принято относить к маленьким. На атласе мира, вышедшем в 1977 году, города разделены на пять категорий: менее 30 тысяч человек, от 30 до 100 тысяч, от 100 до 300, от 300 тысяч до миллиона и свыше миллиона жителей. На государственной карте СССР примерно такое же деление. В ГДР принята своя градация: от 10 до 20 тысяч, от 20 до 50, от 50 до 100 и свыше 100 тысяч человек.

что Бернбургу предстоит долгая жизнь в качестве среднего города страны. Кстати, в таких городах, как Бернбург и поменьше, живет четверть населения ГДР — более 4 миллионов человек. Таким образом, в определенной мере Бернбург — типичный для ГДР город.

Города с населением от 50 до 150 тысяч жителей привлекают к себе все большее внимание. Доказано, что именно они наиболее экономичны с точки зрения расходов на городское и коммунальное хозяйство. В них строже нравственность, заметнее влияние социальной среды на жителей. Другое дело, что в крупных и крупнейших городах значительно выше выработка на одного работающего, не ограничен выбор профессий, шире возможности приобщения к культуре и искусству. И тем не менее статистика убеждает, что большинство населения будет селиться в основном в небольших и средних городах, возможно таких, как Бернбург.

Сегодняшний Бернбург ушел далеко вперед от того города, который люди знали еще совсем недавно, лет двадцать назад.

Лежит он в сорока километрах от автобана, стремительно летящего от Берлина на юг, в Тюрингию, мимо Дессау, по которому в час, особенно в летние дни, пронесется до двух тысяч автомобилей. Многие бернбуржцы считают, что территориально он расположен очень удобно: до Берлина, находящегося в 220 километрах — два часа езды по скоростной дороге, на юг до окружного центра Галле — 40 километров, на север до Магдебурга, еще одного окружного центра, славящегося в ГДР тяжелым машиностроением, — тоже 40. В полутора часах езды от Бернбурга находится Лейпциг, центр всемирных ярмарок, в котором много учебных заведений и еще больше типографий. Недалеко от Бернбурга и до Веймара — города Гёте, Шиллера и Лессинга. Полтора-два часа надо потратить на дорогу, чтобы оказаться в сказочной холмисто-лесистой местности Гарц. Здесь находятся одни из самых древних городов республики Кведлинбург, Вернигероде и другие, сохранившие архитектурную первозданность и городскую планировку тысячелетней давности. Люди издавна платят за землю, за жилье, исходя из их размерности, но в отличие от нас, современников, в древние века учет жилой площади вели только по первому этажу. И в Гарце можно встретить двух-трехэтажные дома, расширяющиеся кверху. В Бернбурге таких нет, хотя его основные строения — крепость с башней Тиля Уленшпигеля и некоторые здания вокруг нее, а также городские ворота — насчитывают более тысячи лет. Остальные постройки города — дань веков, начиная от XI и XIII — до нашего, XX.

Бернбург не просто город сам по себе, он еще и районный административный центр. В нем есть свой районный Дом культуры, строившийся, правда, как дом отдыха, потому что из-за обнаруженной много лет назад лечебной минеральной воды и мягкого климата город чуть не стал курортом. Есть здесь районные больница, библиотека, школа-интернат и многие другие учреждения, призванные обслуживать почти стотысячное население района. Горожанам предоставлены театр и три кинотеатра, крытый стадион и плавательный бассейн, детская железная дорога и пригородная зона отдыха Крумгольц, где одновременно могут проводить время около 5 тысяч человек. Обзавелись жители и новым торгово-прогулочным бульваром — типичным атрибутом и гордостью старинных немецких городов. В Бернбурге по неизвестным причинам — город-то действительно древний — такого бульвара со старинными фонарями, удобными скамейками для отдыха, с кафе и рестораничками, рядами магазинов и небольшими торговыми лавками не оказалось, и горожане, когда речь зашла о реконструкции, переустройстве одной из длинных старых улиц, выходящей почти к Заале, не колеблясь поддержали бургомистра Вазема во всех его действиях, связанных с созданием общегородского пешеходного центра отдыха и торговли.

Бернбургский район занимает почти 400 квадратных километров, и магистрат, планируя развитие города, учитывает и те факторы, которые может создать окружающее население, составляющее в этих краях 214 человек на квадратный километр. Город не автономен, и значение его с каждым годом возрастает. Из 144 районных центров ГДР Бернбург — в числе 20, а среди таких же городов в округе Галле — на четвертом месте.

В Бернбурге — 18 тысяч рабочих и 8 тысяч служащих и ИТР. Школьников в нем — 6,5 тысячи, почти столько же дошкольников. Студентов — почти полторы тысячи, учителей — 1200, врачей — более 500. Среди взрослых сейчас не найдется человека, который имел бы образование ниже пяти классов. Две трети горожан — люди, родившиеся после войны.

Добрая половина населения в городе непосредственно нуждается в заботе и внимании со стороны городского совета, а, значит, и со стороны бургомистра: школьники и

дошкольники, студенты и пенсионеры. Одни уже заслужили почетный отдых и хотят, чтобы жизнь их была не хуже, чем во времена их активной деятельности, другие растут, и им нужно создать условия для того, чтобы они быстро и вовремя подхватили и с честью пронесли эстафету старших поколений.

В Бернбурге почти 9 тысяч пенсионеров — каждый пятый житель и 15 тысяч учащихся и дошкольников. Город не старый, но и не молодой, хотя молодежи среди населения почти вдвое больше, чем пенсионеров. Продлить жизнь, позаботиться об условиях отдыха людей преклонного возраста — прямая обязанность магистрата и особенно его отдела социального обеспечения, которым руководит пятидесятилетний Рольф Эрмес, бывший владелец фабрики по производству зеркал.

С фабрикой Рольф Эрмес расстался лет десять назад. С одной стороны, сил не хватало, с другой — новые веяния пришли в страну, и он продал ее государству. Теперь зеркальная фабрика — народное предприятие. Эрмес — уважаемый в городе человек. Он депутат городского совета, член одной из пяти партий ГДР — христианско-демократического союза (ХДС), его знает почти каждый второй в городе, он на виду у 9 тысяч пенсионеров. Кстати, в подчинении его отдела находится и вся городская медицина.

Как и по всей стране, пенсионное дело в Бернбурге поставлено хорошо. Общество серьезно, на основе государственных законов, занимается жизнью своих постаревших граждан. В городе на сегодняшний день функционируют 6 домов для престарелых как одиночек, так и семейных, существуют поликлиники, аптеки, больницы, где пожилым людям окажут помощь в первую очередь. О том, что дома престарелых пользуются успехом, говорит очередь, существующая с 1976 года. Количество пенсионеров, изъявляющих желание поскорее оказаться в домах для престарелых, растет с каждым годом. Что влечет их сюда? Во-первых, условия оплаты: пенсионеры передают на свое обеспечение только половину пенсии, какой бы размер она ни составляла — триста марок или полторы тысячи. Вторую половину, да еще подзаработанные деньги, можно расходовать по своему усмотрению — отдавать детям, копить на квартиру любимому внуку и т. д. В гости к пенсионерам часто приезжают артисты, их посещают парикмахеры и портные, наведывается химчистка, прачечная. По желанию пенсионерам заказывают билеты в кино и театр. Обедают они часто в ресторане, либо сами, в своем доме, готовят обеды и ужины. Прямо скажем, бытовых забот здесь у людей преклонного возраста почти нет.

По давно сложившейся традиции бабушки и дедушки у немцев не обременены внуками. Дети, повзрослев, получив специальность, образование, стараются тотчас выпорхнуть из родительского гнезда, быстрее встать на собственные ноги. Живя отдельно, они скорее обзаведутся квартирой — государство это учитывает, получают в рассрочку на восемь лет кредит. Если за это время у молодой семьи родится трое детей, то власти подарят ей из кредита пять тысяч марок: полторы тысячи за первого ребенка, полторы — за второго и две — за третьего. Главное же, у немцев считается обидным нагружать стариков под занавес жизни заботами о внуках. И еще! Педагоги и медики издавна и настоятельно советуют: хорошее воспитание дети получают только в собственной семье.

Есть и другая категория пенсионеров. Численно она превосходит первую в несколько раз. Это люди, вышедшие на пенсию и проживающие в собственных домах, в своих квартирах, но, как правило, также отдельно от своих детей и внуков, хотя есть немало исключений из правила.

«Домашние» пенсионеры, как иногда называют их в городе, охотно посещают клуб «Фолькссолидаритет»², где имеются комнаты для разных игр, библиотека, телевизоры, радиолы. Есть в клубе своя столовая, куда доставляются обеды из ресторанов и столовых. Отсюда же больным, малоподвижным пенсионерам их коллеги, чаще всего соседи по дому, квартире, на велосипедах, автомобилях подвозят обед или ужин.

Что надо человеку, вышедшему на пенсию? Эрмеса таким вопросом с толку не собьешь. Кроме жилья, врачей и питания, оказывается еще и работа. У городского совета немало забот по трудоустройству пожилых людей. Но на это никто не жалуется. Больше трети пенсионеров города работают по два—четыре часа в день, оказывая своим трудом большую помощь промышленности и городскому хозяйству Бернбурга.

17 детских садов, 3 детских дома, 13 общеобразовательных и 5 профессиональных школ, один институт отданы в распоряжение молодого поколения. Старики, бывает, и

² «Фолькссолидаритет» («Народная солидарность») — общественная организация, созданная Национальным фронтом ГДР и призванная помогать устраивать жизнь пенсионерам и инвалидам.

ворчат на молодежь, недовольны ее внешним видом. Но в ГДР говорят: «Не важно, как выглядит молодежь, главное, чтобы душа, голова были на месте».

В Бернбурге много думают о том, как и чем занять свободное время юношей и девушек. Для них специально созданы дискотеки, в которых можно не только потанцевать, но и просмотреть программу короткометражных фильмов, теле- и кинобары, где до и после художественного фильма молодым людям предоставляется возможность выпить чашку кофе или бокал легкого вина.

Курт Яних, прошедший путь от батрака до заместителя бургомистра и ведающий вопросами образования, считает: «Всевозможные наши мероприятия, будь то сбор металлолома или вторичного сырья, участие юношей и девушек в различных соревнованиях, развлечениях или конкурсах, направленных на воспитание в них трудовых навыков и бережного отношения к тому, что сделано, произведено старшими поколениями, хороши и приносят пользу до тех пор, пока учащиеся сами, без принуждения старших, осуществляют их. Чем больше у детей самостоятельности, притом не той, видимой, за которой скрывается рука старших, а подлинной, с «шишками и калачами», тем здоровее, энергичнее вырастет поколение». Не согласиться с Янихом нельзя, и не надо, видно, бояться, что наши дети сделают что-то не так, как бы хотелось нам, взрослым. Каждое поколение, продолжая традиции старших, по-своему решает проблемы устройства жизни и требует самостоятельности, в чем отказывать ему старшие не имеют права.

Чем еще характерен Бернбург? В городе и вокруг него высятся трубы и башни крупнейшего в Европе комбината по производству промышленной и пищевой соды, известного в прошлом веке как «Сольвейг», двух цементных заводов, из продукции которых на четверть состоит знаменитая берлинская телевизионная башня, ставшая символом столицы ГДР, завода по производству комбикорма и вакцины для животных. Известность городу приносят и Центральный институт зерна ГДР, активно работающий по программе СЭВ, и единственные в стране два рудника — старый и новый — по добыче и переработке каменной соли, где глубоко под землей автомобили бегают с такой же скоростью, как и на поверхности. Но подлинную славу городу несут люди, их труд на этих предприятиях, их городские дела.

С приходом Вазема, например, магистрат явился инициатором интересного начинания — территориальной рационализации, которая принесла городу в прошлом году без малого 7 миллионов марок.

Вот в некотором роде классический пример. Два предприятия, разделенные забором, строят две котельные, каждое для себя. Неподалеку магистрат — исполнительный орган местных народных представительств — планирует заложить новый жилой район. Без котельной здесь тоже не обойтись. Итак, три котельные на небольшом пространстве? Кажется, проще простого объединить средства и соорудить одну котельную, которая будет обслуживать и новый жилой район и два завода. Но кто возьмет на себя инициативу, ведь предприятия принадлежат разным ведомствам? Практика дала на этот вопрос четкий ответ: местный совет.

Территориальная рационализация — это форма хозяйствования, при которой предприятия, учреждения, сельскохозяйственные кооперативы объединяют свои силы и средства для успешного решения проблем в рамках района, города или нескольких общин. Мелкие предприятия, опираясь на помощь мощных соседей, перестраивают производство, механизмируют трудоемкие процессы, улучшают условия труда. Городской или районный совет, подключив средства производственных коллективов, быстрее решает задачи развития коммунального хозяйства.

Вот еще один пример. Летом 1972 года Крафт Вазем часто приходил к железнодорожному поезду. Им пользовались много лет рабочие содового, цементного и вакцинного заводов. На любое из этих трех и еще на пять других мелких предприятий можно было попасть, перейдя железную дорогу именно в этом месте.

Много дней наблюдал Вазем за тем, как опаздывали рабочие к началу смены, застигнутые врасплох то пассажирской электричкой, то товарным поездом. К разговору с тремя директорами он приготовил и некоторые цифровые выкладки, из которых было видно, что затраты трех крупных заводов на строительство арочного перехода через железную дорогу окупятся буквально в течение года.

— А где мы возьмем рабочую силу? — пробовал отговориться один из трех директоров.

— Строители уже ждут вашего решения, а точнее оплаты их труда, — заверил Вазем.

А и верно, Крафт заранее договорился с двумя строительными бригадами, которые только начинали работать в то время на строительстве крытого городского бассейна. Месяц, другой бассейн мог и подождать, а мост через железную дорогу — нет. Его построили к осени. После этого авторитет бургомистра вырос не только в глазах директоров трех крупных предприятий, но и у рабочих, которые ежедневно теперь пользовались переходным мостом. Кажется, мелочь для города этот мост, но он создал много удобств, архитектурно изменил небольшой район города.

Размышляя о территориальной рационализации, можно сказать, что родилась она не случайно. Это начинание явилось выражением возросшей роли и значения местных советов. Закон о местных народных представительствах и их органах, принятый в ГДР семь лет назад, способствовал росту авторитета и активности советов, укреплению их связей с трудовыми коллективами, их влиянию на производство.

Задача эта двусторонняя. С одной стороны, городской магистрат активно привлекает предприятия к решению задач городского хозяйства, с другой — так же активно участвует в делах производства, способствует достижению наивысших экономических показателей.

Из этого исходил и городской совет Бернбурга, когда разрабатывал первый план территориальной рационализации. В районе насчитывается 32 завода и фабрики, 22 предприятия расположены в городской черте. И хотя они принадлежат к разным отраслям, городской совет рассматривает их прежде всего в территориальном комплексе. Такой подход позволяет рационально использовать средства и возможности каждого предприятия, тесно увязывая производственные и коммунальные задачи. Каждый год подписывается «Комплексный коммунальный договор», в котором определен размер вклада всех трудовых коллективов, перечислены работы, подлежащие выполнению, конкретные сроки.

Уже в самом начале Вазему и его коллегам удалось открыть значительные резервы. Изучение отопительного хозяйства Бернбурга дало любопытные результаты. К примеру, котельная содового завода использовала свои мощности наполовину. Городские власти подсчитали, что если на коллективные средства произвести необходимую модернизацию, то она сможет обеспечить теплом 11 соседних предприятий. Более того, в будущем к общей системе можно будет подключить и строящийся жилой квартал Бернбурга на берегу Заале.

При магистрате сейчас действует несколько общественных комиссий. В них состоят опытные специалисты, руководители предприятий, ученые. Они квалифицированно, с учетом условий города и плановых заданий предприятий вырабатывают рекомендации по территориальной рационализации.

Недавно горсовет утвердил программу улучшения водного хозяйства Бернбурга. При этом учитывалось и расширение уже существующих жилых районов и реконструкция старого центра. Комиссия, которая занимается проблемами охраны окружающей среды, подготовила рекомендации для проведения комплексной работы по рекультивации земли. В прошлом году в оборот было возвращено около 80 гектаров.

Вот уже третий год в Бернбурге проводится «биржа материалов». Что это такое? Представьте, что на одном предприятии накопились обрезки листового железа или труб. По-хозяйски ли все отправить в переплавку? В «бирже материалов» участвуют около 30 предприятий и кооперативов района. Ее оборот за последние три года составил 418 тысяч марок. Выиграли прежде всего небольшие предприятия, которые не всегда могут приобрести современное оборудование, нужные металлы. Городскому совету удалось связать системой оперативного управления большинство автохозяйств города. Благодаря этому снизилась доля холостых пробегов и расход горючего. За последние три года это дало прямой экономии более ста тонн бензина и другого горючего.

Рачительное расходование материалов, топлива, сырья, горючего, более полное использование оборудования и мощностей заводов — вот главное направление территориальной рационализации.

В рамках территориальной рационализации разрабатываются и рекомендации по техническому перевооружению мелких предприятий, многие из которых до начала 70-х годов оставались в частных руках и, несмотря на финансовую помощь государства, модернизировались очень медленно. Особое внимание бургомистр и его коллеги уделяют улучшению условий труда, оборудованию бытовых помещений, столовых, медпунктов, в ряде случаев — созданию объединенных, хорошо оснащенных амбулаторий.

Социалистическая рационализация включена теперь в качестве особого раздела в

народнохозяйственный план ГДР. Этот раздел объединяет около 150 тем непосредственно по территориальной рационализации. Такие же планы есть в каждом округе, городе и районе. В ряде случаев разработаны концепции и рекомендации на десять лет вперед. Они касаются, как правило, узких мест городского коммунального хозяйства. Результаты налицо: за один год территориальная рационализация уменьшила в целом по республике потребность в рабочей силе на 20 тысяч человек, позволила выпустить продукции дополнительно на 700 миллионов марок и главное — улучшить условия труда и быта людей.

Города в ГДР своеобразны и приметны своей архитектурой и планировкой. Время изрядно подчеркнуло их древние замки и монастыри, соборы и ратуши, которые в старинных городах служат и великолепным ориентиром. Они видны издалека, и любой турист, взяв направление на замок или островерхую кирху, попадет точно в центр города. Бернбургский замок, вознесенный на холм, возникает в летнем мареве или в свежеструящейся зимней дымке также за десятки километров; иному человеку он покажется кораблем, гордо плывущим в безбрежье хлебных нив и картофельных полей. Многие столетия замок был символом города, признаком его славы и крепости. Иное дело сейчас. Громады народных предприятий создают новый, индустриальный облик города и символизируют его принадлежность к современной эпохе.

Во времена давно прошедшие олицетворением бернбургского замка был медведь. Сегодня сам замок превратился в символ города и изображен поэтому на городском гербе. Он неотъемлем от городской жизни, тем более что реставраторы вернули ему недавно прежний вид. С бернбургским замком связана одна романтическая легенда, передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению.

Давно это было, несколько столетий назад. Прискакал на коне в Бернбург Тиль Уленшпигель. Удачливый, жизнерадостный человек. Ублажал он горожан своими песнями, смешил смелыми выходками. Они привечали его улыбками, угощали обедами, подносили кружки хмельного пива. О храбром Тиле, который хотел освободить людей от непосильного труда на богатых курфюрстов и зависимости от них, пошла слава добрая среди работных людей. Испугались этого бюргеры и начали охоту за Тилем. Охрана замка устроила ему засаду. Закрыли Тиля в башне высокой и неприступной. Бюргеры захотели уморить Уленшпигеля и лишили его пищи и воды. А сами тем временем устроили в замке гуляние.

В кармане у Тиля Уленшпигеля оказался пастуший рожок: плохо, видно, обыскали его стражники. И знал он условный сигнал — девушка одна знатная шепнула ему перед заточением: два длинных и три коротких запева на рожке обозначали, что к крепости подступает враг. Выпили бюргеры по бокалу пива, а закусить не успели: вознесся над крепостью зов пастушьего рожка. Вмиг опустел замок, словно ветром всех сдуло. И стража ускакала. Осталась лишь одна знатная девушка. Она и отперла Тилю Уленшпигелю массивную дверь башни. Поев досыта, Уленшпигель поблагодарил девушку, повертел растопыренной пятерней у собственного толстого носа, обманул, мол, я этих бюргеров, и покинул город. С тех давних пор и существует в замке башня Уленшпигеля. Выше нее, кроме водонапорной, в городе строений нет. В хорошую погоду с ее вершины в бинокль можно разглядеть Галле и Магдебург. История о Тиле Уленшпигеле, веселом и отзывчивом человеке, долгие годы согревала души бедных горожан. Город рос и развивался, а замок, несмотря даже на хорошо сохранившуюся в нем башню Тиля Уленшпигеля, все же утрачивал с годами свое назначение. Он становился никому не нужной «гордыней» и упорно ждал своего часа возрождения, а точнее своего бургомистра.

И дождался. Обновленный и отреставрированный, находясь на высоком скалистом холме, увитом понизу кустарниками и акацией, он смотрит теперь своими башнями и башенками и свежими оконцами, как в зеркало, в тихую воду протекающей рядом Заале. Холм напротив, на северо-восток от замка, «захватил» городской парк. Внизу, между крепостью и парком, берега реки соединил старинный узкий мост, служащий только пешеходам и ведущий на север, в самую древнюю часть города — Тальштадт. На запад от замка на взгорье возвышается Кесслертурм — смотровая башня Кесслера. Метров на сорок поднимает она человека над городом, и его взору открывается незабываемая картина, вобравшая в себя сбегующий вниз с холмов город, рассекаемый почти пополам ультрамарином широкой и самой длинной в ГДР реки, оттененный на северо-западе густой зеленью парков и садов, а в Тальштадте отдающий желтизной старины, румянцем черепичных крыш и белизной стен новых строений. Роение домов, улиц, садов, дорог,

вритоков Заале и окружающих город полей подернуто светло-голубой дымкой. Эх! На полотно бы эту красоту!

Смотровую башню горожанам подарил еще в первую мировую войну богатый купец Кесслер. Долгие годы она функционировала, принося удовольствие туристам. А потом десятки лет сюда никто не приходил. Башня стала разрушаться, и у кого-то возникла идея сровнять ее с землей. Ее спас бургомистр.

— Дело-то нехитрое,— рассказывал Крафт Вазем.— Пустили бы бульдозер, а деревянную часть сожгли — и вся недолга. Но то был прецедент — разрушать все, что рухнет, а мы добились обратного — восстанавливать то, что ценно для истории города, для жизни горожан.

Да, было такое веяние — освободиться от всего старого, особенно от разрушающихся домов. Потом, правда, спохватились: случается, что дешевле реконструировать старый дом, нежели строить новый, со всеми санитарными удобствами. А главное — нужно сохранять исторические здания для потомков. В середине 1975 года Государственный совет ГДР принял «Закон об охране памятников в Германской Демократической Республике». Многим старинным городам помог он в получении на нужды реконструкции дотаций и государственного финансирования.

В число охраняемых государством вошли и многие памятники Бернбурга: его крепость, вся старая часть города — Тальштадт, многие здания и целые улицы Бергштадта (Горный город) и т. д. В свое время, до закона, одна из древнейших городских магистралей — Брайтештрассе подпадала под такую перепланировку, что на ней могла остаться лишь двадцатая часть старины. Вазем всячески оттягивал работы на ней. Теперь на этой улице приступили не к сносу, а к полному восстановлению почти всех зданий.

Многие дома в городе, старинные улицы и площади обрели новое лицо, сохранив древнюю архитектуру. И на смотровой площадке Кесслертурм снова толпятся туристы. Зеленые насаждения, помолодевшие строения, отреставрированные исторические памятники, а их насчитывается до сотни, заново уложенная брусчатка древних улиц и площадей — дань старине, вернули городу его средневековую молодость. И изменения эти произошли лет за десять, за те годы, когда бургомистром стал Крафт Вазем.

Простая истина: людям не все равно, в каком городе жить — в увядающем или процветающем. Почти тридцать лет назад статистика отмечала отток населения из города. В Бернбурге до войны проживало около 30 тысяч жителей. Город пострадал от американской авиации, которая бомбила испытательный аэродром фирмы «Юнкерс», находившийся в шести километрах от городской черты. Весной 45-го Бернбург не досчитался почти 4 тысяч мужчин. Когда наступил мир, многие жители за бесценок продавали свои дома и переезжали на постоянное жительство в Галле и Магдебург.

Сейчас Бернбург растет. Пять лет назад отток населения прекратился. Ровенькая, без всяких взрывов, демографическая линия продержалась в городе ровно три лета и три зимы, а в 1978-м она начала подниматься вверх. Горожан теперь ежегодно становится примерно на полторы тысячи больше. Город стал пользоваться уважением у своих жителей. Сюда едут из других мест. В месяц люди справляют 50 свадеб. В те же 30 дней в городском совете регистрируются 90—100 новорожденных.

Вазем стал бургомистром в 1972 году. Как только он переступил порог магистрата, он прежде всего взялся за реконструкцию, реставрацию города, за его переустройство, подталкивая к строительству и такие объекты, как спортивные сооружения и зоны отдыха для горожан.

Жизнь в городе, особенно в небольшом, считает Крафт, зависит во многом от самих жителей, от их культуры, традиций и складывается из жизни отдельных, порой разобщенных, людей, семей, даже не знающих о существовании друг друга, от гражданской активности многих и от подвижничества отдельных граждан.

Усилия одних людей порождают поступки других. Крафт Вазем исходил из этой жизненной логики, когда задумал первую акцию — «Розефест» (фестиваль роз). Сейчас весной, летом и поздней осенью в Бернбурге ежегодно распускаются, украшая многоцветьем город и горожан, десятки тысяч роз — примерно, по два цветка на каждого жителя. Но не всегда так было.

Как-то в начале 1974 года Крафт пригласил к себе врача — отоларинголога, известного в городе человека и авторитетного доктора Гайстермана, издавна увлекавшегося розами: его дом всегда утопал в цветах. Допоздна просидели они в ратуше, и никто толком не знал, о чем столько времени можно говорить. В небольшом городе любое собы-

тие становится достоянием всех — беспроволочный телеграф работает четко, безотказно. А вот о чем шел разговор? Никто не знал.

Через несколько дней доктор выступил в местной газете и поделился опытом разведения роз. Конечно, никому и в голову не пришло, что именно о розах говорил с Гайстерманом бургомистр. А врач в своей статье подробно рассказал, как и когда он увлекся розами, как их разводит и ухаживает за ними и какое влияние оказывают розы на человека, на его психическое состояние. Как говорят, дальше в лес — больше дров.

У бургомистра расчет был простой, но далеко идущий. Так или иначе у доктора Гайстермана за год перебивают почти все взрослые люди — диспансеризация давно вошла в практику, — и доктор может с каждым посетителем перебраться одной-двумя фразами не только о состоянии здоровья, но и о розах.

Второй раз доктор пришел в магистрат без всякого приглашения и бургомистр «выдал» ему титул главного общественного руководителя городского фестиваля роз. Спустя несколько дней в газете снова появилась статья Гайстермана, в которой он делился мыслями о том, как можно организовать праздник роз, если на него откликнется хотя бы третья часть жителей. Помимо личного участия в ритуале праздника, разработанного доктором вместе с Ваземом, каждому горожанину надо было обязательно купить за тридцать пфеннигов хотя бы одну розу, можно и больше, и посадить ее возле своего дома.

— А если все, абсолютно все жители города захотят высадить по цветку? — спрашивал доктор у бургомистра накануне лета. — Где их столько взять?

Бургомистр обнадеживающе пожал тогда доктору руку и сам занялся доставкой роз. В конце июня в Бернбург издалека, из специального питомника, завезли 10 тысяч черенков роз. Все 10 тысяч черенков расселились у жилых домов, в собственных садах, у общественных зданий, на газонах и в скверах и городском парке, на площадях города. Идея бургомистра пришлась многим по душе.

Второй и третий праздники проходили также не без участия Вазема. Ну а в последующие фестивали роз бургомистр уже совершенно не вмешивался: Гайстерман сумел создать вокруг себя хороший актив, куда вошел и начальник управления городского хозяйства Иоганес Ревинкель.

«Розефест» — ежегодный, веселый, нарядный праздник — с каждым годом набирает силу, обретает новое и очень важное для города и горожан значение. Магистрат стал выделять премии за лучший дворовый розарий, независимо от того, общественный он или частный. Теперь задолго до начала праздника горожане чистят дворы, убирают улицы: розы любят чистоту; подбеливают деревья, красят дома, скамейки в скверах, в парке, заранее покупают черенки, либо сами их заготавливают из побегов взрослых роз. В городском совете уже затрудняются назвать точную цифру яркоцветастых роз, высаженных в городе. Одни утверждают, что их восемьдесят, другие — сто тысяч. Но, как говорит немецкая поговорка, конец хорош, все — хорошо.

Я жил в Бернбурге в сентябре — октябре, в разгар бабьего лета, и никак не мог отделаться от ощущения, что нахожусь не в ГДР, а в одном из городов Болгарии: так много еще цвело роз в ту пору. Главное правило, которое твердо усвоено горожанами: сам посадил розу, сам за ней и ухаживай и не губи жизнь красивого цветка. Розы сажают и ухаживают за ними партийные работники и кулинары, рабочие заводов и домохозяйки, горняки, ремесленники и учителя, дети и старики. Кстати, и возле дома бургомистра цветет роскошный розарий. «Розефест» давно покинул границы города. Слава о нем дошла и до Берлина. Идет слава и о докторе Гайстермане. Его теперь величают еще — Розе-доктор.

«Розефест» — лишь одно из многих коллективных дел горожан, характеризующих их отношение к городу, к собственной жизни. И бургомистр всячески стремится развить у них чувство ответственности, инициативу в борьбе за то, чтобы среда обитания, социальная среда становилась удобнее и уютнее. Общественность Бернбурга вовлекает теперь массу горожан во все начинания, касающиеся благоустройства: от озеленения до реконструкции старых домов, а это, в свою очередь, влечет за собой и охрану окружающей среды. Магистрат видит свою цель в планомерном, комплексном и рациональном развитии и использовании окружающего ландшафта, ухаживании за ним, охране его, не в последнюю очередь и с помощью предотвращения выбросов вредных отходов и борьбы с шумом. Примеров тому много.

Рассадником комаров, грязи в Бернбурге испокон веков служила небольшая площадь Луи Брайля, что в километре, примерно, на юг от ратуши. В течение трех суббот

подряд Крафт выводил на благоустройство площади сотрудников магистрата, учеников школ, работников торговли, молодежь агроинститута. Площадь получилась как в сказке. Теперь это особенно видно: ковер зеленой травы, цветы, упругие ветки липы, деревянные скамейки влекут к себе и детей и стариков. Из когда-то грязной площади получился уютный уголок в центре города.

Что еще сделали горожане? Взять хотя бы строительство бассейна.

С ним дело было сложнее, чем с «Розефестом». Еще до войны фашисты собрали в городе большую сумму на его сооружение. Закладывали фундамент торжественно, с музыкой и барабанным боем—для отвода глаз, как выяснилось значительно позже, потому что все деньги горожан ушли на вооружение вермахта. Долгие годы после войны республике и городу было не до бассейнов. Котлован, вырытый на краю старого городского кладбища, давно оплыл, осыпался и порос бурьяном.

Народной стройкой всего, что требовалось при сооружении бассейна с подогревом воды и круглогодичным рабочим циклом, не сделаешь. Требовалось специальное оборудование, квалифицированные кадры. Вазем сначала добился в Берлине, чтобы содержание будущего бассейна отнесли на городской бюджет. Второй шаг ему обошелся легче. Плановые органы по докладной бургомистра выделили деньги на оборудование, специальные монтажные работы и некоторые строительные материалы. Цемент молодежные бригады изготовили сверхурочно сами. Прошло больше года. Стройка успешно продвигалась вперед. Наступил черед стекольщиков. Такие громадные стекла, как на здании бассейна, в городе ставились впервые, и горожанам изрядно пришлось поволноваться.

Сейчас весь день в городском бассейне расписан по часам и минутам, он никогда не бывает пуст. Большое, из стекла и бетона здание городского бассейна, особенно с зажженными вечером огнями, словно морской лайнер плывет в вечерних сумерках и, как говорится в пословице, «добро, приобретенное своим трудом, радует», радует душу, радует горожан не только красотой, но и своей ощутимой пользой.

За бассейном последовала крытая городская автобусная стоянка с удобными скамейками, с городскими часами; к пяти домам престарелых прибавился шестой, его строили за счет госбюджета, но вне очереди, на два года раньше срока. В Тальштадте силами горожан отремонтировали старый монастырь, куда вселился клуб почтовых голубей.

После трех лет работы Вазема у магистрата появилось немало инициативных добровольных групп, типа той, во главе с доктором Гайстерманом, которая проводит ежегодно фестивали роз. Одна занимается территориальной рационализацией в городе, другая разрабатывает план реконструкции улиц и площадей, третья стремится разнообразить досуг горожан, четвертая помогает народному образованию и т. д. У городского совета — множество активистов: от домохозяек и рабочих до педагогов и ученых. И все они готовы предложить свои услуги магистрату.

И грех не использовать людей по назначению. Как-то заговорил Вазем на заседании магистрата, что пора бы Бернбургу превратить одну из грязных улиц в пешеходную торговую зону.

— Смотрите, в Кётене есть, в Шверине, Висмаре есть,— говорил он,— с Галле, Эрфуртом нам нечего тягаться, это окружные центры, но ведь и многие районные города имеют такие места, которые притягивают к себе массы горожан.

Не один Крафт представлял себе сложность и хлопотность предстоящих работ. За столом сидели и его заместитель по строительной части, начальник управления горсовета, ведавшего строительными организациями. Кстати, речь шла не только о модернизации и реконструкции, а о коренной перестройке улицы, о переносе проходивших в этом месте коммунальных сетей, о выселении из ряда домов жителей, о новом дорожном покрытии всей прогулочной зоны, о переселении сюда основных торговых рядов, о новых насаждениях, о совершенно иной планировке улицы. И проектировщики и строители должны были решить главную проблему — днем улица выполняет роль городского торгового центра, а вечером бульвара отдыха.

Дебатов было немало. Магистрат трижды обсуждал проблему будущей улицы. В том, что горожане поддержат идею и будут безвозмездно работать на объектах улицы, Вазем окончательно убедился, когда к нему один за другим пришли с предложением помочь пять бригадиров: три из городских строительных бригад и два из частных.

«Если уж частников проняло,— думал он,— то остальных только позови, бросят все и пойдут на отработку положенных часов».

Два года ушло на реконструкцию и строительство бульвара. Он тянется по городу метров на 800 от площади Маркса—Энгельса, а скорее просторного сквера, также под-

вергшегося реконструкции, до Штейнштрассе (Каменная улица). Сквер с добротными скамьями, лотками с мороженым и разными сладостями обсажен рядами пышных каштанов. Между сквером и бульваром обращает на себя внимание ажурное, легкое сооружение. В него вмонтировано девять часов с боем, показывающих время во многих столицах мира. От этих часов на юго-восток по Бергштадту и вытянулся бульвар ровной струной — разноцветный, нарядный, говорливый, с молочно-белыми фонарями по обе стороны, с асимметрично растущими тонкими высокими туями и редко брошенными молоденькими каштанами, с разностильными, новенькими, только что реконструированными домами разных эпох, с летними кафе, сосисочными, пивными, базарчиками и с огромными магазинами, где горожанин, прогуливаясь, может приобрести товары и вещи первой необходимости.

Бульвар стал одной из важнейших достопримечательностей города. Раньше приезжего, чтобы сориентировать в городе, отсылали к крепости. Теперь все чаще направляют к бульвару Вильгельма Пика.

Рассказывали, что название бургомистр выбирал сам. И дело не только в том, что Вильгельм Пик, соратник Эрнста Тельмана, один из основателей Компартии Германии, первый президент Германской Демократической Республики. С этим человеком Вазема связывает личная история.

Крафт, окончив восемь классов и два года проучившись у частного радиомеханика, сознательно оказался в свои неполные восемнадцать лет в рядах одного из первых воинских формирований республики КНП⁸.

Его с детства привлекали армия и военные, и происшедший еще ранее случай с погонами он помнит до сих пор. Ему шел девятый год, когда в Европе наступил мир. Жил он у дедушки, а мать видел лишь по воскресеньям. Она работала зубным врачом в Ильберштадте. Бабушка была служанкой и прачкой у госпожи Хюне, богатой помещицы, а дедушка — садовником.

До прихода американцев в Бернбурге и его окрестностях дня два или три царили неразбериха и хаос. Люди в те дни растаскивали по домам продовольствие, одежду, топливо, припасенные властями на какой-то особый случай. Крафт тоже отправился со своими дружками на один из складов, построенный в войну на бывшем стадионе. Но продуктов там никаких не оказалось, зато много было всяких погонов: от солдатских до генеральских, от серого до серебряного и золотистого цветов. Сколько могли, на целых две роты, наверное, набрали мальчишки тех погонов и еле дотащили домой. Удивленный дед строго спросил у Крафта:

— Зачем ты принес домой эти нашивки? Кому они нужны?

— Война еще не кончилась, может, пригодятся... — ответил Крафт, не подозревая, что своим ответом еще больше рассердил деда.

Из-за злосчастных погонов старый Вазем впервые и очень крепко выпорол своего единственного внука. Бабушка же на следующий день незаметно протопила генеральскими погонами печку... А Крафту почему-то захотелось стать военным.

Казарменная народная полиция в ГДР появилась в 1952 году. Партия рабочего класса тогда провозгласила построение основ социализма, пришла к такой социально-общественной платформе, решила провести такие революционные преобразования, которые нуждались в защите. КНП совместно с народной полицией отвечала, с одной стороны, за внутреннюю безопасность, а с другой, должна была в случае империалистической агрессии оказать поддержку Советской Армии, освободившей Европу от фашизма.

В то тревожное и сложное время, когда возрождавшийся милитаризм враждебными акциями всяческого рода пытался удушить ростки социализма на немецкой земле, Крафт добровольно — воинской повинности еще не существовало в ГДР — подал заявление с вступлением в ряды казарменной народной полиции.

Десять лет отдал Крафт армии и не помышлял, что когда-нибудь станет человеком гражданской профессии. Он служил рядовым, сержантом, окончил офицерскую школу, получив одновременно и диплом педагога, был политруком роты. Пришлось послужить ему и в части, охранявшей тогда членов правительства ГДР, и, в частности, в подразделении, которое несло ответственность за сохранность жизни Вильгельма Пика. Тогда и произошла встреча Вазема с президентом республики.

В 1956 году в Берлин приезжала официальная делегация Китая во главе с Чжоу Эньлаем. Глава китайской делегации подарил Вильгельму Пика три или четыре мешка

⁸ КНП — казарменная народная полиция.

коричневато-красных китайских яблок. Их ссыпали в помещение рядом с особняком, в котором жил товарищ Пик.

— Кормили нас неважно,— вспоминал Крафт,— организм молодой, есть хочется, а яблоки видны в окошко, метрах в двух-трех от тебя лежат, в углублении. Окно мы выставили легко, вернее стекло в окне; нашли палку, вбили гвоздь и дважды полакомились яблоками. А на третий раз за этим занятием нас застал товарищ Вильгельм Пик. Он не сердился. Только расстроился, узнав, что нас плохо кормят, пожурил, что мы никому об этом не говорим. С той встречи нас кормили лучше и яблоки тоже стали появляться на обеденном столе...

Создание бульвара Вильгельма Пика, конечно, не решило всех проблем, которые обступают городскую ратушу, наоборот, вызвало к жизни уйму новых, показало, на что способны сами люди, ведь почти половина всех работ на строительстве и реконструкции бульвара велась на добровольных началах. Появление торгово-прогулочной пешеходной зоны в городе прибавило сил и уверенности самим горожанам, да и магистрат приобрел еще больший авторитет.

Этот пример совсем свежий. И родился он когда завершились работы на бульваре. Вслед за ним горожане сами предложили ускорить модернизацию старых квартир. Дело это непростое и здесь надо сделать небольшое отступление, чтобы глубже понять проблему жилья в республике.

Так сложилось, что не только в Бернбурге, но и по всей стране, почти 80 процентов из общего числа квартир и домов построены до 1945 года. И многие из них — без санитарных удобств, отапливаются углем, отчего появляется масса пыли и грязи в домах, на улицах. Трубочист, в том числе и в Бернбурге, профессия уважаемая. «Человек в цилиндре приносит счастье» — слышал я не раз в разговорах немцев. А однажды оказался свидетелем одной сцены.

Старший мастер, трубочист города Гайнц Вельферт по каким-то делам зашел в городской совет к заместителю бургомистра Курту Яниху. Трубочисты имеют обыкновение вставать очень рано, и до визита Гайнц уже прошелся по нескольким чердакам и потому выглядел весьма экзотично: весь в саже, пыли и паутине. Но оказалось, что именно такой он и был нужен вышедшим навстречу молодоженам. Девушка в белоснежном платье и фате, вырвавшись из рук жениха, прямо из ратуши, где они регистрировали брак, бросилась чуть ли не в объятия к трубочисту. Она прикладывала свои ладони к одежде Гайнца, гладила его по щекам, снова терла ладони о его одежду до тех пор, пока они не стали такими же черными, как и у самого трубочиста. Жених в это время занимал мастера разговором, пытаясь подольше задержать его внимание: глядишь, побольше счастья «привалит» им с молодой женой.

Для Гайнца Вельферта его профессия — обыкновенная, тяжелая и сложная работа. Он с четырнадцати лет ходит по чердакам. Когда готовился к этому ремеслу, сложностей еще не представлял, а теперь привык ко всему. Котелок, вернее цилиндр, спасает от многих шишек: в темноте ведь не сразу разглядишь стропила. В цилиндре он хранит свой обед и ключи от чердаков.

В течение года Гайнц вместе со своей бригадой чистит дымоходы трех тысяч домов, при этом не один раз в году, а шесть-семь. Он бригадир-частник. Жена ведет бухгалтерию, учет, а Гайнц руководит бригадой. Он глава маленькой конторы и простой рядовой трубочист. Домовладельцы имеют дело непосредственно с ним, а он, в свою очередь, несет ответственность перед магистратом за обслуживаемые им дома, состояние которых он хорошо знает. Гайнц Вельферт — активист магистрата. Ни одно общественное дело не обходится без него. На реконструкции бульвара Вильгельма Пика он отработал почти тысячу часов.

В городе давно и остро стоит проблема модернизации старых квартир, и Вельферт об этом часами может рассказывать, особенно о тех зданиях, которые находятся в относительно хорошем состоянии. Городской совет планомерно ведет работы по обновлению квартир. По своему качеству они не уступают новостройкам. Реконструированные здания украсились нарядными фасадами: на них восстановлены лепные работы разных времен и эпох, украшения периода ренессанса и грюндерства. Изменился и ландшафт вокруг этих зданий. Исчезли задворки, каменные заборы, возникли светлые дворы с газонами и детскими площадками. Разумеется, все дома сразу невозможно перестроить, требуется время, а людям не терпится поскорее обзавестись газом, паровым отоплением, горячей водой. Вот и посыпались в ратушу просьбы, особенно как сдали бульвар, как

люди увидели, на что способна общественность, какую роль в жизни города играет магистрат.

Желание горожан бургомистр поддержал, но, в свою очередь, выставил перед ними одно условие. В старом городе землеройную технику применять невозможно, ей негде развернуться и рыть траншеи приходится вручную. Собрал Вазем всех, кто обратился к городской власти, набралось человек двести из десяти домов и предложил:

— Вы сами прокопайте канавы к своим домам от главной магистрали, а строители уложат и смонтируют нужные коммуникации.

В другое время, наверное, прежде чем взять в руки кирки и лопаты, люди подумали бы: а не подведет ли бургомистр? А тут не пришлось долго агитировать, коллективно-общественная работа на главном бульваре города на много лет вперед укрепила веру в народную власть и ее руководителей.

После бульвара Вильгельма Пика магистрат, а это все тот же неугомонный Крафт Вазем, замахнулся на целую городскую зону отдыха и...вытянул ее, построил в основном руками самих же горожан. И теперь на западной окраине, точнее в пригороде «Крумбгольц», могут отдыхать одновременно до 5 тысяч человек.

Вдоль всей зоны отдыха проложена детская железная дорога, которую, как и городской бульвар, помогали строить и советские ребята. Думается, что одно название объектов «Крумбгольц» поможет представить, какой объем работ пришлось выполнить людям и что они получили взамен для отдыха и развлечений. Прежде всего, конечно, железная дорога, которая идет от районного Дома культуры до самого известного, уютного, хорошо оборудованного ресторана «Парадис» («Рай»). Раньше он принадлежал фрау Марте, обаятельной и умелой хозяйке, к ней мы еще вернемся, а с недавнего времени перешел в распоряжение городского совета, стал народным предприятием. «Парадис» летом вмещает тысячу человек. В выходные и праздничные дни трудно найти семью в городе, которая бы не отказалась от домашних хлопот и не пообедала бы в ресторане, окруженном с двух сторон небольшим, но красивым парком на скалах. Кому не хватит места в «Парадесе», тот воспользуется услугами еще двух ресторанов, нескольких кафе, разбросанных по всей зоне отдыха и, главное, недалеко от остановки детского поезда, которым с удовольствием пользуются и взрослые.

В ухоженном лесу, на полянах городской зоны отдыха «Крумбгольц» людей встречают два стадиона, индейская деревня, палаточные городки, смотровая башня Кесслера, местный зоопарк, волейбольные и другие игровые площадки, два открытых бассейна с отделением для детей, пони — тоже любимое детское развлечение, речной теплоход для прогулок, лодочная станция, карусели, качели т. д.

Слушая Крафта Вазема, я часто ловил себя на мысли: могло ли все, о чем здесь рассказано, а рассказано далеко не все, появиться в городе Бернбурге раньше, до Вазема; один ли Крафт Вазем «виновник» того, что произошло в жизни горожан? И приходил к убеждению: без Вазема было бы трудно и, может быть, сложно решить многие городские проблемы. Но не в нем одно дело. Без соответствующего уровня развития социального общества и без тех задач, которые ставит перед ним и перед руководителями всех его звеньев Социалистическая единая партия Германии, осуществить такие преобразования не удалось бы никому. И все же большая роль во всем, что произошло и происходит в Бернбурге, принадлежит магистрату и его бургомистру, активу города, потому что любые постановления, директивы должны выполнять люди.

Есть и еще одна, и очень немаловажная, деталь. С тех пор как Вазем убедил трех директоров в целесообразности строительства арочного моста — перехода через железную дорогу, большинство промышленных предприятий города изыскивают средства, определенный процент из сверхприбылей, и адресуют их магистрату на благоустройство территории города, улучшение жилищных условий горожан, понимая, что от среды обитания, от настроения рабочего зависит многое, в том числе, а это главное, производительность труда. В последние годы у магистрата сложились добрые деловые отношения с директорами большинства промышленных предприятий.

В городе многие считают — рядовые жители и официальные лица — Бернбургу с бургомистром повезло. К людям такого ранга в разных городах мира давно пристало выражение — «хозяин города». Я не знаю, как живет председатель, бургомистрам и мэрам в других городах и где труднее им бывает, в огромной столице или в областном центре, и как оценивать их труд и трудности — по тому, чист ли город и есть ли в нем все необходимое или по тому, сколько раз заседало городское народное собрание и ка-

кие решения принимало. Это вопрос сложный. Но я знаю зато Вазема и знаю, что ему нелегко, нелегко потому, что он настоящий хозяин города: в Бернбурге у него чисто, убрано, в магазинах есть все необходимое, старики пенсионеры обуты и сыты, дети учатся, рабочий класс обеспечен и ритмично гудят фабрики и заводы.

В Бернбурге давно заведен такой порядок: что бы и где бы ни произошло в черте города, знать должен в тот же час бургомистр. Он причастен ко всему. Без него не начнут возводить жилой дом; новая торговая точка не откроется; артель ремесленников или частников не будет правомочна, пока не примут на то решения, скрепленного подписью Крафта Вазема; не станет функционировать без него ни новая больница, ни новая школа. Бургомистру все «подведомственно», а он подотчетен городскому собранию и является хозяином города по закону.

Встает Вазем в пять утра, в кабинет к себе приходит в шесть пятнадцать.

— Чтобы день прошел насыщенно, плодотворно, — считает Крафт, — нужно, пока в ратуше никого нет, кое-что вспомнить, заглянуть в деловые бумаги, наметить важные, самые важные и особо важные дела предстоящего дня, недели, иногда месяца.

За решение ряда городских проблем он несет личную ответственность перед бюро райкома СЕПГ, не перекалдывая ее ни на чьи плечи, и он должен, по его словам, спокойно, до начала рабочего дня, все проверить и если надо подготовить соответствующую акцию.

В шесть сорок пять Вазему начинают звонить директора четырех предприятий, за ритмичность работы которых он отвечает по партийной линии, являясь уполномоченным районного комитета партии и его бюро. Выслушав информацию о том, как работал коллектив за прошедшие сутки, Крафт, исходя из обстановки, из решений бюро райкома партии иногда просто благодарит и расстается со своим подопечным, иногда дает советы, рекомендации. Утреннее общение Вазема с руководителями предприятий занимает не более пятнадцати минут, после чего наступает начинающийся по закону в семь часов утра обычный рабочий день магистрата и его бургомистра.

— Для нормальной работы, — говорит Вазем, — мне требуется десять часов, а чтобы хорошо трудиться, надо двенадцать. Первый секретарь районного комитета СЕПГ Вилли Барабас работает по четырнадцать часов в сутки.

Став бургомистром, Крафт от слов быстро перешел к делу. Чтобы работать продуктивно, он в один год рационально, по своему плану перестроил свой кабинет. Слева и справа от рабочего стола — а он стоит так, что свет из окна, расположенного за спиной, падает через левое плечо на лист бумаги — от пола до потолка во всю ширь и высоту стены стоят шкафы из красного дерева, изготовленные по чертежам Вазема. Некоторые из ячеек в шкафах правой стороны застеклены, и за стеклом виднеются папки из красной кожи с золотым тиснением, грамоты с гербами городов, сувениры. Бургомистр показывал мне сувенирные изделия из города Нитра (ЧССР), являющегося побратимом Бернбурга, от делегации Кётена, соседнего города, от мэра одного небольшого французского города, от частных лиц, посещавших ратушу. У левой стены кажущейся сплошным, холодно-парадным панно из темного дерева, стоит длинный стол с двумя рядами стульев по бокам. За этим столом раз в неделю заседает президиум магистрата, разбирая очень разные, не похожие одно на другое, дела горожан. Но вот Вазем прикоснулся к одной из панелей на левой стене, и она превратилась в чертежную доску с «подбородком», который удерживает несколько цветных мелков и влажную, будто только что смоченную тряпку. Справа, сверху и внизу от доски разместились разных размеров шкафы, хранящие множество информации из городской жизни, конечно, не застывшей, не стародавней, а современной трех-пятилетней давности, той, которая может потребоваться в любую минуту для сравнения, для новых каких-то проектов или для решения часто возникающих за столом заседаний президиума деловых споров. Любую справку, сведения из любой жизненной сферы города Крафт может получить в течение одной-двух минут. Кстати, держатели папок в ячейках, конструкцию папок, ячеек-шкафов он разработал сам. Несколько панелей «стены», находящихся слева от чертежной доски разворотом и поворотом в нужном направлении превращаются в огромную карту города, на которую нанесены всевозможные, иногда даже необычные обозначения, такие, например, как разрез рудников по добыче каменной соли, тех самых, уже упоминавшихся, где на глубине 600—700 метров автомобили носятся словно по городским магистралям и где общая протяженность дорог составляет почти сто километров.

Гости, которых у бургомистра бывает немало, свое знакомство с городом начинают в его кабинете и именно у этой самой карты. На ней любую улицу быстро отыщешь. Ста-

рая часть города закрашена в один цвет, новая, современная — в другой; зеленью разлилась зона отдыха «Крумгольдц», ярко-оранжевыми пятнами пылают реконструируемые участки, красными — вновь строящиеся объекты.

Я тоже начинал свое знакомство с городом по этой карте. Потом много ходил пешком по его узким и широким, длинным и коротким улицам, заглядывал во всякие закоулки — интересно, а там что? А там оказывалось продолжение все той же узенькой, старой-престарой улочки. Не помню, на какой день, но когда смотреть уже было нечего, пришел к выводу: перелет из города в город на самолете или переезд по автобану на машине — одно и то же. Узнать страну, увидеть что-нибудь невозможно ни с самолета, ни из окна автомобиля, бешено мчащегося по отполированному, гладкому шоссе скоростной дороги, проходящей вдали от населенных пунктов. Страну можно увидеть едучи проселочными дорогами, а город хорошо узнается «ногами».

К карте Вазема я прибегал не раз. Надо было, например, познакомиться с новостройками, и мы сначала рассматривали их изображение тушью и карандашами, а потом ехали в микрорайоны. Их два в Бернбурге. Один, примерно на 10 тысяч жителей, на юге города, наверху. Другой — внизу, на левом берегу Заале в Тальштадте, напротив городского крытого бассейна и городского сада. Этому микрорайону только пять лет, и он долго еще будет строиться. Наряду с жильем, горожане получили здесь, и чуть ли не в первую очередь, крытый стадион на три тысячи мест. Правда, так получилось, что не подошла еще очередь ни для столовой, ни для ресторана. Но выход нашли. Нашли его в магистрате. У берега речки поставили на якорь двухпалубное судно, переоборудованное под кафе и ресторан, и есть теперь жителям где пообедать, есть где вечером провести время, при том с комфортом — на воде.

Новый микрорайон на северо-западе граничит со старыми домами Тальштадта, а на юго-востоке, там, где стоит паром-ресторан, омывается водами Заале. За ходом строительства жилья в городе бургомистр следит лично, несмотря на существующие в магистрате специальные службы.

К жилью в ГДР, можно сказать, особое отношение. Не секрет, что жилищные условия имеют немаловажное значение в воспроизводстве рабочей силы, в длительном сохранении работоспособности, в продлении жизни людей. Отсюда, конечно, и возникает у социалистического государства забота о социальной устроенности людей, создании все лучших и лучших жилищных условий для всех граждан. И все же, если глубже смотреть на проблему, то речь идет не только о квартире, хотя она и является важнейшей во всей структуре, но и о гармоничном всестороннем развитии города или села. Место жительства призвано способствовать развитию общественных отношений и отношений в семье, удовлетворять культурные и духовные потребности жителей, тем самым прибавляя все новые грани к тому, что мы понимаем под социалистическим образом жизни. Каждый должен хорошо себя чувствовать в своем городе, в своей общине. Эту аксиому жизни, ее незыблемость и взял на вооружение Крафт Вазем.

Проблема жилья в республике, как уже упоминалось, еще стоит остро. Молодоженам приходится не один год ждать получения квартиры. И все же разрыв от свадьбы до новоселья сокращается — он равен трем-четырем годам. Еще в 1971 году VIII съезд СЕПГ определил улучшение жилищных условий как ядро социально-политической программы партии. С тех пор от побережья Балтийского моря и до Рудных гор развернулось невиданное ранее строительство. Цель его: шаг за шагом к 1990 году ликвидировать жилищную проблему как социальный вопрос и создать для всех граждан удобные и комфортабельные жилищные условия. Проходивший в апреле 1981 года X съезд СЕПГ расширил программу жилищного строительства в стране.

В Бернбурге, как и в десятках других городов и сел ГДР, проблема эта решается, как уже говорилось, частично путем модернизации старого жилого фонда, а также за счет строительства новых домов, новых микрорайонов и поселков.

Бернбургский городской совет ежегодно принимает в эксплуатацию до 800 квартир. Начиная с 1981 года запланировано строительство 860—880 квартир в год. Этот расчет показывает, что в 1990 году проблемы жилья, как таковой, в городе не должно быть, несмотря на то, что население возрастет за те же десять лет почти на 8 тысяч человек. В перспективном плане по жилью учтено все: и создание новых предприятий, и приток из-за дальнейшей механизации работ в поле сельского населения в город, и приток за счет рождаемости. На карте у бургомистра уже давно отмечены и спланированы площадки и улицы будущих новостроек. В нижней части старого города встанут невысокие

шести-семиэтажные дома, чтобы не заслонять вид на старинные постройки и крепость. Рядом с вокзалом поднимутся десяти-двенадцатиэтажные красавцы со своими дворами, спортивными площадками, палисадниками, скверами. Архитекторы подготовили такие проекты, которые подчеркивали бы архитектуру, планировку и красоту старинных сооружений.

Сейчас в Бернбурге 12 800 квартир, а через десять лет их станет 22 тысячи. Ученые здесь и те дома, что строятся в частно-индивидуальном порядке. Кстати, лет шесть-семь назад, принято постановление правительства ГДР, поощряющее индивидуальное строительство и соответственно дающее право на получение кредитов, а под них, и это в обязательном порядке, планирующие органы выделяют строительные материалы. Правда, одного этого решения было недостаточно, чтобы изменить политику магистрата в строительстве и распределении жилья, о которой Вазем говорил не раз и которую хотел привести в жизнь как можно скорее. Но время шло...

В 1967 году районный комитет партии возглавил Вилли Барабас, в прошлом антифашист, человек с многолетним партийным опытом, с мягким сердцем, как говорят о нем, но с твердым голосом. Он одним из первых, хотя главная забота для районного комитета партии — сельское хозяйство, заметил, что Бернбург, как районный центр и один из древнейших городов республики, тускнеет и чахнет на глазах, плохо и мало строится.

Дело в том, что от конца войны и почти до исхода 60-х годов Бернбургу очень не везло с бургомистрами. Бернбургский городской совет да и райком партии многие годы возглавляли одинаково неудачно, мягко говоря, подобранные первые лица.

Приглядевшись повнимательнее к Вазему, который уже несколько лет, уйдя из армии по болезни, руководил районным управлением местной промышленности, Барабас позвал его к себе и велел наметить двадцать кандидатур из числа членов СЕПГ или потенциальных членов, которые, заняв руководящие места в магистрате, смогли бы наладить работу городских служб, городского хозяйства, оживить народные традиции, промыслы, расшевелить горожан.

Почему же двадцать? В ГДР исторически сложилась многопартийная система. В общественном развитии Германской Демократической Республики с первых дней ее образования, кроме Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), активное участие принимают еще четыре партии: Демократическая крестьянская партия Германии (ДКПГ), Христианско-демократический союз Германии (ХДСГ), Либерально-демократическая партия Германии (ЛДПГ) и Национально-демократическая партия Германии (НДПГ). Руководящая роль всеми без исключения партиями признана за СЕПГ. Поэтому в Народной палате республики, в народных палатах округов, городов и районов СЕПГ имеет 25—29 процентов мест. Остальные места распределяются между другими четырьмя партиями и Демократическим блоком, куда входят Объединение свободных немецких профсоюзов (ОСНП), Союз свободной немецкой молодежи (ССНМ), Демократический женский союз Германии (ДЖСГ) и Культурбунд, организация, призванная нести культуру в массы. Пропорционально, примерно, местам в палате отводятся и места штатным сотрудникам в исполнительном совете от каждой партии. В Бернбургском городском совете члены СЕПГ занимают 20 мест из 77. У бернбургского бургомистра — три заместителя, все трое — представители трех разных партий.

— Сколько времени вы даете на это? — спросил Вазем.

— За неделю, я надеюсь, справитесь? — в твердом голосе Барабаса Крафт не уловил даже нотки раздражения или нажима.

После короткого разговора Вазем ушел и ровно через неделю положил на стол Барабаса список двадцати человек. Вилли Барабас долго и внимательно изучал кандидатуры, не отпуская Вазема. Двоих тут же хотел отвести, но Крафт сумел доказать, переубедить первого секретаря райкома. В конце беседы Барабас вернул список Вазему и спокойно, ровным голосом сказал:

— А теперь напишите свою фамилию. Вверху, пожалуйста. Первой поставьте.

— ?!

Через три дня на заседании Народного городского собрания Крафта Вазема избрали первым заместителем бургомистра. Он стал заниматься вопросами строительства, развития города, местной промышленности и бытового обслуживания; в общем, проблемами весьма жизненными и нелегкими. К разрешению сложной ситуации, годами создававшейся вокруг жилья, Вазем смог приступить лишь спустя четыре года, став бургомистром.

Не говоря уже об отделе учета и распределения жилья, которым долгие годы заведовал Вольфганг Бёнике, интеллигентнейший, внимательный и добрый человек, и куда

постоянно обращались горожане, они и к бургомистру выстраивались два раза в неделю на прием. А что мог сказать бургомистр? Он говорил примерно то же самое, что и Бёнике в отделе учета жилья: подойдет сдача дома и магистрат решит, кому давать квартиры раньше, а кому позже. Иногда в виде исключения он выносил на президиум предложения, касающиеся особо сложных жилищных ситуаций.

— Каждую неделю я почти напрасно терял шесть часов, — жаловался Вазем. — Я за постоянный контакт с горожанами, но не в кабинете...

Много вариантов перебрал бургомистр, пока утвердился в одном: жилье следует распределять заранее. За год, за три, за пять лет до того, как будут возведены дома, пусть люди знают свой номер подъезда, свою будущую квартиру и пусть не обивают порогов, пусть не тратят времени зря. Бёнике тогда резко воспротивился, разругался с Крафтом, отстаивая старые методы распределения жилья: существует в горсовете очередь, сдается очередной дом на сто квартир, к примеру — ста семьям по порядку и выдаются документы.

Бёнике, высокий, с продолговатым лицом, с наметившимся животиком спокойно, тихо — в горсовете никто не помнит, чтобы он когда-нибудь повысил голос — ругался:

— Хорошо, выделите вы квартиру, товарищ бургомистр, ну вот хотя бы этим, — он заглядывал в длинный список очереди, — Кристине и Хорсту Ритшель, у них сейчас один ребенок, и им положена двухкомнатная квартира...

— А они родят еще одного, — подхватывал Вазем.

— Да, да, еще одного, а может, и двух.

— Для такого случая мы, а точнее, вы в отделе, дорогой Бёнике, должны иметь небольшой резерв...

И началось. Лет пять назад это было. Магистрат объявил по всему городу: всех, кто претендует на новое жилье, кто хочет улучшить квартирные условия, просим подать заявления: рабочим и служащим по месту работы, учителям, медицинским работникам, семейным студентам, а также работающим в системе городского хозяйства — в отдел учета и распределения жилья. Месяц с лишним ушел на сбор заявлений, почти год — на работу комиссий по обследованию жилищных условий. У Ниенбургских ворот в тот год начинали строить пять домов. Квартиры еще лежали в блоках на стройплощадке, а их уже распределяли, выдавали документы на заселение. Дальше — больше. Строительство в городе плановое, больших срывов еще не наблюдалось, и магистрат, зная точное количество квартир, которое он получит в году, на пять лет вперед распределил те из них, для возведения которых собственны еще и цемент не выработан, и лес не заготовлен, и песок со щебенкой не завезены. И люди теперь спокойно ждут начала и окончания строительства, зная, что именно для них в том доме возводится жилье, и понапрасну не толкуются в ратуше. Высвободилось время и у сотрудников горсовета, исчезли очереди в коридорах.

— Не будут ли жильцы мешать строителям?

Такой вопрос возникал у меня еще раньше, когда Вазем только упомянул о новом подходе в распределении жилья — ведь они знают наперед свой дом, свою квартиру и будут искать подходы к мастеру, прорабу, да и просто к маляру, чтобы он получше, поизящнее разукрасил холл, ванну или кухню.

— Нет, мы этого не боимся, — уверенно ответил Крафт. — Качество работ у строителей хорошее, а в документе на получение квартиры мы указываем только номер подъезда, номер же квартиры человек узнает накануне вселения в дом. Это не только не мешает, наоборот, ускоряет строительство на месяц, на два.

Большинство людей получают квартиры через профсоюзные организации заводов и фабрик, при которых существуют ЖСК (жилищно-строительные кооперативы). В него рабочий вступает после того, как комиссия магистрата подтвердит его нужду в жилье. Кооперативность в переводе на наш язык — этот забытый горьковский метод — заключается в том, что каждый ожидающий квартиру обязан отработать на строительстве нулевого цикла, только нулевого, пятьсот часов в году, да внести в кассу треть стоимости квартиры⁴. Если раньше люди работали обезличенно, то теперь они выходят на строительство своих домов, работают и энергичнее и добросовестнее.

Вселение в новый дом у человека всегда связано с новыми планами, овеяно праздничной перспективой. У бернбуржцев, как и у подавляющего большинства немцев,

⁴ В ГДР нет государственного строительства в нашем понимании, при котором квартира выдается совершенно бесплатно.

переезд на новое местожительство сопряжен с тремя очень важными, с их точки зрения, моментами.

Перво-наперво, люди берутся за окна. Кому довелось бывать в ГДР, тот не мог не заметить разнообразия в их оформлении, оформлении изнутри, конечно, но так, чтобы оно не осталось незамеченным прохожими. Окна «одеваются» в разнообразнейшие тюлевые занавески со сборками и оборками, подвешиваемые прямолинейно, внахлест, вперекрест, во всю длину стены или вполотка, или в три четверти окна с извилистым низом, обрамленным бахромой. В Бернбурге, а потом еще в Шверине, Роестоке, Лейпциге, Зуле, Галле мне не удалось обнаружить два хотя бы приблизительно одинаково оформленных окна. Каждое из них является выражением индивидуальности их хозяев и высокого искусства декораторов.

Следующая ступень в оформлении квартиры — пол. Немец может отказаться от куска хлеба, от нового костюма, от чего угодно другого, но палас, ковер он должен приобрести в первую очередь, тем более если он въезжает в новую квартиру. «Без паласа нет новоселья у наших горожан», — говорил как-то Вазем. И без новой люстры, без светильников, разнообразие форм и конструкций которых тоже, как и интерьер окна, вызывает удивление и восхищение.

Вот только после этих трех операций, как бы долго они ни длились, начинается переезд на новую квартиру. Кстати, промышленность республики, плановые органы учитывают эти запросы населения и широко поощряют производство товаров народного потребления, в первую очередь тюля, ковровых изделий, светильников, мебели, посуды.

В новые микрорайоны Бернбурга вместе со светильниками, паласами и тюлем вселяется и новый быт, новый уклад жизни. Многие дома, как в гористой части города, так и в нижней — слева от Заале, объединились в своеобразные кооперативы и перешли на самообслуживание.

Порядок и чистота в почете у горожан. Традиционно, по субботам, немки обязательно проводят генеральную уборку квартиры. Хозяйка может недоспать, лишиться ужина, в гостях не побывать, а уборку сделает. В ГДР работающей семейной женщине раз в месяц согласно «Закона о труде» предоставляется один оплачиваемый день для того, чтобы мать, хозяйка провела стирку, уборку квартиры, двора, занялась бы делами, обеспечивающими нормальную жизнь семьи.

Многое из того, что предпринимает магистрат по улучшению жизни горожан, по благоустройству самого города влечет за собой, особенно в перспективе, увеличение его популярности. Идея популярности, известности того места, где ты живешь, давно овладела бургомистром. Ради этого им многое сделано. В Берлине, в Министерстве коммунального хозяйства мне так и сказали: «Благодаря Вазему, его энергии и его смекалке город приобрел новое лицо, помолодел. И там есть у кого и есть чему поучиться».

Нужна ли городу известность? Хорошая, конечно, нужна. Крафт Вазем в своей идее не сомневается. Он считает, что популярность города, деревни, общины помогает интереснее жить. Бернбург в свое время испытал славу и расцвет, повидал и запустение, равнодушные к себе со стороны своих же жителей, со стороны городских властей. Всякая нечисть в душах людей, в устройстве и укладе самой жизни горожан накапливалась еще с первой мировой войны и до тех дней, пока не была учреждена в ГДР народная власть. Не сразу, не в один год, избавился Бернбург от отсталости, провинциализма, от всего, что собиралось десятилетиями. Сейчас в город завлекать специалистов не надо, они в него сами просятся. А лет десять назад Крафт Вазем, представляя себе хорошо, что славу городу приносят люди, пытался привлечь в Бернбург инженеров, ученых, музыкантов, врачей.

Не без содействия бургомистра в городе появился и хирург Балдур Шюра. Ученик известного в ГДР медика, профессора Кноблоха, врач, давно заявивший о себе, он имел основания на то, чтобы выбрать себе место работы в городе поинтереснее, чем слыл в 60-х годах Бернбург. Он приехал тогда по совету доктора Кноблоха, чтобы посмотреть на работу больницы, в которой освободилось место главного врача и главного хирурга, подумать и, возможно, подать документы на замещение вакантной должности. Долго ходил доктор Шюра по палатам и кабинетам, зашел в операционную. Старая и обветшалая больница не ремонтировалась лет восемьдесят. Вслед за Шюрой шла и его жена, постоянный ассистент мужа во всех его операциях. После осмотра шепнула:

— Нет, Балдур, ты не останешься в этой клинике.

А он взял и остался. Магистрат под нажимом Крафта Вазема предоставил Шюре вне очереди приличную квартиру, а когда тот приступил к работе, пройдя сито трех конкурсов, бургомистр пообещал:

— Работайте, налаживайте дела в больнице и рассчитывайте на помощь городского совета.

Года через три обстановка там изменилась, к Шюре начали ехать люди из близлежащих городов, а потом и из отдаленных мест республики.

— Теперь можно и на большее замахнуться — сказал Крафт и попросил Балдура, чтобы он разработал проект реконструкции больницы.

Проект, с которым Шюра пришел в ратушу, не вызвал восторга у бургомистра.

— Давай, Балдур, построим хорошую больницу, а?

— А деньги? Ста тысяч марок, которые у нас есть, едва хватит на рядовой ремонт.

— Деньги поищем, заводы помогут. Вот со стройматериалами, правда, будет сложнее... Проект надо переделывать. Интерьер полностью поменяем, — деловито рассуждал Вазем. — Нужны телевизоры, холодильники большие, радио-телеконтроль, стерео-музыка...

— Перестроим и операционные, новые кабинеты надо создать, — добавил Шюра и с благословения бургомистра отправился в поездку по лучшим клиникам ГДР.

Второй вариант проекта тоже не удовлетворил Крафта, хотя смета возросла вдвое. Остановились на третьем варианте и на сумме в 350 тысяч марок.

Деньги немалые. Пришлось немного подкорректировать городской бюджет на предстоящий год и обратиться за помощью к директорам предприятий. Вазем сумел убедить их в том, что десять — пятнадцать тысяч марок для завода погоды не делают, а условия, в которых будут лечиться рабочие, значительно ускорят процесс возвращения людей в строй.

— У Крафта надо делать все быстро, — говорил мне доктор Шюра, показывая свое заведение. — Он настроен был начать работы в первых числах января, а начали все же только в марте, стройматериалы добывались с трудом.

В январе и феврале Шюра еще раз поехал по больницам республики. Его интересовало одно: «Какой завод делает аппаратуру для радио-телеконтроля за больными?», «Где вы приобрели плитку?», «Где обои купили?» и т. д. И еще одну поездку предпринял Балдур Шюра — на сей раз по предприятиям.

Больница, которую возглавляет доктор Шюра и где является главным хирургом, напоминает жилой дом, в котором хороший хозяин со вкусом и добротой отделал все квартиры, благоустроил вокруг него территорию. Вместо привычных белых стен разнообразные обои, чего раньше в клиниках не бывало, да и нет почти нигде. Удобная мебель, специальные кровати, телевизоры, радио с наушниками, телефоны, мягкий свет, паласы на полу создают исключительно приятный для больных уют и напоминают им домашнюю обстановку. Две палаты отведены для тяжелобольных. За ними медицинские сестры постоянно наблюдают по телеканалам. В приемной больницы установлен видеотелефон, и больной может не только говорить со своими родными и близкими, но и видеть их на телеэкране.

Подверглись реконструкции и лечебно-профилактические кабинеты, появилось отделение физиотерапии, обновилось почти полностью медицинское оборудование. Вместо одной, стало две операционные — голубая и зеленая. Большее впечатление производит зеленая. Пол и стены до потолка отделаны зеленой плиткой, халаты и колпаки у врачей — темно-зеленые, зато во всем белом — больной, на стерильно белых простынях разложены отдающие матовой белизной инструменты, белого цвета аппаратура. Строгие, внимательные глаза оперирующих лучше ориентируются в такой обстановке, отчетливее кажутся их движения и мимика.

Хирургическая лечебница доктора Шюры давно вышла на республиканскую орбиту, прибавила Бернбургу известность. На ее базе не эпизодически, а вот уже восьмой год подряд проводятся, а два последних года непосредственно под патронажем бургомистра, добившегося частичного финансирования, межпредметные хирургические конгрессы. В старинный Бернбург теперь едут медики со всей республики. И надо понимать, не только новые стены, зеленая плитка и строгие обои привлекают их сюда. В медицине, как и в других направлениях науки, техники, технологии специализация приобретает все более серьезный уровень, а конгрессы в Бернбурге объединяют многие «разбегавшиеся» науки, без «стыковки» которых немислимо дальнейшее углубленное развитие хирургической медицины.

Доктор Шюра — активист городского совета, его депутат, первый помощник бургомистра по проблемам развития медицины. Он состоит в активно работающем в городе клубе интеллигенции, в который входят и многие другие ученые, специалисты, актеры, в том числе и директор одного из старейших в республике театров имени Марии фон Вебера Вольфганг Райнер. Но о нем разговор особый...

Райнер приехал в Бернбург значительно раньше Шюры и в более сложное время, тогда, когда многие жители покидали его древние стены. Театр призван был хоть как-то повлиять на жизнь горожан и, как говорили в райкоме партии, повлиять. Многое сделал сам Райнер.

У Вольфганга Пиккеля (Райнер его актерский псевдоним, ставший в последние годы и фамилией) за увеличительными стеклами в роговой оправе прячутся черные, пронзительные, чуть-чуть уставшие глаза. У него густые, гладко зачесанные на правый бок волосы, с еле заметным пробором слева. Строгое, даже несколько грустное, пока он не улыбается, лицо. Улыбка добрая, располагающая. Райнер не только директор театра, он актер, музыкант, композитор, певец.

В большом городе многие случаи из городской жизни, даже порой очень острые и весьма пикантные, остаются зачастую незамеченными, в маленьком же наоборот — любое, иногда и совсем незначительное, пустяковое происшествие становится историей, которую люди подолгу передают из уст в уста, добавляя к ней что-то свое. Подобное случилось в начале 60-х годов и в Бернбурге.

Крафт Вазем в то время, после длительной службы в армии, только вернулся в город и был назначен, как уже упоминалось, начальником управления местной промышленности района. Он много сил отдавал новому для себя делу, к тому же учился заочно в институте и ничем другим не интересовался. Но историю с советским офицером, отыскавшим Райнера, чтобы поблагодарить его за концерты, с которыми тот выступал сразу же после войны в грузинском селении Мачаури, помнит.

Вот как это произошло. Осенью 44-го Вольфганг попал в так называемую дивизию народных гренадеров, которой командовал семидесятидвухлетний генерал в отставке, в прошлом генерал еще саксонских королевских войск. Сюда, под Мюнхен, почти два месяца сгоняли музыкантов, певцов, актеров, были и поэты, писатели, гримеры, портные, парикмахеры, в общем, все те, кто в свое время обслуживал армию, находясь в концертных бригадах. В конце сорок четвертого фашистам было уж совсем не до концертов и Пиккелю пришлось сменить скрипку на автомат, ранее он его в руках не держал. Ему выдали еще заплечную сумку из телячьей кожи, железную каску, патронташ и железный номер на шею...

В сорок пятом Вольфгангу Пиккелю было двадцать два года. К осени военнопленных из южной Чехословакии стали отправлять в Советский Союз. Перед отъездом всем, кто имел раньше, роздали музыкальные инструменты. В страну, которую Гитлер пытался удушить, Вольфганг Пиккель ехал в товарном вагоне, на соломенной подстилке, прижимая к груди скрипку. Сначала взору открылись разбитые города, разрушенные и сожженные села Украины и России, а потом блистательная красота и обильная щедрость грузинской земли. В сорока километрах от Тбилиси, в засушливой местности приехавшие построили для себя лагерь — бараки и деревянный клуб. В нем собралось сорок тысяч военнопленных. Строили дорогу, металлургический завод. Год работал Пиккель кессонщиком, строил в составе большой группы мост через Куру, которая протекала несколько южнее лагеря.

— Вот бы поехать сейчас и посмотреть, — говорил он, — некогда. В консерваторию бы зашел обязательно, многому я там научился.

Какой бы тяжелой ни была работа, а со скрипкой Вольфганг не расставался. Иногда раскрывал футляр, трогал левой рукой струны, проводил смычком и замирали окружающие, услышав с детства знакомые мелодии. В лагере создали хор, хороший оркестр, театральную труппу, и Пиккель, несмотря на усталость и тяжелую работу, старался не пропустить ни одного концерта. Начал сам сочинять музыку.

Через год часть военнопленных людей, наиболее позднего призыва в гитлеровскую армию, либо старых, либо молодых, стали отпускать домой, в Германию, там начиналась новая жизнь. Предложили ехать домой, на родину, и Вольфгангу. Но он заколебался, еще не зная, есть ли она у него, эта родина, и спросил:

— А можно мне остаться?

— Не возбраняется, — ответил ему тут же советский майор.

Остались и многие другие музыканты, певцы, актеры. Вольфганг теперь уже ничем

другим не занимался, как по два-три раза на день выступал с концертами, и не только перед своими соотечественниками. А осенью начальник лагеря, узнав, что Пиккель серьезно увлекается музыкой, разрешил ему два раза в месяц ездить на лекции в Тбилисскую консерваторию. Друзья по такому случаю собрали денег и купили Вольфгангу гражданский костюм. В Тбилиси он ездил без всякой охраны.

Тот год, с осени сорок шестого по лето сорок седьмого Вольфганг вспоминает как очень счастливый. Он учился в консерватории, часто выступал с концертами, выезжал с труппой в грузинские села. В одно село, Мачаури, концертная бригада выезжала раз пять или шесть. И всегда в сельском клубе собиралось столько народа, что яблоку негде было упасть.

Весной сорок седьмого Вольфганг через Красный Крест наконец отыскал своих родителей и жену, которым сообщили, что он погиб в Чехословакии, и они поэтому после окончания войны его не стали разыскивать, как это делали другие. Жена Райнера до сих пор хранит карточку Красного Креста и Красного Полумесяца блекло-синенького цвета, на которой приклеена фотография молоденького, худенького, с длинной шеей Вольфганга, остриженного под бокс, с острым носом. На ней помещен адрес его лагеря и его рукой написано: «Дорогие мои папа и мама, любимая жена! Если вы живы, откликнитесь, сообщите мне свой адрес. Я нахожусь в Советском Союзе»...

— И вот однажды,— рассказывал Райнер,— я собирался на работу, в театр, в квартире был один, кажется, музицировал на рояле, вдруг услышал протяжные звонки в дверь. Я поднялся, открыл.

— Вы товарищ Пиккель?— спросил меня человек в форме советского офицера на хорошем немецком языке.

Еще ничего не понимая, ответил ему:

— Яволь (да). Но Пиккелем я был давно, моя фамилия Райнер.

— Товарищ Пиккель, а я из Мачаури,— горячо заговорил капитан,— из Мачаури, вы меня не узнали? Я Данелидзе, Отар Данелидзе из Грузии! Из Мачаури! Проездом в Бернбурге!

— Деревню Мачаури помню, почти двадцать лет прошло...

— А я всегда сидел в первом ряду на ваших концертах.

В тот вечер Отар Данелидзе⁵ тоже сидел в первом ряду и наслаждался пением Пиккеля-Райнера. По его просьбе Вольфганг исполнил отрывки из оперетты «Поездка в страну грез», которую он написал в Грузии и исполнял в Мачаури в 1946 году. А под конец представления вне всяких программ Вольфганг спел «Где же ты, моя Сулико?»...

Пошел двадцать третий год, как Райнер переехал в Бернбург, двадцать из них он возглавляет театр.

Театр в Бернбурге любили во все времена и сейчас любят. В ГДР 110 городов имеют свои театры. И Бернбург входит в их число.

Вот уже двадцать лет изо дня в день в седьмом часу вечера пересекает площадь из серой брусчатки и направляется в театр среднего роста коренастый человек с широкоскулым лицом, с темными, аккуратно причесанными волосами, в темном костюме и белой рубашке, с черной бабочкой у подбородка. Это идет на работу Вольфганг Райнер. Случается иногда, что около шести, вместо четырех, с работы уходит Крафт Вазем, и тогда их пути пересекаются. Они стоят друг против друга либо на площади, либо у театра минут десять, о чем-то говорят. Потом Вольфганг скрывается за массивной театральной дверью, а Вазем продолжает путь дальше через площадь, вниз к Заале, в направлении к дому.

Не существующая официально, но так называемая многими театральная площадь втягивает в себя семь улиц. Лейпцигштрассе, уходящая изгибом на юг, у сквера Луи Брайле разветвляется на две улицы — Кюстринштрассе и имени Ольги Бенарио.

Интернационалистка Ольга Бенарио тайно уехала из фашистской Германии, как только к власти пришел Гитлер. Жила в Москве. А когда ее опыт революционера понадобился международному коммунистическому движению, Ольга не колеблясь пошла на выполнение сложного задания. Ей было поручено сопровождать и охранять национального героя Бразилии, руководителя бразильских коммунистов Луиса Карлоса Престеса, который нелегально возвращался на родину. История знает немало примеров большой дружбы между мужчиной и женщиной, основой которой являются общие идеалы борьбы за счастье человечества. И если такая дружба перерастает в любовь, то ей не страшны никакие ис-

⁵ К сожалению, фамилию капитана Советской Армии В. Райнер не помнит точно.

пытания: ни фашистские застенки, ни пытки. Геройски выдержала эти испытания и Бенарио. В подполье Ольга стала женой Луиса Престеса.

Бразильский фашизм устроил слежку за Престесом. Не прошло и года как Луиса схватили и приговорили к шестнадцати годам тюремного заключения. Ольгу же цинично передали гитлеровцам. Сколько мук вынесла Ольга, какие унижения и пытки вытерпела в фашистских лагерях, борясь за свое освобождение до последних дней! В женском фашистском лагере Равенсбрюк Бенарио-Престес родила дочь. И снова терзания, переживания, тернистый путь по мукам: маленькую Аните, спустя год с небольшим после рождения, пытаются у нее отобрать и отправить в детский приют. Теперь она вела неистовую борьбу не за себя, а за свою дочь, упорно добиваясь, чтобы ее передали бабушке Леокандий Престес. И в конце концов добились.

Пять лет длилось хождение по мукам Ольги Бенарио в лагере Равенсбрюк. Однажды ее и еще несколько девушек разбудили среди ночи, заставили подняться в грузовик и куда-то повезли. Девушки кричали и отбивались. Ольга же была внешне спокойна. Теперь, когда машина тронулась, они сидели неподвижно, склонив головы на плечи Ольги, и как будто спали. Колеса уже вращались много часов подряд, дважды делали остановки, и оба раза Ольга в полумраке крытого грузовика осторожно брала в руки карандаш и бумагу: «Мы в Бухе, под Берлином». Следующую запись Ольга делает спустя два с лишним часа: «Только что отъехали за Дессау, обращаются с нами сносно». Еще через час с лишним в темноте въехали в гараж. Там их выгрузили и через вторую маленькую дверь ввели в здание. В приемной врача им велели раздеться, и Ольга еле успела засунуть в подол записку о маршруте.

Когда грузовик привезет одежду несчастных женщин в лагерь, равенсбрюкские узницы по арестантскому номеру найдут юбку Ольги, извлекут из подола записку и узнают, куда был направлен этап. Ее сожгли, отобрав спинной мозг, в печах крематория.

Ольга Бенарио своей кровью заплатила за право быть забытой людьми нового времени. На пересечении Вайсхаусштрассе (Белодомная) и Ольги Бенарио стоит высокая, светлая школа ее имени. Просторный двор школы завершает памятник-стела отважной женщине. На нем высечены слова Ольги: «Я всегда боролась за правое, хорошее, самое лучшее в мире».

Поклониться праху своей жены в Бернбург приезжал, выйдя из многолетнего заточения, Луис Карлос Престес вместе с дочерью Аните.

Бернбург строится, растет, расширяется. Ольга никогда его не видела, их привезли ночью, а если бы увидела сейчас — поразовалась бы открыто и широко, как это она умела делать. Один поселок Сальвадора Альенде, выросший рядом с улицей ее имени и недалеко от областной психиатрической больницы, здания, где сложили головы 60 тысяч женщин — добрая память всем, кто отстоял мир, кто в годы войны дрался с фашизмом, кто погиб от его руки. В поселке Альенде что ни улица, то новое имя интернационалиста, что ни дом, то своеобразие архитектуры. Он так красив и ухожен, что его хочется сравнить с букетом цветов, только что принесенных на могилу героев. И памятник Ольге Бенарио и поселок Альенде появились в Бернбурге с приходом в магистрат Крафта Вазема.

Человек, хоть один раз сделавший для города бескорыстное, доброе дело, удостоивается поощрения и внимания со стороны властей. Правило такое бургомистр завел почти с первых лет своей работы в магистрате. И теперь городскому совету могут послужить верой и правдой и служат Сотни, а то и тысячи активистов. Свои люди у горсовета есть во всех точках города, в разных общественных организациях: от партийных организаций и торгового кооператива «Конзум» до комсомольских и женских ячеек.

— Люди стали проявлять завидную активность, — делился со мной первый секретарь Бернбургского райкома партии Вилли Барабас, проработавший в районе и в городе почти пятнадцать лет. — Раньше такого не замечалось, особенно, если речь идет о городской жизни, городских делах, благоустройстве города, его реконструкции. С приходом в горсовет Вазема люди в городе помолодели, смелее стали и самостоятельнее.

«Один ничего не сделаешь», — часто повторяет Вазем. А те, кто хорошо знают его, общаются с ним, твердят: «Крафт не терпит медлительности».

Возможно, именно эти черты бургомистра помогли людям с разными характерами и наклонностями обрести себя, стать активистами в городском народном представительстве, что в сочетании с бережным отношением к социалистической собственности рождает новые отношения друг к другу и к социальному укладу в целом.

Сотни, тысячи горожан знают Вазема лично. И это почетно для бургомистра, но и сам он стремится к тому, чтобы заслуженных граждан города, рядовых его жителей, отличившихся или в труде или на поприще общественной работы, знал бы каждый житель. С тех пор как кресло бургомистра в ратуше занял Вазем, ряды славных горожан растут и растут. Назвать всех невозможно. Со многими читатель уже познакомился. Хочу добавить еще имена шофера «БелАЗа» с цементного комбината Вернера Раслера, который преодолел внутреннюю обособленность, замкнутость и стал одним из активнейших озеленителей, душой и даже организатором весенних посадок в городе кустов, цветов, саженцев, и Вилли Ритшеля, рабочего с «Содаверке», Героя Социалистического Труда. Мы встретились с ним в вечернем кафе «Бернбург», в крепости, там бургомистр устроил тогда встречу с передовиками производства, а потом — на заводе. Благодаря Вазему известность в городе получил и Манфред Лани. С детства воспитанный на частно-собственнических взглядах на жизнь, он с его помощью сумел завоевать в городе имя не просто доблестного официанта и мастера кулинарных изделий, но и человека, активно помогающего своим трудом делать более благоустроенной жизнь горожан.

Имя Манфреда Лани я услышал впервые в связи со случайно встретившейся мне записью в книге почетных гостей города Бернбурга: «Когда-то молодым советским солдатом оставил я здесь, в Бернбурге, кусочек своего сердца. Сейчас оставляю еще один кусочек. И надеюсь все же на оставшемся еще дожить до ста лет. Всего лучшего. Михаил Танич. 13 сентября 1979 год».

— Значит, Танич и раньше бывал у вас? — уточнил я у бургомистра.

— Он дружит с фрау Мартой и ее сыном, поддерживает с ними добрые отношения года, кажется, с сорок пятого. А я с ним познакомился в семьдесят первом.

Молоденький солдатик, понюхавший в свои двадцать лет немало пороху, артиллерист Миша Танич прибыл в Бернбург 1 июля 1945 года. До этого в городе находились воинские части армии США. Служил Михаил и воевал в 168-м истребительно-противотанковом артиллерийском полку и с окончанием войны мечтал об одном — о футболе. Очень ему хотелось стать классным футболистом. Мечтал он и о поэзии. Еще в школе сочинение на вольную тему написал в стихах. Писал стихи и на фронте. Под конец войны решился и послал тетрадку со своими произведениями в газету «Красноармеец». Ответ пришел за подписью Степана Щипачева — он хвалил. Письмо Михаила воодушевило, но газета так ничего тогда и не напечатала.

Война закончилась, а туго закрученная пружина в людских душах еще не размоталась, она держала их в напряжении. Михаил никак не мог привыкнуть к состоянию бездействия, к тишине и находил разрядку в футболе.

Молодые немцы тоже гоняли мяч, отдельно от советских солдат. А потом как-то родилась идея с той стороны, от немцев она пришла, устроить футбольный матч. Идею приняли. Стали готовиться. Клуб «Вакер» гонял по полю свою команду, воинская часть — свою, тренировались тщательно. А потом встали друг против друга по тринадцать футболистов — от «Роте Арми» и от «Вакера».

Жили немцы тогда плохо. Заводы и фабрики стояли, на работу никто почти не ходил. Есть было нечего, но часто выручали каша и сало советских солдат. Взрослые таились, стыдились, а дети, голодные дети в охотку становились в очередь к котлу с кашей. Свидетелей в Бернбурге много, особенно детей того времени. Энергичной, худощавой Хельге Зайер — она сейчас отвечает за всю кооперативную торговлю в районе — тогда было десять лет, и она хорошо помнит, как это все происходило. Хуже было с куревом. Палку с острым гвоздиком носили с собой многие курящие немцы: с ее помощью незаметно, к тому же не наклоняясь, можно было подобрать попавшийся на глаза окурочок. Ходили все медленно, смотрели друг на друга пристально, говорили полушепотом. В лесах еще бродили эсэсовцы. Враг притаился и за каменными стенами домов. Что будет дальше с ними, из горожан мало кто ведал. Михаил наблюдал за этой жизнью, записывал что-то в блокнот, пытался освободиться от душевного напряжения, выбросить оттуда пружину, но доверяя немцам он не чувствовал, а насиловать себя не хотел. В его душе поселилась отчужденность к людям, по вине которых миру пришлось пережить такое горе. И вдруг... Мальчик, беленький двухлетний Манфред, бросился в глаза Мише Таничу. Он стоял у ворот и тер кулачком свой грязноватый нос... Михаил потянулся к несмышленишу, сделал к нему два шага, а тот, никогда не видевший и не знавший своего отца, в свою очередь, протянул к нему ручонки и, обхватив крепко смуглую шею Танича, долго не отпускал от себя «фати». Мальчик не спускал с Танича глаз, что-то лепетал и улыбался. Улыбался и Михаил: пухленький и хрупкий малыш обескуражил его.

Жил маленький Манфред со своей «мути», ее звали фрау Марта. После смерти мужа — он умер от ран — Марта Лани одна заправляла «Парадисом». Было очень трудно. Из-за недостатка продуктов хозяйка чуть было не закрыла свой ресторан. Но кому-то вдруг понадобилось помещение под склад, и Марта сдала один зал в обмен на сахар. Потом появилось кофе, пиво. Из каких-то ягод, сахара, спирта, добытого еще у американцев, она начала делать «Черное вино». «Парадис» пошел в гору. Запахло вскоре и пирожками, она давно слыла мастерицей в кулинарии. Но пирожки, несмотря на то, что ресторанчик был частный, продавали только тем, кто приходил сюда с талонами: советские оккупационные власти временно ввели в городе карточную систему...

Танич помнил о белобрысом мальчонке и симпатичной фрау Марте, но лишь в 71-м сумел попасть в Бернбург, став уже известным советским поэтом, поэтом-песенником. Радужно принявшая его фрау Марта по-прежнему пекла вкуснейшие пирожки. Работал теперь в ресторане и Манфред, двадцативосьмилетний молодой человек с дипломом Лейпцигского института народного хозяйства в кармане. Помогал и отчим. Семейное предприятие набрало сил и процветало. Отчим взялся за сад на скалах, создав за пять лет много беседок, каменных террас, высадив десятки деревьев, сотни различных цветов, вымостив камнем и посыпав желтым песком вьющиеся от дерева к дереву, от скамьи к скамье удобные тропинки. Многие горожане любят проводить время в «Парадесе».

Марта Лани вспомнила и пересказала Таничу слова своего покойного мужа, которые он произнес после нападения Гитлера на СССР.

— Ты увидишь, Марта, — говорил Альфред, — Гитлер дурак, полный дурак. Русские будут пить кофе в нашем ресторане...

И по сей день продолжается дружба между семьями Лани и Танича. В свой первый приезд к Лани Михаил Танич подарил фрау Марте пластинку. Она гордится ею, как и той, с записью песен хора донских казаков, которую приобрели они с Альфредом накануне войны. Когда взгрустнется, вспомнит мужа, слушает старинные русские песни, но чаще ставит ту, что подарил Михаил Танич. На пакете пластинки поэт оставил надпись: «Фрау Марте! Когда наши страны еще были врагами, мы уже были друзьями. На счастье — мои песни. Михаил Танич. Бернбург. 1971 год».

Несколько раз в Москве побывал и Манфред. По путевке «Интуриста» он почти месяц провел в столицах республик Средней Азии и вернулся в Бернбург пораженным не только экзотикой городов, своеобразием их архитектуры, шумными и пестрыми восточными базарами, но и стабильностью, материально и духовно насыщенной, здоровой, процветающей жизнью людей.

Манфред человек общительный, и все, что знает о жизни в Союзе, как он выражается, знают и бернбуржцы, потому что он рассказывал им о своих поездках часто здесь же, в ресторане, с показом диапозитивов, книг, альбомов. «Парадису» ко двору пришлось со временем негласное название «Русская изба». И партийные и городские власти стали возить сюда на обеды и ужины почти всех гостей, попадающих в Бернбург из СССР.

Не миновала и меня эта участь. Манфред работал виртуозно, обслуживал нас с блеском, достойным всякого уважения к его профессии. К концу седьмого десятка лет фрау Марта решила отдохнуть, поэтому ресторан стал наполовину частным, наполовину государственным предприятием. Молодой Лани был не только официантом, кулинаром, но и совладельцем ресторана. Крафт Вазем несколько лет очень внимательно присматривался к работе Манфреда, вовлекал его постепенно в различные городские мероприятия, в общественные дела, связанные с отдыхом горожан, а когда потребовался заместитель директора для новой зоны, которую по решению магистрата назвали, как и ресторан, «Парадис», бургомистр без колебаний предложил кандидатуру Лани.

1979 год был последним в жизни частного ресторана. Фрау Марта и Манфред оставшуюся за ними половину сдали, не бесплатно, конечно, государству. Оставшись заместителем директора зоны отдыха «Парадис», Манфред все же загрустил, загрустили по прошлому делу его руки, без которого жизнь оказалась менее интересной, не такой, как раньше.

Полгода мучился Манфред и в конце концов не выдержал, пошел к бургомистру. Крафт Вазем, зная натуру Манфреда, ждал этого визита, и когда увидел на пороге своего кабинета Лани, с иронией произнес:

— А я тебя давно поджидал, Манфред, и место даже подметил для твоего будущего заведения.

— Спасибо народной власти, — поблагодарил Лани и крепко пожал руку бургомистру.

А тот, конечно, не удержался и позвал Манфреда к карте. Может, Вазем руковод-

ствовался своими какими-то соображениями, вытекающими из нужд горожан, может именно в том месте освободился первый этаж старого дома, только будущее кафе он предложил разместить на пути из старого города Тальштадта к бульвару Вильгельма Пика, между старинной гостиницей «Голден кугель» («Золотой шар») и Фриденштрассе, одной стороной выходящей к театральной площади.

Сейчас в кафе «Пикалло», славящемся различными сладостями, мороженым и кофе, нет отбоя от посетителей. Но Манфред не отказывается и от общественных дел, остается постоянным активистом городского народного представительства.

Пример с Манфредом Лани говорит сам за себя. Частный сектор, мелкие ремесленники не выпадают из поля зрения бургомистра и его окружения, особенно, если речь идет о сфере обслуживания. И прежде чем говорить об этом, а мы с Крафтом не один раз касались проблем частного в социалистическом государстве, в частности в ГДР, необходимо хотя бы в общих чертах остановиться на сфере обслуживания в городе.

Главнейшая ипостась ее — торговля. Она находится в руках государства, а также торгового общегосударственного потребительского кооператива «Конзум», который располагает своей исполнительной властью и торговой сетью во всех городах и районах ГДР. В Бернбурге районный совет «Конзум» возглавляет стремительная, деловая Хельга Зайер. Под ее началом работают 1.110 человек, которые обслуживают посетителей в 200 магазинах, 50 ресторанах, столовых и кафе города и района. Медицинское, пенсионное обслуживание, образование давно очерчены государственными рамками и финансируются Народным банком.

Есть в городе и промышленно-государственная сеть сферы обслуживания. Комбинат бытового обслуживания на весь Бернбургский район выполняет почти 30 различных видов услуг: от индивидуального пошива одежды, химчистки и до ремонта зонтиков, солнцезащитных очков. Комбинат самоокупаем. Ежегодная прибыль составляет 250—300 тысяч марок, из которых добрая половина оседает в карманах и кошельках рабочих в виде годовой премии, тринадцатой зарплаты и т. д. Как и в каждой стране, ряд услуг пользуются у населения более интенсивным спросом. Это парикмахерское дело, ремонт обуви и ее пошив, ремонт бытовых приборов. Особая статья — мытье окон. Точнее — чистка окон. Их не моют, но чистят насухо специальным составом и, как правило, по субботам. Если окна в понедельник окажутся грязными — вся неделя насмарку. Чистку окон хозяйка не доверяет никому, как и стирку белья. Поэтому городские прачечные не пользуются успехом, а за хорошую стиральную машину немецкая семья отдаст любые деньги, но за хорошую.

Как в партийных органах, так и в магистрате считают, что даже развитой социализм Германской Демократической Республики не может и не должен полностью отказываться от услуг частных предпринимателей, от труда ремесленников, от такого вида работ и обслуживания, которые не поддаются индустриализации, тем более что в ГДР традиционно сложилось так, что без частного сектора в сфере обслуживания не обойтись. В Бернбурге зарегистрировано 450 маленьких кустарных бригад и артелей, в каждой из которых может работать и работает не более десяти человек.

Кто хоть раз бывал в ГДР, тот помнит, какое удовольствие дает по утрам человеку свеженькая, теплая еще маленькая булочка к завтраку, выпеченная на заре. В Берлине они называются «брётхен» или «шриппен», в Лондоне — «френч бан», в Париже — «бриошь». Особенно вкусными булочки получаются у мастеров ручной выпечки. Рассказывали, что в Берлине полгода назад в магистрат пригласили несколько сот пекарей и предложили им открыть частное производство «брётхен», так как без них неммыслим завтрак берлинца, а булочки государственных пекарен стали черстветь, залеживаться. И что же? Лишь человек восемьдесят пошли навстречу городским властям — ручной труд и в сфере обслуживания выходит из моды.

Бернбургский городской совет давно пробует наладить сеть маленьких кафе, где бы люди могли хорошо провести тридцать—сорок минут. Кое-что получается, но работа еще предстоит немалая. Вот почему бургомистр ждал Манфреда и, главное, верил, что он придет к нему. Лишь два месяца ушло у Лани на реконструкцию и отделку под дерево помещения, закупку и установку оборудования для приготовления мороженого, сладостей и кофе, на приобретение мебели. Абсолютно все работы в кафе провела частная артель строителей, занимающаяся в городе в основном выполнением незначительных, мелких по объему операций.

В «Пикалло» Манфред Лани сам готовит разнообразнейшие пирожные, ему помогают молодая, дальняя родственница, продающая мороженое, и его знакомый, лет двадцати пяти

парень, который обслуживает зал на пятнадцать—двадцать мест. Таким образом, частное предприятие Лани состоит из трех человек.

Среди всех бернбургских частных артелей, предприятий, торговых точек, а также объединений кустарей-ремесленников больше всего — строительного направления. И пусть не покажется странным, но к жизни их вызвал магистрат, а точнее, сам бургомистр, когда началось претворение в жизнь плана реконструкции отдельных участков города, ряда домов, модернизации квартир в старой части города. Почти три с половиной тысячи человек в городской черте и в районе заняты частным предпринимательством. И это несмотря на то, что в городе в сфере бытового обслуживания не хватает около пятисот пар рук. В рамках государства частное предпринимательство и ремесленничество поощряется и развивается. Опыт его в ГДР накапливался годами.

Основы политики по отношению к частно-индивидуальному сектору были заложены тридцать с лишним лет назад, а если точнее, то в 1950 году, в пору серьезных социальных размежеваний в стране. Состоявшийся тогда III съезд СЕПГ разработал меры по развитию и укреплению социалистического сектора в народном хозяйстве, а также по пресечению роста капиталистических тенденций в среде частных предпринимателей. Осуществляя определенную налоговую и кредитную политику, а также политику цен государство постепенно вводило кооперативные формы хозяйствования.

Спустя шесть лет, на III партийной конференции СЕПГ было решено, с одной стороны, содействовать организации производственных кооперативных объединений частных ремесленников (ПКО), а с другой — передать под контроль государства все оставшиеся крупные частнокапиталистические предприятия. Процесс преобразования частных капиталистических предприятий в социалистические завершился в ГДР в 1972 году.

Летом 1980 года в Берлине состоялась VII конференция по вопросам строительства. На ней горячо выступал каменщик Эрвин Фишер, владелец частной мастерской по мелкому строительному ремонту. «Уже сам факт, что я выступаю на этой конференции,— говорит он,— убедительно свидетельствует, что ремесленникам отводится важное место в социалистическом строительстве и они пользуются поддержкой государства». Фишер внес ряд предложений, направленных на улучшение труда ремесленников, на решение существующих проблем в сфере жилищного строительства. Он сделал упор на расширение сотрудничества частных мастерских и кооперативных объединений с государственными предприятиями и местными органами власти.

Такие предложения, а главное, сами действия ремесленников вполне отвечают социальной программе СЕПГ, наметившей решить жилищную проблему к 1980 году. Министр строительства республики Вольфганг Юнкер, выступая вскоре после конференции по телевидению, подчеркнул важность внесенных предложений и сообщил, что с их учетом его министерство приняло решение, ориентирующее предприятия отрасли на помощь ремесленникам материалами и инструментом.

Более тридцати лет назад по предложению Национально-демократической партии Германии Народная палата ГДР приняла закон о содействии ремеслу. Правительство республики и ЦК Социалистической единой партии Германии поддержали развитие ремесла; и сегодня можно взглянуть на результаты.

Вклад ремесленников в осуществление социальной политики СЕПГ достаточно ощутим. Они выполняют в настоящее время 70 процентов всех работ по ремонту жилого фонда и бытовому обслуживанию населения, в том числе ПКО — 40 процентов. В Берлине, например, к тридцатилетию закона о содействии ремеслу работало 159 производственных кооперативных объединений. В них занято почти 12 тысяч человек. Еще 17 тысяч ремесленников трудятся в частных ремонтных мастерских, пекарнях, мясных лавках и т. д.

Правительство республики по мере возможности содействует расширению частного сектора. За четыре года, как отмечал заместитель министра торговли и снабжения Манфред Меркель, выдано почти шесть тысяч разрешений и лицензий на открытие частных мастерских и торговых точек. Половину из них получили комиссионные торговцы и владельцы кафе, в том числе Манфред Лани и еще трое бернбуржцев.

Магистрат Бернбурга, а это делается и в других городах ГДР, предусматривает некоторые формы материального стимулирования частных предприятий и ремесленных объединений: выгодные кредиты, дифференцированные налоги и другое. Государство оказывает помощь ремесленникам и предпринимателям в модернизации их производства, снабжении материалами, инструментом, им отпускаются по государственным ценам электроэнергия, горюче-смазочные материалы, уголь. Многие частники в Бернбурге являются

одновременно и членами ПКО ремесленников. Пример тому Гельмут Кнауфт — столяр, дизайнер, обивщик мебели, плотник, паркетчик, одним словом, мастер на все руки.

Кнауфт слывет в городе человеком образованным и интеллигентным. Живет он на втором этаже старинного домика, построенного лет триста тому назад. Расположен он в пяти минутах хода от крепости в одну сторону и от бульвара Вильгельма Пика — в другую. В руках Гельмута дом приобрел современный вид не только изнутри. Первый этаж отведен под мастерскую, второй — под жилье. В мастерской Кнауфта вместе с ним работают 6 человек и каждый из них специалист четырех-пяти направлений. В целом артель специализируется на ремонте мебели, полов, декорировании окон. Жена Кнауфта — учетчик и бухгалтер. Мастерская входит в кооператив ремесленников, который снабжает ее всем необходимым. Поэтому весь обивочный материал, гвозди, деревянные рейки и т. д. Кнауфт получает согласно своих заявок по государственным ценам, а за услуги ежегодно выплачивает своему кооперативу определенный взнос. Гельмут Кнауфт как-то говорил, что вряд ли бы его артель удержалась, если бы не кооператив.

Удивительные вещи порой делает люди и удивительно просто, раскованно, по-хозяйски вдумчиво, рачительно живут они, радуясь результатам своего труда. Работой Кнауфта можно любоваться часами, потому что во всем, что делает мастер, видны черты искусства, выдумки. Гельмут еще и поет. Баритон Кнауфта можно часто услышать в мужском городском хоре ремесленников. Обе его дочери, учительницы Барбара и Регина, также раз в неделю спешат на занятия женского городского хора. И профессиональное мастерство и любовь к пению в семье идут из поколения в поколение. В мужском хоре пели дед и прадед, а краснодеревщиками Кнауфты значатся с пятого колена. Но всему этому чуть было не положила конец война, развязанная фашизмом. С восточного фронта не вернулись оба брата Гельмута, оба декораторы, оба столяры. Не только традиция, но и род Кнауфтов повис на волоске.

Самый младший из них Гельмут, ему было тогда девятнадцать лет, в военную машину попал в середине 1943 года. Киев, где он пробыл неделю, выглядел опустошенным и разбитым. О нем, цветущем и красивом, спустя тридцать лет, отцу рассказывала старшая дочь Регина, которую наградили за отличную учебу в институте туристской путевкой в СССР. Много дней слушал по вечерам Кнауфт свою дочь, которая, разговорившись, в запальчивости посоветовала отцу:

— А ты купи путевку, и сам увидишь, какая земля там вокруг цветущая...

— Трудно мне это сделать, — ответил ей отец, — ведь я там воевал...

Получив тяжелое ранение у Днепра, Кнауфт провалялся полгода в госпиталях Европы, а потом был отправлен на западный фронт. Год пробыл в плену.

В Бернбурге он застал еще живым своего старенького отца, в прошлом великолепного мастера-краснодеревщика. Первое, что сказал он, увидев на пороге сына, не удивило Гельмута: «Ты должен все взять в свои руки, иначе конец Кнауфтам».

Гельмут упорно и долго учился. Сколько мог, советами в основном, помогал ему отец. Экзамены Гельмут сдавал по давней традиции в союзе ремесленников и получил звание мастера-декоратора, дававшее определенное право на ведение частной практики. Не скоро взялся он за настоящее дело, коим славился в Бернбурге род Кнауфтов: в первые годы после войны не до декорирования квартир было людям. Зато в последний год ушедшего седьмого десятилетия артель Кнауфта вовлекла в оборот 260 тысяч марок.

У Эрхарда Хёфингхоффа в отличие от Кнауфта в его частной строительной конторе вместе с ним и женой — она занимается заказами, регулирует объемы работ, графики исполнения срочных заявок — работают не 6, а 8 человек. И почти все они, за исключением одного маляра, плотники, столяры. Работы бригада Эрхарда выполняет самые различные, самые необычные, главным образом мелкие. Не обходится и без серьезных объектов, заказов, таких, например, как кафе «Ликкало», которое артель Эрхарда мастерски отремонтировала, обшив стены деревянной рейкой, за неделю.

Эрхард Хёфингхофф — депутат народного городского собрания, член комиссии по строительству, а его бригада полностью ответственна за состояние Тельманплац, откуда берет свое начало и уходит далеко на северо-запад, к Вальдау, старинная Брайтештрассе. Второй год ведется реконструкция площади и улицы. Поэтому два раза в году, во время субботников, Хёфингхофф выводит и свою бригаду, которая наряду с другими горожанами работает безвозмездно, возвращая площади ее первоначальную красоту, какой блистала она триста и сорок лет назад.

Эрхард современный деловой человек. Нет, он не стяжатель, не хапуга, хотя они еще встречаются в частном секторе, а предприниматель новой, социалистической фор-

маии. Заработок для него тоже имеет значение. Вместе с женой доход их составляет 1.800 марок в месяц, а членов его бригады — от 800 до 900, чуть больше, чем у государственных строителей, но он прихватывает каждый день лишних два часа. Добротность сделанного, качество работ у Хёфингхоффа — на первом месте. Не зря ведь и доктор Шюра по рекомендации Крафта Вазема приглашал его на выполнение некоторых работ в больнице. А о зоне отдыха «Парадиз» или о бульваре Вильгельма Пика так и говорить нечего, там все плотничьи работы — деревянные заборчики, навесы, скамейки — выполняла бригада Хёфингхоффа. Кстати, многие — бесплатно, но не все, конечно.

Эрхард Хёфингхофф один из уважаемых граждан Бернбурга, член Национально-демократической партии Германии, делегат Национального фронта и один из помощников, советчиков бургомистра в части строительных дел, считающий, что и ремесленников надо вовлекать в активную городскую жизнь, чтобы они жили и работали не изолированно, а в тесной связи с другими классами и социальными слоями города.

Опыт последних лет развития социализма в ГДР показывает, что и ремесленники и частники — активные строители нового общества. Они нередко берут на себя повышенные трудовые обязательства, участвуют в социалистическом соревновании, помогают в ежегодных субботниках по благоустройству городов и сел. Например, та же бригада Хёфингхоффа к X съезду СЕПГ намного превысила свои задания, а частники Кведлинбурга накануне съезда произвели работ и оказали услуг населению на сумму, которая почти на два миллиона марок превысила их плановые наметки.

Немаловажную роль в приобщении частного сектора к социалистическому образу жизни и социалистическому строительству принадлежит партиям и массовым организациям, входящим в Национальный фронт ГДР, в частности Национально-демократической партии Германии и Либерально-демократической партии Германии. Это особенно важно, поскольку ремесленники и частники являются в основном членами названных партий. Партнеры СЕПГ по национальному фронту ГДР стараются проводить линию партии рабочего класса. И в этом они видят свой вклад в строительство развитого социалистического общества в республике. Мы исходили из того, говорил секретарь Центрального Правления ЛДПГ Витте Холланд, что представители частного сектора, преимущественно в районах старых городов (куда относится и Бернбург.— *Р. Р.*) и в сельской местности, вносят свой вклад в решение проблем, которые стоят сегодня перед нашим социалистическим обществом.

СЕПГ на своих съездах и пленумах, в ряде партийных документов не раз указывала на то, что социалистическое общество представляет ремесленникам и кустарям благоприятные возможности для использования их сил и способностей в интересах общества.

Соревнование между Бернбургом и близлежащими городами Кётен и Ашерслебен ведется традиционно давно. И как многие знают — формы его не в одном Бернбурге давно зачерствели и застыли: дальше формального подведения итогов и неформального вручения призов дело не движется. А почему бы к подведению итогов не приурочить еще одно, живое, осязаемое соревнование представителей трех городов? Не раз думал над этим Крафт, не раз советовался в районном комитете СЕПГ, со своими коллегами — бургомистрами Кётена и Ашерслебена. Кое-что они ему подсказали, многое Вазем придумал сам. И вот теперь уже не первый год между тремя городами проводятся соревнования по-особому, так, как это происходило в один из субботних сентябрьских дней 1980 года. Ранним утром в Ашерслебен стали съезжаться довольно необычные по своему составу команды трех городов. В каждом из них — минимум триста человек. Барабанным боем, громом духовых оркестров встретил город гостей и проводил их в городской парк, где с участием партийных и государственных руководителей трех районов и городов состоялось торжественное открытие очередных межгородских соревнований.

Первыми открыли счет строители. Уже в десятом часу утра Крафт Вазем, вооружившись инструментом, укладывал последнюю «мемориальную» плиту с сообщением будущим пешеходам о том, кто и когда и в связи с чем построил 50 метров тротуара. По соседству таким же делом занимались мэры двух других городов. Цветоводы, в свою очередь, к обеду высадили полторы тысячи корней многолетних цветов, соревнуясь, кто лучше и красивее это сделает. Ашерслебен был шумен, говорлив в тот день и от других участников соревнования и болельщиков. Площади, скверы, улицы его бурлили, словно в половодье: играли духовые оркестры, шла торговля мороженым и сладостями, работал рынок.

На стадионе за первое место сражались гандболисты, а пожарные команды ждали, пока освободится стадион, чтобы показать горожанам, на что и они способны. Кстати, пожарная охрана в этих трех городах состоит исключительно из общественников. Свое умение и мастерство демонстрировали повара и пекари, парикмахеры соревновались в своем деле, торговые работники трех команд спешили к концу состязаний как можно привлекательнее оформить витрины трех центральных магазинов. Отделы культуры горсоветов Бернбурга, Кётена и Ашерслебена готовили сорокаминутные концертные программы. Шумно было в кооперативном ресторане «Вайсехаусе» («Белый дом»), где очки за сбитые кегли набирали не только команды городов, но и их бургомистры. Везде, во всех «горячих» точках города, работали комиссии, судьи, учитывавшие и подсчитывавшие в этих необычных соревнованиях все до мелочей.

Крафт Вазем не пропустил ни одного вида состязаний. Разговаривая с пионерами, подзадоривал их, обещал в случае первого места прогулку на речном пароходе. Но, к великому разочарованию бургомистра, из его кошелка не ушел ни один пфенниг. Команда Бернбурга лишь поделила первое место с Ашерслебеном, а Кётен занял второе.

В шесть часов вечера веселье переселилось в «Народный дом» Ашерслебена. Бургомистр города Отто Цуфельде давал прием в честь победителей в командном зачете, в отдельных видах соревнований и в честь официальных представителей городов и гостей. На столах стояли закуски, сухие вина и пиво «Радеберг», одно из лучших в ГДР, завезенные в Ашерслебен ради такого случая из Берлина, а на сцене выступал эстрадный ансамбль из окружного центра Галле, приглашенный опять-таки в связи с подведением итогов соревнования. Веселый гомон и громкий смех царил в огромном зале, когда на минуту-другую затихал оркестр из Галле.

Следующие соревнования пройдут в Кётене, а еще через год — в Бернбурге. Но в кабинете бургомистра буквально на вторую неделю после возвращения из Ашерслебена уже состоялся разговор о том, что бернбуржцы должны у себя дома занять первое место. И поскольку все глобальные, дальнеприцельные дела в городе Вазем берет, как правило, под свой личный контроль, он обратился в президиум городского совета с просьбой, чтобы организацию предстоящих соревнований трех городов в Бернбурге поручили ему.

Почти каждый посетитель, приходящий в ратушу на прием к бургомистру, его заместителям, членам президиума или начальникам отделов считает, что проблема, с которой он пришел в горсовет, самая важная. Крафт Вазем давно это раскусил и исходя из такой укоренившейся среди горожан психологии строит не только свою работу, но и всего аппарата. Примером на этот счет можно привести много, ведь за важностью проблемы, с которой идет посетитель в магистрат, стоит еще и просьба: решить ее как можно скорее.

Чтобы никого не обидеть, Вазем обычно честно и открыто говорит с любым посетителем. Но люди бывают разные. Приходят и такие, которые не терпят никаких промедлений. Для них у бургомистра — свой подход.

Случай, о котором рассказывал Бёнике, ставший недавно референтом Вазема, стал почти хрестоматийным. Три старых коммуниста и их семьи нуждались в улучшении жилья, они стояли на очереди и права у всех у них были одинаковые, разными, правда, были квартиры, которые они занимали. Сложность была в том, что горсовет выделить трех квартир одновременно не мог. Пригласив всех в магистрат, Вазем начал издалека:

— Люди вы опытные, у вас большая жизнь позади, помогите мне решить эту проблему...

Машина стояла у подъезда, и когда все трое согласились, Крафт позвал их вниз. «Комиссия» из четырех человек осмотрев жилье каждого, решила, не возвращаясь в ратушу, проблему очередности получения квартир тремя семьями.

— Пусть люди иногда и сами решают свои вопросы, пусть они знают все, что знаю я, что знают мои помощники,— повторял Вазем не раз,— а у нас в таком случае останется больше времени на раздумье, на анализ ситуации, на размышления о будущем нашего города. Именно этому, если хотим, чтобы жизнь в городе не замирала, мы обязаны уделить минимум треть рабочего и все нерабочее время. Бургомистр работает и тогда, когда спит, говорят в городе.

Бывает, и нередко, что решение Крафт принимает через минуту-другую как выслушает посетителя, речь идет не обязательно только о личной просьбе, к нему идут многие и по важным государственным и городским проблемам, но он не спешит с ответом, а ведет разговор таким образом, чтобы пришедший к нему человек сам приблизился к по-

добному заключению и ушел от бургомистра с чувством удовлетворения, что подсказал, помог в решении какой-то городской задачи, став соучастником дела, которое волнует, оказывается, не его одного.

— Моя задача — твердил бургомистр кому-то в моем присутствии, — уметь, научиться в конце концов убеждать людей, чтобы они верили в те идеи, в которые верю я сам и которые провожу в жизнь.

Такую политику с посетителями Вазем проводит не ради собственного авторитета, а для укрепления веры в силу и возможности магистрата, ведь он еще не забыл тех первых лет, как избрали его бургомистром. Люди стороной обходили тогда городской совет и проблемы свои решали в лучшем случае за кружкой пива. Дорогостояло Вазему, чтобы доказать, что магистрат и он как бургомистр способны решать любые, даже самые сложные вопросы, касающиеся жизни всего города и отдельного его жителя.

Этой задаче Крафт Вазем прежде всего подчинил и работу всего аппарата городского совета. В ратуше работают 77 человек, в большинстве женщины. Их средний возраст не превышает 30 лет. Городское народное собрание состоит из 88 депутатов и 24 кандидатов в депутаты. Почти две тысячи человек работают в коммунальном хозяйстве города, в сферах медицины, образования, социального обеспечения, строительства. Все они назначаются на должность и освобождаются от них решением президиума городского совета.

Сотрудники горсовета, начальники отделов сами решают, а затем сообщают бургомистру, какими вопросами, проблемами они намерены заниматься в течение недели, месяца, квартала. Вазем иногда вносит поправки в их планы, что бывает не часто. Проходит тридцать дней — эту единицу времени бургомистр считает наиболее удобной в своей работе, при этом не важно на начало или конец месяца приходится этот срок, — и сотрудники без напоминаний, немецкая педантичность тут очень кстати, докладывают, что и как сделано, выполнено ли то, что намечалось. Чтобы вторично не вызывать сотрудника, Вазем, оценив его работу за прошедшее время, обсуждает план на следующий срок. Порядок, заведенный им, соблюдается строго.

Крафт Вазем — строгий и прямой, слышал не раз я в ратуше, он скажет правду в лицо и лишнего никогда не пообещает, он точен и справедлив. Случается, что сотрудник из месяца в месяц не выполняет намеченных им же самим планов, заваливает решение важных задач в жизни города. Терпение!

Крафт нередко помогает такому человеку, если видит, что это временное явление, что ему что-то мешает. Если же убеждается в беспомощности сотрудника («Больше, чем с себя, я ни с кого и никогда не требую», — говорит иногда Вазем), то тут же предлагает ему поискать другую работу. На поиск нового места бургомистр отводит, как правило, целый год.

Есть у бургомистра еще один отрезок времени, который является контрольным для него самого, — рабочая неделя. Каждую пятницу он подводит итоги, уточняет, все ли сделано, что хотел, что наметил, запланировал. Если что-то не удалось сделать, то это «что-то» переносится на будущую неделю, несмотря на то, что в ней все часы и дни заняты, забиты частоколом очередных дел. Что ж, придется ему либо раньше прийти, либо задержаться в ратуше. У бургомистра ведь совершенно ненормированный рабочий день. Да и планы он составляет не ради формы, а из желания работать, работать так, чтобы не было стыдно за все, что он делает.

Вернбург — Москва.

Сентябрь — октябрь 1980 год.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. ГОРОБОВА

★

В КЛИНИКЕ

В стены, возле двери, лежит Ольга Турко. Болезнь у Ольги... Лучше она, чем у других или хуже? Нет, Ольге хуже, чем мне. Я не стаскиваю по ночам матрас, не расчесываю спину в кровь о железную сетку кровати. И каких только лекарств не дают, какие только уколы ни делают... А вечерами Ольга поет. У нее чистый прозрачный голос, а ночью... Сдержанно постанывает. Всю ночь! Больные в палате просыпаются. А что можно сказать? Ведь не нарочно! Это болезнь такая, коллагеноз. А что такое коллагеноз?

Песню Ольга начинает тихо, почти шепотом. К ее кровати подходит Лена Канатова и подхватывает. Лене Канатовой семнадцать. Перешла в десятый класс. Она из Ростова. В конце лета ребят отправили в колхоз на уборку винограда. Виноград опрыскан химикатами. Возможно, Лена отдыхала под виноградными лозами, возможно, слишком глубоко дышала, но химикаты попали в дыхательные пути, и Лена вдруг начинает кашлять, начинает задыхаться, вдруг температура поднимается до сорока; но вечерами обе поют.

— Как там у вас, в горах?— неожиданно спрашивает Лена.— Расскажи.

А Ольгу хлебом не корми, только дай рассказать про горы.

— Воздух там какой!— мечтательно говорит Ольга.— Приедешь в город — кажется, задохнешься. В свою квартиру войдешь — будто заперли тебя в клетку. Я однажды в Ялте была. Все хвалят: Ялта, Ялта! А что Ялта? Воздух там... какой-то неприличный воздух, парфюмерный, как в косметическом кабинете. А у нас благородный воздух, строгий — горы.

— А не трудно тебе в горах?— спрашивает Лена.

— Справляюсь. Партия небольшая. Записываюсь поварихой. Воду ребята принесут. Консервы откроют. Костер разожгут, а сварить я и сама сварю. Каждое лето ухожу в горы. А теперь как?— На минуту Ольга замолкает.— Еще хотя бы разочек мне туда! А?— И она смотрит на нас грустными вопрошающими глазами.

Я понимаю Ольгу, понимаю не только мозгом — каждой клеточкой организма, каждой капелькой крови. Мне бы тоже туда. Хоть разочек. Конечно, того уже не будет. Не будет Алайской долины — а ковыль ходит по ней тугой волной серебра. Не будет Гиссарского хребта. Ты стоишь на перевале, а под тобой неразбериха гор. Черные каменные клыки. И взмывает орел, и такая свобода в тебе... Хотя бы разочек еще!.. Ну, не будет того перевала — хотя бы до Ай-Петри добраться. Машина подождет чуть ниже, а ты постоишь в Серебряной беседке, глянешь себе под ноги, а там... округлые зеленые спины холмов спускаются к морской синеве, это бредут холмы к водопою. И ты все это видишь. А рядом дерево стелет свои ветви по воздуху. И пока машина ждет чуть ниже, ты попрощаешься с горами. Склонишь голову в поясном поклоне перед нашей планетой, вздыбившей эти горы, налившей синевой моря, поклонись и тверди, и хлебом, и этому прекрасному дереву, выросшему над самым обрывом.

...А справа от моей кровати лежит Света Елейкина. И читает Бунина. Закрывает книгу и задумчиво говорит:

— Несчастливая эта Лика! Нет, нужно иметь такого мужа, как у меня. По профессии он мясник и работает на бойне. А вот Лика вышла за какого-то щелкопера. С таким разве жизнь? Одно мучение! А мой... уж с бойни обязательно чего-нибудь притащит. Щи обеспечены, и не какие-нибудь, а из первосортного мяса.

Свете хочется рассказать о себе. Не одной же Ольге рассказывать.

Отец — заведующий селью. У него шесть торговых точек по колхозам. Родители ей свадьбу справили, так гостей созвали больше двухсот человек. Целую неделю пировали. Свадьба в три тысячи обошлась. А гости подарков нанесли... Они с матерью под-

считали. Минимум на четыре тысячи подарков. Холодильник, пододеяльники... Один даже цветной телевизор приволок. Можно сказать, на этой свадьбе они даже тысячу рублей выиграли.

Баба Дуня лежит у противоположной стены и почти всегда молчит.

У Светы тоже коллагеноз, только по внешнему виду этого не скажешь, она круглолицая, румяная. Вот что значит работать мастером молочного цеха.

— Муж на мясе, жена на молоке. Это семья! — восторженно говорит больная, лежащая у окна.

Она медсестра, работает в роддоме. Ей тоже хочется рассказать. Она в затруднении, не знает, как начать. Это видно по ее лицу. Она бросается как в воду:

— У нас один аборт был. Плод уже сформировался — головка вроде кошачья. Пришлось прибегнуть к кесареву сечению. Представляете?

— Боже мой, боже мой! — говорит больная, занавешенная простынями.

Когда человек загорожен ширмой из простынь — это значит конец. Нужно, чтобы другие не видели, как больной мучается. Потом переведут в изолятор, а там... Она почти кричит:

— Боже мой, боже мой! Для кого мы пишем?!

За ширмой молоденькая журналистка. Мы не знаем, чем она больна, только догадываемся. И голоса ее не слышали, слабый стон из-за простынь, но теперь она говорит громко:

— Ведь вы же медицинская сестра. Как вам не стыдно! У вас же образование... — И она с таким отчаянием повторяет это «боже мой!», что я срываюсь с кровати.

— Мы для них пишем! — говорю я. — Если в том, что мы делаем, найдется хотя бы одна нужная хорошая мысль, если хотя бы пять человек эту мысль поймут, она западет им в душу — значит, мы свое дело сделали, значит, не напрасно жили. Вы меня слышите?

— Это вы чтобы меня утешить? Таким, как я, уже нельзя лгать.

— Это правда, — громко говорю я, — это самая большая правда. Иначе нам с вами и жить не стоит.

— Я вам верю, — шепчет голос за ширмой, — спасибо...

Чтобы спасти эту женщину, нужно чудо. Наверное, всем нам нужно чудо, и мне, и Ольге Турко. Только Лена Канатова, возможно, поправится, не обращаясь к чудесам. Молодость все может.

В этот день мне впервые разрешили пройтись по коридору.

Я иду как можно неслышней, как можно воздушнее, как можно секретнее, я иду так, чтобы сердце не догадалось, что я встала с кровати, чтобы не начало колотиться. Да я же лежу, и нечего тебе баянить! Но оно догадывается. Его нельзя обмануть.

А я еще задумала попрощаться с горами. Куда уж тут горы. Пройти бы по коридору.

Говорят, на сердце кричать нельзя, его нужно упрашивать, и перед каждой фразой — пожалуйста, и после каждой фразы — спасибо. А я бы сейчас ногами на него затопала.

И вот я иду, стараясь как можно ровнее дышать: раз, два — вдох, раз, два — выдох.

Больничные коридор — это уже не палата, это уже преддверье большого мира. Вот столик с телефоном — сидит медсестра. Еще столик с телефоном. Шкафчик с лекарствами. Столик, на котором кипятятся шприцы. Лестничная клетка. Лифт. Телефон-автомат. Но к автомату еще нужно подняться, а этого тебе нельзя. Ну нельзя так нельзя.

Коридор разделен на две части: отделение мужское, отделение женское. Между ними трюмо и два кресла. В одном сидит нянечка, в другом плотный немолодой человек с обрюзгшим лицом. Должно быть, больной из мужского отделения.

Наша палата няню Фросю недолюбливает. Определить причину этой нелюбви не так-то просто. Может быть, некрасивость? Уж очень она нехороша собой. Лицо одутловатое, глаза заплыли. Да и фигура... Низенькая, расплывшаяся. Входит в палату и слова не скажет. А нам очень нужны слова, хотя бы про погоду, любые слова. Новости бы нам доложила. Что там, в большом мире? И убирает она — не уборка, одна видимость. Нянечка и больной сидят молча. Мне, конечно, до этого нет дела. А все-таки почему они молчат? Незнакомы?

И вдруг у меня в груди что-то шарахнулось, что-то покатилося. Сердце! Сердце покатилося! Кажется, я прислонилась к стене...

— С вами что, гражданочка? Плохо чувствуете?

Это спрашивает больной, сидевший в кресле. Да не больной он вовсе. Какой у него молодой голос.

И вот я лежу на своей постели. Надо мной стеклянная колба, от нее тянется тонкий шланг, и очень медленно, по капле из колбы течет прозрачная жидкость прямо ко мне в вену, прямо в мою кровь... Значит, поставили капельницу? И сердце начинает биться ровнее, успокаивается.

— Вот теперь вы настоящая,— говорит женский голос, и Ольга Турко протягивает мне зеркальце, лежавшее на тумбочке.

Я смотрю в зеркальце и не верю: губы розовые, щеки розовые, а подбородок и нос белые, как у девчонки, выбежавшей на мороз. И глаза сияют. Куда делась моя синюшность, или, как говорят врачи, цианоз? Я возвращаю зеркальце с неохотой.

— Олечка, положите обратно на тумбочку или лучше в ящик. Я его в Ливане купила, в Бейруте.

Ко мне подходит няня Фрося и осторожно подкладывает сложенное вчетверо полотенце под ту мою руку, в которую из капельницы сочится прозрачная жидкость.

— Это вас Степан принес. Наш лифтер. Надо бы побыстрее, так он же на протезе. Ну ничего, уж все обошлось.

— И я замечаю, что у няни Фроси голубые глаза.

— Нужно бы щит попросить,— говорит Ольга Турко.— Очень болит позвоночник. Просто нет сил. Может быть, со щитом будет легче.

— Не щит, а фанера,— говорит женщина ухоженная, вальяжная.

— «Вальяжная» — это именно то слово, которое ей больше всего подходит. Как перевести слово «вальяжная»? Для этого нужно заглянуть в словарь, а словаря тут нет. Но это именно то прилагательное, которое нужно Ей лет шестьдесят. Волосы тщательно подкрашены. Не только маникюр, но и педикюр. Она полная, но не слишком и носит грацию даже в больнице. Упаковывает себя в грацию сразу после утреннего обхода врача. Болезнь? Мне кажется, никакой болезни у нее нет. Впрочем, возможно, какая-нибудь нашлась. Род занятий? Никакой профессии у нее нет. Вдова какого-то крупного чиновника. Это и есть ее профессия. Профессия по призванию. В нашей палате она чувствует себя командиром: «Прошу потише. Я собираюсь дремать. Никто не возражает?» Это сказано с таким апломбом, что возражать невозможно.

Меня она удостоила особым доверием.

— Представляете, недавно приезжал ко мне в дом бывший товарищ мужа. Я подарила ему свою честь, а он даже не звонит.

Она говорит это громко, на всю палату, но это сообщение предназначено только мне. Ее слова кажутся мне отвратительными и сама она отвратительной.

— А мой сын — заместитель министра.

— По каким вопросам?— Я должна быть вежливой, поддерживать разговор.

— По связям с капстранами. Они с женой сейчас уезжают в Японию.

— А кто же он по профессии?

— Разумеется, врач. Он своими руками травил крыс на даче у самого товарища Шилова...

— Нет, для нее мы не пишем, для нее никто не должен писать!— шепчет голос за простынями.— Это уже не человек.

Оттуда, из-за простынь, слышно всхлипывание.

Я молчу. Мы не выбираем себе читателей.

Идет дождь. В дождь мне всегда худо. Не приспособлена я для такой погоды. Дождь здоровье не улучшает. Вот и туда, за простыни, то и дело навевается сестра со шприцем. Конечно, в этом виноват не только дождь. У болезни свои законы.

— Вы что-то про Ливан сказали,— раздается голос из-за простынь.— Расскажите. Мне не хочется говорить. Трудно мне говорить. Плохо дышится...

— Знаете, когда приезжаешь в Бейрут, кажется, ты попала к нам в Армению. Такой в Бейруте запах. Пахнет кинзой, еще какими-то травками, совсем как в Ереване. А вот деревья другие. От самого аэродрома тянется аллея итальянских сосен, пиний. Деревья стелют свои ветви по воздуху. А внизу — Средиземное море. И сквозь ветви такая ярчайшая синева... Неужели теперь эти пинии изуродованы, изранены снарядами?.. — Я замолкаю.

— Расскажите еще.

— А там набережная... Столько роз! И вдруг ты видишь старуху. Арабская жен-

щина. Беженка из Израиля. Этого невозможно забыть! Это будешь помнить всю жизнь. Какая она оборванная! И торгует спичками. Это так горестно... Коробок спичек, ведь это гроши!

Мне не только трудно говорить — мне трудно вспоминать. Столько там горя. Может быть, хватит?

— Расскажите еще. Пожалуйста.

Нужно выбрать что-то повеселее. Эти темы не для больных, и я говорю:

— В Бейруте, когда я приехала, как раз шло состязание по водным лыжам. Это очень красиво. Загорелое, стройное, почти обнаженное тело. Лыж не видно. Человек скользит по морской синеве. Это боги!.. Помню, тогда мне казалось, что перед моими глазами ожили античные мифы. Такое это было чувство. Казалось, сейчас появится Нептун или Амур на дельфине.

— Расскажите еще. Я этого уже никогда не увижу. Вообще ничего не увижу...

Я должна рассказывать, должна, должна! Мой рассказ не дает ей уйти в небытие, погрузиться в небытие, не дает померкнуть сознанию. Он как спасательный круг держит ее на поверхности. Я буду говорить до утра, говорить всю ночь. Уже сейчас ночь...

И вдруг... что это? Как она странно дышит. Нужно кого-то позвать. Врача. Сейчас же. Я нажимаю кнопку звонка. Или звонок не работает? Я стучу ложечкой по стакану. Звук дребезжит. Стучу сильнее. Чайная ложечка грохочет по стеклу. Больные не просыпаются. Дождь или димедрол? Слава богу! Дежурная сестра услышала.

А утром ширмы из простынь были убраны и мы увидели пустую, аккуратно застеленную кровать.

В соседнюю палату перевели двух больных из реанимации. Няня Фрося выносит из палаты судна. Тяжелая работа у нянечки. Ходит нянечка за больным, обмывает его, поворачивает, чтобы не было пролежней, отека в легких. А выздоровел — и забыл, чем он этой женщине обязан. И все мы забыли...

Я иду по коридору. Теперь коридор стал будто короче. Вот и трюмо и два кресла у круглого столика. Няня Фрося стоит у столика, и рослый широкоплечий человек вдруг берет ее руку и целует. Целует другую руку. Я его уже видела тогда, перед тем как мне поставили капельницу. Это он перенес меня в палату. Значит, это лифтер, Степан. И не дойдя до зеркала, я поворачиваю обратно, чувствуя неловкость перед этими двумя людьми. Да ведь она только что выносила судна, мыла судна! Или он не видел, не знает? Не может не знать! Не думает об этом? Забыл? Или им сейчас владеет нечто большее, чем брезгливость, чем...

Вот стоит перед ним женщина, перед хромым, старым, и нетрезвый бывает, стоит перед ним и не уходит, и лицо у нее такое, будто все для него она может сделать, и ногу ему вернет, и не погнушается его неказистой профессией, и что щеки у него в морщинах — ничто ей не страшно...

Няня Фрося заходит к нам в палату. Садится на стул. Руки на коленях. Она смотрит на свои руки и улыбается. Я тоже смотрю на ее руки, маленькие, но крепкие. Она взглядывает на меня. Наверное, заметила, как я поспешно повернула по коридору. Теперь нас связывает добрая тайна. И, глядя на меня, нянечка говорит:

— А ну, девчата, давай запоем. Потихонечку. Я начну, а вы подхватите.— И она заводит:

Во поле береза стояла...

Какой неожиданный у нее голос.

Во поле кудрявая стояла...—

подхватывает Ольга Турко.

Некому березу заломати,
Некому кудряву заципати...

Голос няни Фроси грустит, жалуется. И вдруг с озорством:

Люли-люли заломати, люли-люли...

Нашелся такой, дождалась береза!

— Я бы так не смогла,— говорит Лена Канатова.— В нашей школе никто так не сумеет. А ведь нас во все клубы приглашают.

Мы смотрим на няню Фросю. Так вот она какая!

— В нашей деревне лучше меня никто не пел. Я всегда запевалой. Ну, молодая была...— говорит няня Фрося.

Баба Дуня ахает:

— Ох, любушка моя! Больно хорошо заводишь. И я, бывало, как запою... тоже молодая была.

И она поправляет на голове ситцевый платочек, белый в черную горошину, завязанный у подбородка узлом. Все мы удивляемся, почему платочек у бабы Дуни всегда чистенький. Вставать ей с кровати нельзя. Наверное, ночью встает и тайком стирает.

— Ох, молодость, молодость,— вздыхает няня Фрося,— вернуть бы мне ее! Нужна она мне теперь, ох как нужна! Яблочком румяным наша с тобой молодость укатилась,— говорит она бабе Дуне.

Лена Канатова:

— Вы бы, баба Дуня, про свою жизнь рассказали. Мы говорим, а вы молчите. Вас и не слыжать.

— А вы ученые, образованные,— говорит баба Дуня,— вот и говорите друг с дружкой. А я что? Жизнь моя простая. Вот лечат лекарствами всякими, у смерти меня доктора отбивают. Будто я какой ценный человек, к примеру маршал. А смерть уже тут, за плечом стоит, косу на меня точит. Все нутро истерзала. Мне бы волком выть, а я держусь, виду ей не показываю, чтобы она, окаянная, не возрадовалась. В зенки бы ей плюнула...

— А ты плюнь, бабуся,— говорит Лена Канатова и делает такое страшное лицо, что все мы улыбаемся.

Что это? Улыбка? Ведь мы так давно не улыбались! Забыли, как это делается. Чуть-чуть раздвигаются губы, чуть-чуть светлеют глаза. Будто ветерок пролетел по палате. Неужели это от песенки про березку? «Некому березу заломати, некому кудряву заципати...» Вот стоит она тоненькая, белокожая, наклонила зеленые кудри... «Люли-люли заломати, люли-люли...»

— А какой была няня Фрося?— тихо говорит Ольга Турко.— Наверное, тоже тоненькая, белокожая?

— Оно и сейчас видать,— отзывается баба Дуня.— Ты, доченька, прищурь глазки и сквозь прищур на нее погляди, как бы из-под ладошки. Я, к примеру, вижу— заводная была, веселая, певунья...

— Тоже мне Зыкина,— говорит командирша.

— Зыкина не Зыкина, а вот вы так спойте,— говорит Лена Канатова.— Слабо? Так-то, Щит-фанера!

Теперь в нашей палате ее иначе не называют, конечно за глаза. Это Лена придумала такое прозвище, а тут вдруг вслух возьми да брякни! Хорошо, что командирша глуховата, не услышала. Лена оглядывается на Ольгу Турко и смеется. Это впервые за целый месяц в нашей палате смех.

«Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла...» Вот что может сделать песня. Или не песня, другое?

Первой от снотворного отказалась Ольга Турко. Вечером сестра пришла раздавать лекарства.

— Димедрола не надо,— сказала Ольга Турко,— я и так усну.

За ней отказались Лена Канатова и баба Дуня. Сестра сказала:

— Я димедрол все-таки положу. Не понадобится— не принимайте.

— Не понадобится,— уверенно говорит Лена,— мы знаем, что не понадобится.

Сестра недоумевает:

— Сговорились вы, что ли?

— Выздоровливаем, выздоравливаем, милочек,— говорит баба Дуня,— не век болеть!

— Ну и ну,— удивляется сестра,— палата выздоравливающих. Так и запишем.

— Только одна у нас никак не поправится.— И, подходя к сестре, Лена тихонько шепчет:— Щит-фанера у нас самая тяжелая.

Сестра знает это прозвище и улыбается.

— А ты не озоруй,— говорит баба Дуня и тоже улыбается.

Света сказала:

— А эта Лика и не могла быть счастливой со своим щелкопером.— Она обращается ко мне:— Как вы считаете?

Как я считаю?..

— Мне кажется, это очень хорошее произведение, может быть лучшее у Бунина. В нем много взято из его личной жизни. Много о нем самом, о его любви. Сложная любовь, трудная..

— Значит, он себя так описывает?

— Ну, в какой-то мере себя.

— Страшно как!— говорит Ольга Турко.

— Страшно? Почему?

— Беспощадно.— Ольга тоже читала «Лику».

— Это все писатели такие беспощадные,— спрашивает Света,— или только гении?

— Я думаю, гениальность тут ни при чем... Не все, конечно, но многие,— говорю я.

— А почему?

— Трудно это объяснить... Они хотят писать правду, какая бы эта правда ни была. И о себе правду. Это такая профессия. Она требует правды...

— Строгая профессия,— задумчиво говорит Ольга Турко.

— А моя профессия, выходит, хуже?— зло говорит Света.— Вот я мастер молочного цеха. Чем плохая профессия? А мы насчет жирности молока мухлюем, насчет творага мухлюем. Я могла бы это дело пресечь...

— Зачем вы это все выворачиваете?— говорю я.— Тут прокурора нет. Не надо так, Света. Вы себя пожалейте и нас тоже.

— Вы из себя месусиков строите,— почти кричит Света,— а я хочу жить хорошо! У других пальто с голубой норкой — и я хочу такое. У других муж в шапке из ондатры — и мой такую будет носить. Японский транзистор купим «Сейка»...

— Это японские часы «Сейка», а транзистор — «Сони» — сообщает Щит-фанера.— Надо бы знать.

— Один летчик такой транзистор нам обещал за двести рублей, а в комиссионке он семьсот стоит.

— Выходит, подарок?— говорит Лена.— Кудряво живешь.

— Почему подарок? Во-первых, транзистор дефективный, а во-вторых, ему муж телочку устроил. На бойне телочку спишут. Якобы околела. Не самому летчику, конечно, его матери, она в нашем районе живет.

— Поняла, — насмешливо говорит Лена. — Он — вам, вы — ему.

У меня такое чувство, будто из меня вытаскивают душу, по кусочкам, крючком вытаскивают душу. Мне кажется, когда-то я уже это слышала — и про летчика и про дефективный транзистор, и тогда из меня тоже вытаскивали душу. Это как кошмарный сон, который повторяется. И я отворачиваюсь к стене.

Как трудно привыкать к себе такой, какой я стала теперь — с капельницей, с вливанием строфантина, и сестра никак не попадет в вену, привыкнуть к этим разговорам... Как это несовместимо со всей моей жизнью!.. Разве это не я стою за плечом Пушкина, а он пишет? Это «Путешествие в Арзрум». И вдруг перо остановилось. Поэт задумался. Машинально повернул лист бумаги, нарисовал гусиным пером лошадь, снова повернул лист и продолжал. И это движение не только пера, но и мысли запечатлено фотоаппаратом, и я как бы нахожусь рядом, присутствую. Пушкин живой, он тут, он дышит. Только бы не помешать!

...А небольшой круглый зал с мраморной Венерой. Это Лувр. В зале никого. Я разглядываю Венеру, обхожу вокруг. Я могу тут находиться час, два. Почему мрамор изъязвлен? На спине Венеры как бы круглые шрамы-оспины. Я никогда не видала их прежде. Или для копии шрамы необязательны? Только красота. Скульптор не пожалел вдунуть в нее душу. Или греческий мир той эпохи видел ее такой? Такой должна быть богиня? Эта Венера мне не нужна. Я люблю другую. С веселым возмущением она замахнулась сандалией, снятой с ноги. Сейчас ею ударит козлоногого Пана. Она не только богиня, она женщина... А вокруг Афины. Цветет жасмин. Я привезла из Греции открытку с изображением Венеры и лепестки жасмина в конверте...

Как это случилось? Молоденькая, миловидная, окончила десять классов. Значит, читала и Лермонтова и Пушкина. Как случилось, что Света стала такой? А ведь она не единственная, не уникал. На каком этапе произошла ошибка? Мне положено это знать. Ведь я литератор, невиновных тут нет. Мы все виноваты и я тоже. Упустили человека в человеке. Материальная заинтересованность — не такая уж это невинная вещь. Она может обернуться... Вот чем она может обернуться!

— А не бывает плохих профессий,— неожиданно говорит баба Дуня.— Мой муж в деревне работал, печником работал. В войну мы к дочери переехали в Москву. Ага. А зима холодная. Дрова дают по талонам, мало дают. Ага. Ну, он стал людям печи складывать. Только был он уже старик. Пригласил в помощники молодого. Прихожу я раз в ту квартиру, обедать им принесла. Мой, значит, сидит сигарку скручивает, а молодой как раз ходы кладет. Мой ему говорит: «Ты это как кладешь? Все тепло на воздух уйдет. Или ты никогда печи не клал?» А тот ему: «Я, батя, на скорость работаю. Денежки в карман — и айда!» «Ты в бога веруешь?» Муж его так спрашивает. «Нет, батя, народ теперь в бога не верит». «А в совесть,— спрашивает,— веришь?» «В полсовести верю, а другую половину давно в нужник спустил». Ага! «Тебя бы самого харей в нужник макнуть. А покуда твоя сопатка дерьмом не нанюхамшись, вали отседа к такой-разтакой матери»,— так ему муж мой и сказал. Ага. Потом двое суток сам, один ту печку перекладывал. Уважал он свою профессию. Так, доченька. На полную совесть работал.— И, помолчав, баба Дуня добавляет:— А жили мы небогато.

— Значит, тоже святым прикинулся,— говорит Света.— Это из любви людей в шалаше живут: мол, с милым и в шалаше рай и то только до двадцати. А мне уже двадцать три. Так что подавай мне шалаш по последнему слову научно-технического прогресса и «мерседес» на приколе. Ну ладно, ради любви еще куда ни шло, а чтобы ради профессии? Такого я еще не слышала.

— А ты многого не слыхала, — говорит баба Дуня. — Молода еще.

— Не может этого быть! — вдруг говорит Лена.— Быть этого не может, Светка! Ведь ты нарочно, признайся, нарочно?— Лена Канатова стоит возле Светы.— Я, конечно, слыхала: кто-то кому-то всучил взятку. Или повар из писательского дома творчества отгрохал себе дачу. Так я об этом не думаю: кто-то где-то кого-то, ну и черт с ними, хапуги несчастные!.. А ведь мы с тобой почти ровесницы, ведь мы с тобой дружим... Так обыкновенно, до того обыкновенно, что этому поверить нельзя. Не может такого быть. Разыгрываешь?

— Выходит, обыкновенному нельзя поверить?— зло спрашивает Света.

— Вот именно,— говорит Лена,— вот именно!

— Все воруют,— уверенно говорит Света.— Думаешь, твои родители не воруют? Сейчас Лена ее ударит. Она вся напряглась, кулаки сжались. Сейчас... И вдруг совсем тихо:

— Так мой же отец астроном... Понимешь? Он что, звезды ворует? Дура ты несчастная!— И помолчав:— А если не удастся с молоком мухлевать и на бойне будет построже — что у тебя тогда останется?

— А у тебя что останется?— растерянно спрашивает Света.

— А все,— говорит Лена.— Я недавно видала «Троицу» Рублева. Реставраторы ее отмыли. Она такая яркая. Я даже не думала, что икона может быть такой веселой... Вот Рублев останется. Недавно в газете читала: когда ребята в Японии кончают школу, самую обыкновенную школу, каждый может различить больше двухсот оттенков семи основных цветов. Я уже пятьдесят освоила.

— Так они что, в художники готовятся?— спрашивает Света.

— Нет, просто так,— говорит Лена,— просто для счастья.

— А может быть, эта Лика у Бунина была счастлива?— неожиданно говорит Света. И вдруг, закрыв лицо ладонями, кричит:— Да пропади оно, пропадом, это проклятое мясо! Ведь я скоро его угрызть не смогу! Ведь у меня тоже коллагенос! Он же на челюсти кинулся! У меня же зубы почти не смыкаются!..

— В горы бы мне, а? Может, сумею,— шепчет Ольга Туржо.

Мы услышали, как двери лифта открылись и мужской голос сказал:

— Ничего у нас с тобой не получится... Поняла? Какой я ни на есть, а чтобы женщине жизнь исковеркать... Не способен я на такое. Поняла?

Затем последовала пауза. Голос женщины негромко возразил:

— Ну и что, если протез? И вовсе безногие живут. Человек—он и без ноги человек!

— Эх ты! — сказал мужской голос.— Не выдержи я такой муки...— Потом голос странно всхлипнул, будто не человеку, голосу переломили хребет.— Так осколок ниже живота прошел, в пах прошел. Поняла? А измываться над собой не позволю. Баба ты, а тут такое дело. Эх ты...—И совсем шепотом: — Не стерплю я. Так что, одним словом, прощай.

И тут снова возник женский голос:

— Да разве ты этим осколком сам пальнул? Позор это, когда человек другого в беде бросил, когда у голодного хлеб отняли. Или, скажем, от врага в кусты сгорюнился. А ты... вся грудь у тебя в орденах... А насчет этого дела — мне все равно детей не рожать, старая я.

Нам показалось, что мужские руки сжали плечи женщины и женское заплаканное лицо прижалось к груди нашего лифтера.

И хотя подслушивать мы не собирались, а вот получилось. Вышли на лестничную площадку к телефону — и тут этот разговор. Пришлось ждать, пока двери лифта снова захлопнутся.

— Нелегкое это будет счастье. Тебе, Леночка, этого еще не понять, — говорю я, — горькое счастье.

— А помните, как баба Дуня сказала, будто счастье всегда ходит в обнимку с горем, — говорит Леночка. — А баба Дуня у нас умная.

Вообще в клинике было нежарко, а тут еще временно выключили горячую воду, так что стало совсем прохладно и няня Фрося вошла к нам в палату, надев поверх халата стеганную на вате телогрейку.

— Не греет тебя, видно, Степан? — спросила Щит-фанера.

И тут няня Фрося, презрительно, с такой женской гордостью на нее взглянула, что Щит-фанера сжалась.

— Ну и пошлячка, — громко сказала Лена.

— Почему не греет? Вот телогрейку свою дал надеть.

Теперь няня Фрося заходила к нам часто. То присядет на стул возле бабы Дуни, то подойдет поправит подушку Ольге Турко. Заметит под тумбочкой бумажку и тут же явится с тряпкой или щеткой. Убирала она тоже по-другому и вся стала другой, аккуратной, какой-то новенькой. Да и мы становились другими.

Например, у Ольги Турко появился на щеках румянец. И у Лены Канатовой появился и у меня. И когда приходил наш палатный доктор Захар Ильич, он даже терялся — так дружно и неожиданно мы начинали поправляться. Однажды он так и сказал:

— А ну открывайте свой секрет, поделитесь со стариком.

И тут Лена Канатова как брякнет:

— А у нас няня Фрося выходит замуж.

Захар Ильич даже сразу не понял. Вынул из кармана носовой платок, повертел в руках, снова сунул в карман. Может быть, хотел протереть очки, чтобы лучше нас разглядеть.

Лена Канатова засмеялась:

— Положительные эмоции, или фактор счастья, — вот наш секрет.

Что же, может быть, Лена права, может быть, счастье, пускай чужое, помогало нам выздоравливать. А что няня Фрося была счастлива, это было видно сразу.

Я-то знала, что болезнь к нам может снова вернуться, но сейчас нам было лучше, куда лучше! Может быть, Ольге удастся еще разочек увидеть горы и мне удастся хотя бы проститься с горами, еще раз увидеть, как поспевают тут, как синее горный инжир, поспевают гранаты и косточки у них совсем мягкие. А на горной тропке иглы дикобраза — значит, встретились двое и подрались, и как... Да ведь это не Ай-Петри, это же Туркмения. Это же Копет-даг. Конечно, Копет-даг! Неужели увижу его снова? И я благодарна чужому трудному счастью за одну только эту шальную надежду.

Я должна нагнать нашего доктора, остановить его в коридоре. Вот он идет своей легкой походкой старого человека и лицо у него доброе. Я скажу: Захар Ильич, вы лечите больных кислородом в специальных барокамерах. Кислород под давлением. Иногда это спасает. Вы лечите при помощи искусственного климата. Кажется, установка называется климатрон. Разве нельзя попытаться вернуть здоровье при помощи счастья? Создать экспериментальную палату счастья и попробовать? Может быть, переливать счастье, как переливают кровь? Скольких человек спасла такая кровь во время прошлой войны! Консервировать счастье, как консервируют живую ткань... Вдруг получится?!

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Марксизм и ревизионизм. 16 стр. Цена 3 к.
В. И. Ленин, КПСС о социалистической законности и правопорядке. Сборник. 671 стр. Цена 1 р. 30 к.
Г. Бочаров. Лучшее, что человеку выпадает. Очерки. 310 стр. Цена 55 к.
Гегемонистская политика Китая — угроза народам Азии, Африки и Латинской Америки. 288 стр. Цена 1 р. 10 к.
В. Степанов. Героическая эпоха борьбы за коммунизм. 78 стр. Цена 20 к.

ВОЕНИЗДАТ

- С. Жемайтис.** Жестокий шторм. Роман. 336 стр. Цена 1 р. 30 к.
Н. Котыш. Лицом к океану. Повести, рассказы. 208 стр. Цена 85 к.
В. Нешнов. Наступление. Роман. Перевод с болгарского. 464 стр. Цена 2 р. 80 к.
А. Штейн. Небо в алмазах. Документальная проза. 397 стр. Цена 85 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Н. Дубов.** Жесткая проба. Избранное. Повести. 576 стр. Цена 1 р. 30 к.
С. Крутилин. Мастерская. Повести. 541 стр. Цена 2 р. 10 к.
Б. Лозовой. Азимут. Стихотворения. 95 стр. Цена 40 к.
А. Русов. Города-спутники. Повести. 303 стр. Цена 1 р. 10 к.
В. Шукшин. Вопросы самому себе. 256 стр. Цена 80 к.

«ИСКУССТВО»

- Л. Волков-Ланит.** Вижу Маяковского. 279 стр. Цена 3 р. 40 к.
А. Высторобец, Евгений Андриканис. (Мастера советского театра и кино) 311 стр. Цена 1 р. 10 к.
С. Образцов. Моя профессия. 462 стр. Цена 5 р. 30 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- В. Анимов.** На ветрах времени. Очерки о книгах советских писателей. 143 стр. Цена 50 к.
А. Блок. Избранное. Стихотворения и поэмы. Составление и предисловие В. Орлова. 191 стр. Цена 40 к.
Е. Брандис. Рядом с Жюльем Верном. Документальные очерки. 222 стр. Цена 70 к.
А. Ворожейкин. Солдаты неба. Документальная повесть. 223 стр. Цена 70 к.
Ю. Капусто. Судьба и жизнь. Документальная повесть. 143 стр. Цена 45 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- И. Закиров.** Крестьянский двор. («Писатель и время. Письма из деревни») 80 стр. Цена 10 к.
А. Полежаев. Стихотворения. Составление и вступительная статья В. Скуратовского. 176 стр. Цена 70 к.

© Журнал «Новый мир», 1981.

«СОВЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ»

- П. Браженс.** Человек и слово в прозе. Статьи. Перевод с литовского. 247 стр. Цена 75 к.
Я. Брыль. Рассвет, увиденный издали. Повесть и лирические записки. Перевод с белорусского. 246 стр. Цена 80 к.
Б. Бялик. Великое слово. Статьи. 375 стр. Цена 1 р. 60 к.
Г. Гулла. Вровень с веком. 192 стр. Цена 35 к.

«СОВРЕМЕННОК»

- В. Брюсов.** Ремесло поэта. Статьи о русской поэзии. («О времени и о себе») 399 стр. Цена 95 к.
Р. Винонен. Чувство пути. Над страницами современной поэзии. 368 стр. Цена 65 к.
И. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. («Библиотека поэзии «Россия») 376 стр. Цена 1 р. 60 к.
Ю. Помозов. Рабочие люди. Роман. («Новинки «Современника») 479 стр. Цена 1 р. 80 к.

- К. Усанин.** Григорьев пруд. Повести. 351 стр. Цена 1 р. 60 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Аргентинские рассказы.** Перевод с испанского. 286 стр. Цена 1 р. 80 к.
Африка. Литературный альманах. Вып. 1. Переводы. 455 стр. Цена 2 р. 80 к.
Э. Вериссимо, Пленник. — **Ж. Вейга.** Тени бородатых королей. Повести. Перевод с португальского. 254 стр. Цена 1 р. 50 к.
И. Грегор-Тайовский. Избранное. Рассказы. Перевод со словацкого. 256 стр. Цена 1 р. 50 к.
Когда созреет арахис. Перевод с французского. («Современная зарубежная новелла»). Сенегал | 303 стр. Цена 1 р. 70 к.

«ПРОГРЕСС»

- О. Дюфур.** Мари-Квествая. Роман. Перевод с французского. 224 стр. Цена 1 р. 30 к.
М. Скорса. Траурный марш по сельню Ранкас. Гарабомбо-Невидимка. Вессонный всадник. Сказание об Агапито Роблесе. Фантастические хроники. Перевод с испанского. 607 стр. Цена 4 р. 60 к.
У. Фрэнк. Смерть и рождение Дэвида Маркэнда. Роман. Перевод с английского. («Библиотека литературы США») 527 стр. Цена 3 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

- Д. Джамбул.** Избранные произведения. Перевод с казахского. Алма-Ата. «Жазушы». 399 стр. Цена 2 р. 10 к.
С. Залыгин. Комиссия. Роман. Предисловие А. Нуйкина. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. («Библиотека сибирского романа») 448 стр. Цена 1 р. 90 к.
Русская литература в оценке современной зарубежной критики. Под редакцией В. И. Кулешова. Издательство МГУ. 288 стр. Цена 1 р. 40 к.

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Выдрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов, В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Муддагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 24/VII 1981 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 30/IX 1981 г.
А 10622. Формат бумаги 70×108^{1/8}. 29,1 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
Тираж 350.000 экз. Зак. 2570

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 04285.

Цена 70 коп.

70636